ИВАН АКСАКОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

ИВАН АКСАКОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Жизнеописания, воспоминания и дневники выдающихся русских людей – святых и подвижников, царей и правителей, воинов и героев, мыслителей, писателей, деятелей культуры и искусства, создавших Великую Россию.

Аксаков И. С.
Аксаков С. Т.
Александр III
Александр Невский
Алексей Михайлович
Андрей Боголюбский
Антоний (Храповицкий)
Баженов В. И.
Белов В. И.
Бердяев Н. А.
Болотов А. Т.
Боровиковский В. Л.
Булгаков С. Н.
Бунин И. А.
Васнецов В. М.
Венецианов А. Г.
Верещагин В. В.
Гиляров-Платонов Н. П.
Глазунов И. С.
Глинка М. И.
Гоголь Н. В.
Григорьев А. А.
Данилевский Н. Я.
Державин Г. Р.
Дмитрий Донской
Достоевский Ф. М.
Екатерина II
Елизавета
Жуков Г. К.
Жуковский В. А.
Иван Грозный
Иларион митрополит
Ильин И. А.
Иоанн (Снычев) митрополит
Иоанн Кронштадтский
Иосиф Волоцкий
Кавелин К. Д.
Казаков М. Ф.
Катков М. Н.
Киреевский И. В.
Клыков В. М.
Королев С. П.
Кутузов М. И.
Ламанский В. И.
Левицкий Д. Г.
Леонтьев К. Н.
Лермонтов М. Ю.
Ломоносов М. В.
Менделеев Д. И.
Меньшиков М. О.
Мещерский В. П.
Мусоргский М. П.
Нестеров М. В.
Николай I
Николай II
Никон (Рождественский)
Нил Сорский
Нилус С. А.
Павел I
Петр I
Победоносцев К. П.
Погодин М. П.
Проханов А. А.
Пушкин А. С.
Рахманинов С. В.
Римский-Корсаков Н. А.
Рокоссовский К. К.
Самарин Ю. Ф.
Семенов Тян-Шанский П.П.
Серафим Саровский
Скобелев М. Д.
Собинов Л. В.
Соловьев В. С.
Солоневич И. Л.
Солоухин В. А.
Сталин И. В.
Суворин А. С.
Суворов А. В.
Суриков В. И.
Татищев В. Н.
Тихомиров Л. А.
Тютчев Ф. И.
Хомяков А. С.
Чехов А. П.
Чижевский А. Л.
Шаляпин Ф. И.
Шарапов С. Ф.
Шафаревич И. Р.
Шишков А. С.
Шолохов М. А.
Шубин Ф. И.

ИВАН АКСАКОВ

в воспоминаниях современников

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2014

УДК 323.2
ББК 63.3(Рос)8
А 41

Иван Аксаков в воспоминаниях современников // Сост., предисл. и коммент. Лебедевой Г. Н. / Отв. редактор О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2014. – 544 с.

В книге представлены воспоминания о жизни и борьбе выдающегося русского мыслителя Ивана Сергеевича Аксакова (1823–1886). Виднейший представитель славянофильского движения и сам лидер движения в 60–80-х гг. XIX в., Иван Аксаков сыграл выдающуюся роль в русской мысли, политике и культуре.

В 1859 г. великий православный мыслитель – славянофил И. С. Аксаков провозгласил: «Наше знамя – русская народность как символ самостоятельности и духовной свободы, свободы жизни и развития». Эта мысль стала одной из вершин русского национального мировоззрения. Аксаков стоял на твердых православно-монархических позициях, отстаивая нерушимость русских национальных основ, традиций и идеалов. Выступал за общинно-артельное «народное производство», против насаждения западных экономических форм. Считал, что основой духовного возрождения человечества может стать союз славянских народов под руководством русского народа.

Многие воспоминания публикуются впервые после полуторастолетнего перерыва.

ISBN 978-5-4261-0086-2

© Институт русской цивилизации, 2014

ПРЕДИСЛОВИЕ

Иван Сергеевич Аксаков – один из самых великих русских мыслителей, политиков и деятелей культуры второй половины XIX в. Кажется, не было в России 50-80-х гг. XIX столетия ни одного общественно-политического или культурного события без его активного участия. Не занимая государственных постов, он оказывал значительное влияние на внешнюю политику Российской империи, особенно в славянском вопросе. В Европе его опасались гораздо больше, чем петербургских министров. К нему как к последней надежде обращались угнетенные турками и немцами славяне. Статьи Ивана Аксакова читала вся Россия, и вместе с тем ни один из русских публицистов не имел столько столкновений с цензурой! Романсы на его стихи писали А. А. Алябьев, А. Л. Гурилев, М. А. Балакирев и другие композиторы. Глубокую порядочность Аксакова признавали и его политические противники. «Честен, как Аксаков»! – это звучало как комплимент. И при этом сохранивший до конца дней своих юношеский идеализм, Иван Аксаков мог проявлять себя жестким и волевым политиком. Один из первых русских социологов и оригинальный экономист, создатель русской политической философии, поэт и писатель, Аксаков искренне не считал себя теоретиком, невысоко ставя собственные публицистические и литературные труды. Действительно, в отличие от своих старших товарищей, он не только и не столько занимался теоретизированием, сколько пытался провести свои идеи в жизнь. Когда Аксаков умер, то 100 тысяч человек проводили его в последний путь. Практически все газеты Европы поместили посвященные ему некрологи. В Софии и Белграде появились улицы имени Ивана Аксакова.

Но после его смерти вокруг имени Аксакова воцарилось почти полное молчание. Нет, это не тот случай, когда беспристрастная история все восстанавливает на свои места и искусственно раздутые репутации лопаются, когда гремевшие при жизни имена различных деятелей в лучшем случае остаются парой строчек в энциклопедиях. По отношению к Ивану Аксакову это все будет несправедливо. Иван Аксаков был приговорен к забвению со стороны тех сил, которые не смогли победить его при жизни и взяли реванш после смерти. Иван Аксаков был славянофилом, и это все объясняет.

Что же такое славянофильство? Под этим объединяющим названием понимаются философские, исторические, литературно-художественные направления русской мысли, основанные на поиске места русского народа и России среди народов Запада и Востока.

«Славянофилы – великие русские мыслители, сыгравшие огромную роль в развитии русского национального сознания и формировании национальной идеологии. Они обоснованно и твердо объявили об особом пути России, утвердились в мысли о спасительной роли Православия как единственно истинного христианского вероучения, отметили неповторимые формы общественного развития русского народа в виде общины и артели. Славянофилы отмечали коренное различие путей России и Запада, раскрывали самобытные начала русского народа. Они доказывали, что через Россию Православие может привести к перестройке всей системы мировой культуры и хозяйства. История призывает Россию встать во главе всемирного просвещения – история дает ей право на это за всесторонность и полноту русских начал. У Хомякова было очень глубокое сознание не только особого пути России, но и ее всемирной задачи. Эта всемирная задача состоит в том, чтобы освободить человечество от одностороннего и ложного развития, которое получила история под влиянием Запада»*.

* *Платонов О. А.* Славянофилы // Славянофилы. Историческая энциклопедия / Сост. и отв. ред. О. А. Платонов. Институт русской цивилизации. – М., 2009. С. 5.

Славянофилы разделяли мнение Н. Я. Данилевского, что в мире нет какой-то единой универсальной цивилизации, на которую должны равняться остальные, а существуют отдельные локальные цивилизации. Россия также сама по себе уникальная самобытная цивилизация, такая же, как западная, исламская, индийская. Она не лучше и не хуже их, она просто иная. В основе каждой цивилизации лежат национальные, религиозные и социально-политические факторы. Иначе говоря, в основе цивилизации – нация, религия, определяемая ею культура, социально-экономический и политический строй. Применительно к России основы ее бытия в 1833 г. гениально обозначил граф С. С. Уваров в триаде «Православие. Самодержавие. Народность». Эти вечные, как и сама Россия, принципы и сегодня полностью сохраняют свою силу. Вот как разъяснял содержание этой триады митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн (1927–1995): «…этот лозунг не плод какого-то произвольного человеческого измышления, а констатация объективного факта того, что гармонично устроенное общество должно сочетать в своей основе три важнейших элемента: духовный, государственный, национальный. Элемент духовный – святое Православие. Элемент, государственно организующий, – самодержавность… Итак, православный духовный фундамент, державная государственная форма и народ как соборный носитель нравственного идеала – такова универсальная форма гармоничного общественного устройства. И мы никуда от нее не уйдем»*.

Пока мы говорили о славянофильстве в широком смысле слова. Такое славянофильство родилось вместе с Россией и будет существовать, пока существует Россия. Но в каждой эпохе русской истории было и будет свое славянофильство. Разумеется, в условиях развития общества, происходящих в нем политических, социальных и этнических изменений должны меняться и некоторые принципиальные основы самого общества. И в этом смысле само славянофильство должно также меняться вместе с обществом. Понятно, что и славянофильство ранних времен было скорее интуитивным, «нутряным» чувством, а не теоретической

* Завтра. 1994. № 10.

доктриной. По-настоящему славянофильство в классической философской форме рождается в 30-40-х гг. позапрошлого века, и именно Ивану Аксакову пришлось стать одним из виднейших его представителей.

Но классическое славянофильство, как это было, увы, очень часто в национальной истории, стало жертвой преследования со стороны правительства Российской империи, постоянно закрывавшего славянофильские органы печати, подвергавшего преследованиям и арестам виднейших деятелей этого направления, включая Ивана Аксакова. И одновременно с ним на славянофилов обрушилась либеральная западническая интеллигенция, постаравшаяся вычеркнуть, если не навсегда, то надолго, славянофильство из русской истории. К сожалению, во многом это удалось. Россия нового тысячелетия пока еще только открывает себе идейное богатство славянофильской мысли позапрошлого века.

Почему же славянофильство встретило столь яростное противодействие как правительственных кругов, так и «передового общества»? С правительством у славянофилов действительно были очень нелегкие отношения. Иван Аксаков мог на своем опыте многократно убедиться в этом. Главная причина заключалась в том, что со времен Петра Великого в России государственная власть отдалилась от народа и «земли» (то есть народного самоуправления). Бюрократическое средостение между властью и народом было больше заинтересовано в том, чтобы народ безмолвствовал и покорно подчинялся всем, пусть даже самым преступным распоряжениям власти. Понятно, что славянофилы, требовавшие именно участия нации в решении вопросов ее существования, больше всего вызывали опасение у бюрократического средостения. Зато либералы, кричавшие о «свободе», и революционеры, рассуждавшие о власти «народа», под которым понимали только самих себя, вызывали у бюрократического аппарата империи совсем иные чувства. В самом деле, замена самодержавия конституционным правлением, чего требовали либералы-западники, в конечном счете привела бы к власти именно профессиональных управленцев, то есть тот же бюрократический аппарат. При этом чиновничество могло на совершенно законном

основании воровать и еще обеспечить себе защиту ссылками на «права» личности. Даже радикальные революционеры, громогласно заявлявшие о «народной воле», в конечном счете, стремились подчинить всю русскую жизнь государству, то есть все той же бюрократии. Вот отсюда и тот парадокс, что убежденные монархисты – славянофилы – вечно конфликтовали с бюрократическим аппаратом монархии, в то время как «передовые» борцы со всеми основами русской жизни могли рассчитывать на сочувствие «просвещенного» общества.

В XIX столетии, этом золотом веке русской культуры, происходили очень серьезные изменения в российском обществе. Возникшее при Петре Великом разделение между европеизированными верхами и оставшимся верным традиционной культуре народом стало к этой исторической эпохе особенно заметным. Ранее большинство дворянства еще оставалось вполне русским по духу и образованию. Не случайно российские монархи так широко использовали в качестве управленцев различных немцев. Однако за столетие после «Указа о вольности дворянской» 1762 г. немалая часть русского дворянства европеизировалась. Избавленные от обязательной службы, имея множество прав при отсутствии обязанностей, дворянство стало претендовать на всю полноту власти. Свои доводы помещики оправдывали, как это давно повелось на Руси, ссылками на передовой западный опыт. Так возникло либеральное движение, требовавшее ограничить самодержавие в интересах узкого слоя дворянской олигархии. Да, именно крепостники требовали, накануне ликвидации крепостного права, введения в России конституции, чтобы сохранить власть над освобождаемыми самодержавием «душами». И после 1861 года помещики составляли основу русского либерализма. Потеряв власть над «душами» крепостных, они хотели закрепить конституционно свои привилегии над народом. В этом – один из парадоксов русской жизни, наглядно доказывающий невозможность применения в России западных социологический понятий. Только неограниченное самодержавие в конкретных условиях второй половины XIX в. могло обеспечить политические права народу, провести без крови и насилия мас-

штабную политическую и экономическую модернизацию. Другое дело, что бюрократическое средостение сделало все, чтобы великие преобразования во многом оказались незавершенными.

Еще более зловещую роль в русской истории того времени сыграла появившаяся тогда мощная прослойка «интеллигенции». Борьба с «интеллигенцией» у славянофилов привела к парадоксальным результатам. Проиграв славянофилам политически, их оппоненты взяли реванш тем, что именно они и писали историю русского мысли. Причем речь идет даже не о том, что историография русской общественной мысли была изложена западническими либералами и радикалами в виде примитивного изображения борьбы «прогрессистов» против «реакционеров». Уже в описываемую эпоху тон в прессе и литературе задавали либералы. Им удавалось создавать репутации, формировать «общественное мнение», с которым считались и власти, и сами славянофилы. Именно культурной гегемонией противников исторической России можно объяснить тот факт, что откровенно слабые в литературном плане, но имеющие «общественную значимость» обличающие произведения становились классикой, зато многие философские и художественные произведения, созданные представителями другого лагеря, подвергались остракизму.

Под давлением «передовых» интеллигентов многие русские деятели культуры и науки оказались вне академических учреждений. Так, друг и сподвижник Ивана Аксакова, крупный исследователь русского фольклора, А. Ф. Гильфердинг, несмотря на огромный вклад в науку, был забаллотирован при выборах в Академию наук. Немецкий состав российской академии, мало изменившейся со времен Ломоносова, не мог простить немцу Гильфердингу его славянофильские взгляды. Кстати, и после смерти Ивана Аксакова подобное положение в русском академическом мире полностью сохранилось. Десятилетие спустя по аналогичным мотивам не попал в академию Д. И. Менделеев.

Идеологию и политику славянофилов, раз уж полностью замолчать их было трудно, западники разделяли на периоды. По утверж-

дению западников (причем все это без изменений перешло и в советские учебники и отчасти сохраняется и в научно-популярной литературе до сих пор), до 1861 г. славянофилы были «хорошими», поскольку боролись против крепостничества. Зато после отмены крепостного права произошло «вырождение», «упадок», «кризис», «поворот к реакции» славянофильства. Разумеется, цельность славянофильской теории западниками игнорировалась. В советскую эпоху в 1960-х гг. были отчасти реабилитированы славянофильская эстетика и литературно-критическая деятельность, но все остальное творчество славянофилов, особенно «поздних», было запрещено. Всякое упоминание о них сводилось к ругательству. Так, У. А. Гуральник в 1972 г. писал: «Это позднее славянофильство лишь отчасти напоминает тот корень, из которого оно выросло. Воинствующий национализм и панславизм, оголтелый религиозный обскурантизм и откровенное мракобесие – вот на каких принципах основывалась деятельность славянофилов новой формации»*.

Итак, в России во второй половине XIX столетия в области идеологии восторжествовала либеральная интеллигенция, в значительной степени состоявшая из инородцев. Отстаивая свои групповые интересы, они были заинтересованы в изложении истории русской мысли в соответствующем ключе. В результате, хотя сочинения Ивана Аксакова выдержали два издания сразу после его смерти, издавались его письма и литературные произведения даже в советскую эпоху, либералам удалось замолчать труды и деятельность Ивана Аксакова в сфере политики (как, впрочем, и других славянофилов).

Род Аксаковых, хотя и не обладал титулами, был одним из самых древних аристократических родов России. Родоначальником Аксаковых считался варяг Симон, племянник норвежского короля Гакона Слепого, прибывшего в Киев в 1027 г. Вообще-то русские аристократы любили выводить свою родословную от мифических «немецких» или

* *Гуральник У. А.* Достоевский, славянофилы и «почвенничество» // Достоевский – художник и мыслитель. – М., 1972. С. 429.

«ордынских» предков, «отъехавших» в Москву. Но Симон – действительно историческая личность. Согласно русским летописям, Симон выдвинулся при дворе Ярослава Мудрого. Симон принял Православие и всегда проявлял усердие в вере. Основателю Киево-Печерской лавры, Антонию Печерскому, Симон подарил на украшение алтаря золотую цепь в 50 гривен и драгоценный венец*. В Киево-Печерской лавре Симон построил Успенскую церковь, где и был похоронен. Его сын Георгий (или, в древнерусском произношении, Юрий) Симонович был боярином у князя Киевского Всеволода, отца Владимира Мономаха, а затем и самого Мономаха. Согласно Киево-Печерскому Патерику, дав в удел своему юному сыну Юрию Долгорукому Суздальскую землю, Владимир Мономах послал вместе с ним его воспитателя Георгия Симоновича. Впоследствии, когда Юрий Долгорукий вокняжился в Киеве, то Георгий Симонович стал управлять всей Суздальской землей. Интересно, что археологи среди боярских усадеб XI–XII вв. в Суздале обнаружили и дом Георгия Симоновича. Кстати, сам хозяин дома, видимо, еще не забыл свое варяжское происхождение. Так, в его усадьбе была найдена литейная форма с рунической надписью**. И в дальнейшем потомки Симона верой и правдой служили русским монархам. Праправнук Симона, Василий, по прозвищу Взолмень, был московским тысяцким в начале княжения Дмитрия Донского. В дальнейшем, в середине XV в., один из потомков Василия, Иван Федорович, получил прозвище Оксак (Аксак), что по-татарски означает «хромой», вероятно, действительно обладая таким недостатком. Именно от него пошел род собственно Аксаковых, навсегда получивших это родовое имя. От московских государей Иван Федорович получил село Аксаково на реке Клязьме. Интересно, что вместе с расширением российской территории и владения Аксаковых распространялись на восток. В 1692 г. стряпчему Петру Алексеевичу Аксакову была пожалована земля в Симбирском уезде. Там находилось село Троицкое, имевшее и

* *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 1–3. – Тула, 1990. С. 247.

** *Петрухин В. Я.* Древняя Русь. IX в. – 1263 г. – М., 2005. С. 146.

второе название – Аксаково, принадлежавшее прадеду Ивана Аксакова. Вскоре Аксаковы еще дальше продвинулись на восток.

Степану Михайловичу Аксакову (1724–1797), по словам его внука, писателя Сергея Аксакова, «тесно стало жить в Симбирской губернии, в родовой отчине», и он принял участие в колонизации Оренбургского края. Приобретя землю под Бугурусланом, Степан Аксаков переселил с Поволжья туда своих крепостных, основав село Знаменское, или Новое Аксаково. Помимо крепостных на эти же земли двинулись и новые переселенцы.

Как видим, Аксаковы могут считаться своего рода типичными представителями служилого дворянства. Родственниками Аксаковых были такие старинные московские боярские роды, как Воронцовы, Вельяминовы, Сабуровы. И в более позднее время Аксаковы продолжали служить Царю и Отечеству.

Иван Сергеевич Аксаков родился 26 сентября 1823 г., как видим, в истинно русской патриархальной семье в полном смысле этого слова. Про него действительно можно сказать, что он был рожден славянофилом. Но мы не будем рассматривать подробности его биографии, поскольку она излагается в данной книге друзьями и знакомыми Аксакова. Немного скажем о его мировоззрениях.

Сам Аксаков не считал себя теоретиком. Всю свою энергию он направлял на популяризацию славянофильского учения. Как политический деятель Аксаков сыграл значительную роль в российской и славянской жизни 1850–1880-х гг., но положение практического политика не предполагает излишнее теоретизирование. И тем не менее Аксаков по заслугам может считаться одним из виднейших теоретиков славянофильства. Если основатели славянофильства А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков заложили философскую и культурную основу славянофильства, то Аксаков может считаться создателем его политической теории. Помимо отражения «злобы дня» Аксаков много писал в своих изданиях и об основах славянофильской доктрины, хотя по своему темпераменту Аксаков действительно не любил и не писал теорети-

ческих трактатов. Основополагающие принципы Аксакова заключали единство «земли» и «государства» при духовной власти Православной Церкви. Народ («земля») должен не просто повиноваться царю (воплощающему «государство»), он должен иметь и свои права, в первую очередь право высказывать свое мнение, свои надежды и чаяния. «Силу мнения – народу, силу власти – царю!» – эту славянофильскую формулу Аксаков отстаивал всей своей деятельностью. Однако ссылкой на «народное мнение» уже в те времена все правительства оправдывали любые, даже самые антинародные поступки. Поэтому Аксаков ввел в славянофильское учение наряду с понятиями «земля» и «государство» еще и третий элемент – «общество». Общество, по Аксакову, есть лучшая часть народа, разрабатывающая народное самосознание, и именно в этом заключается принципиальное отличие общества от так называемой интеллигенции (сам Аксаков всегда писал это слово в кавычках). Нигилизм был логичным концом, до которого могла дойти лишенная национальной почвы «интеллигенция». Нигилизм появился не случайно и не внезапно. Он готовился исподволь, имея своими предтечами Курбского и «тушинских перелетов». Во времена петровских реформ произошел отрыв дворянства от народа, Церковь превратилась в звено государственного бюрократического аппарата. Отрыв просвещенного слоя от народа и национальной веры не мог не привести к появлению прослойки антинациональной «интеллигенции». Результатом был разрыв «просвещенной публики» и народа. Изменилось также и Русское государство, из земской самозащиты превратившееся в бюрократическое, абсолютистское, чуждое русскому самодержавию, европеизированное образование. Аксаков называл его Петербургом.

Одну из своих статей Аксаков заканчивал призывом: «Пора домой!» – понимая под домом исконную Русь. Думается, что и русским людям XXI в. следует помнить завет великого славянофила, что Россия может и должна занять подобающее ей первое место в мире, но только вернувшись домой, к национальным истокам.

Г. Н. Лебедева

I. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И. С. АКСАКОВА ПО ВОСПОМИНАНИЯМ СОВРЕМЕННИКОВ

А. Маркевич

И. С. АКСАКОВ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

(Речь, читанная в заседании Славянского благотворительного общества)

М. г-ни и м. г-ри!

Вы, без сомнения, обращали свое внимание на то явление русской жизни, что в последнее время все чаще и чаще сходят в могилу крупные русские деятели. Нет года, как похоронены Костомаров, Кавелин, Калачов, теперь пришла очередь и Аксакову.

Не молодыми людьми сошли в могилу эти лица; Аксакову, например, было 63 года. В эти годы можно еще работать, что Аксаковым блистательно и доказано; но все же 63 года – лета немалые; можно, свершив в пределе земном все земное, и отдохнуть от трудов своих, чего не раз желал себе Аксаков. Изнурительная работа, какой предан был Аксаков, в таком возрасте не проходит даром; и если покидает земную юдоль такой работник, то можно бы помянуть его словами: «Поживе лета довольна труждаяся... и тако добре угоди Творцу летом, к нему же по летех временных довольных преставися на вечность, и положен, есть в пеще-

ре». Но мы видим, что смерть такого работника, и особенно Аксакова, внушает всем иные чувства, видим не только горе, приличное случаю смерти, но и сквозящее в этом горе опасение, что Аксаков незаменим, что смерть его вносит в русское общество какое-то сиротство, видим как бы потемнение дальнейшей перспективы общественной жизни... Все вы, конечно, знаете хоть часть того многого, что было писано и сказано по поводу смерти Аксакова, и несомненно могли вынести именно впечатление незаменимости утраты. Действительно, в настоящее время Аксаков, как общественный деятель, никем, даже мысленно, заменен быть не может. Не заменены, да трудно сказать, скоро ли будут заменены, на своих постах и Костомаров, и Кавелин, и Калачов. Мало того, сходят в могилу и не столь крупные деятели – и те не заменены! Где преемники Данилевского? Недавно телеграф принес известие о смерти председателя Кавказской археографической комиссии Берже. Имя его мало известно русской публике, но русские историки его хорошо знают – и тоже печально задают себе тот же роковой вопрос: скоро ли найдется подобный ему двигатель исторической науки на Кавказе? Незаменимость исчезающих сил, давно уже всеми сознаваемая, заставляет нас с каждою потерею скорбеть все более и более и безнадежно смотреть в предстоящее будущее, утешая себя разве тем, что «авось» прошедшее может повториться. А прошедшее не дает надежды на повторение; а то, что мы замечаем подобное исчезание крупных деятелей во всех сферах жизни (за исключением разве одной области применения науки к техническому производству) и не в одной России, а и повсюду, заставляет думать, что мы имеем дело с явлением не случайным, а подчиненным какому-то историческому закону и имеющим свое место в истории прогрессивного развития человечества.

Смерть Аксакова – особенно сильная утрата. Сходит со сцены глава целого направления, как бы олицетворяющий в себе одном это направление, направление чрезвычайно важное, уже имеющее в настоящее время крупное историческое значение, важное не для одной России, но и для всей Европы; по всей Европе смерть Аксакова по-

чувствовалась чрезвычайно сильно, так сильно, как этого почти никто и не ожидал. Не только славянские, но и английские и американские газеты посвящают Аксакову свои столбцы. Мы слышали мнение, что иностранцам не понять и не оценить нашего Аксакова, – не оценить поэтому и нашей потери. Это не совсем верно. Понять Аксакова действительно иностранцам как следует не удалось: смешивая защиту русского коллективизма с социализмом и самостоятельность пред господствующим направлением с оппозицией, западные газеты видели в Аксакове чуть ли не папу русского социализма, который только и мечтает о том, чтобы напустить на благоустроенную в культурном смысле Европу тучи каких-то казаков и с помощью их устроить повсюду общинное владение. Это нелепость; но она имеет и некоторое извинение, и не столько в том, что Аксаков был действительно защитник коллективизма, сколько в недоумении, каким образом объяснить тот факт, что Аксаков может находиться в противоречии с господствующим направлением и даже может признаваться как бы опасным деятелем, может пострадать за свою деятельность. Казалось невозможным разрешить это недоумение мелкими, так сказать, личными обстоятельствами; для этого деятельность Аксакова была слишком видна и громка – результатом и явилось представление об Аксакове как о человеке и в России считаемом опасным, словом, как о социалисте, который от иных достоверных социалистов (иногда если не славянофилов, то, несомненно, панславистов) отличается лишь некоторыми несущественными частностями.

Но ценили деятельность Аксакова на Западе высоко, выше, чем ценили его мы. Перечтите все то, что о нем сообщено у нас по поводу его смерти. Это ламентации[1], в которых много чувства, но мало содержания. Лишь одесские газеты, как это ни странно, пытались осмыслить деятельность Аксакова; но это было сделано людьми, как раз расходящимися с Аксаковым в направлении; друзья и единомышленники Аксакова, вероятно, берегут свои о нем сочинения для исторических журналов следующего десятилетия. Словом, чувствуется, что потеря

Аксакова велика, но размер ее не определен и ее можно отнести скорее к области умственной жизни русского общества. Исчез властитель дум, пожалуй, чувств. Перечтите рассуждения западных газет. Большинство относится к Аксакову скорее враждебно; но вы видите, что для Европы смерть Аксакова – большой исторический факт, который отзовется и на судьбе Европы, как и на судьбе России.

Умер глава могучей русской партии в европейском смысле, умер человек, тративший миллионы на агитацию среди славян, кандидат во временные славяно-балканские императоры – вот что читаете вы между строк. Одним страхом для Австрии, Германии и Англии стало меньше! Очевидно, для Европы умер не Аксаков, а тот, кем должен был бы быть Аксаков, если бы... если бы он в действительности не был только русским публицистом, крупным, очень крупным, но даже не всегда влиятельным.

Важное значение, придаваемое Аксакову, особенно в истории развития славянского самосознания, которому служит и наше славянское общество своею общеславянской благотворительностью, факт, что Аксаков был в нем почетным членом, – все это кладет на нас обязанность почтить его память более точным определением его значения. Общество поручило это сделать мне. Не без страха, ввиду важности задачи и минуты ее решения, решился я исполнить желание общества. Почти не зная Аксакова лично, знакомый лишь с его печатными трудами, я едва ли и в состоянии буду сделать верный и точный анализ его деятельности и выяснить его значение; но если молчат люди, которым следовало бы говорить – вопиют камни. Лицу, претендующему быть хоть в малой мере летописцем русского народа, невозможно не иметь об Аксакове своего суждения: смерть Аксакова не застала поэтому меня врасплох, и мне остается только повторить известные слова летописца: «И ныне господа отци и братья, оже ся где буду опи-

сал, или переписал, или не дописал, чтите исправливая Бога деля, а не клените, зане-же... ум молод не дошол».

Я предполагаю, хотя и кратко, остановиться на биографии Аксакова, по тесной связи ее с его общественною деятельностью, кратко же остановлюсь на нем как на поэте и, особенно, разумеется, постараюсь сказать о нем как о публицисте.

Не один И. С. Аксаков сделал имя Аксаковых знаменитым. В летописях русской литературы вечно будет памятно имя его отца, в русской исторической науке имя его старшего брата.

Кто не читал знаменитых сочинений С. Т. Аксакова: «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука». Всякий знает и то, что это фамильная летопись Аксаковых, что С. Аксаков весьма художественно, но совершенно реально изобразил свое собственное детство и юность, своих родных, свою деревню и т. д. Автора одушевляла любовь к деревне, к ее тихой и размеренной жизни с вековечными развлечениями вроде охоты и рыбной ловли. Аксаковы были люди богатые, и строй их жизни уже носил отпечаток того культурного перелома, который совершился в русском обществе в XVIII веке; но в деревне, да еще в глуши, где-то на оренбургской окраине, помещики могли вести жизнь и по-старинному, русским обычаем, освобождаясь от, в сущности, тяжелого для них западноевропейского культурного налета. Повторился обычный закон миграции: колонисты удерживают более старинных форм жизни, чем таковых сохраняется в метрополии. На оренбургской окраине, среди редкого там в то время русского населения, русские люди постоянно чувствовали себя более русскими, чем они чувствовали бы себя в Казани, не то что в Москве, со всеми ее культурными развле-

чениями, не говоря уже о Петербурге. Все это хорошо видно из сочинений С. Т. Аксакова; он был именно вполне русским человеком в популярном значении этого слова; несомненно, И. С. Аксаков, как и брат его, с детства жившие в такой русской атмосфере, и воспитались вполне русскими же людьми. С. Т. Аксаков, в молодости живя в столицах, вращался в кружках шишковистов, которые отстаивали дорогую им, хотя плохо ими понимаемую, славяно-русскую старину против западноевропейских литературных учений, особенно против «революционного» сентиментализма. Странно сказать, в молодости С. Т. Аксаков был ложноклассик, но это было до того запоздалое в 20-х гг. XIX в. направление, что Аксаков был таковым лишь в силу знакомства с Державиным и другими орлами ложноклассицизма и, уехав в деревню, совершенно превратился из писателя в помещика, место пера или карандаша занято было ружьем и удочкой, вместо нравов литераторов он изучил нравы птиц и рыб и бродил по лесам, степям и болотам, забыв о литературе, – его первые литературные грехи известны лишь одним библиографам.

О матери Аксакова известно пока немного. Промелькнуло известие, что она, как вообще матери замечательных людей, отличалась большими достоинствами и имела на своих детей первенствующее влияние, но подробных сведений о ее личности мы не имеем.

В такой семье молодые Аксаковы могли получить, помимо наследственных дарований, и уважение ко всему русскому, и любовь к деревне, к земле, в широком смысле этого слова, и первоначальное хорошее образование – они слышали рассказы отца о писателях и научились с уважением относиться к литературе.

И. С. Аксаков родился в с. Надеждине Оренбургской губернии 26 сентября 1823 г. Еще не думая о переезде в одну из столиц, С. Т. Аксаков послал туда воспитываться детей. И. С-чу пришлось воспитываться в Школе правоведения[2]. Школа эта недавно праздновала свой 50-летний юбилей, благодаря чему выяснилось ее значение для нашего общества, теперь, впрочем, утратившееся. Когда гром побед наших выдвинул на первое место военную службу до того, что служение в

статской считалось чуть ли не унижением и самое слово «чиновник» было синонимом взяточника и крючкотвора, правительство, нуждаясь в хороших чиновниках не менее (если не более), чем в хороших офицерах, создало Школу правоведения с целью путем устройства привилегированного аристократического заведения привлечь на статскую службу людей материально обеспеченных и образованных. Цель эта была достигнута, и Школа правоведения дала много полезных и доныне деятелей и сохраняла свое назначение вместе с привилегиями до тех пор, пока развитие университетов не упразднило этого ее первоначального значения; почему оставшиеся ныне привилегии и являются в глазах многих уже анахронизмом. И. С. Аксаков поступил в Школу правоведения, чтобы быть чиновником. Окончив ее в 1842 г., он и стал чиновником, и именно таким, как это было желательно. Он сознательно пошел служить Родине провинциальною службою, пошел, так сказать, в народ, чтобы помочь ему в пределах возможного. Нам нет цели следить все перипетии служебной деятельности Аксакова, продолжавшейся около 10 лет. Мы скажем лишь, что она была разнообразна и доставила ему возможность исколесить всю Россию и познакомиться с ее бытовыми порядками. Это впоследствии весьма пригодилось ему как публицисту. Еще недавно, когда противники реформ прошлого царствования обрушивались на земские и судебные учреждения и противопоставляли им старые административные и судебные порядки, идеализируя их, Аксаков в своей «Руси» дал такие удручающие картины этих порядков и нарисованные с таким знанием дела, какое немыслимо у его противников, что ни один голос не рискнул возразить, что они утрированы. И хотя противники не замолчали, но, по крайней мере, общество поняло, где правда.

Во время службы Аксаков познакомился с расколом, познакомился с положением русского дела в Западном и в Остзейском краях – все это опять-таки очень пригодилось ему как публицисту.

Когда тяжелые времена Крымской войны потребовали от России чрезмерных пожертвований, общественных и частных, Аксаков внес

и свою патриотическую лепту. Он пошел служить в ополчение. Судя по известиям газет, он не только честно выполнил свои обязанности, но и в малой роли успел стать заметным. Уже совершенно окончив службу, Аксаков по поручению Русского географического общества изучал украинские ярмарки, результатом чего и явился чрезвычайно ценный в научном отношении и очень живо написанный труд Аксакова об этих ярмарках, увенчанный медалями и премиями. Но он не приобрел публицистического значения. Провинциальная служба не разрывала близких отношений Аксакова к Москве, куда переехала наконец жить вся семья Аксакова, где С. Т-ч занял видный служебный пост, а старший брат Аксакова, Константин, окончив университет, изучал русскую историю и литературу. Дом Аксаковых был в 40-х гг. своего рода литературным центром, особенно когда С. Т-ч, рассказы которого о былом столь нравились сыновьям, уступая их просьбам, согласился свои рассказы написать и напечатать, результатом чего и было появление «Семейной хроники» и др. сочинений, доставивших С. Т. Аксакову знаменитость. В доме Аксаковых Гоголь был своим человеком, Островский там впервые прочел «Свои люди – сочтемся» – все писатели считали долгом быть людьми, близкими к патриарху русской литературы. Еще более привлекала к себе благородная личность Константина Аксакова. Из воспоминаний Панаева и др. современников можно получить достаточное представление об его кружке; друзьями его были лучшие из людей 40-х гг.: Белинский, Грановский, Герцен, Станкевич и т. д. (не говоря уже о так наз. славянофилах[3], они оставались его друзьями, даже разойдясь в своих мнениях по весьма существенным общественным вопросам. В этом-то кружке И. С. Аксаков воспитал себя как литератора; особенное влияние имел на него, разумеется, его брат.

Направление, господствовавшее в аксаковском кружке, позднее стали называть славянофильским. Этот термин настолько близко пристал к деятельности И. С. Аксакова, что стал как бы его эпитетом. Аксаков и славянофил – это синонимы; славянофильством определяется значение

И. С. Аксакова – поэтому на вопросе о славянофильстве необходимо хоть несколько остановиться.

Мне приходилось уже не раз, м. г-ни и м. г-ри., например, по поводу смерти Достоевского, Писемского и, особенно, Костомарова, с этой кафедры говорить о славянофильстве, его происхождении, литературном и общественном значении. Не хотел бы я повторяться, но, вы понимаете, избежать в данном случае повторения невозможно, и мне только остается постараться быть как можно более кратким, чтобы дать о славянофильстве и его значении лишь возможно ясное понятие, хотя бы и не вполне точное.

В славянофильстве надобно различать две стороны: политическую, более важную, и литературную, более известную. Славянофильство значит славянолюбие, но термин этот путем обычного в языке расширения понятия обозначает то, что точнее следовало бы назвать, да так и называют, панславизмом, то есть желанием славянского единения, политического и духовного. Возможно ли это единение, и при каких условиях возможно – это иной вопрос, но мы подчеркиваем тот факт, что в течение 1000 лет с того времени, как Св. братья Кирилл и Мефодий трудились для всего славянства, всегда были люди, считавшие его возможным (см. известное соч. Первольфа о славянской взаимности) и пропагандировавшие такое единение словом или делом. Когда, благодаря применению принципа рационализма к государственным наукам, возникла теория национальности государств, то хотя она и не всегда соответствовала действительности (например, в Швейцарии), но оперлась она на большое сочувствие в народе, даже в наименее развитых его классах, результатом чего и было стремление в XIX в. к образованию больших национальных государств, что во многих случаях и увенчалось успехом. Понятно, что такое стремление существовало и среди славянских народностей, не только разбитых на многие государства, но и еще находившихся под тяжелым игом иноземцев. И мы видим возникновение в XIX в. более активного панславизма, более частые и всевозможные сношения славян между собою, организацию

общеславянских учреждений (например, хотя бы славянских благотворительных обществ) и, как венец всего, участие России в освобождении славян и в улучшении их быта, которое и Европою, и нашим обществом, правильно или нет – решит будущее, понимается именно как служение делу славянства. Даже судьба австрийских славян, число которых благодаря нам, увы! так сильно теперь увеличилось, и она улучшилась благодаря страху, который внушает Россия Австрии, почему мы считаем себя вправе повторить известную фразу Ламанского: Россия полезна славянам уже тем, что она существует.

Политический панславизм вполне понятен, особенно теперь ввиду пангерманизма. Мы не принадлежим к числу немцеедов; скажем более, для нас и вообще весь национальный вопрос имеет лишь служебное значение, но в наших глазах в данное время панславизм является чуть ли не единственным оплотом высших сторон цивилизации от тех инстинктов, которые, не составляя, конечно, сущности пангерманизма, однако крепко привились к нему и грозят восторжествовать в целом мире.

Панславизм Европе понятен, иные там возлагают на него, подобно нам, большие надежды, другие его страшно боятся! В Европе, как мы говорили, главою панславизма в последнее время считался Аксаков, что и небезосновательно. Но что панславизм не идентичен с аксаковским и вообще русским славянофильством, видим из того, что великим панславистом у нас был Петр I, очень сильными панславистами были Пестель и Герцен, а это все имена, от которых настоящие славянофилы готовы открещиваться. Панславистами были и Костомаров, и Шевченко, но к славянофилам их не причисляют.

Дело в том, что в славянофильстве, помимо политической, есть еще и литературная сторона, она-то значительно и окрасила деятельность славянофилов. Грядущее объединение славян рождало у панславистов вопрос о строе жизни, который установится среди объединенных лиц; желавших, подобно Бакунину (тоже панслависту), до того разрушить современный общественный строй, чтобы камня на камне не осталось, а что выйдет далее, это там само собою уже выяснится, было немно-

го. Большинство желало выяснить положительный идеал будущего устройства, причем, конечно, разошлось в его понимании. Для Герцена и его кружка панславизм укладывался в будущем в европейские формы жизни, и не столько уже существующие, сколько начертанные смелым пером современных ему французских экономистов. Известно, что такое несогласие в идеале и было причиною распадения московского кружка людей 40-х гг. на частные кружки, среди которых выделился и кружок славянофилов. Но большинство панславистов относительно идеала будущего строя подчинилось господствующему в их время литературному направлению – романтизму.

Романтизм – в смысле искания идеала в национальном прошлом – явился в Европе реакцией против нивелирующей рационалистической демократической сентиментальной литературы XVIII в., которая считалась в значительной степени виновницею потрясений, испытанных миром в эпоху Французской революция. Современность носила космополитический характер, в будущем он имел тенденцию усилиться, идеалы были общеобязательные для всего человечества – реакция и выдвинула идеализирование национального прошлого. Мир надо повернуть назад, в эпоху полной гармонии веры и жизни, чуждой всякого рационализма, в эпоху единства всего общества, будто бы не разделенного культурными перегородками (и то и другое, впрочем, не было верно). Значение национализма в реакции усилено было еще и господствовавшими в половине XIX в. философскими системами, учившими, что всякой национальности суждено двигать прогресс человечества внесением в него какой-либо идеи, поэтому необходимо особенно заботиться о сохранении национальности, что шло в полный разрез с учением энциклопедистов об однообразном прогрессе всего человечества. Германские философы (тогда господствовавшие) венцом прогресса считали то развитие личности, которое будто бы внесено в историю человечества германской нацией, а славян считали за совсем непрогрессивную национальность, от варварства которой нужно оберегать европейскую цивилизацию, которую, пожалуй, можно и даже

полезно германизировать; но такое мнение, разумеется, не имеет никакого значения.

Тем не менее германская философия, как известно, сильно отразилась на наших людях 40-х гг., и в том числе на славянофилах. Теория возвращения к национальному идеалу именно вытекла из германской философии, а не из самого знакомства с национальным прошлым, откуда необходимые факты были подставлены лишь впоследствии, да и то не совсем еще под эту теорию. Это вовсе не говорит против ее верности, мы только просто анализируем ее происхождение.

Но национальное наследие для России XIX в. весьма велико. Время догосударственного быта, удельно-вечевая Русь, московское государство, козатчина, эпоха Петра Великого – есть что нам вспомнить и где пытаться искать себе идеалов для будущего! Поэтому романтики наши так и разошлись, что Аксаков и другие славянофилы не считают своими не только Костомарова или Шевченко, но даже Погодина, идеализировавшего Петра Великого. Только тот истинный славянофил, кто ищет идеалов в Московской Руси; причем обязательно, чтобы он был и панславистом, хотя из теории романтизма это, в сущности, не вытекает.

В речи о Костомарове я подробно говорил, что привлекало славянофилов в московском периоде или, вернее, что для них, коренных москвичей-великороссов, страстно любивших свою, в тесном смысле, родину, могло послужить в нем для оправдания такого ее превознесения. Отсутствие культурного средостения между классами населения от Царя и до холопа, общее единение Земли, например, Царя со своим народом, широкое развитие коллективизма и альтруизма, действительно крайне желательное как и противодействие безмерному развитию западноевропейского эгоизма личности – все это возвышает в некоторых отношениях московский период над XVIII и XIX вв. Но мы говорили и то, что истинное господство указанных принципов жизни было не в московском периоде, а в удельно-вечевое, даже, может быть, в догосударственное время; что эти принципы во все течение исторической жизни

русского общества разлагались и ослаблялись, уступая место иным, например господству государственных начал, и о сравнительной важности старых и новых принципов возможны долгие и, к сожалению, нерешаемые по своей схоластичности споры; что в Московском государстве идеальный для славянофилов строй жизни был настолько проникнут новыми началами, что славянофилы никогда точно не могли указать, какая именно эпоха Московского государства им особенно симпатична; что, наконец, в московский период была потеряна дорогая для всех славян и поныне идея федерации; что неправильно было и отношение к области мысли, особенно религиозной.

Славянофилы на все это закрывали глаза, панруссизмом в подходящих случаях заменяя панславизм и настаивая на религиозном объединении, которое неизвестно как должно было произойти. От этого их идеалы всегда были не строго определенны, а как-то туманны, и, имея громадное значение для своего времени, они не составляют, в сущности, искомого желаемого будущего.

Не время и не место нам вносить в наше изложение споры, но нам кажется, что при всем глубоком уважении к личности и деятельности Аксакова и сходясь с ним в самом существенном – в панславизме, в вере в славянскую идею, мы, являясь здесь в роли университетского наставника, уже приобрели себе право и самостоятельного отношения к частностям аксаковских теорий, хотя бы и весьма важных для самого Аксакова и его учеников и последователей.

И. С. Аксаков вырос в атмосфере славянофильства; при своем уме, образовании, развитии и энергии он должен был приобрести в нем важное значение. И точно, он всегда был выдающимся славянофилом, а в последнее время это был глава его, более влиятельный и более полезный ему, чем кто-либо иной. Но такое положение далось ему не сразу. И. С. Аксаков начал работать тогда, когда уже давно действовали его

старшие братья не только по родству, но и по убеждениям. Имена Киреевских, Конст. Аксакова, Хомякова, Языкова, Тютчева были громки уже в 40-х гг. Самарин, Милютин, Черкасский, Кошелев уже проводили в жизнь идеи славянофильства. Валуев успел уже умереть. Воспитанный в литературной семье, И. С. Аксаков начал свою деятельность изящною литературою, тем более что его служебные обязанности исключали для него возможность быть публицистом. Да и публицистика была тогда не в ходу. Публицисты, старшие, чем И. С. Аксаков, Белинский и Герцен, должны были проводить свои идеи в критических статьях и беллетристических произведениях; особенно же славянофилам, о которых еще в 50-х годах московский генерал-губернатор гр. Закревский доносил как о людях крайне опасных, «готовых на все», правда, причисляя к ним и Погодина, и откупщика Кокорева, и многих и поныне живых деятелей, известных своею благонадежностью, им и подавно трудно было проводить свои идеи публицистическим путем. В изданных ими нескольких сборниках можно найти полное выражение славянофильских взглядов, но это книги и статьи не для легкого чтения.

И. С. Аксаков стал поэтом, он и был им в действительности, но не столько в своих стихотворениях, сколько, например, в передовых статьях о Руси. Стихи его, за немногими исключениями, носят слишком субъективный характер, что при философском складе мнений Аксакова делает их не общепонятными, чем нарушается одно из существенных правил эстетической теории, что чувства автора лирических произведений по возможности должны быть типичны. Впрочем, такое было философствующее время; конечно, мы не имели русского Шелли, но Аксаков, даже Тютчев и Огарев зачастую были философствующие поэты, и лишь Майков, Никитин, Полонский и др. их сверстники – художники-поэты, а особенно Некрасов, вернули нашей лирике ее популярный характер.

Но некоторые стихотворения Аксакова превосходны: «Большая дорога, прямая дорога» или «Жар свалил, повеяла прохлада» – известны каждому из хрестоматий; «Всенощная в деревне» дает вполне художе-

ственную картину; «Усталых сил я долго не жалел» отличается глубоким чувством. Разумеется, у Аксакова не было и намерения стать народным поэтом, хотя бы в таком смысле, как был им Кольцов; но любопытно, что Аксаков искал для себя образца в нормах народной поэзии и подметил и даже писал стихотворения тем народным складом (впрочем, кажется, недавнего происхождения), который с таким блеском обработал позднее Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» и еще в некоторых стихотворениях («Идет, гудет зеленый шум»). Возможно, что имеем дело с совпадением, но возможно и заимствование.

Можем указать и еще на одно интересное литературное сходство. И. С. Аксаковым написано несколько сцен из провинциальной чиновной жизни, в том числе комедия целая, написанная лет 30 назад, но напечатанная лишь недавно, она прошла в литературе незаметно, но и эта комедия и другие сцены Аксакова поражают сходством с произведениями Щедрина. Очевидно, и те и другие явились как результат обличительной литературы гоголевского периода, в зависимости от превосходного и вполне беспристрастного понимания обоими авторами нашей провинциальной жизни.

Мы охотно сознаемся, что наше суждение об Аксакове как о поэте не совсем полно, и присоединяемся к общей просьбе русской печати к друзьям Аксакова, чтобы они скорее издали его беллетристические произведения.

И. С. Аксаков оставил занятия изящною словесностью и перешел к публицистике; из его стихотворений видно, что он сделал это вполне сознательно, что в его глазах публицистика была важнее в смысле служения обществу, чем поэзия. Не будем возражать против этого мнения; по крайней мере, в применении к Аксакову оно дало блистательные результаты. А что славянофилам необходим был крупный публицист – это совершенно верно. Славянофильство имело своих богословов (Хомякова, Ю. Самарина), философов (И. И. Киреевского, позднее Данилевского), историков и историков-юристов – только такую юриспруденцию славянофилы и понимают (Валуева, К. Аксакова,

впоследствии Забелина, Бестужева-Рюмина, Ламанского), историков литературы и собирателей памятников народной поэзии (К. Аксакова, И. Киреевского и мн. др., позднее Ор. Миллера), теоретиков искусства (Чижова), беллетристов (Кохановского) поэтов (Языкова, Тютчева, Хомякова), даже практических деятелей (Милютина, Ю. Самарина, Черкасского, Кошелева и др.), но среди них не было настоящего публициста, который мог сравняться относительно могучего влияния на публику словом с Белинским, Грановским, Герценом, а позднее с сильными публицистами «Современника», с блестящим, хотя и парадоксальным, Писаревым или с художественно озлобленным Катковым. Собственно говоря, все названные выше славянофильские писатели были публицистами – но одни, как Хомяков, уносили вопрос, о котором вели речь, в заоблачную даль трансцедентального его понимания, другие, например К. Аксаков, старались более всего о мягкости и деликатности статей, чтобы как-либо кого не задеть, не оскорбить, лучшие произведения Ю. Самарина не могли быть напечатаны по цензурным условиям и т. п. Сравнивая простые критические статьи славянофилов со статьями Белинского или Добролюбова, видно, что даже в тех случаях, когда славянофилы были правы, у них не хватало умения вселить сознание своей правоты в публику, так как они постоянно примешивали к каждому честному вопросу столько посторонних вещей, и притом в столь отвлеченной форме, что усвоить их тогдашняя русская публика не могла. Блистательны и глубоко справедливы статьи К. Аксакова по поводу сочинений Соловьева, но публика все-таки знает Соловьева, учится по Соловьеву, а не по К. Аксакову[4].

Итак, славянофилам необходим был настоящий публицист. Он должен был явиться путем подбора и путем изучения славянофильской (да и иной, конечно) публицистики. Таким публицистом и явился наконец И. С. Аксаков, выразившей в своих статьях те идеи, которые хотели проводить в жизнь славянофилы. Он был крупный публицист, в свое время с успехом боровшийся с выдающимися публицистами «Современника», а в последнее время – самый крупный в нашей жур-

налистике. Как ни громок голос редактора «Московских ведомостей», как ни чутко прислушивается общество к его, несомненно, талантливым передовым статьям, но оно хорошо понимает разницу между значением этих двух выдающихся публицистов последнего времени, независимо от степени убежденности их самих в распространяемых ими теориях. Общество знало, что статьи Каткова выражают лишь мнения известного кружка лиц, правда очень влиятельного в действительности, но держащегося этих мнений в лучшем случае по рутине, из боязни всяких новшеств, «хотя бы в них чувствовалась, в сущности, глубокая старина, тогда как Аксаков предоставлял собою действительно целое направление, подобно публицистам «Современника» – Белинскому и Грановскому. И если в мнениях этих двух выдающихся публицистов иногда оказывалось сходство, то лишь в таких случаях, когда устами и того и другого говорил простой русский патриотизм. Но было ли направление Аксакова народным, как это заявляется в газетах, и можно ли назвать Аксакова народным писателем? Ответить на этот вопрос мы не считаем себя в силах, ибо сами не знаем идей и чувств народа, как и все лица, судящие о народе. Имя Аксакова пользовалось кое-где в народе популярностью, чувства его иногда, наверное, совпадали с чувствами народа, но едва ли народ разделял бы некоторые экономические и педагогические его взгляды. Мы даже думаем, что у Аксакова не было того истинного знания народа, какое есть например у гр. Л. Толстого.

Какие идеи проводил Аксаков в своей публицистике, нет нужды говорить, раз мы знаем, что он был славянофил, наконец, его литературная деятельность должна вам быть и известною, ниже мы остановимся лишь на том, как проводил он свои идеи, чем Аксаков заслужил знаменитость сравнительно с иными славянофилами.

Аксаков жил постоянно в Москве, там он издавал и свои журналы. Еще в 1852 г. он издал том обычного славянофильского сборника («Московский сборник»), но цензурные условия оказались неблагоприятны дальнейшим его изданиям. Когда в половине 50-х гг. наступило

в русской жизни более легкое время, славянофилы, как и все другие направления, воспользовались этим облегчением и, хотя не без сильного противодействия местной администрации, стали издавать первый действительно славянофильский журнал «Русскую беседу», редактором которой был сперва Кошелев, а потом И. С. Аксаков. Помимо выражения идей славянофильства этому журналу в значительной степени принадлежит честь подготовки русского общества к величайшему событию прошлого царствования – освобождению крестьян. Кошелев и К. Аксаков, не менее чем Кавелин и другие публицисты, повлияли на разрешение вопроса об улучшении быта крестьян, и притом в известном направлении, Н. Милютину же и др. славянофилам принадлежит крупная роль в практическом осуществлении освобождения крестьян. Ныне более чем когда-либо уместно помянуть добрым словом великих ратоборцев за это освобождение, так как на днях (19 февраля) исполняется 25-летие со времени великой реформы.

Я не могу припомнить, почему прекратилась «Русская беседа», во всяком случае она не пользовалась сочувствием администрации. Но начавшая издаваться в то же время Аксаковым газета «Парус» была прекращена цензурою на одном из первых номеров; очевидно, на славянофилов все еще смотрели как на людей, не совсем благонадежных.

Но что всего удивительнее, что административные кары падали и на последующие издания Аксакова – «День», «Москву» и др., когда уже славянофилы, в лице Аксакова, могли вполне высказаться и, следовательно, деятельность их могла быть оценена не чтением их статей между строк. Даже последний и столь популярный аксаковский журнал «Русь» незадолго до смерти редактора получил предостережение за недостаток истинного патриотизма! Признание за Аксаковым патриотизма, сделанное ныне с высоты Трона, избавляет нас от защиты Аксакова в столь странном, чтобы не сказать более, упреке.

Положим, у славянофилов могли быть грехи, вроде прежней дружбы с либералами 40-х гг. или слишком смелых стихов К. Аксакова и особенно Хомякова; но когда же все это было и не слишком ли многое

изменилось у нас с того времени. Наконец, И. С. Аксаков тут уж совсем не причем. Кошелев до последних дней печатал за границею книги, которым не было места у нас, и нисколько за это не пострадал.

Мы не ошибемся, если скажем, что в административных гонениях на Аксакова главною причиною была политическая сторона. Европа представляла себе славянофилов очень влиятельною старорусскою партией, а Аксакова – ее главою. Она знала, что Аксаков пользуется всеобщим уважением, и на какое-либо заявление Аксакова смотрела, как на событие. Нужно было показать, что это не так, что в нашей внешней (или даже внутренней) политике мы руководимся иными соображениями, которые более по сердцу западным державам; словом, Аксаков бывал приносим в жертву нашим иностранным отношениям, поэтому при том уважении, которое не мог не внушать Аксаков высшим правительственным лицам, падавшие на него административные кары, в сущности, были очень умеренными сравнительно с теми, которым подвергались представители нашей действительно оппозиционной печати, и имели смысл скорее устранения его, да и то временного, чтобы он «не мешал, не препятствовал успехам славянства»!

Но и характер самого Аксакова, как публициста, делал его не то что опасным в глазах правительства, а беспокойным. Казалось, что он не понимает своей роли, дает советы, когда его не спрашивают, и, что всего обиднее, чувствовалось, что советы его вполне уместны и справедливы, но им почему-либо не желали следовать. Что остается делать в таких случаях? Просить замолчать. Если бы Аксаков «то же слово, да не так бы молвил» – все было бы благополучно. Но он был человек, верующий в свои идеалы, любивший свою родину, понимавший, в чем ее польза и в чем ее вред; публицист нервный, страстный, честный, искренний, готовый сказать правду, как бы она ни была неприятна (все это признано даже его литературными противниками), и от него требовалось, чтобы он спокойно писал что-то вроде мемуаров, которых никто не читает и которые, будучи лет через 25 напечатаны в «Русской старине», показали бы, что вот мол были и вполне справед-

ливые мнения, да жаль, что о них никто ничего не знал и никто поэтому не мог ими воспользоваться. Мыслимо ли это для публициста?

Мы подошли к главному нерву деятельности Аксакова, к его характеру как публициста. Об Аксакове можно сказать, как о Гете: «На все отозвался он сердцем своим, что просит у сердца ответа». Он писал не чернилами, а кровью. Болезнь сердца все более и более развивалась от его литературных трудов, а еще более от несвоевременного литературного молчания, оно и разорвалось от тех волнений, которые пришлось переживать Аксакову в своем литературном деле. Аксаков именно умер, как часовой на своем посту. В газетах промелькнуло сравнение его с русским богатырем. Лучшего сравнения нельзя и подобрать. Это именно был последний русский богатырь. И наружность его была крепкая, богатырская; точно Илья Муромец, он казался крестьянским сыном (только вооруженным трубками немецкими). На мощном коне своих журналов и газет полевал он по всему царству русскому широкому, очищал поля его от всякого каменья, мечом кладенцем своим – печатным словом защищал Землю Святорусскую от всех ее врагов и каленой стрелой – статьей бил прямо в глаз всяких разбойников, хоть бы они прикидывались соловьями, очищая от них дорогу прямоезжую, – к счастью России, которую они залегли на десятки лет; и нельзя было подкупить его никакою золотою казною. Честно он служил ласковому Князю стольного города, Его Семье и правительству, но знал себе цену, требовал себе соответствующего уважения и в случае чего мог свистнуть таким богатырским посвистом, что деревья с корнем выворачивало. И не раз тряслись от этого посвиста и шенбрунские дубы, и берлинские липы, и лавры Ватикана!

Как старый казак, Аксаков был умудрен опытом, но мог он выйти из себя и нарушить меру своего спокойствия, мог и крепко стукнуть кого своей богатырскою дланью. Он близок был земле и из нее черпал свою силу. Он был религиозен, как и подобает древнерусскому богатырю, помнил родительское благословение и не проливал крови христианства. И перевелся он так же, как вообще перевелись витязи

на Святой Руси: подошла к нему сила нездешняя, с которою никакому богатырю не управиться, и с могучих плеч сняла голову не большой горой, а соломенкой. И окаменелый лежит этот богатырь во темном гробу на горе друзьям и на радость врагам!

Публицистическое богатырство Аксакова выросло постепенно; не раз ему приходилось бороться с тем, что на писателя действует хуже цензуры, – с равнодушием публики. И Аксаков боролся; смело шел он вразрез с тем, что называется общественным мнением, хотя зачастую и сам сомневался и вообще в значении печатного слова, и в значении собственных статей, хотя они, по его выражению, делали большой резонанс на историческую ежедневность; и, наконец, сумел заставить себя слушать, он сумел даже подчинить себе это пресловутое общественное мнение, изменчивое подобно хору древней трагедии.

Но равнодушие в иных случаях публики к такому публицисту, как Аксаков, представляет собой столь интересное и важное явление, что о нем необходимо сказать хоть несколько слов.

Из лиц, придающих громадное, и притом прогрессивное, значение развитию национальностей, одни в нем видят и ближайшую, и дальнейшую цель, не думая о последующем; другие, считая окончательною целью счастье человечества, видят в национальном развитии лишь залог этого счастья, могучее средство прогресса. Они рассуждают, что не человек создан для субботы, а суббота для человека. Аксаков был националист по преимуществу, фанатик национализма, вне которого он не видел ничего отрадного. Вот когда общество волновалось какими-либо экономическими, философскими или даже практическими вопросами, от решения которых, казалось, зависит счастье людей, Аксаков все-таки звонил свой славянский гимн – и тогда имел мало внимательных слушателей. Но, когда историческая жизнь выдвигала вперед вопросы национальные, Аксаков немедленно приковывал к себе всеобщее внимание и находил массу последователей. Особенно это сказывалось в минуты наших внешних затруднений. Каковы бы ни были наши внутренние счеты, мы не пойдем из-за них разорять

свою родину, как шли некогда французские эмигранты, мы не будем, как немец Шварценберг, рассуждать, что нам выгоднее – драться за немцев или против немцев; пред лицом внешнего врага мы положим под сукно свои распри и дружно станем против врага. Война за освобождение славян слишком близка и памятна, чтобы мои слова могли нуждаться в иллюстрациях. В такие минуты Аксаков действительно являлся народным трибуном.

Увлечение национализмом, доставившее силу и славу Аксакову, было, как и всякий фанатизм, и его недостатком. Не раз читатели «Дня» или «Руси» бывали шокируемы появлением на страницах этих журналов таких мнений, особенно экономических, которые лучше бы было Аксакову не прикрывать своим авторитетом. Не раз эксплуататорская постройка железной дороги или другое меркантильное предприятие фигурировали в качестве русского национального дела; мелькали и крепостнические выходки. Словом, выбор сотрудников у Аксакова казался не всегда удачным, на что он и сам не раз жаловался, особенно на отсутствие молодых сил, но среди молодых панславистов трудно найти чистых славянофилов. Но все сотрудники Аксакова были действительно русские патриоты, нелицемерно преданные славянской идее и жертвовавшие для нее иногда огромными средствами, – обмануть Аксакова в этом отношении было нельзя. Человек, эксплуатировавший своих крестьян или спаивавший народ, был горячим патриотом и искренно верующим славянофилом, все равно как, положим, купец (безразлично какой бы то ни было национальности и религии), обманувший на грош покупателя, делает в то же время тысячное пожертвование религиозного характера. Разве можно упрекнуть его в нерелигиозности? Он только недостаточно ясно объективирует в своем сознании известный принцип, что «вера без дела мертва есть».

В политических партиях люди группируются по одной какой-либо, в данное время господствующей, идее. Аксаков именно группировал лиц по идее национализма, как он ее понимал. В силу этого он мог восхищаться национальным характером деятельности в Западном

крае гр. Муравьева (в сущности, сильно приукрашенной самым графом) и перенести это восхищение и на личность Муравьева, которого прежняя деятельность в России имела крайне бюрократический и не национальный характер. Отсюда вытекает и не всегда терпимое отношение Аксакова к иным национальностям: их развитие в его глазах шло в ущерб развитию национальности славянской. Нетерпим он был и относительно польской национальности, и опять по той же самой причине; притом он не мог помириться с польским католицизмом. К иным славянам-католикам он относился терпимее, ибо сильнее верил в возможность их возврата к Православию. Но и поляков, как славян, он все же любил братскою любовью. Но даже относительно единения в религии Аксаков, человек, глубоко преданный Православной Церкви и лишь не совсем довольный бюрократическими формами, в которое облеклось духовенство начиная с XVIII века, делал уступки. На страницах «Руси» появлялись статьи Вл. Соловьева, за которые автор в Московском государстве был бы по меньшей мере заключен в монастырь. К расколу Аксаков относился еще благосклоннее, особенно к тем его фракциям, которые более всего подают надежды на единение с Православною Церковью, ибо отличаются от нее лишь обрядностью, и которые, в сущности, наиболее выражают чисто московское направление. Раскольники бывали у Аксакова даже сотрудниками.

К славянам же вообще Аксаков относился именно как к братьям, но он искренно верил, что они меньшие братья русского народа, которому и обязаны вполне подчиняться, «смотреть на него», и появление в среде славян какой-нибудь новинки, не существующей в России, Аксаков рассматривал уже как измену национальной идее славянства, зато на Россию он возлагал обязанность всегда всеми способами помогать своим меньшим братьям и оберегать их, не жалея для этого даже дорогой своей крови.

По совершенно иным основаниям враждебно относился Аксаков к появлению областной русской литературы, если бы такою областью была Галиция, даже если эта литература являлась элементарно педа-

гогическою. В этом случае он разошелся со старшими славянофилами, которые давали место в «Русской беседе» статьям Максимовича и восхищались Шевченко, видя в нем замечательного славянского поэта. Они даже защищали украинскую литературу от нападок Белинского. Для Аксакова местная литература была уже сепаратизмом, ослабляющим силу одной господствующей национальности. Односторонность его воззрений в данном случае не нуждается в доказательствах, не говоря уже о том, что и здесь человек приносится в жертву субботе.

Иные называли Аксакова консерватором, но это совершенно неверно. Он пропагандировал именно глубокие реформы. Уж вернее бы называть его ретроградом, ибо он звал русскую жизнь назад, в Москву, как он выражался: домой! Туда же он символически звал и правительство от ненавистного ему центра «бюрократии и канцеляризма» Петербурга. Он скорее бы согласился даже на Киев! Но термины: «ретроград», «консерватор», «прогрессист», «либерал» и т. п., как взятые из современной европейской политической практики и имеющие самое тесное отношение к идее 3-го сословия, совершенно неприложимы к людям, которые группируются по религиозным, национальным или исключительно экономическим интересам, и применение их в данном случае было бы грубым недоразумением. Аксаков разве потому был консерватором, что постоянно защищал многие из реформ прошлого царствования, уже вошедшие в русскую жизнь, например судебную. Особенно блистательно защищал он существовавшую уже степень свободы, в которой видел драгоценное, особенно для правительства, орудие прогресса. Консерватор он был и потому, что многие позднейшие реформы уже казались ему бюрократическими новшествами.

Чтобы сказать все об Аксакове, как литераторе, упомянем еще о его слоге, который меткостью своею был, подобно слогу Островского, Щедрина или Каткова, единственным в своем роде. Аксаков так же легко ковал слова и выражения и пускал их в литературное обращение. Подобно Островскому, он щеголял русизмами своей речи. Но слог Аксако-

ва даже превосходит слог Островского страстностью и энергией. Однако изучать этот слог, подражать ему, как, например, слогу Мельникова (Печерского) или даже Серг. Аксакова, невозможно.

Говорят, что Аксаков был и замечательный оратор. Особенно знаменита его речь по поводу берлинского конгресса в Московско-славянском обществе, бывшая поводом для закрытия этого общества, и поныне не открытого. Набатным колоколом ударила она, когда на конгрессе этом были похоронены результаты доблестной русской работы.

Я настолько понимаю условия, среди которых приходится действовать русским публицистам, что не брошу им фразы: легко-де вам рассуждать, а вы попробуйте сами делать! И не упрекну их в некоторой непрактичности. Люди должны быть всяких специальностей. Но Аксаков, как исключение, был сильный и практик. Уже упорное ведение им журнального дела, в силу которого он добился своего, обнаруживает его практичность. Правда, в планах Аксакова насчет будущего Русской земли он, как строитель, был туманен, не обнаружил того таланта, который высказал, как критик иных и защитник других теорий, и нарисовал лишь одно: волости при управлении волостеля, на происхождение которого, в сущности, повлияла не древнерусская должность того же названия, а почтенная деятельность мировых посредников первого призыва; но этому причина – нерешимость автора так-таки прямо выставить за практический образец ближайшего будущего московские порядки. Он думал, что, раз наше общество проникнется московским народным духом любви и смирения, раз сознает свою нынешнюю, заимствованную с гнилого Запада, испорченность и раскается в ней, все остальное приложится само собою.

Но где Аксаков был большим практиком, это в организации помощи славянам с целью их духовного и политического единения. Познакомившись со славянским миром и литературно, и поездками по славянским странам, он хорошо знал, как и что и когда надо сделать. Им организовано было и Московское славянское благотворительное общество, равно как и славянский съезд в Москве.

Особенно значение Аксакова сказалось во время войны за освобождение славян; все знали, что им отправлены в славянские земли большие суммы, но лишь недавно узнали, со слов самого Аксакова, что суммы эти были сотни тысяч, пожертвованных московским купечеством; а сколько отправлено им оружия в славянские земли, об этом случайно знают только некоторые лица, и это узнается лишь со временем. Недаром в нынешнем плаче на смерть Аксакова всего громче слышатся славянские голоса, недаром смертью этой одинаково поражены и князь Николай Черногорией, и радикал Петко Каравелов[5].

Для нас особенно знаменательны при начале новой славянской эры отношения Аксакова к последним политическим обстоятельством, заставшим врасплох Россию, как и Европу. Вы помните, какая поднялась игра в жмурки и как газетные «друзья» славян оказались для них хуже врагов; хотя, узнав, что нужно несколько иное отношение к событиям, они и переменили тон, но славяне теперь могут знать, кто им истинный друг. Среди всей поднявшейся сутолоки лишь один голос зазвучал в строго национальном, действительно консервативном для России тоне и не замолкнул, несмотря на препятствия, – это голос Аксакова. Едва ли у одного Аксакова (конечно, из публицистов) не пала, по случаю братоубийственной славянской войны, вера в общеславянскую идею и он не стал малодушно обвинять весь сербский народ за ту вину, которой причины имеют чуть не тысячелетнюю давность, и раздувать какую-либо мелочь вроде парижского и венского образования нескольких сербов. Он понял, что в том-то и задача славянофильства, чтобы снять идею единения среди разъединенных и даже враждебных друг другу славян; что если бы они были уже объединены духовно – то о чем же и было бы хлопотать? Вы знаете, русская публика в этом случае пошла за Аксаковым, а не за газетными, «не помнящими родства», что Аксаков вновь становился тем же трибуном, как в 1877 г., и статьи «Руси» составляли событие. И теперь, когда трагизм положения дошел до своего апогея, когда только слепому не видно, как надвигаются грозные тучи войны, когда в воздухе уже пахнет порохом, словом, когда Аксаков-трибун ну-

жен русскому обществу, эта роль оказалась ему физически не под силу, и, может быть, как раз при начале новой славянской эры разорвалось то сердце, которое так умело любить все славянское.

Я выполнил, как умел, свою задачу. Со временем услышатся об Аксакове и более умелые слова. Но как ни долго утомлял я ваше внимание, я не хотел бы расстаться с вами, не сказав и несколько слов утешения. Я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Смерть Аксакова – тяжелая утрата, особенно потому, что у него нет преемника. У славянофилов нет главы. Русь прекращается. В самом деле, Бестужев-Рюмин, Ламанский или Ор. Миллер и многие другие, выдающиеся ныне, образованные, искренние панслависты, – разве это вожди? Это верно; но все унывающие по этому поводу забывают то обычное ныне явление, которое называется демократизацией идей. Плохо было бы обществу, в котором были бы только одни вожди без рядовых, идущих к прогрессу, если не рядами и шеренгами, то, во всяком случае, сплоченными массами. Аксакова нет, но в обществе есть много панславистов, и в этом-то настоящая заслуга таких Аксаковых. Пускай понятия эти стали сложнее, но и Градовский, признающий законность западной культуры, что, впрочем, до известной степени принимал и Аксаков, и фракция «Русской мысли» при редакции Юрьева, а частью и теперь, которая придает большую важность экономическим вопросам, – все это панслависты, а сколько есть мелких деятелей, может быть, более Аксакова свободных от увлечений. В наших славянских обществах, например, нет уже такой большой силы, какою был Аксаков, но есть много обыкновенных по силам, добросовестных работников на пользу славянской идеи, и массовый труд их не может остаться без результатов: никакая сила в природе не может исчезнуть бесследно. Пусть у нас нет той искры Божьей, которая была у Аксакова, пусть даже у нас панславизм не стал определенным убеждением, а есть только вожделение, но мы обыкновенно и не несем его на стогны и торжища, мы делаем свое маленькое дело без шуму и верим в его в конце концов благотворные результаты. Смерть Аксакова именно

будет особенно удобна для проверки мнения о демократизации идей. Прекращение деятельности Каткова уже имело бы для его кружка иной характера. Его идеи не могут продолжаться, ибо по самому существу своему они не могут демократизироваться, как не продолжаются идеи Вильеля, Шталя или Дизраэли.

К сожалению, полное осуществление идей совершается не в быстрые сроки, и многие из нас и не доживут до осуществления панславизма, даже не заметят его прогрессирования, как нельзя заметить хода часовой стрелки. Остается только верить в свои идеи, надеяться на их осуществление. Любить их всем сердцем, как верил, любил и надеялся и завещал нам это Аксаков, говоривший:

Пусть приведет меня дорога
Хоть до ничтожного итога
Случайной пользы на земле.

Павел С. Усов

ДРУЖЕСКАЯ ГРУППА

На довольно высоком правом берегу Волги, в 16 верстах от Ярославля, по дороге от него в Нерехту, расположено при ручье Великоречке знаменитое село Сопелки. Известность свою оно получило потому, что здесь развилась и окрепла секта, прозванная «страннического согласием», «согласием бегунов» или даже просто «сопелковцами». Об этой секте давно уже носились слухи, но правительство обратило на нее особенное внимание только с 1850 г. вследствие обстоятельства, нарушившего обычный ход жизни в Ярославской губернии. В 1849 г. ярославские жандармы захватили большую шайку разбойников, вместе с их атаманом Пашкою. Шайка эта уже довольно времени хозяйничала в Ярославском уезде, но местная полиция мирволила ей, извлекая свои

выгоды из этого покровительства разбою[1]. Впрочем, в те времена не то бывало в разных углах России. Может быть, шайка Пашки не так скоро попалась бы в руки правосудия, так как ей в то время давали возможность укрываться от мер, принимаемых против нее высшей властью в губернии, но разбойники были выданы за денежное вознаграждение любовницею атамана Пашки.

Пойманных разбойников предписано было из Петербурга судить военным судом. Первоначально предполагалось находившихся в близких сношениях с разбойниками беглых крестьян подвергнуть также наказанию по военному суду, но затем такое предложение было изменено и найдено было полезным предать женщину обыкновенному уголовному суду. Но до назначения над шайкою военного суда признано было полезным произвести подробное дознание о поводах образования разбойничьего скопища под начальством атамана Пашки, а равно и о его действиях. Для этого дознания была образована в Ярославле особая следственная комиссия под председательством местного совестного судьи. Надобно полагать, что тогдашний министр внутренних дел граф Лев Алексеевич Перовский остался недоволен действиями ярославской комиссии, потому что он вдруг счел необходимым поручить производство следствия своему чиновнику особых поручений графу Юлию Сергеевичу Стенбоку, который и был назначен председателем означенной комиссии. Очень может быть, что до сведения министра дошло о том покровительстве, которое уездная полиция оказывала шайке Пашки. Известно, что граф Л. А. Перовский соперничал во власти со всемогущим тогда шефом жандармов графом А. Ф. Орловым и в качестве генерал-полицеймейстера (министра внутренних дел) стремился даже одно время высказывать перед императором Николем I несостоятельность жандармерии.

Граф Стенбок незадолго перед тем переменил блестящую форму гвардейского офицера на вице-мундир чиновника Министерства иностранных дел. Я имел случай познакомиться тогда с ним в доме Н. И. Греча. Последний рассказал мне при этом знакомстве одно проис-

шествие, бывшее на его глазах на минеральных водах Германии, где в то время господствовала азартная игра в рулетку. Граф Стенбок, не обладавший большим состоянием, подобно многим другим молодым людям, принял из любопытства участие в этой азартной игре. Счастие ему повезло необыкновенным образом, и он выиграл очень значительную, особенно по его состоянию, сумму. Все русские стали его поздравлять.

– Нет, господа, не поздравляйте; офицеру русской гвардии непристойно обогащаться подобным способом.

– Что же вы сделаете? Неужели вы откажетесь от подобного огромного выигрыша?

– Буду играть, пока все проиграю.

И граф Стенбок сдержал свое слово. Впоследствии граф Стенбок перешел на службу в ведомство уделов, был директором Императорского фарфорового завода и скончался в семидесятых годах на должности председателя департамента уделов.

Граф Стенбок повел в Ярославле следствие горячо, неутомимо. В то время он отличался энергией, силою воли, почему и был выбран для этого поручения графом Перовским. На допросах Пашка назвал себя «христовым человеком», уроженцем села Сопелок. Обратили внимание на это селение. Оказалось, что оно служит притоном многочисленных беспаспортных людей обоего пола, являющихся туда из разных мест России и пользующихся также покровительством местной полиции, которая предупреждает пришлое население Сопелок о моменте наезда туда высших губернских властей. Беспаспортные удалялись на это время из Сопелок в Заволжье, в неприступные в тогдашнее время пошехонские леса. Захваченные беспаспортные также называли себя «христовыми людьми», причем оказалось, что они составляют особую раскольничью секту «бегунов», или «странников», и что главный центр ее находится в селе Сопелки.

Граф Стенбок в то время почти вовсе не был знаком с русским расколом. Хотя впоследствии он был употребляем министром внутренних дел по этим делам, особенно в 1853 г., когда ему была поручена так

названная тогда «статистическая экспедиция» в Ярославской и Костромской губернии с целью исследования, однако не статистики, а современного положения в них раскола, но до догматического, бытового, исторического его значения он не дошел в той же мере, как современный ему деятель по той же части П. И. Мельников. Со Стенбоком, однако, даже вышел любопытный курьез. Граф, принадлежавший к лютеранской религии, усовещал одного раскольника оставить его заблуждения и обратиться в лоно Православной Церкви. Раскольник, из умных и развитых, молча слушал его и наконец брякнул:

– Да вы, ваше сиятельство, сами-то на каком же основании остаетесь в расколе?

– Как в расколе? Что за вздор?

– Да ведь вы, ваше сиятельство, Лютерова закона. Почему же вас терпят, да и на царской службе еще держат. Вы бы нам и показали собою пример. Значит, никонианская вера не так правая, если и вы сами держитесь другого толка.

Граф Стенбок замолчал и прекратил свои увещания.

Хотя для многих жителей Ярославской губернии сопелковская секта «бегунов» давно уже была известна, для графа Стенбока она, однако, оказалась такою неожиданною новостью, что он донес о том своему министерству. В Петербурге, по-видимому, также не знали ее в подробностях, а потому на докладе графа Стенбока предписали ему подробно и внимательно исследовать вновь открытую им секту. Одновременно с этим предписанием сочтено было необходимым увеличить следственную комиссию графа Стенбока новым членом, присланным в Ярославль из Петербурга, именно состоявшим тогда на службе при Министерстве внутренних дел Иваном Сергеевичем Аксаковым. Ему было, впрочем, поручено исключительно заняться изучением вновь открытой секты, оказавшейся «страннического согласием», или «согласием бегунов». И. С. Аксаков, окончив данное ему поручение и представив министру свою записку об этой секте, выехал их Ярославля. Комиссия графа Стенбока произвела потом дополнительные исследования о «бе-

гунах», плодом чего была особая записка графа Стенбока о них. Вообще, комиссия Стенбока окончила только в начале 1851 г. свои труды, вместившиеся в 86 томах. Она изъездила всю Ярославскую губернию, особенно же ее юго-восток, и имела обширные полномочия, в силу которых производила аресты подозрительных лиц даже в Шуйском, Костромском и Перехотском уездах.

Участники в разбойничьей шайке Пашки подверглись присужденным им по суду наказаниям.

При исследовании комиссией графа Стенбока село Сопелки оказалось главным притоном «бегунов», а потому все дома этого селения, до последней ветхой избушки, были подвергнуты тщательному осмотру. Последствием его было открытие в селе одиннадцати тайников; семи подъизбиц с тайными входами; множество секретных отверстий в стенах, заборах; также немало ходов на крыши соседних домов прямо из окон; большое число тайных коридоров и лестниц из одного дома в другой; пять ям, закрытых досками, один тайный выход к огородам и гумнам на берегу Волги и проч. Например, в одной избе, похожей по наружному своему виду и внутреннему расположению на все остальные избы села, оказалось, что в сенях к наружной стене был приделан шкаф, внутри которого на полках была расположена посуда, а низ шкафа составлял пол сеней. Но к левому боку шкафа, подле пола, внутри была прибита гвоздями планочка. Оказалось, что если вынуть посуду из шкафа и оторвать означенную планочку, то можно поднять пол, составляющий низ шкафа, а там открывался вход в яму, выходившую уже на двор. Другого рода тайник был найден в маленьком чулане, где стоило поднять лавку, а вместе с нею и половницу и попасть в спуск, в подземелье, выходившее на огород. Сопелковские крестьяне, умудрившиеся в подобного рода сооружениях для сокрытия своих беспаспортных единомышленников, устраивали тайники даже в супружеских кроватях, имевших выходы в подземелья. В доме крестьянина деревни Дудкина, Логина Прокофьева, был устроен такой поместительный тайник между двойными стенами избы, что в нем удобно скрывались до

тридцати человек. Секретный выход из подобного тайника сделан был под печку посредством бревна, прилаженного на шалнерах[2], а из-под печи сделан был выход уже в другую избу[3].

Все эти тайники можно было принять за вымысел пылкого воображения, если бы их существование не было подтверждено официальным следствием. В то время между раскольниками фанатизм был в большом ходу, особенно среди вредных, грубых толков беспоповщины. Сопелковские бегуны принадлежали к подобным фанатикам. Один из подобных фанатиков однажды с горьким чувством говорил покойному П. И. Мельникову: «Нынче и царство-то небесное трудно получить, помучиться-то за Христа нельзя, все на деньгу пошло»[4].

Поручение, данное графу Стенбоку, естественно, обратило на него внимание тогдашнего образованного общества в Ярославле. Более развитые люди группировались около графа Стенбока и И. С. Аксакова. Составился кружок близких к ним в то время в Ярославле лиц. Этот кружок, собиравшийся очень часто по вечерам на беседы у графа Стенбока, прозван был в ярославском обществе «братиею». Но к «братии» принадлежали не одни члены правительственной комиссии. Члены «братии» представлены на приложенном к этой статье рисунка[5], снятом с литографии, сохранившейся в ростовской библиотеке А. А. Титова и доставшейся ему от его деда, человека крайне любознательного, имевшего большое книгохранилище. Мне рассказывали в 1885 г., в Ярославле, что эта литография отпечатана была в типографии ярославского губернского правления в 1850 г. только в числе 25 экземпляров, потому что тогдашний местный губернатор Бутурлин почему-то разгневался за подобный рисунок и приказал уничтожить литографический камень с этою группою[6].

Литография была исполнена с рисунка, сделанного искусным карандашом Александра Васильевича Попова (ныне вице-директора департамента государственного казначейства), изображенного стоящим позади всех с карандашом в руке (четвертая фигура справа), Граф Юлий Иванович Стенбок изображен первым с правой стороны, с сигарою,

в креслах, которые доныне сохранились у коменданта Царского Села, генерала-от-инфантерии Степанова, командовавшего тогда полком в Ярославле и недавно праздновавшего свой полувековой юбилей. Подле Стенбока сидит Яков Александрович Купреянов, бывший председателем гражданского суда в Ярославле, потом губернским прокурором, а теперь состоял сенатором, за ним изображен г. Унковский, бывший прокурором в Ярославле; затем поручик инженеров путей сообщения Авдеев, литератор, известный своими романами, ныне уже умерший; подле него Иван Сергеевич Аксаков, скончавшийся 27 января, а последними двумя на левой стороне представлены Александр Сергеевич Хомутов (ныне член окружного суда в Рыбинске) и князь Андрей Васильевич Оболенский (самый крайний), сидевшей при рисовании в креслах насупротив графа Стенбока.

Из всех восьми лиц, изображенных в этой группе, гг. Авдеев, Унковский, Купреянов, князь Оболенский, не принадлежа к составу комиссии, были постоянными собеседниками графа Стенбока по вечерам; А. С. Хомутов и А. В. Попов были членами правительственной комиссии по назначению ярославского губернатора, при котором они состояли тогда чиновниками особых поручений, а И. С. Аксаков и граф Стенбок назначены были со стороны Министерства внутренних дел.

М. И. Сухомлинов

И. С. АКСАКОВ В СОРОКОВЫХ ГОДАХ

Иван Сергеевич Аксаков в самом начале своей литературной деятельности является писателем опальным; он должен был горячо отстаивать правоту и искренность своих убеждений. Его обвиняли в весьма серьезном, по тогдашним понятиям, преступлении, именно в панславизме. Чтобы понять важность подобного обвинения, надо вспомнить, что панславизм считался тогда в Австрии грозным признаком революю-

ции и распадения империи, а мы слепо верили всему, что внушали нам руководители австрийской политики. В Вене пошел дождь, а у нас стали распускать зонтики и придумывать меры для борьбы с наступающим ненастьем. Название «славянофил», вначале самое безобидное, получило опасный смысл в применении к лицам, заговорившим о славянстве и готовым посвятить себя его изучению.

Сочувствие к славянам совпадает у нас с эпохою славянского возрождения, и на первых порах дело шло чрезвычайно мирно, не возбуждая ни в ком ни малейшего опасения. Наиболее ревностным поборником идеи славянской взаимности был у нас Шишков. Он первый пытался ознакомить русское общество с произведениями славянских литератур; он первый завязал литературные связи с учеными и писателями различных славянских народов. Хотя для Шишкова главная прелесть общения со славянами заключалась в языке, в розыскании корней слов и их разветвлений, тем не менее доброе семя было уже брошено, и оно не погибло бесследно. Начатое Шишковым продолжали ученые нового поколения, встретившиеся лицом к лицу со славянским миром во время своих научных путешествий по славянским землям. Имена первых профессоров славянских наречий в наших университетах занимают почетное место в истории русской науки.

Едва только обнаружилось у нас, хотя и в самых скромных размерах, сочувствие к славянству, как возникло уже противодействие, навеянное советами людей, враждебно смотревших на сближение России с соплеменными ей народами. В Австрии встревожились появлением знаменитого труда Шафарика «Славянское народописание», представившего наглядное доказательство живучести и распространенности славянского племени. Шафарик подвергся преследованию со стороны австрийских властей, а по примеру Австрии и у нас стали смотреть недружелюбно на молодых ученых, пожелавших заняться новым для них миром, который открыт был Шафариком. К числу даровитейших ученых и писателей, тогда еще молодых, заговоривших о сочувствии к славянам, принадлежали Иван Сергеевич Аксаков и Ник. Ив. Косто-

маров. Они сходились между собою в том, что признавали необходимым изучение славянства; но в развитии своей основной мысли не всегда руководствовались одними и теми же началами. Аксаков говорил о славянах как русский писатель, принимавший горячее участие во всем, что совершалось в нашей общественной и политической жизни; Костомаров имел в виду преимущественно бытовую сторону: этнография интересовала его гораздо более политики.

И тот и другой, и Аксаков и Костомаров, не допускали возможности применения панславизма к жизни, то есть к политической судьбе славянских народов. Аксаков прямо заявил, что «в панславизм он не верит» и что «гораздо более всех славян его занимает Русь». Император Николай Павлович заметил на это: «И дельно, потому что все прочее мечта, и если бы совершилось объединение славян, оно было бы «на гибель России». Костомаров в повести своей «Паныч Наталич» юмористически изобразил «мечтателя, доведшего идею панславизма до смешного восторжения».

Сочувствие к славянам было хотя и весьма важным, но не единственным поводом к обвинению Аксакова. Все то, что ставилось ему в вину, а равно и все то, что высказано им в свое оправдание, представляет много весьма любопытных черт для истории нашей умственной и общественной жизни. Постараемся изложить дело на основании достоверных источников –подлинных рукописей Аксакова и других лиц, находившихся с ним в непосредственных и близких сношениях.

Ближайшим поводом к обвинению Аксакова послужила переписка его с отцом своим – Сергеем Тимофеевичем, пользовавшимся вполне заслуженным уважением в нашей литературе. Иного рода известность Сергей Тимофеевич Аксаков и его сыновья приобрели в том кругу, в котором ценили писателей не по их таланту, а по их направлению и благонамеренности.

Крайне неприличною и неблагонамеренною сочтена была статейка Сергея Тимофеевича Аксакова, помещенная в «Московском вестнике» под названием «Рекомендация министра». Вся суть наделавшей шума

статейки заключается в том, что места даются у нас по протекции и что даже министр, несмотря на свое высокое положение, обязан платить невольную дань укоренившемуся общественному злу. Получив письмо от влиятельной особы, которой нельзя отказать, министр говорит просителю: «Хоть я тебя не знаю и ты просишь важного места, на которое много искателей, но так и быть: для его сиятельства я напишу письмо к N. N., а он для меня даст тебе место» – и вследствие этого рекомендует совершенно неизвестное ему лицо за весьма «способного и знающего чиновника». Диктуя рекомендательное письмо, министр высказывает свои забавные понятия о слоге и знаках препинания, не допуская, например, восклицательного знака в начале письма при обращении к лицу, занимающему низшее место по службе (милостивый государь мой, Иван Федотович!): «Пристало ли моему знаку восклицания стоять перед ним во фронте, точку, сударь, ему – точку». Таким же образом, по мнению министра, оканчивать письма: «имею честь быть» могут только мелкие чиновники; лица же высокопоставленные должны писать в подобных случаях: «имею честь пребыть» и т. д.[1]

В вину Константину Сергеевичу Аксакову поставлено то, что он носит бороду и старинное русское платье и написал статью: «Семисотлетие Москвы», отдающую преимущество Москве как столице перед Петербургом и заключающую в себе «правила, несообразные с монархическим образом правления». Напоминая читателям, что 28 марта 1847 г. исполнится ровно семьсот лет со времени появления имени Москвы на страницах наших летописей, Конст. Серг. Аксаков говорит: «Москва является представительницей общей русской жизни, жизни всей русской земли, жизни земской (собственно народной), говоря словом, так часто встречающимся в летописях и грамотах... В нее, при Иоанне IV, созвана была первая земская дума из городов и вообще из земли Русской... До Петра Великого существовала в Москве такая перекличка стрельцов, когда вечером запирались ворота кремлевские: «Близ собора Успенского часовой страж начинает возглашать: «Пресвятая Богородица, спаси нас»; за ним второй в ближнем притине:

«Святые московские чудотворцы, молите Бога о нас»; пятый: «Славен город Москва»; шестой: «Славен город Киев»; седьмой: «Славен город Владимир»; восьмой: «Славен город Суздаль» и т. д. В этом непридуманном народном голосе слышишь, что царствующий град Москва помнили все города русские, всю Русскую землю. Таково значение Москвы, такова она – истинная столица святой Руси... Наполеон сказал в разговоре с Тучковым: «Столица ваша – Москва, а не Петербург, который не что иное, как резиденция государя» и т. д.[2]

В переписке Аксаковых затрагивались различные вопросы, общественные и политические. Приведем несколько уцелевших отрывков.

Сергей Тимофеевич Аксаков писал сыну своему Ивану Сергеевичу:

«Все, что ты пишешь о предположениях по службе, – весьма хорошо: только жаль, что ты пишешь об этом с почтой. Оказий самых верных у тебя множество: Корфы, Анненков, Языков. А всего было бы лучше вовсе не писать: ибо Константин Сергеевич уже успел рассказать об этом Хомякову, а это (к несчастью) все равно, что рассказать всей Москве. Само собою разумеется, что Надеждин плутует. По первому твоему шагу можно было предсказать все его будущие действия. А я предсказываю тебе, что ты не будешь иметь никаких успехов по своей службе: слово «успехи» принимаю я в мирском значении. Петербург ведет себя как следует ему; но Москва – как не следует ей. Говорят, что в настоящем Великом посту будут такие катанья с гор, с музыкою, факелами, песенниками и цыганами, каких еще никогда не бывало. Закревский потерял в моих глазах последнее доброе мнение, какое я имел о нем: я считал его православным русским человеком. Я не обвинял его в произволе в его столкновениях с московской публикой, ибо эта подлейшая публика того стоит. Ее можно оскорблять сколько угодно, но оскорблять народ в его святых верованиях – безрассудно. Впрочем, теперь и московская публика восстает на него общим бунтом: последнее воскресенье он дал у себя блистательный бал и тем помешал общественному пикнику, то есть folle journée, составленному по подписке 500 человек на катание, обед и бал. О, под-

лецы! Они не смели не поехать к нему, и в их ругательствах явственно выражается смысл: «Зачем ты нас звал? Ведь ты знаешь, что мы не осмелимся отказаться?» Про супругу Закревского рассказывают чудеса. Цинизм ее невозможен к описанию. Русское платье на бывшем маскараде убило наповал все другие костюмы. Поверишь ли ты, Иван, что ругательство (как говорят иные) над русским платьем, надетым, как костюм в маскарад, произвело на общество самое благоприятное действие и что последствия его будут полезны?[3] Шевырев получил в подарок от графини Закревской – богатую палку. Описание маскарада пишет Вельтман для «Москвитянина». Оно начинается так: «Слава в вышних Богу, мир на земле, в человецех благоволение» – и пр. Я знаю благонамеренность Вельтмана и понимаю, что это относится не к маскараду, но все как-то странно такое начало. Неужели ты не был и у Вяземского? Уж это слишком... »[4]

«...Третьего дня читал Сологуб у Васильчиковых свою драму при многочисленной публике. Константин не поехал, ибо оставил Васильчиковых совсем. Все люди, сколько-нибудь понимающее какое-нибудь литературное достоинство драматического произведения, находят, что драма Сологуба – нелепость во всех отношениях. Что, оставя в стороне историческую верность времени, его пьеса нелепа, как мелодрама. Гоголь и Загоскин не поехали даже слушать. Давно и много ожидаемый маскарад должен сегодня совершиться. Завтра Шевырев из костюмера превратится в писаку и, как достойный наследник Шаликова, стоя на коленях пред светской пустошью, опишет великое событие, обмакивая перо в сладкое чувство умиления... Боже мой! Этот же самый Шевырев, двадцать два года тому назад, в живых и свежих стихах высказал все то о Шаликове, что я теперь говорю о нем самом!.. Грустно, господа, жить на свете...»[5]

«...Шевырев на верху блаженства. Статья его понравилась у в[н]ас: он весел и светел, как медный грош! Отвратительное создание! Он ругает Константина самым неблагонамеренным образом. Если Погодин и хуже его, как человек, то все он для меня сноснее, как человек умный.

Ход «Бродяги»[6] и отсутствие сочинителя очень забавны, а еще более оригинальны. Впрочем, я не одобряю вполне твоего отшельничества. Блудов видал меня несколько раз, и хотя он никого не слушает и только наслаждается собственными своими речами, но я помню, что возбуждал его внимание своими резкими выражениями, ибо дело забирало меня за живое. Впрочем, он лучше других. Зачем тебе участие в Иване Сергеиче? Хорошо, если б было искреннее участие в «Бродяге». Да, милый друг Иван, ступай в Малороссию, под ее прекрасное небо, в ее роскошную природу. Мне сладко было твое увлечение. Константин взбесился от него, а Хомяков и Гоголь умерли было со смеху над гневом Константина. Несмотря на треволнения духа, на этих днях я как-то принялся писать свои охотничьи записки: ранняя весна, пробуждение жизни в природе и ток тетеревов благотворно подействовали на мою душу. Божественно звучат поэтические струны сердца человеческого, и я торжественно исповедую, на краю моего земного поприща, что одно искусство может примирять человека с жизнью... Прощай!.. Вырывайся скорее из Петербурга. Я буду спокойнее... »[7]

В письмах Ивана Сергеевича Аксакова к отцу обратили на себя внимание, и притом весьма неблагосклонное, следующие места:

«Австрия не оставляет намерения германизировать славянские племена, но, дабы не испугать их, действует по обыкновению двусмысленно, лжет и обманывает, как и прежде. Елачич[8] писал сюда, что он находится в самом грустном положении, не знает, что и делать. Австрия вновь вводит между кроатами употребление мадьярского языка. «Я, – пишет он, – нахожусь между двух неприятностей: или опять подпасть под зависимость мадьяру, или сделаться мятежником против своего императора; впрочем, пока не решен вопрос итальянский, Австрия не решится на многое». В Галиции стали вновь вводить сбор десятины в пользу помещиков, и это дало повод к интерпелляции одного из представителей Галиции на Венском сейме. Силен же этот порядок, нечего сказать, хоть я и не верил возможности возродиться в Европе новым началам силою собственных средств, и тем путем, коим они шли; но

все же, пока происходила борьба, они были в ходу в самих душах человеческих и смущали их, все же слышалось, что занесены такие вопросы, разрешение коих вызовет и нас на сцену и преобразует мир; а теперь опять покойно, заплывет жиром сердце человеческое; грустно знать, что страшные раны, кои были обнажены 1848 годом, оставшись невылеченными, закрыты снова и преданы забвению! Разумеется, старый порядок не устоит, но простоит, может быть, еще долго.

Читали ли вы отголосок русского сердца тверского помещика, статского советника Дмитрия Шелехова? Этот господин напечатал особыми брошюрами и сам развез их по всем здешним магнатам; прочтите, это замечательно, как бескорыстна подлость подлостей! Я достану и пришлю. Он говорит, между прочим, про Россию, что в ней законы исполняются как святыня, что в ней крестьяне благоговеют перед Богом и перед своими господами и проч. Ну, что прикажете делать с этим народом? У нас, право, создается целая своя правительственная литература, ибо другой не дают хода»[9].

«...Государь едет со всем двором, со всею царскою фамилиею к вам в гости. Вероятно, много будет манифестаций русицизма, много всяких эффектов. Государь на это мастер, и я уверен, что в его душе собственно, когда он бывает в Кремле, пробуждается сочувствие к народу, к Руси, но не всегда ясно для него самого... Но всего забавнее будут его окружающие. Все это пустится в национальность, которую опошлят до невыносимого. Если уже Закревский увлек своим маскарадом всю Москву, так что уже будет теперь? И на дне Москвы, на осадке, останется один Константин, ибо и народ поддастся весь обаянию... Маскарад Закревского, возбудивший здесь сильную зависть, повторится во дворце, и, вероятно, все участвующие будут причислены к московскому двору его величества: кавалеры будут сделаны камер-юнкерами и камергерами, а девицы получат фрейлинский шифр. Всего замечательнее то, что государь приказал Блудову ехать с собою. Он может надеяться, что его будут таскать всюду. Что мы будем делать тогда с бородой? «Бродяга» все еще продолжает быть в ходу совершенно независимо от автора,

о коем – слава Богу – никто не заботится. Попов исправляет должность официального чтеца моих стихов. Попов читал их у Блудова, где был и Александр Строгонов… бывший министр: он заметил, что как-то нехорошо, будто в России так много бродяг»[10].

Приведенное письмо, а равно и некоторые из последующих писем, «заставляли предполагать в Аксакове либеральный (противоправительственный) образ мыслей», вследствие чего Аксаков и был арестован. 17 марта 1849 г. в шесть часов вечера «доставлен в штаб корпуса жандармов подполковником Левенталем чиновник Министерства внутренних дел Аксаков и помещен в столовом зале графа».

Немедленно, по аресте Аксакова, доставлены следующие сведения о найденных у него бумагах и книгах:

1) Черновая книга, в которой Аксаков, еще воспитываясь в училище правоведения, до 1842 г., вписывал переводы с латинского языка, замечания из истории, свои мысли о Невском проспекте и других предметах, более в сатирическом роде. Здесь же вложены отдельные листы со стихотворениями его, из которых замечательно послание к бывшему соученику его, князю Оболенскому. В этом стихотворении Аксаков, через год по выходе из училища и по вступлении в гражданскую службу, в 1843 г., описывает эту службу в насмешливом тоне, например:

И так, в суде верховном – виноват! –
Хотел сказать: на фабрике сенатской,
Среди обширных, каменных палат,
Грязнее всякой камеры палатской,
Работаю, как будто на подряд.
Вкусили мы всю прелесть службы статской,
И видим: слишком мало толку в ней,
Чтоб ей отдать цвет лучших наших дней.
Хотя б сказал сенатский наш оратор,
Что грудь звездами, дюжих пару плеч
Нам лентами украсит император,
А право, друг, игра не стоит свеч!

Что толку в том, министр ты иль сенатор!
Но чужды мне столь сильные желанья,
Всю жизнь отдать за ленты и кресты,
Немецкие ничтожные призванья,
Все полные блестящей пустоты,
Я к ним в себе не чувствую призванья.

2) Большое собрание писем самого Ивана Аксакова к разным лицам, 1844 г., из Астрахани, где он находился при сенаторе (ныне член Государственного совета), князе Гагарине, ревизовавшем Астраханскую губернию. В этих письмах Аксаков описывает более Астрахань и хранил их как материал для описания Астрахани.

3) Поэма под названием «Бродяга», сочинение самого Ивана Аксакова. В этом стихотворении Аксаков описывает похождения крепостного человека, который бежал, сам не зная отчего, и то бродяжничает, то работает где-либо, то опять бродяжничает. Аксаков в этом сочинении желал показать, что русский человек иногда бродяжничает не для преступлений, а по одной любви к русскому разгулу и беспечности. Поэмы этой написана только 1-я часть, впрочем, довольно обширная, а предполагается написать еще две части. Стихи Аксакова показывают, что он имеет поэтический талант.

4) В письмах к Ивану Аксакову от отца и братьев его некоторые места обращают на себя внимание.

В письме от 3 марта (в ответ на известное письмо от 24 февраля, в котором Иван Аксаков сожалел о заживающих ранах Европы) отец пишет: «Я уже имел случай отвечать тебе на него (на означенное письмо) с оказией и порядком побранил тебя за резкость и неточность выражений, особенно за то, что ты не договариваешь своих мыслей, отчего выходит совершенно превратный смысл. Если б кто-нибудь, не знающий тебя и твоего образа мыслей, прочел это письмо, то мог бы заключить, что ты западный европейский либерал, тогда как эти люди для тебя гадки и отвратительны».

В других письмах отец подозревает, что некоторые письма сына его не дошли к нему по почте или даже читаются почтовыми чиновниками.

Письма эти показывают, что Иван Аксаков извещал отца и братьев об аресте Самарина. Отец Аксакова в письме от 12 марта говорит: «Несчастное происшествие с Самариным глубоко нас всех огорчает... Я надеюсь на справедливость государя. Когда он прочтет все письма Самарина, особенно 3-е и 7-е, то, я уверен, обратит гнев на милость. Не может быть, чтоб он не почувствовал негодования за положение русских в Риге: он царь Русской земли по преимуществу. Горько и временное торжество немцев; я не фанатик, очень много имею терпимости, много имел и имею приятелей-немцев, из коих многие в частных личностях люди хорошие, но как каста, как партия они всегда были мне противны. Последнее происшествие усилило общую ненависть к немцам».

В том же письме находится приписка сына, Константина Аксакова: «Я так был поражен твоим известием, что долго не мог опомниться. Самарин в крепости! Самый искренний, самый благородный, самый прямой человек, и, сверх того (что нечасто встречается в обществе), русский, всей душою преданный Русской земле, и он в крепости! Я объясняю себе это только тем, что немцы оклеветали его и что государь, вероятно, не успел прочесть всех писем. Я помню, что Самарин и я желали, чтоб эти письма дошли до государя. Мы надеялись, что государь придет в негодование, увидя, что терпят русские от немцев».

В письме от 8 марта тот же Сергей Аксаков писал к сыну Ивану: «Жизнь в Москве сделалась для меня еще несноснее, и обстоятельства требуют неукоснительно бегства, и предметы общих разговоров, устремление общих интересов, непосредственно разделяемых всеми, имеющих еще усилиться в будущем – выводят меня из терпения! Весьма затруднительно и небезвредно для меня, и будет странно, а как бы хорошо было уехать нам с Константином в Абрамцево».

Григорий Аксаков, служащий в Симбирске, писал к брату Ивану: «Да здравствует Елачич! Австрия, кажется, уже собирается отказаться от безумного франкфуртского собрата, и тогда, наверное, можно предполагать, что она из немецкой превратится в славянскую монархию».

5) Между книгами Ивана Аксакова находятся:

«О социализме и коммунизме», сочинение Штейна, на немецком языке, напечатанное в Лейпциге в 1842 г.; в этом сочинении хотя частью опровергаются правила коммунизма, но находятся и многие возмутительные мысли.

«Стихотворения Адама Мицкевича», на польском языке, в 4 частях, изданные в Париже в 1838 г.

Шесть экземпляров брошюры: «Семисотлетие Москвы», сочинение Константина Аксакова – то самое, которое было напечатано в «Московских ведомостях» 1846 г.

6) Письма к Ивану Аксакову от разных посторонних лиц имеют содержание большею частью литературное и ученое и не заключают в себе ничего недозволенного.

7) У него еще находится много копий с разных мнений и других бумаг, кои он подавал по делам службы.

Черновых же писем, которые Иван Аксаков посылал последнее время к отцу своему, равно и никаких бумаг, кои бы содержали в себе мысли, подобные выраженным в письме его от 24 февраля, не оказалось во всех его бумагах.

Аксакову предложен был целый ряд вопросов, на которые он отвечал весьма подробно и откровенно. При чтении их император Николай Павлович делал свои заметки и, возвращая рукопись графу Ал. Фед. Орлову, написал: «Призови, прочти, вразуми и отпусти». Приводим ответы Аксакова на предложенные ему вопросы, а также и замечания государя: написанное рукою государя печатаем курсивом.

Вопрос:

1) Опишите ваше звание, лета, где вы воспитывались, службу вашу и другие важнейшие обстоятельства вашей жизни?

Ответ:

От роду мне 25 лет; чин мой коллежский асессор, хотя я уже в июне месяце прошлого, 1848 г. выслужил узаконенный срок для получения нового чина, но по случаю перевода моего из Министерства юстиции в Министерство внутренних дел, представление о моем чине не могло быть

сделано. Воспитывался я в Императорском училище правоведения, откуда вышел в 1842 г. с чином 9-го класса, и поступил прямо на службу во 2-е отделение 6-го департамента Правительствующего Сената, где через три недели назначен был исправлять должность секретаря. В конце 1843 г. отправился я с бывшим сенатором, ныне членом Государственного совета, князем П. П. Гагариным на ревизию в Астраханскую губернию. В конце 1844 г. ревизия кончилась, и я поступил в прежнюю должность. Летом 1845 г. указом Правительствующего Сената определен я был товарищем председателя уголовной палаты в Калугу. В мае 1847 г. причислен к департаменту Министерства юстиции, и ордером министра юстиции предписано было мне исправлять должность обер-секретаря сначала во 2-м отделении, а потом (в октябре того же года) в 1-м отделении 6-го департамента Сената. Высочайшим приказом 21 сентября 1848 г. переведен был в Министерство внутренних дел кандидатом для занятия должности в губернии. Вследствие сего, сдав должность в Сенате, приехал я в С.-Петербург, но в октябре же месяце отправлен был его высокопревосходительством, г. министром внутренних дел с секретным поручением (о раскольниках) в Бессарабию, откуда 21 января 1849 г. возвратился, представив министру отчет по своим занятиям. С весною я предполагал вновь отправиться куда-нибудь с поручением, и так как предстояла надобность в обозрении и хозяйственном описании городов Казанской губернии, то я и просил директора хозяйственного департамента назна-

чить меня туда, а сам между тем занялся чтением разных дел министерства, касающихся городов Казанской губернии. Особенных, других, важных обстоятельств жизни не было. Я не упоминаю здесь о тех, которые имеют значение только для меня: 5-летняя болезнь одной из моих сестер, недавняя (с год продолжающаяся) болезнь другой моей сестры и проч., и проч.

2) Кто ваш родитель и братья, где они находятся, чем занимаются и какое имеют состояние?

Отец мой, коллежский советник Сергей Тимофеевич Аксаков, 58 лет, теперь в отставке; прежде служил цензором и был некогда председателем цензурного комитета в Москве, а потом был директором Константиновского межевого института. С 1826 г. он живет постоянно в Москве, уезжая летом в подмосковную деревню свою Абрамцево (верстах в 60-ти от Москвы). По слабости своего зрения (несколько лет тому назад жестокая болезнь лишила его одного глаза) он не может много заниматься делами; письма, большею частью, диктует; также диктует воспоминания своего детства и записки о рыбной ловле и об охоте, ибо в молодости был страстным охотником. Года два тому назад напечатаны были его записки о рыбной ловле, обратившие на себя общее внимание чистотою языка, живостью рассказов и уменьем придать им интерес, даже и не для охотников. Старший брат мой Константин магистр Императорского Московского университета, живет при отце и при матери моей. Семейство наше состоит из 10 человек: из 3 братьев и 7 сестер, которые все живут в доме и из которых две тяжело больны. Из братьев двое, брат Григорий и я, отвлечены службою от родительского дома,

следовательно, одному необходимо было остаться с отцом, и эту святую обязанность исполняет брат мой Константин, помогающий ему в хозяйстве и занимающийся сверх того, сам для себя, учеными трудами по части русской истории и филологии. При этом я укажу на два его сочинения: диссертацию о Ломоносове и драму: «Освобождение Москвы в 1612 г.» Брат мой Григорий, окончивший в 1840 г. курс в училище правоведения, служит теперь симбирским губернским прокурором. Он женат, имеет дочь; собственного состояния у него нет; но теперь на деньги, принесенные ему женою, он покупает имение в Симбирской губернии, душ 400 или 500. Литературою он не занимается, то есть не пишет. У отца моего состояние, по многочисленности его семейства, весьма ограниченное: он имеет душ с 500 в Оренбургской губернии, в Белебеевском уезде, и душ с 300 в Симбирской, в Корсунском уезде. Имение это все заложено. Кроме того, душ 40 в подмосковной деревне, Дмитриевского уезда, Абрамцеве.

3) В бумагах ваших находится письмо вашего родителя, в котором он, отвечая на ваше письмо от 24 февраля, делает вам замечание на резкость и неточность выражений, особенно за то, что вы не договариваете ваших мыслей, от чего выходит такой смысл, что иной

Готов отвечать на этот вопрос с полною откровенностью, хотя она может быть для меня и невыгодною.

Поводом к письму моего отца было мое письмо к нему следующего содержания:

Я писал: «…возвращение старого порядка вещей в Европе наводит улыбку гордой радости на лица наших петербургских аристократов. Они вдруг все приободрились. Всякий раз, после прогулки по Невскому проспекту, овладевает мною великая скорбь. Вы не поверите, как возму-

может принять вас за либерала. Объясните с полною откровенностью все содержание упомянутого письма вашего и, если сохранила ваша память, изложите оное точными словами, особенно те места, за которые вы получили замечание от вашего родителя?

щается душа моя при виде этих господ полуфранцузов, полунемцев, все, что угодно, только не русских; коверкающих свой родной язык, ослепляющих нас роскошью произведений Запада, живущих уже совсем не по-русски... На лице их написано: «Слава Богу, теперь мы безопасно можем делать то, что делали прежде, то есть роскошничать, развратничать и разорять наших крестьян!» …Когда в прошлом году, испуганные европейскими смутами, они пели хвалебный гимн России и русскому народу, то в их словах слышались другие слова: «Какой у нас, в самом деле, добрый, терпеливый, удобный народ: мы презираем его, выжимаем из него последнюю денежку, и он сносит все, и даже не питает к нам ненависти!» ...Вот выражения, за неточность которых упрекал меня отец мой, говоря, что оттого происходить такой смысл, который может подать обо мне ложное понятое, будто я либерал, тогда как, прибавляет он, западный либерализм ненавистен душе твоей. И он совершенно прав. Пользуюсь случаем, чтоб дополнить невысказанную мысль и изложить ее с искренним чистосердечием.

Совершенная правда!

По моему мнению, старый порядок в Европе так же ложен, как и новый. Он уже ложен потому, что привел к новому, как к логическому, непременному своему последствию. Ложные начала исторической жизни Запада должны были неминуемо увенчаться безверием, анархиею, пролетариатством, эгоистическим устремлением всех помыслов на материальные блага и гордым, безумным упованием на одни человеческие

Святая истина!

силы, на возможность заменить человеческими учреждениями Божия постановления.

Вот к чему привели Запад авторитет католицизма, рационализм протестантизма и усиленное преобладание личности, противное духу смирения христианской общины.

Слава Богу!

Не такова Русь. Православие спасло ее и внесло в жизнь ее совершенно другие начала, свято хранимые народом. Он смотрит на царя, как на самодержавного главу всепространной русской православной общины, который несет за него все бремя забот и попечений о его благосостоянии; народ вполне верит ему (царю) и знает, что всякая гарантия только нарушила бы искренность отношений и лишь связала бы без пользы руки действующим наконец, что только то ограничение истинно, которое налагается на каждого христианина в отношении к его ближним духом Христова учения. Взгляд русского народа на правительство вообще высказан в официальном объяснении известного манифеста, изданного в феврале или марте прошлого года, в словах: «…всякая форма правительственная, как бы совершенна она ни была, имеет свои недостатки, и проч.» Да не подумают, что я хочу льстить, Боже сохрани! Но вот мои убеждения:

Все это справедливо. Справедливого много, хотя, слава Богу, не в общем применении.

При Петре Великом верхние слои общества отчуждились от народа и поддались обаянию Запада, увлеклись блестящим соблазном его цивилизации и презрели коренные, основные начала русской народности. Не одни художества и ремесла были вводимы в Россию. Нет!.. Русские портные ссылались на каторгу за шитье рус-

ского платья (см. «Полное собрание Российских законов»), русский язык был весь изломан, исковеркан и нашпигован иностранными выражениями; администрация, с ее немецкими учреждениями и названиями, подавила жизнь своим формализмом; чиновники, с своими немецкими чинами, были поставлены в неискреннее и странное отношение к народу, которому было трудно не только понять, но и выговорить имена их. Дворянство совершенно оторвалось от народа, присвоив своей жалкой цивилизации право не верить, когда он верит, не соблюдать уставы Церкви, им соблюдаемые, не знать языка, которым он говорит, забыть свою историю и предания и глядеть на него только как на удобный материал для извлечения из оного доходов.

Последующие поколения шли по данному толчку, не оглядываясь, не сознавая, и общество тем виновато перед правительством, что заслоняло от него народ. Между тем как образованное общество жило заемною жизнью, обезьянски шло за Западом и добровольно задавало себе в чужом пиру похмелье, народ, славу Богу, остался тем же, или почти тем же. Я говорю почти, потому что пример разврата, нами подаваемый, уже начинает проникать и в села. Разумеется, простой народ, живущий в столицах, сначала оскорблялся, видя, например, в Москве, что в Великий пост, когда он говеет, постится, идет к заутренней или возвращается с исповеди, высшее общество, с факелами, песельниками, цыганами и цыганками, бешено наслаждается ночными катаньями с гор; но потом – народ мало-помалу привыкает

Ежели было или есть так, то оно неприлично и не должно было допущено быть местною властью.

Потому что, под видом участия к мнимому утеснению славянских племен в других государствах, тмится преступная мысль соединения с сими племенами, несмотря на подданство их соседним и частью союзным государствам; а достижения сего ожидали не от Божьего определения, а от возмутительных покушений на гибель самой России.

И мне жаль, потому что это значит смешивать два предмета совершенно разных: преступное с святым.

Прекрасно, но посмотрим, что есть русский человек в мыслях г. Аксакова.

и к этому и, чего доброго, пожалуй, заведет и у себя то же.

В нынешнее царствование во многих сердцах пробудилось угрызение совести. Спрашивали себя: не виноваты ли мы перед русским народом, старались воскресить в себе русского человека. Это возрождение русской народности проявилось в науке и в литературе. Люди, всеми силами, всеми способностями души преданные России, смиренно изучившие сокровища духовного народного богатства, свято чтущие коренные начала его быта, неразрывного с Православием, люди эти, Бог весть почему, прозваны были славянофилами, хотя в их отношениях к западным славянам было только одно сердечное участие к положению единокровных и единоверных своих братий. Я принадлежу к этим людям и думаю, что нам, то есть образованному обществу, следует покаяться, нравственно перевоспитаться и стать русскими людьми.

В начале прошлого года происшествия в Европе заставили думать нас, что общество образумится, перевоспитается. Но вышло не то. Общество, и в особенности петербургское, сперва испугалось: новое доказательство, что оно не знает русского народа, которому всякое восстание, всякий насильственный революционный путь ненавистны, противны его нравственным убеждениям и основам его быта, проникнутого духом веры. Оно скоро успокоилось, не видя, впрочем, что, ругая Запад, оно хранит в себе все начала, продолжает жить его заемною жизнью, словом, как выразился не помню кто, думает

Очень понятно.

устроить на Руси свой домашний Запад и безнаказанно упиваться сладостью всех тех грехов, которые погубили Запад!

Поэтому, говорю откровенно, противно мне бывало смотреть на какого-нибудь молодого, износившегося в пустой и развратной жизни франта, владетеля целых десятков тысяч душ крестьян, которые в поте лица работают кротко и усердно на удовлетворение безумной роскоши своего господина!.. А господин этот, полный глубокого презрения к грубому, невежественному мужику, не умеет без ошибок подписывать по-русски своего имени, считает себя уволенным от обязанности, если не верить, то почитать церковь и исполнять ее уставы. Вместо того, чтоб поучиться у народа его мудрости и смирению, он, вступив в службу, готов будет сейчас учить его по-своему и навязывать ему Бог знает какие, только не русские, теории. Таких господ много, они на каждом шагу попадаются в С.-Петербурге.

Бывают такие, но за то несут на себе общее презрение всех благомыслящих, которых, слава Богу, еще довольно, и с каждым днем более.

Отец мой говорит, что негодование мое может быть принято в другом смысле, то есть в либерально-западном. Если так, то весьма ошибутся те, которые это подумают. Я уже сказал, что всякий насильственный путь противен русскому народу, а, следовательно, и всем тем, которые, как я, имеют претензию держаться русского духа. Я убежден, что насилие порождает насилие, нарушает нравственную чистоту дела и никогда не приводит к добру. Я считаю даже, что никакая цель никогда не оправдывает средств, и верю Спасителю, сказавшему ученику своему, когда тот хотел его защитить (следовательно,

Стало, и не следует ему давать повод разными суждениями, преувеличиваниями и подобного рода выходками, которые одною надменностью и неопытностью отзываются

и искажают чистоту намерений.

Верю, но и в добрых намерениях можно ошибаться; c'est le ton qui fait la musique.

сделать, кажется, святое дело): «Всякий, поднявший меч, мечом и погибнет».

И потому я желал бы только, чтобы мы сами, открывая друг другу мирным путем убеждения – наши заблуждения, постарались попасть на правую дорогу, устремить все свои силы на изучение родной стороны, на пользу России и ее народу, при содействии правительства, которое всегда благонамеренно, но не всегда успевает в своих желаниях и которое во сто раз благонамереннее самого нашего общества; только правительство может практически осуществить вознаграждение русской народности и самобытное развитие русской жизни.

Объяснение мое на этот вопрос несколько длинно, но я счел нужным распространиться и начать издалека, дабы предупредить всякое недоразумение. Все, написанное мною, изложено с самою полною откровенностью.

4) В другом письме, от 15 февраля, родитель ваш, упоминая, что вы сообщаете ему о предположениях по службе, сожалеет, что пишете об этом с почтой, тогда как у вас много оказий, присовокупляя: «А всего бы лучше вовсе не писать». Объясните с тою же откровенностью обо всем, что вы писали насчет предположений по службе?

Поводом к этому письму моего отца послужило другое письмо мое, в котором я писал, что отказался от предложенного мне места начальника отделения, прибавляя, что отказался бы даже и от вице-директорства, потому что цель моя на службе: ездить с поручениями по России и изучать ее во всех отношениях, не только по предмету возлагаемого на меня поручения. Отец мой, по нежности своей ко мне, вероятно, думает, что подобный отзыв, если бы дошел до сведения моего начальства, повредил бы мне в его суждении обо мне как о чиновнике.

Ничуть, цель добрая, и начальник доступен.

5) Почему вы дозволили себе помещать в ваших письмах известия о заключении камер-юнкера Самарина в крепость и почему принимали в нем участие?

Я не понимаю, почему я в письме не мог упомянуть о заключении камер-юнкера Самарина в крепость, когда это было известно всему городу и все об этом говорили. Если б это не было известно, то всякий вправе был бы подумать, что он пропал без вести. Управляющей дома Устинова, где квартировал Самарин, намеревался было, как я сам видел, подать в полицию извещение о неизвестной отлучке Самарина, но был от того удержан. Участие в Самарине я принимал потому, что знаю его уже лет семь как умного, честного, образованного, даровитого человека, с твердым характером и добросовестною душою, всем сердцем преданного России.

6) Из ответов родителя и брата вашего, Константина, на письма ваши о Самарине видно, что они вполне разделяют негодование г. Самарина против остзейских немцев, а родитель ваш, в письме о маскараде, данном в Москве графом Закревским, отдавая старинному русскому платью преимущество перед всеми костюмами, говорит, что московская публика восстает общим бунтом на графа Закревского, что

Отец и брат писали мне о том, что разделяют негодование Самарина против немцев в Остзейском крае. Я тоже разделяю это негодование, ибо, как русский, не могу быть равнодушен к положению русских в Остзейском крае. Впрочем, так же как и они, я не люблю немцев только как касту, действующую в духе презрения к России и к ее народу, но, в частности, уважаю и люблю их, если они хорошие люди. Доказательством этому служит то, что у меня много приятелей – немцев. Что касается до восстания всей московской публики против графа Закревского общим бунтом, то эти выражения в письме моего отца относились, сколько помню я, к тому, что граф Закревский, пригласив московское общество к себе на folle journée, расстроил этим уже совсем заготовленный пикник; отказаться оно не посмело,

ругательство над русским платьем в маскараде произвело на общество самое благоприятное действие и что последствия его будут полезны. Если и вы разделяете мнения ваших родственников, то подробно объясните ваш образ мыслей по означенным предметам.

но поехало к графу весьма недовольное. Из тона письма моего отца слышно презрение его вообще к московской публике, которая часто изволит гневаться на графа Закревского за его короткий суд и расправу и в то же время готова на всякое унижение, чтоб попасть в салон графини Закревской. Что касается до выражений его о русском платье, то они содержат ту мысль, что общество, надев русское платье как шутовское, маскарадное, взамен арлекинского или испанского костюма, почувствовало же, однако, красоту и удобство этого одеяния и невольно спросило себя: отчего бы не ходить так всегда? Я не придаю платью большой важности, но думаю, однако, что если б мы все надели русское платье, то стали бы менее чужды народу и легче было бы нам перевоспитать себя на русский лад. Не говоря уже о том, что русский наряд удобнее и красивее, я просто не понимаю, отчего костюм, принадлежащий чужой народности, со всеми невыгодами и вредным влиянием иностранной моды, носить приличнее, чем наше народное платье?..

7) Брат ваш Григорий в одном письме из Симбирска, выхваляя Елачича и называя безумным франкфуртское собрание, выражает надежду, что Австрия из немецкой превратится в славянскую монархию. Не питаете ли вы и родственники ваши славянофильских по-

Брат Григорий называет в одном из писем своих франкфуртское собрание безумным. Я думаю, в этом и спрашивающие меня не сомневаются. Он выхваляет Елачича... Разве он не был достоин похвалы? Это признал и государь император, наградивший его орденом. Что касается до мнения его, что Австрия из немецкой превратится в славянскую монархию, то я также думал это, ибо немецкие элементы ее подгнили и она давно бы рухнулась, если б не поддержали ее славяне... Впрочем, может быть, Австрия устоит и в насто-

нятий и в чем оные состоят?

ящем своем виде... Что касается до моих славянофильских идей, то ни я, ни родственники мои, не славянофилы в том смысле, в каком предложен этот вопрос. В панславизм мы не верим, во-первых, потому, что для этого необходимо было бы единоверие славянских племен, а католицизм Богемии и Польши – элемент враждебный, чуждый, несмесимый с элементом Православия прочих славян; во-вторых, все отдельные элементы славянских народностей могли бы раствориться и слиться в целое только в другом, крепчайшем, цельном, могучем элементе, то есть в русском; в-третьих, большая часть славянских племен заражена влиянием пустого, западного либерализма, который противен духу русского народа и никогда к нему привиться не может.

И дельно, потому что все прочее мечта. Один Бог может определить, чему быть в дальнем будущем; но ежели стечение обстоятельств и привело бы к сему единству, оно будет на гибель России.

Признаюсь, меня гораздо более всех славян занимает Русь, а брата моего Константина даже упрекают в совершеннейшем равнодушии ко всем славянам, кроме России, и то даже не всей, а собственно Великороссии.

8) Родитель ваш, в письме от 8 марта писал к вам: «…жизнь в Москве сделалась для меня еще несноснее: и обстоятельства требуют неукоснительно бегства, и предметы общих разговоров,

Это письмо моего отца касается чисто семейных дел: расстройства финансов, болезни дочерей, а также и скуки, наводимой на него московской жизнью. Он охотно прожил бы в деревне всю зиму, ибо он и брат мой Константин любят всею душою природу, деревню и все ее мирные удовольствия. Прошлого года отец мой уехал с братом в деревню в самом начале весны,

устремление общих интересов, непосредственно разделяемых всеми, имеющих еще усилиться в будущем, выводят меня из терпения! Весьма затруднительно и не безвредно для меня, и будет странно, а как бы хорошо было уехать нам с Константином в Абрамцево». В чем состоит тягостное положение, в котором находятся родитель и брат ваш, и какой настоящий смысл имеет вышеизложенное письмо?

но простудился там, сделался очень болен и должен был воротиться в Москву. Поэтому он и называет поездку в деревню «небезвредною». Пустота ежедневных общих интересов и разговоров нагоняет на него, при невозможности заниматься службою, такую сильную скуку, что он часто уходит в другие комнаты, не дожидаясь отъезда гостей.

9) Между книгами вашими оказались: сочинение Штейна о социлизме и коммунизме и стихотворения Мицкевича. Где и у кого приобрели вы эти книги; не питаете ли вы мыслей коммунистических и вообще противных образу нашего правления, и если питаете, то объясните со всею искренностью: какими путями вы приведены к этому?

Найденные у меня книги куплены в Москве несколько лет тому назад, но когда именно и в каком магазине, не помню. Прибрел же я их из любознательности. Мицкевича купил потому, что сам занимаюсь поэзией и пишу стихи. Коммунистических идей не разделяю. Свои мысли я изложил уже в 3-м пункте и думаю, что в них нет ничего «противного образу нашего правления».

10) У вас еще оказались стихи вашего сочинения,

Послание к князю Оболенскому, товарищу по училищу и сослуживцу, писано мною в начале

послание к князю Оболенскому, в 1843 г., в которых вы с насмешкой отзываетесь о гражданской службе, о Сенате, о наградах чинами и крестами. Не распространяли ли вы этих стихов и мыслей, в них заключающихся, и для чего сохраняли этот листок?

1843 г., когда мне было 19 лет... Оно заключает в себе юношеское разочарование в службе, ибо формализм судебного делопроизводства сильно охладил тогда мою пылкую ревность к деятельности общеполезной. Мне тогда страшно было вообразить, что, прослужа лет 40 в этой атмосфере, я могу совершенно подчиниться влиянию служебного формализма; сделаться чиновником, который думает только об очистке бумаг, о получении за это наград; смотреть на людей отвлеченно, не понимать ничего, кроме своих дел, и постепенно заглушить в себе живого человека, желавшего некогда только блага и пользы! Со временем я переменил мысли и думаю, что можно остаться чиновником и сохранить в себе человека... Листок этот сберегался совершенно случайно; впрочем, я и не видел надобности его истреблять.

11) Объясните, какую главную мысль предполагали вы выразить в поэме вашей «Бродяга» и почему избрали беглого человека предметом сочинения?

Отчего выбрал я бродягу предметом поэмы? Оттого, что образ его показался мне весьма поэтичным, оттого, что это одно из явлений нашей народной жизни, оттого, что бродяга, гуляя по всей России, как дома, дает мне возможность сделать стихотворное описание русской природы и русского быта в разных видах; оттого, наконец, что тип этот мне, как служившему столько лет по уголовной части, очень хорошо знаком. Крестьянин отправляющийся бродить, вследствие какого-то безотчетного влечения, по всему широкому пространству русского царства (где есть, где разгуляться), потом наскучивший этим и добровольно являющийся в суд, – вот герой моей поэмы. Написана

еще только 1-я часть, которая сама может дать за себя объяснение.

12) Не имеете ли еще что-либо присовокупить к пояснению предложенного вам в предыдущих вопросах?

Кажется, ничего больше присовокупить не имею, кроме того, во-первых, что я до сих пор не знаю, зачем я арестован и в чем меня обвиняют? Во-вторых, все предыдущее изложено мною по долгу совести, без малейшей утайки, в-третьих, что я чувствую себя совершенно чистым перед Богом, Россией и государем и вполне надеюсь на милость Божию и на правосудие правительства.

Аксаков скоро был выпущен на свободу: он арестован 17 марта, а 22 марта 1849 г. «содержавшийся при III отделении в столовой зале графской половины Аксаков освобожден». Но кратковременное пребывание под арестом не раз откликалось впоследствии. Вот одно из доказательств. В 1853 г. Аксакову открывалась возможность совершить научное путешествие, и он обратился к графу Ал. Фед. Орлову с письмом следующего содержания:

«Прежде всего я должен принесть вашему сиятельству извинение в том, что решаюсь утруждать вас своею просьбою, но в моем затруднительном положении я не мог поступить иначе, да и думаю, что прямой путь, прямое обращение к такому лицу, как вы, граф, предпочтительнее всяких дорог, косвенных и окольных.

В июне этого месяца снимется с якоря и отправится в дальнее плавание, то есть к нашему Камчатскому порту, 64-пушечный военный фрегат «Диана». Редко представляется возможность совершить такое отдаленное, любопытное, разнообразное путешествие, и я почел бы себя истинно счастливым, если б мне удалось как-нибудь воспользоваться этим удобным случаем. Не говоря о любознательности, о склонности моей к географическим занятиям и к путешествиям, склонности, которую, по ограниченности моих денежных средств, я удовлетворить никогда не был в состоянии, я глубоко убежден, что это плавание до-

ставит мне возможность приложить с пользою к делу те немногие дарования, которые имею. Я всею душою желаю служить России, но чувствую, что призван служить ей скорее на поприще литературном, чем на каком-либо ином; а ваше сиятельство, верно, согласитесь, что добросовестный, благонамеренный ученый или литературный труд может быть не менее важен и полезен для государства, как и всякий другой честный труд... Между тем у нас нет ни одного новейшего литературного описания морских путешествий и стран отдаленных; в этом отношении мы руководствуемся обыкновенно сочинениями английскими и французскими, следовательно, и смотрим на описываемые ими страны с точки зрения английской и французской, а не с точки зрения русского человека, взгляд которого может быть свежее и самобытнее. Я вовсе не имею притязания думать, что описания мои будут отвечать всем строгим требованиям современного просвещения, но в одном ручаюсь безбоязненно, что принесу в дело все способности, какими только наделил меня Бог, горячую добросовестность труда и искреннее стремление к пользе. О желании моем было доведено до сведения его императорского высочества генерал-адмирала, и его высочество изволил отозваться, что место для меня на фрегате найдется, как скоро я буду облечен каким-нибудь официальным поручением от постороннего ведомства. Но в приискании этого официального поручения я и опасаюсь встретить главнейшее затруднение, тем более что есть обстоятельства, которые ваше сиятельство хорошо знаете, но которые, будучи известны другим только по слуху, могут быть сочтены препятствием к командировке меня в дальнее плавание.

Вашему сиятельству довольно известны и мой образ мыслей, и мой характер. Если я и поступал неблагоразумно, то все-таки поступал честно и всегда действовал по крайней мере прямо и открыто. Подвергая себя теперь добровольной разлуке с семьей, друзьями и родиной, я руководствуюсь самыми чистыми, самыми честными намерениями. Это сознание дает мне смелость обратиться к вашему сиятельству прямо, без обиняков, с моею покорнейшею и горячею просьбою: исходатай-

ствовать мне у государя императора дозволение отправиться на фрегате «Диана» на собственный мой счет или на счет Министерства народного просвещения и Географического общества, если последние будут согласны дать мне какое-нибудь поручение. С своей же стороны я готов исполнять и всякое другое поручение, которое во время плавания угодно будет возложить на меня начальству фрегата. Ваше сиятельство обяжете меня самою искреннейшею благодарностью, а я употреблю все усилия, чтоб путешествие мое было действительно не бесполезно для русской науки и литературы»[11].

Граф Орлов, на основании справки об аресте, полагал, что Аксакова «отпускать не должно», и с этим мнением государь был «совершенно согласен». Письмо Аксакова оставлено без ответа.

Тяжелое впечатление произвело на государя письмо Аксакова к Александре Осиповне Смирновой во время Крымской войны. В этом письме Аксаков говорит:

«1855 г. будет серый, без ведра и без сильной грозы. Однако тучи все теснее и сильнее будут облегать небо. Из иностранных газет видно, что идут переговоры о мире, что на конференциях Пруссия и даже Австрия изъявляют желание, чтобы положено было непременным условием: сохранить целость Российской империи. Вот оно до чего дошло! Про положение наших крымских дел, про управление, про грабеж чиновников в Крыму рассказывают ужасы. Так и должно быть! Порядок вещей разлагается; страшная деспотическая сила, мечтавшая с такою дерзкою самостоятельностью заменить собою силу жизни, является во всей своей несостоятельности. Пусть же ее банкрутится! Только жаль бедных русских солдат!.. Говорят: Петербург теперь отвратительнее, чем когда-либо, и умеет соглашать свой патриотизм с большим, чем прежде, поклонением Западу. Покуда возможен патриотизм в Петербурге, до тех пор нечего ожидать добра России. Петербургский патриотизм не возродит Россию к новой жизни; он чисто внешний, государственный, такое же достояние Запада, как все моды, пороки и добродетели, перенесенные оттуда, как point d'honneur[12] и проч., и проч. Петербург

должен только каяться, но он вовсе не кается, и его ненависть к Западу похожа на ненависть холопа – parvenu, разбогатевшего и перенявшего приемы и образ жизни своего бывшего господина со страшными претензиями на самостоятельность»[13].

Прочитавши это письмо, государь заметил: «Хорош, голубчик»[14].

Н. Х. Бунге

ИССЛЕДОВАНИЕ О ТОРГОВЛЕ НА УКРАИНСКИХ ЯРМАРКАХ И. АКСАКОВА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Труд г. Аксакова резко выделяется из огромного числа появившихся в последнее время статистических и политико-экономических исследований. Между тем как наша современная литература преимущественно направлена к тому, чтобы удовлетворить преходящей, вызванной обстоятельствами потребности: познакомить общество с фактами и положениями, уже добытыми наукою, – «Исследование о торговле на украинских ярмарках» увеличивает скудный капитал наших сведений о России запасом новых данных, обработанных с замечательным талантом. Вот почему сочинению г. Аксакова суждено, по нашему мнению, пережить надолго своих сверстников. Наконец, мы тем более обязаны дорожить этою книгою, что она появилась накануне торгового переворота, который неизбежно постигнет Россию по окончании нашей сети железных дорог.

Сочинение г. Аксакова состоит из трех частей: из введения, обозрения ярмарок и исследований о торговле отдельными товарами.

Представим отчет о богатом содержании каждого из отделов и рассмотрим их критически.

Начнем с введения.

Происхождение ярмарочной украинской торговли автор поставляет в связи с историческими причинами. В Великой Руси, сплотившейся в одно целое, под державою царей московских, торговый быт созидался самостоятельно; в Малороссии, не имевшей политической самобытности, сословный организм сложился иначе. Городское устройство, заимствованное с Запада, не привилось и не образовало среднего сословия; казачество же, по соединении Малороссии с Россиею, обратилось к сельским занятиям. Города не заселились, казак не стал купцом, и торговля его ограничилась продажею собственных сельских произведений. При таком положении дел, при слабом значении городовых центров и купеческого промысла ярмарки получили особенную важность. Из них составился подвижный, ходячий рынок, вращающийся целый год по своему округу; рынок, который в некоторых местах занимает 3 и 4 месяца в году. В этом торговом движении малоросы почти не принимают никакого участия: оно находится в руках великорусских купцов и евреев. Явление это г. Аксаков объясняет не только малороссийскою ленью, или леностью, развившеюся под влиянием удобств, доставляемых местному населению ярмарочного торговлею; но также особенным характером малороссийского торгового сословия. Купечество на Украине не выделилось из общего состава населения; богатея, оно не пускает своих капиталов в оборот, не затрачивает их в прочных городских постройках и, продавая товар, не отличается торговой изворотливостью, а требует известной цены и никогда не кредитует. Понятно, что при таких особенностях малороссияне не могли сделаться главными деятелями на ярмарках.

Автор заключает свою историческую характеристику обозрением перемен, происшедших в ярмарочной системе. Когда Малороссия была действительно Украиною, то есть пограничною стороною, говорит он, когда Россия не имела портов ни в Балтийском, ни в Черном, ни в Азовском морях, – тогда торговля Малороссии с Россиею сосредоточивалась на пограничных пунктах в Кролевце, Нежине и Ромне; из иностранных

товаров преобладали на рынках германские; английские фабрики находились тогда еще в детстве.

С последним разделом Польши, а потом с присоединением Бессарабии русская сухопутная граница отодвинулась; усиление американской (?) и английской мануфактурной деятельности и распространившееся употребление бумажных тканей ослабили значение германских мануфактур. Петербург, Рига, Одесса и Таганрог перетянули к себе всю внешнюю торговлю России. Новороссийский край, куда переходило торговое великороссийское племя, населился; Малороссия перестала быть Украиной, а сделалась серединною землею между Великою и Новою Россией. Последняя явилась сильною соперницею Малороссии и привлекла ярмарочную деятельность на юг, в особенности в Харьков.

С издания тарифа 1822 г. начинается третий период в Южнорусской ярмарочной торговле. Губернии Московская, Костромская и Владимирская образовали мануфактурный округ, который нашел для себя главные рынки в Малороссии и Новороссийском крае и вытеснил торговлю иностранными фабричными товарами. Этот переворот сильнее всего испытали ярмарки Курская – Коренная и Нежинская – Всеедная, некогда сильные заграничным торгом.

Познакомив читателей с изменениями, происшедшими в ярмарочной торговле, г. Аксаков переходит к описанию современной системы.

Начнем, говорит автор, с Введенской ярмарки в Сумах (21 ноября – 6 декабря). Товары из Москвы заезжают сюда по дороге, отправляясь на следующую, Крещенскую ярмарку (6 января) в Харьков, самую сильную из украинских ярмарок; отсюда купцы спешат на Маслянскую ярмарку в Ромен. Отторговав, все разъезжаются по домам, оставляя часть товаров в Ромне до Вознесенской, а часть обращают назад в Харьков; или же отправляют заранее в Елисаветград для Георгиевской ярмарки (21 апреля). С Маслянской ярмарки купцы спешат кто в Курск на Коренную (на 9-й неделе от Пасхи), кто в Харьков на Троицкую (1 июля), важную по своей торговле шерстью; иные стараются попасть на обе. В половине июля открывается Ильинская Полтавская ярмарка, переведенная сюда

в 1852 г. из Ромна. За Ильинской следует Успенская в Харькове, которая держится, несмотря на близость срока с предыдущей и близость расстояния между Харьковом и Полтавою, вследствие совпадения срока с осенним походом чумаков за солью. Отторговав на Успенской, купцы спешат на Крестовоздвиженскую ярмарку в Кролевец, и оттуда товары свозятся снова в Харьков на Покровскую ярмарку.

Эти 11 оптовых ярмарок составляют, по словам г. Аксакова, как бы пояс, обхватывающий Украину на протяжении 2405 верст, и сосредоточиваются в 6 пунктах. Из них Крещенская и Ильинская могут быть названы главными; остальные – вспомогательными. Большинство купцов, участвующих в этом торговом движении, бывает на 8, некоторые же на всех 11 ярмарках.

Как самое размещение торговых съездов не может быть названо делом случайными, а вызвано местными потребностями; также и повторение ярмарок в одном и том же городе или в местах, близких друг к другу, имеет свои достаточные причины, очень метко указанные автором. На ярмарочных рынках преобладают, как видно из его труда, или фабричные товары, или шерсть. Фабричные товары бывают или летние, или зимние – отсюда необходимость иметь две ярмарки: одну для составления запасов на зиму, другую на лето; иногда к этим ярмаркам присоединяется еще 3-я, как, например, Троицкая в Харькове для торговли шерстью. Притом частые сроки ярмарок необходимы и потому, что красный товар составляет главный предмет оборотов, а это товар прихотливый, капризный, скучный, как говорят купцы, то есть подверженный случайностям моды, вкуса и погоды; и потому, что продавцам необходимо часто видеть покупателя и беспрестанно иметь с ним дело для того, чтобы судить о его торговых обстоятельствах.

Следуя за автором, мы определили главные места, где сосредоточиваются ярмарочные украинские обороты; обозначим теперь пространство, захватываемое ими по происхождению и сбыту товаров, и скажем сначала о привозе.

С севера и северо-востока главными вкладчиками товаров являются: во-первых, мануфактурный округ, состоящий из губерний Московской, Владимирской и Костромской; далее – Нижегородская губерния, доставляющая сибирское железо и местные железные и стальные изделия; Касимов, присылающий овчины и сафьяны, Курская губерния – с разными изделиями, по преимуществу сельской промышленности; Орловская – с чугуном, стеклом и веревками; Тула – с стальными и медными изделиями.

С северо-запада и запада привозятся товары: из Смоленской губернии – стеклянная посуда; из Черниговской – фарфор, из Риги, Западных губерний и Царства Польского – сукна; сверх того, из Царства Польского лучший галантерейный товар и нельзельберг[1], наконец, австрийские косы и сахар.

С юго-запада и юга: фрукты, бакалейные товары, вино, сырые кожи, шерсть и лошади.

С юго-востока: рыбный товар и лошади.

С востока, из Воронежской губернии, – мед, воск, подсолнечное масло и пр.

Самая же площадь, на которой кружится ярмарочный рынок, поставляет следующие товары: испанскую шерсть, сырые кожи, сахар и сахарный песок, табак, воск, мед, холст, сукна, прасольский товар, собираемый на всем пространстве Малороссии и Новороссийского края, даже на Кавказской линии.

Торговля скотом, салом, пенькой, табаком производится большею частью совершенно независимо от украинских ярмарок. Конная ярмарочная торговля имеет свой особенный круг.

Сбыт товаров, привозимых на Украину, не ограничивается, конечно, местами, предназначенными для размена; он обнимает пространство, начиная с севера до Черного и Азовского морей на юге; захватывает часть Белоруссии на западе, Курскую губернию на северо-востоке и часть Воронежской на востоке.

Отпуск товаров с ярмарок достигает Риги и Литвы на северо-западе; губерний, смежных с Украиной, на севере, и только немногие товары: сухие фрукты, табак и смушки – переходят за Москву и к Нижнему Новгороду на северо-востоке. Некоторые предметы, идущие с запада: сукна и сахар – переходят па восток и на юг за пределы ярмарочной площади.

Говоря о привозе и отпуске товаров, г. Аксаков обратил внимание на одно очень замечательное явление – на уклонение в торговле от избрания прямых путей. Едва ли кому придет в голову, замечает автор, чтобы Воронежская губерния, стоя рядом с Харьковской (где Харьков служит складочным местом для окрестных губерний), стала, так сказать, к ней спиною или чтобы Старобельский уезд Харьковской губернии почти не имел доли в харьковской торговле, а принадлежал к системе торговли воронежской. На украинских ярмарках можно встретить орловских купцов, закупающих московские красные товары; Дон выписывает машинные бархатные пробки не из Одессы, а из Харькова; Рыльск усвоил себе торговлю сукнами и штейермарковскими косами.

Автор справедливо полагает, что подобные явления не могли бы возникать и удерживаться в торговле, если бы не были сопряжены с значительною выгодою. Но происхождение их зависит от многих иных побуждений, которые разъясняются историею, преданиями, народным характером и другими нравственными причинами.

К числу таких причин, от которых зависит пренебрежение кратчайшими путями, автор относит:

1) Заведенный обычай, давнее знакомство, личные связи, проторенная дорожка старинных сношений, даже симпатия, основанная на единстве быта и происхождения. Так, Старобельский уезд Воронежской губернии, заселенный великоруссами, примкнул по своим торговым сношениям не к Украине, а к северо-востоку и пр.

2) Весьма важную роль в торговле играют слова: «кстати» и «дело подходящее». Купец, обязанный приехать в Харьков с Дону для продажи своих товаров, покупает пробку, которую ближе было бы получить из Одессы, но для этого надобно пролагать новые пути.

3) Торговля косами была усвоена Рыльску предприимчивостью его купцов; но она теперь падает, как говорят местные жители, правильнее было бы сказать переходит в другие руки и пр.

Нам остается теперь рассмотреть: какие лица участвуют в ярмарочной торговле и на каком основании она ведется; далее, какие существуют средства для доставки и во что она обходится; наконец, как велики наши ярмарочные обороты.

К лицам, участвующим в ярмарочной торговле, относятся: 1) городовые покупатели, 2) фабриканты, 3) евреи, 4) разносчики и мелочные торговцы.

1) Городовые покупатели – купцы розничные, городовые, оседлые. Это покупатель фундаментальный, прочный, настоящий купец, обыкновенно владеющий недвижимою собственностью и большею частью великорусского происхождения.

2) Со времени введения тарифа главные обороты по ярмарочной торговле сосредоточивались в руках фабрикантов.

Размножение фабрик и соперничество их, при скудости требований, понизило цены донельзя, то есть если брать в соображение издержки производства. При такой относительной дешевизне товара фабрикантам приходилось брать количеством сбыта и позаботиться об устранении посредничества ярмарочных оптовых купцов. Переход торговли в руки производителей произошел постепенно, но был причиною банкротства многих купцов, которое отозвалось на фабрикантах, еще не принимавших непосредственного участия в торговле. Это обстоятельство еще более содействовало к устранению купеческого посредничества. Из 200 гуртовых лавок, являющихся с красными товарами на ярмарках, до 150 торгуют из первых рук; конечно, в числе последних находится около 50 человек, которых фабриканты называют с презрением мастерами, кустарниками, самовозами, но все-таки это производители, хотя и мелкие. Однако же непосредственной продажи через приказчиков было недостаточно для усиления сбыта. Совместничество производителей на безденежном малороссийском рынке и увеличившаяся масса

привоза, говорит автор, породили кредит, необуздываемый никакими банкротствами и даже соперничество в кредите. Каждая лавка, желая привлечь к себе покупателей, соперничает с другою не большим или меньшим достоинством товара, не дешевизною, ибо цены уравнялись до низшей степени и у всех почти одинаковы, а более или менее отважным кредитом. Кто больше кредитует, тот и товаров большую массу сбывает, и понятно, что при таком положении дел малоросс, не рискующий и некредитующий, совершенно затерт, так сказать, русскими торговцами. Кредитная цена, основанная большею частью на 6-месячном кредите от одной ярмарки до другой, чрезвычайно высока. Фабриканты на ярмарках, замечает г. Аксаков, признавались нам сами, что если покупатель два раза сряду забирает товары (разумеется, в одинаковом количестве) и за один раз заплатит сполна по кредитной цене, а за другой и вовсе не заплатит; то он, конечно, не в выгоде, но и не в существенном убытке. Купец-капиталист, закупив товар на 12 и 18 месяцев, спешит рассчитаться с вверителем как можно скорее и, пользуясь скидкою процентов, продает товар по кредитной, а иногда даже и ниже кредитной цены.

Необходимость в сбыте заставляет фабриканта принять на себя обязанности чисто купеческие – продажу чужих товаров, но, не довольствуясь и этим, он ведет за собою целое войско великорусских деятельных агентов-разносчиков, коробочников, ходебщиков и пр.

3) Евреи не имеют права торговать на Коренной и Харьковских ярмарках; на последние, впрочем, дозволено приезжать для закупок записанным в гильдию. Ярмарки, на которых присутствуют евреи, считаются денежными; отличаются большим движением и шумом; около каждого еврейского оптового купна толпится сотня мелких, которые берут товар из оптовой лавки и продают его враздробь. Евреи всегда поддерживают друг друга, имеют своих банкиров, подрядчиков, извозчиков. Автор находит, однако же, странным, что между русскими евреями находится мало основательных, как говорят купцы, фундаментальных торговцев – вероятно, от излишней поспешности и алчности. Великороссияне всегда сохраняют перевес над ними.

Евреи караимы закупают большие партии русских мануфактурных товаров.

4) Слобожане – жители старообрядческих слобод Черниговской губернии и офени, разносчики-ходебщики, коробочники, коробейники. Они производят закупку через посредство так называемых хозяев, которые их сами снабжают товаром, или же открывают им у ярмарочных купцов кредит, но только в известных размерах. Слобожане занимаются также и прасольством; они выменивают у крестьян по мелочам сельские произведения – щетину, пух и пр. Эти мелкие частицы товаров скопляются через их посредство в большие массы и поступают на фабрики или для продажи за границу.

К торгующим покупателям автор относит торговок, распродающих вышедший из моды товар, и армян; о последних мы находим только одно упоминовение.

Способ перевозки товаров, доставляемых на ярмарки, двоякий: извозчицкий, или конный, и фурный, или воловий. Товары отправляются или через конторы транспортов, или через подрядчиков, или через самих извозчиков и чумаков.

Из 60 000 подвод, отправленных в 1854 г. с Крещенской ярмарки, на долю контор досталась $^{1}/_{12}$ часть (летом конторы отправляют много шерсти на московские фабрики). Такая доставка обходится дороже, потому что контора составляет нового посредника и отправляемые через нее товары застраховываются.

За конторами следуют подрядчики и наконец вольные извозчики, издавна знакомые купцам. На долю вольных извозчиков, по сведениям, собранным автором, в 1854 г. на Крещенской ярмарке досталось до 40 000 подвод.

Название извозчика присвоено собственно русским конным и извозчикам; малороссы, везущее товары на волах, называются фурщиками. Конная доставка длится в течение целого года, воловья только летом и отличается несравненно большею медленностью. Зато фурный провоз дешевле; потому что волы довольствуются подножным кормом, и мало-

россы (по словам автора) менее прихотливы, чем русские извозчики. С малороссийским извозом связано чумачество – развоз соли и рыбы.

Доставка соединена с огромною тратою сил, времени и денег.

Провоз товара, объехавшего все ярмарки, то есть 2405 верст, стоит на одних конных подводах 11 руб. 55 коп. асс., а на конных и воловьих 9 руб. 70 коп. асс. Очевидно, что товары не объезжают всего ярмарочного круга; остатки от одной продаются на другой ярмарке, на которую прибывает новый товар. Цены провоза от Москвы простираются от 80 коп. – на Крещенскую, до 4 руб. асс. – на Елисаветградскую при конной доставке. Таким образом, провоз сам но себе недорог, но издержки провоза очень велики. Отношение его к ценности товара различно: для мануфактурных он составляет 3, 4%, для железа – 15%.

В конце обзора средств доставки и издержек, на нее употребленных, автор представил описание дорог, по которым следуют товары.

Величина ярмарочных оборотов показана г. Аксаковым вдвойне: и по официальным сведениям, и по собственным изысканиям. Вот вкратце цифры за 1854 г. (миллионы руб.)

Ярмарки	**Привоз**	**Продано**	**Привоз**	**Продано**
	По официальным сведениям		**По исчисл. автора**	
Ильинская	14,1	8,2	30	18
Крещенская	13,6	9,7	40	25
Кролевецкая	5,7	3,4	7.5	5
Коренная	5,0	2,1	15	7
Успенская	5,0	2,0	23	8
Маслянская	4,5	1,9	7	4
Покровская	4,3	1,3	9	6
Вознесенская	25	1,1	6	3
Троицкая	1,0	0,92	1,25	1,25
Сумская	1,8	0,69	3	2
Елисаветградская	0,97	0,55	2	1,5
	59	32	127	80

Задавая себе вопрос о судьбе ярмарочной торговли, автор приходит к убеждению, что она должна значительно измениться по открытии железных дорог. Впрочем, он полагает, что Харьков остается по-прежнему важным складочным пунктом для юга России. Стремление торговли к оседлости, особенно в городах с великорусским элементом, указано им не раз. Лавки, которые в Харькове открывались сначала только во время ярмарок, торгуют теперь постоянно.

В заключение упомянем о тех трудностях, которые представляют исследователю и официальные сведения (в которых автор нашел недостаток определительности в распределении товаров, пропуски и пр.), и самые торговые порядки.

1) Очень трудно провести границу между продавцами, являющимися на ярмарки, и покупателями. Хозяева-прасолы собирают на ярмарках товар по мелочам и продают его оптом.

2) Разделение торговцев на продающих из первых и вторых рук невозможно; потому что фабриканты держат в лавках не только свои, но и чужие товары.

3) Равным образом трудно отличать торговлю оптовую от розничной; та и другая производятся по большей части из одних и тех же лавок.

4) Название города, к которому принадлежит купец, не имеет никакой связи с его торговлею; многие записываются в Бердянске и Ейске, по доверенности, данной евреям, а сами там не торгуют.

5) Названия товаров легко могут ввести в заблуждение и очень неопределенны. Суздальскими называются краснорядческие великорусские товары, игольными – галантерейные низшего качества, москательными и бакалейными обозначаются предметы очень разнородные.

6) Наконец, главные товары продаются вместе с второстепенными (по мнению автора) в силу обычая.

Из всего этого легко понять, как трудно подводить под установившиеся статистические нормы данные, представляемые нашею торговлею.

Как ни много теряет живой рассказ автора в отчете нашем, но приведенные нами с возможною подробностью заключения и выводы довольно громко говорят за себя.

Г-н Аксаков, по нашему мнению, очень верно указал на причины происхождения малороссийской ярмарочной торговли и с большим мастерством охарактеризовал национальные различия в торговом сословии. Не менее замечателен также меткий и беспристрастный исторический очерк ярмарочной украинской торговли, с указанием на те причины, под влиянием которых устанавливались связи с Европою и Великороссиею – именно: на значение приобретенных Россиею приморских берегов и тарифа 1822 г. Затем, изобразив настоящую систему ярмарочной торговли, автор, едва ли не первый дал нам об ней ясное понятие; он указал на площадь, в пределах которой ведется ярмарочный украинский торг, отделил эту систему от других, обозначил захватываемый ею рынок и, наконец, отметил неправильности в движении товаров из мест производства, или склада в места потребления.

Знакомя своих читателей с главными деятелями, принимающими участие в ярмарочной торговле: с фабрикантами, офенями, слобожанами и пр., – автор раскрыл механизм оборотов, производимых этими лицами, в особенности же фабрикантов и мелочных торговцев, за исключением евреев, о которых сказано довольно мало.

Затем он определил издержки, употребляемые на провоз товаров, указал на самые способы доставки и представил исчисления сумм привоза и сбыта. Таким образом г. Аксаков рассмотрел все существенные стороны предмета, подлежавшего его изучению. Выполняя эту задачу, он представил неоспоримые доказательства умения не только наблюдать и характеризировать экономическую жизнь народа, но также делать общие выводы из массы собранных фактов. Замечательно, что при этом автор нигде не вдается в полемику, которая выставила бы его или приверженцем, или противником охранительной системы; из всего изложения его труда можно вынести только одно убеждение, что он принадлежит к числу сторонников всех улучшений, проведенных в дело не насилием, но естественною необходимостью. Такая беспристрастная точка зрения должна придать его исследованиям высокий авторитет в глазах людей с самыми различными взглядами и убеждениями. Каждый может взяться

за его книгу с полной уверенностью, что ему не придется иметь дела с фактами, изображенными под влиянием задушевной мысли.

Отдавая должную справедливость прекрасному труду г. Аксакова, мы считаем необходимым указать и на некоторые из недостатков его сочинения. Одни из них вовсе не могут быть поставлены в вину автора и происходят от малого знакомства нашего с Россиею вообще; другие заключаются в истолковании некоторых явлений, не вполне удовлетворительном.

Г-н Аксаков представляет украинские ярмарки как систему, отдельную от других ярмарочных систем. Конечно, несправедливо было бы требовать от него определения прочих ярмарочных округов, взаимной зависимости их между собою; потому что разъяснение столь важной задачи потребовало бы изучения целой России; но кто не согласится с нами, что это дело далеко не второстепенное. Чай, железо, великорусские фабричные товары играют огромную роль в ярмарочном обороте на востоке, и любопытно было бы знать не только особенности других ярмарочных систем, но также, какое влияние имеет успешный ход дел в Ирбите и Нижнем Новгороде на южнорусский торг. Конечно, предметы фабричного сбыта не одни и те же на востоке и на юге России, но усиление движения на одном конце не может не отозваться на других.

При определении пределов других ярмарочных систем можно было бы приобресть более твердое убеждение в том, что автор имел полное право исключить из общей системы украинских ярмарок киевские контракты и причислить к ней Коренную ярмарку. Мы не хотим этим заподозрить точность сведений, но не можем не пожалеть о недостатке в доказательствах, которые не оставляли бы никакого сомнения насчет правильности географического подразделения ярмарок. Справедливость требует заметить, что в «Исследовании», по возможности, обращено внимание на соприкосновение других ярмарочных систем с украинскою; но уважаемый нами автор согласится, быть может, и сам, что место, занимаемое последнею в целом составе внутренней торговли, нельзя было означить с совершенною определенностью, не распространив исследований на всю Россию.

Некоторые из явлений, подмеченных г. Аксаковым, кажутся нам также не вполне объясненными. Так, например, рассматривая, почему ярмарочная торговля фабричными товарами перешла в руки производителей, он замечает (на с. 20), что размножение фабрик и соперничество их, при скудости требования, понизило цены донельзя, если брать в соображение издержки производства, а далее, на следующей странице, говорит о высоте кредитной цены и о том, что, по признанию фабрикантов, «если покупатель два раза сряду забирает товары (в одинаковом количестве!) и один раз заплатит сполна, по кредитной цене, а за другой вовсе не заплатит, то они, конечно, не в выгоде, но и не в существенном убытке». Допустим даже, что оба приведенные положения относятся к одному и тому же времени, что в одном месте говорится о цене на наличные, а в другом – о кредитной; но причины, под влиянием которых устанавливались цены, были одни и те же – и трудно согласиться, чтобы одно и то же обстоятельство могло производить различные явления – и дороговизну, и дешевизну.

Попытаемся дать свое объяснение, не выдавая его за непреложную истину. Нам кажется, что фабрики наши, лет 10 после издания тарифа, должны были иметь характер монопольных предприятий, и если количество произведений превышало требования, то это потому, что цена была слишком высока и что при высокой цене потребление, по необходимости, было ограниченным. Мы сомневаемся, чтобы мог быть в это время огромный избыток товаров, потому что привоз хлопчатобумажной пряжи и хлопка не был велик.

Вот средние числа:

Годы	**Привезено было** *(пуд.)*	
	пряжи	**хлопка**
1824–1828	359,377	73,460
1829–1833	530,535	125,587
1834–1838	598,368	244,586
1839–1843	567,608	410,579
1844–1848	480,892	808,388

С 1848 г. потребление хлопка увеличилось почти в три раза, однако же, несмотря на это быстрое приращение потребления, мы не можем сказать, чтобы рынок наш был переполнен. Справедливо только то, что ярмарочные купцы старались присвоить себе огромные барыши, на которые рассчитывали фабриканты. Тогда последние вытеснили их с рынка. Но первоначальные производители, присвоив себе мануфактурную ярмарочную торговлю, могли соперничать друг с другом или в понижении цен на наличные, или в риск оказываемого кредита, при удержании высоких цен. При бедности средств нашего купеческого сословия и при медленности торговых оборотов кредитная рисковая торговля должна была взять верх, и высокие цены установились, конечно, не под влиянием соперничества фабрикантов, а покупщиков розничных купцов, которые смело набавляли цены. Фабриканты находили для себя вознаграждение в выигрыше на рисковых барышах, розничные купцы – в возможности торговать, имея скудный собственный капитал и готовый кредит.

С распространением мануфактурной промышленности и накоплением капиталов это ненормальное направление торговли должно исчезнуть. Фабрикантам придется рассчитывать не на 100%, а на 30–40%, и будет выгоднее продавать на наличные с умеренным барышом, чем отдавать свои товары в неверные руки спекуляторов, которые тоже мало выиграют, если им придется соперничать с осторожными и истинно фундаментальными торговыми домами, довольствующимися 15–20%. Затем мы позволим себе сделать еще одно небольшое замечание. Автор говорит, что с главным товаром всегда продается второстепенный, и объясняет это случайностью. Едва ли можно в таком деле, как торговый расчет, допустить случайность. Нам говорил один купец, что выбор товаров имеет целью привести капитал в постоянный оборот. Таким образом происходят самые странные сочетания: вино и кирпич, железо и сахар и т. п., смотря по местным условиям и по средствам лица. Для купца важно, чтобы суммы, выручаемые от продажи по мелочам, затрачивались в такие товары, которые позволяют сделать выручку в

удобное время и не оставляют капитала праздным. Факт этот кажется нам несомненным, но он еще мало разъяснен, что очень жаль; потому что комбинации в торговле чрезвычайно важны и заменяют у нас недостаток в удобствах сообщений и закупки товаров по частям.

Мы могли бы привести еще несколько подобных замечаний, но так как они не имеют в наших глазах особого значения и не относятся к погрешностям, то мы ограничимся сделанными возражениями. О числовых данных мы будем иметь случай высказать наши мысли при разборе следующих отделов «Исследования о торговле на украинских ярмарках».

Во второй части автор рассматривает ярмарочное движение в 7 названных им городах: в Харькове, Ромне, Полтаве, Курске, Кролевце, Сумах и Елисаветграде.

I. Харьков и харьковские ярмарки.

Харьков, по словам г. Аксакова, сам по себе не есть торговый город, а склад товаров, гостиный двор, передаточное место между севером и югом. Купцы, приехавшие сначала торговать на ярмарки, сделались со временем здесь оседлыми; но независимо от иногородних, торгующих в течение целого года, в Харькове имеют свое постоянное пребывание около 50 приказчиков от иногородних ярмарочных купцов.

Причины торговой оседлости заключаются в следующем:

1) в преобладании великорусского элемента;

2) в административном значении Харькова;

3) в большой близости этого города к Новороссийскому краю и южным портам.

Первое место между харьковскими ярмарками занимает Крещенская, на которую привоз более силен, чем на другие; потому что купцы пользуются зимним путем для доставки товаров за дешевую цену и потому что остатки товара развозятся по прочим украинским ярмаркам, в особенности же идут на Маслянскую в Ромен и на Георгиевскую в Елисаветград. Перечислив данные по официальным ведомостям, автор подвергает их критическому разбору и противопоставляет своим, по

которым вообще сумма продажи несравненно более; например, в 1854 г. по хлопчатобумажным материям – на $^1/_3$; по рыбному товару – в 8 раз (вместо 48 000–400 000 руб.) и пр.

По официальным сведениям, привоз на ярмарку составлял в 1854 г. 13 652,41, а продажа – 9 790,563. Автор, принимая во внимание пропуски товаров, разности между официальными показаниями и сведениями, собранными им на месте, заключает:

«Подвод к Крещенской ярмарке было отправлено не менее 60 000, что составит, кладя по 25 пудов на подводу, 1 500,000 пуд. Мы можем смело принять оценку пуда в 15 руб. сер., ибо все красные мануфактурные товары должны быть оценены: бумажные не менее 30 руб. сер. пуд, а шелковые даже в 500 руб. сер. пуд. Впрочем, в дальнейшем описании мы подробно излагаем исчисление продажи каждого товара. На основе этих исчислений мы оцениваем сбыт Крещенской ярмарки в 25 млн. руб. сер., а привоз в 40 млн. руб. сер.»

Успенская ярмарка находит сильную конкуренцию в соседней Ильинской (в Полтаве), которая оканчивается около 5 августа. Сбыт товаров, по словам г. Аксакова, падает с 1850 г., (хотя данные, на которые он ссылается, не убеждают нас в этом); но Успенская ярмарка поддерживается особенными обстоятельствами:

a) поздним прибытием некоторых товаров из отдаленных мест (напр. железа); b) существованием для этих товаров складов; c) дешевизной осенней доставки на юге чрез посредство чумаков.

Покровская ярмарка со времени упадка Успенской усиливается (официальные сведения с этим не совсем согласны), потому что многие купцы, оставив последнюю для Ильинской, едут на Покровскую, где особенно силен торг овощным товаром.

Троицкая ярмарка, исключительно шерстяная или панская, представляет замечательную особенность в том, что от привоза почти не бывает остатков.

В заключение автор приводит свод официальных ярмарочных сведений за 5 лет.

II. Ромен и роменские ярмарки.

Сообщив некоторые исторические заметки о роменских ярмарках, автор рассматривает Маслянскую (17–24 февраля) и Вознесенскую во 2-й половине мая.

Ромен, несмотря на значение своих ярмарок, особенно до перевода Ильинской в Полтаву, не упрочил за собой никакой торговли и не обстроился. Маслянская и Вознесенская ярмарки имеют значение вспомогательных; характерные их особенности заключаются: 1) в участии евреев, которым не дозволено торговать на харьковских, сумских и коренной ярмарках; 2) в больших оборотах мягкою рухлядью и косами (на Маслянской ярмарке) и в сбыте сахарных песков (на Вознесенской). Торговля на обеих ярмарках находится в тесной связи (кажется, только для красных товаров); чем длиннее мясоед, тем слабее торг на Маслянской и сильнее на Вознесенской, и наоборот; но Вознесенская ярмарка слабее Маслянской. Указав на неточности отчетов, автор приводит свои исчисления.

III. Полтава и Ильинская ярмарка.

Ильинская ярмарка, переведенная в 1852 г. из Ромна в Полтаву, удалась на новом месте вполне и главным образом потому, что здесь она ближе к югу, к Новороссийскому краю, куда подвигались постепенно ярмарочные центры. Г-н Аксаков ставит Ильинскую ярмарку на втором месте после Крещенской и Харьковской, несмотря на то что, по официальным отчетам, последняя значительнее. Указав на неточности собираемых сведений, г. Аксаков полагает, что привоз = 30 млн, а продажа 18 млн в 1854 году. Характерные особенности Ильинской ярмарки заключаются: a) в том, что это самая крупная местная ярмарка после Нижегородской и что на ней имеет особенную важность сбыт сукон и шерстяных материй – торговля теплом, как выражаются купцы; b) в том, что вместе с евреями появляются здесь сукна и товары западных губерний – иностранные шелковые, льняные и галантерейные; c) в значительной торговле шерстью, табунными лошадьми и черными крестьянскими товарами; d) в связи с

Нижегородскою ярмаркою по переводу денег; e) в участии Харьковской шерстяной акционерной компании и f) в приезде Харьковского отделения конторы Коммерческого банка.

IV. Коренная ярмарка. Исторические заметки автора показывают, что Курск утратил свое прежнее ярмарочное значение с тех пор, как он перестал быть пограничным пунктом. К этому присоединилось усиление малых городских центров Курской губернии – всегдашний признак развития торговли и перехода ярмарочной торговли в руки первоначальных производителей – фабрикантов. Из 673 капиталов, бывших 40 лет тому назад, в настоящее время осталось не более 190. Особенности Коренной ярмарки заключаются в следующем: a) в великорусском ее характере – Воронеж и Дон принимают в ней бóльшее участие, чем в Харькове и Полтаве; b) в том, что она из всей цепи оптовых ярмарок, обхватывающих южно-серединную Русь, стоит, так сказать, на границе двух систем и соприкасается как с другою цепью великорусских ярмарок, составляемой Ростовскою (в Ярославской губернии), Ирбитскою и Нижегородскою ярмарками, так и с другими торговыми путями, минующими Слободскую и Малороссийскую Украину. Многие из торгующих на Нижегородской ярмарке едут сначала на Коренную; c) в свойстве товаров: сюда идут ивановские ситцы, в особенности синие кубовые, и стальные изделия нижегородского лучшего качества; d) в покупателях, которые по преимуществу обапольные, то есть из окрестных мест.

К неудобствам Коренной ярмарки относятся: a) подвижность срока; b) то, что она ни весенняя, ни летняя, а это важно с тех пор, как мануфактурные товары сделались регуляторами ярмарочной торговли; наконец c) что положение ярмарки в пустыне не позволяет ей остаться. Тем не менее автор считает вредным перевести ее и полагает, что лучше дать ей доживать последние дни своего существования в покое.

В заключение он приводит данные официальные и свои собственные, значительно превышающие предыдущие, и указывает на недостаток собранных полициею сведений.

V. Кролевец и Крестовоздвиженская ярмарка.

Официальные данные за 10 лет, по 1854 г., показывают значительное возрастание этой ярмарки в последние годы. Г-н Аксаков приписывает это переводу Ильинской ярмарки, вследствие чего значение Кролевца для Западной полосы должно было усилиться; потому что он составляет в этой стороне крайний пункт, соприкасающийся с системой торговли северо-западных губерний, устремленной к Рижскому порту и к Москве. Кролевецкая ярмарка важна не по участию в ней Черниговской промышленности (сукна, сахар и кожи местных фабрик не сбываются на этой ярмарке, а только писчая бумага, фарфор, хрусталь, стекло и нек. др.), но по сбыту русских мануфактурных товаров. Особенности ее заключаются: a) в появлении покупателей из Белоруссии; b) в том, что с нее начинают свое бродяжничество прасолы; c) в привозе сукон и других шерстяных материй из западных губерний евреями; d) в том, что это последняя оптовая ярмарка, в которой участвуют евреи (кроме сукон они торгуют здесь иностранными тканями и галантерейными товарами); e) в обилии щепного товара на черной ярмарке. Оседлости торговля не имеет.

VI. Сумы и Введенская ярмарка.

Сумы, по центральному своему положению на перепутье от Харькова к Ромну, от Харькова к Кролевцу и от Ромна в Курск, были удобным местом для склада товаров. С устремлением торговли на юго-запад сумские ярмарки начали слабеть, сборная прекратилась, Введенская существует, но клонится к упадку, ибо становится совершенно не нужною. Всякий предпочитает переждать месяц и ехать на Крещенскую в Харьков.

VII. Елисаветград.

Из трех ярмарок, существующих в Елисаветграде, купцы выбрали Георгиевскую, которая отличается: a) торговлею рогатым скотом и черными крестьянскими товарами; b) участием евреев и c) избранием ее, как сборного пункта для приказчиков, отправляемых хозяевами после Маслянской ярмарки за деньгами.

Вот характеристика отдельных ярмарок. Мы не приводим чисел, которыми наполнен этот обширный отдел, тем более что итоги приведены нами выше, а о частностях мы будем говорить ниже при разборе цифр.

Обозрение, сделанное нами, конечно, не дает полного понятия о содержании этого отдела. При описании ярмарок в каждом данном пункте автор представляет сначала исторические заметки о значении города и о влиянии на него ярмарочной торговли, делает общие замечания о последней, приводит цифры привоза и продажи за истекшие 10 лет, по 1854 г. включительно, и подробные официальные сведения за последний 1854 год, а иногда и за несколько последних лет; сопоставляет эти данные с теми, которые ему удалось добыть на месте, и указывает как на частые пробелы в сведениях, собранных полициею, так и на ту небрежность классификации, которая так затрудняет исследователя. Дополняя этим общие выводы, приведенные нами выше, легко убедиться в огромности труда, выполненного г. Аксаковым; а зная, как составляются наши официальные статистические ведомости, нельзя не отдать справедливости настойчивому терпению, с которым исследователь добивался истины при разборе разноречащих показаний. Заслуга эта так велика, что ее, без сомнения, не уронят ни замечания относительно разноречия цифр, указанные уже в одном из наших журналов, ни те возражения, которые мы позволим себе сделать.

Числа представляют нередко погрешности в сложении итогов. Таких ошибок указано было несколько одним из рецензентов – они относятся главным образом к официальным данным и, как легко убедиться, могли произойти не только при переписке рукописи или при печатании самой книги (в многих случаях читателю нетрудно самому усмотреть, где заключается промах); но и при сложении чисел составителями официальных ведомостей.

Так, например, официальная цифра продажи на Крещенской ярмарке, показанная у автора на 46 и 65 страницах = 9 790,563 руб., на с. 59 = 8 790,563, заключает явную ошибку; но которая из данных вернее? Итог чисел на с. 65 также показан неточно: вместо 9 790,563 мы по-

лучили из слагаемых 8 972,803. Так же точно на с. 70, предполагая, что слагаемые числа верны, должно читать в итогах:

вместо 57,700 – 72,700 (а на с. 72 72,200. См. под рубрикою «Льняные товары»).

» 154,200 – 157,200

» 169,900 – 154,900

» 41,000 – 36,000

»128,000 – 118,000

» 72,400 – 82,400

» 133,300 – 123,800

Но здесь следует решить, кто более виноват – автор ли или сами официальные сведения? Можно полагать, не без основания, что ошибки, вроде приведенных нами выше, заключались в источниках. Г-н Аксаков, не доверявший точности показаний, как кажется, не обратил внимания на арифметические промахи полиции; в противном случае он, без сомнения, указал бы на них сам. Но, сделав подобное открытие, что оставалось ему предпринять? Потребовать ли от собирателей исправлений или заняться ими самому, приводя властною рукою в согласие слагаемые с итогами? Мы знаем, что он не избрал бы ни того, ни другого, а оставил бы цифры в том виде, в каком они были ему доставлены. Итак, справедливость обязывает снять с автора большую часть вины.

Скорее можно было бы упрекнуть г. Аксакова в том, что он не изложил подробнее своих собственных исчислений, которые внушают нам несравненно более доверия; но и это замечание мы тем охотнее берем назад, что сознаем вполне, как легко предъявлять требования статистикам и как трудно удовлетворять их, особенно при том положении, в котором находятся и наша промышленность, и наши исследователи.

В двух только случаях мы не согласны с г. Аксаковым. Приведя на с. 68 официальные сведения за 10 лет о торговле на Успенской ярмарке, автор замечает на следующей странице, что сбыт с 1850 г. постепенно и заметно упадает. Напротив, в 1850–1854-х он был гораздо более против

трехлетия с 1847 по 1849 г. Основываться на цифрах 1844–1846 гг. нельзя, потому что они, очевидно, выставлены наобум:

Год	Привоз	Сбыт
1844	6.032,305	201,000
1845	6.272,442	4.201,940

То же самое можно заметить о ярмарке Введенской в г. Сумах (таблица на с. 149); нельзя сказать, что ярмарка приходит в упадок. Цифры в высшей степени произвольны, как это видно с первого взгляда, а сбыт в 1853 г. (последнем году в таблице) уступает только одному 1846 г., и то с немногим на 68,000, и гораздо более, чем во все остальные 9 лет.

Нам кажется, что автор напрасно искал здесь подкрепления для своих личных наблюдений и расспросов в официальных данных. От этого, вероятно, и происходит недоразумение наше.

Третий отдел «Исследований» посвящен торговле отдельными товарами. С ним трудно познакомиться по самому подробному извлечению; но он очень важен не только как указание мест, где и какие именно вырабатываются у нас произведения, но и для определения способов доставки и о цене тех или других товаров в частности. Соединение заметок и наблюдений об этих важных предметах в особом отделе (занимающем более половины книги) составляет счастливую мысль, за которую нельзя не быть признательным трудолюбивому автору.

В этой части рассмотрены у г. Аксакова:

во-1-х, товары мануфактурные;
» 2 », шерсть;
» 3 », металлы;
» 4 », кожи;
» 5 », бакалейные и москательные товары;
» 6 », торговля чаем;
» 7 », съестными и овощными товарами;
» 8 », конная;

» 9 », товаром стеклянным, глиняным и мебелью;
» 10 », винами;
» 11 », табаком;
» 12 », рыбой;
» 13 », сахаром;
» 14 », мылом;
» 15 », галантерейными косметическими, золотыми и серебряными вещами;
» 16 », писчею бумагою;
» 17 », коврами;
» 18 », прасольским товаром;
» 19 », черным крестьянским товаром;
» 20 », некоторыми другими мелкими товарами.

I. Начнем с мануфактурных товаров, то есть с тканей бумажных, шелковых, шерстяных и льняных, избегая по возможности повторений, сведений чисто специальных и подробностей, с которыми можно познакомиться только из самой книги.

1) Бумажные товары доставляются на ярмарки преимущественно из Великорусского мануфактурного округа; $^{1}/_{3}$ привозится купцами и $^{2}/_{3}$ производителями. Общая сумма продажи равняется 13,25 млн руб. сер., что составляет около четверти всего производства. Какого рода товары идут на ярмарки, от каких фабрикантов, по какой цене продаются, и притом на каких именно ярмарках, – все это подробно изложено г. Аксаковым. Бумажные товары русские не встречают соперничества иностранных.

2) Шелковые товары идут из Московской губернии и продаются на 2 175,000, что составляет также ¼ часть нашего производства; но они встречают соперничество иностранных, оборот которыми простирается до 450,000 руб. и почти на половина находится в руках евреев. До 250,000 сбыта доставляется чрез С.-Петербургский порт.

3) Сукна привозятся из фабрик С.-Петербургских, Московских, Рижских, Царства Польского, Западных и местных губерний. Торговля

находится преимущественно в руках купцов (потому что фабриканты, по большей части, люди не торговые), как евреев, так и русских, в том числе рыльчан, которые сначала вели торг иностранным товаром, а теперь, по заведенному обычаю, и русским. Сбыт, по исчислениям автора, простирается на 2 375,000 руб. сер. и составляет $^1/_4$ долю производства. Сбыт шерстяных материй = 2 800,000 руб., вместе с суконами 4,5 млн., что = $^1/_6$ доли производства.

4) Льняные и пеньковые материи из губерний: Ярославской, Владимирской, Костромской, Московской и Курской. Общий сбыт = 1 200,000 руб. На долю купцов приходится до 450,000. В торговле полотнами важно участие Европы, но много товара контрабандного, и вычисления почти что невозможны.

Сбыт мануфактурных изделий (по вычислениям автора) составляет $^1/_4$ часть всей ярмарочной торговли. В заключение г. Аксаков представляет данные как общей торговли мануфактурными товарами на ярмарках, так и, в частности, каждым товаром отдельно.

II. Торговля шерстью. Ни одна отрасль сельского хозяйства в России не достигала в такое короткое время столь быстрого развития, как тонкорунное овцеводство; ни одна статья заграничного отпуска не усилилась в такой степени, как овечья шерсть. Значение ярмарок, как мест для выставки этого предмета, как сборных пунктов, велико. Исчислив виды шерсти, автор переходит к описанию отдельных ярмарок.

О Троицкой Харьковской ярмарке, с постоянным сроком 1–15 июля, г. Аксаков замечает следующее:

1) Официальные сведения, показывающие средний сбыт за пятилетие от 1850 до 1854 г. в 141,827 пуд. довольно верны. Но много шерсти, от 50 до 60,000 пуд., продается сверх того по образцам.

2) Привозимое количество почти всегда распродается.

3) Из разных видов шерсти привозится наибольшее количество перегонной (то же можно сказать о ярмарках Екатеринославской и Полтавской).

4) От $^{5}/_{6}$ до $^{8}/_{9}$ всего количества шерсти продается производителями, преимущественно овцеводами Харьковской и Екатеринославской губерний – до $^{2}/_{3}$; Херсонская губерния не принимает участия в Троицкой ярмарке, потому что имеет верный сбыт в Одессе, Херсоне и Полтаве.

5) Закупка производится главнейше в Москву, в Броды, за границу харьковскими купцами для мойки и харьковскою компанией. Часть московской шерсти идет за границу через Петербург.

Упомянув об Екатеринославской Петропавловской ярмарке, автор переходит к Ильинской, которая занимает, по его словам, второе место по торговле шерстью после Троицкой. Пока ярмарка находилась в Ромне, сбыт шерсти (тонкорунной) упадал – в продаже принимали участие преимущественно помещики Полтавской губернии, отчасти Харьковской и Черниговской; с переводом в Полтаву торг усилился, вследствие близости мест производства, и немного уступает Троицкому:

1854 г. привезено 106,548 пуд. тонкорунной;

1844 г. » 135,927 ».

Впрочем, много товара продается по образцам. Здесь более продается мытой шерсти, и перевес перегонной гораздо сильнее (автор объясняет это тем, что к июлю купцы успели уже перемыть шерсть); $^{2}/_{3}$ товара продается купцами. Сбыт за границу почти = $^{1}/_{3}$ доли всего привоза и состоит из шерсти перегонной и мытой. Внутренние покупатели – те же, что и на Троицкой ярмарке. Цены на шерсть возвышаются под влиянием запроса со стороны Харьковской компании и падают от необходимости, в которой находятся продавцы-помещики, сбыть свой товар. Шерсть продается главным образом на наличные деньги; автор приписывает отчасти и этому обстоятельству дешевизну нашей шерсти сравнительно с иностранною. В заключение г. Аксаков приводит цены на шерсть, торг ею на других ярмарках и полагает общую стоимость оборотов до 4 млн руб. сер. в самом неблагоприятном 1854 г.

III. Железные и медные товары.

Автор говорит сначала о металлах не в деле. Пространство, снабжаемое железом через посредство украинских ярмарок, теперь значительно

стеснено. Движение товара (идущего из Нижнего) по Десне и Днепру на западе и по Дону на востоке значительно ограничивает рынок. Из ярмарок наибольшие – Харьковская, Коренная и Ильинская; на них торгуют купцы, которые не являются на ярмарки Роменскую и Кролевецкую. Торговля железом производится, большею частью, купцами, которые закупают товар из двух рук на Нижегородской ярмарке, и стремится сделаться оседлою. Несмотря на стеснение пределов ярмарочной торговли железом, сбыт его усилился от увеличения потребления. Цены находятся под сильным влиянием дешевизны или дороговизны доставки.

Чугун, медь и сталь привозятся в небольшом количестве.

Затем г. Аксаков вычисляет торговцев железными вещами, рассматривает различные категории, сорты, цены товаров и переходит к изделиям медным, чугунным, скобяным и полагает сумму ярмарочной продажи от 2 до 2,5 млн руб., между тем как продажа на Нижегородской ярмарке составляла 5 871,615 рублей.

В заключение этой статьи мы находим сведения о торговле иностранными изделиями: столярными английскими и голландскими инструментами, сенокосными косами. На Маслянской ярмарке кос привезено было евреями, по их показаниям, на 150,000 руб., по уверению рыльских купцов на 300,000, а но официальным сведениям на 28,500 руб.

IV. Торговля кожами и кожевенными изделиями.

Сырых кож продается на украинских ярмарках всего на 1 200,000 руб. сер., в том числе одной шпанки на 800,000. Они закупаются курскими, московскими и калужскими купцами, которые, в свою очередь, привозят главным образом выделанного товара 750,000. Несмотря на значение Курской губернии по выделке кож, товара этого бывает мало на Коренной; автор объясняет это местным сбытом и необходимостью для производителей ездить на юг за сырым материалом.

V. Москательные и бакалейные товары. Мы упомянули уже выше о неопределенности этого понятия. Автор, представив классификацию этого рода товаров, замечает, что оптовая торговля произведениями, получаемыми из-за границы, производится через посредство одесских и

таганрогских торговых домов. С тех пор как Петербург и Москва завели непосредственные сношения по закупке, ярмарочная торговля упала. Москатильные товары разделяются на русские и иностранные. Заграничная москатиль привозится не только из Одессы и Таганрога, но также с запада – евреями, и главнейше из С.-Петербурга; русская – закупается у самых производителей. Всего привоз:

Москательных товаров на 1.658,000 руб.
Бакалейных и москательных 2.153,560 »
Из них иностранных товаров на 1,493,560 »
» » русских » 660,000 »

VI. Торговля чаем, вследствие непосредственных сношений, не дает нам понятия о сбыте; на ярмарках в 1854 г. продано было на 892,000 руб.

VII. Товар съестной и овощной представляет странную смесь разнородных кондитерских произведений, фруктов, птиц, рыб, стеариновых свеч и пр. Сбыт всего на все = 590,000 руб.

VIII. Лошади составляюсь важную статью на украинских ярмарках, связанных с тамбовскими, лебедянскими и воронежскими. Познакомив читателя с предметом торговли, с лицами, принимающими в ней участие, и с кругом конных ярмарок, г. Аксаков ставит на первом месте Троицкую Лебедянскую ярмарку, затем Крещенскую в Харькове и Ильинскую в Полтаве. По собранным им сведениям на украинские временные рынки пригоняются до 35,000 лошадей ценою в 3 225,000 руб.

IX. Торговля стеклянным, хрустальным, глиняным, фарфоровым и фаянсовым товаром замечательна тем, что некоторые товары идут не из ближайших мест, а из отдаленных. На Украине покупаются худшие сорта фаянса, лучший – – идет на север.

X. Торговля винами сосредоточивается в руках харьковских торговцев. По официальным сведениям, за 1854 г. ярмарочная продажа = 675,210 руб.; в том числе русских вин на 352,220 руб.

XI. Торговля табаком, сравнительно с местным производством, незначительна.

XII. Торговля рыбою. Описав товар и места, откуда он доставляется, г. Аксаков полагает оборот в 1.000,000 руб.

XIII. Торговля сахаром и сахарным песком производится преимущественно из губерний Киевской, Подольской, Волынской и Полтавской. Это товар кредитный, который продается заводчиками не иначе как оптом. Лучшие сорта идут на север. Всего продается до 205,000 пудов на 1 538,500 руб., а с песком на 1 847,000 руб. Ярмарки Крещенская, Полтавская, Коренная и Успенская самые значительные.

XIV. Шитые меха привозятся с двух противоположных концов: с востока – с Ирбитской и Нижегородской ярмарок и с запада – из Царства Польского и с Австрийской границы, преимущественно евреями. Значительна также торговля великорусская украинскими мехами и смушками, последних продается на 204,600 руб.

Затем, с такою же подробностью, описывается все, что относится к торговле товарами галантерейными и игольными, косметическими или благовонными, золотыми и серебряными вещами, писчею бумагою, коврами, прасольскими товарами, а именно: сырым пушным или шкурным, щетиною, пером, пухом, майкою, гривою, косицею, анисом, конопляным маслом, салом, пенькою, медом, воском, холстом, подсолнечным маслом; далее черным товаром, к которому отнесены: сукна нефабричные, войлоки и разные крестьянские шерстяные изделия; крестьянское шитое платье, овчинные тулупы, съестной крестьянский товар, клюква, грибы, груша, слива; мочальный товар, белый шорный товар, бичева, нить и лен, щепной товар; наконец, в заключение автор говорит о книгах, вате, пряденой бумаге, мыле, обóях, гардинах и пр.

Скажем еще несколько слов о сале и пеньке.

В прежнее время сало сбывалось при посредстве Харькова и Коренной ярмарки, впрочем, товар не шел туда в натуре. Теперь значительная часть торговли обратилась в порты Азовские, Черноморские, и особое значение получил Кременчуг. Общий ярмарочный оборот = 165,000 пуд. на 470,000 руб.

Пенькой не торгуют ни на одной ярмарке, кроме Коренной, где запродается до 20,000 пудов. Самая значительная ярмарка для торга салом и пенькою находится, по словам г. Аксакова, вне черты украинской системы, близ Брянска, у Свенского монастыря. Сбыт пеньки доходит до 1 200,000 руб.; но товар не привозится на место, а заключаются только сделки между торговцами.

При недостаточности пособий для изучения отечественного товароведения обширные исследования г. Аксакова об этом предмете, занимающие 230 с. из 380, составляют истинный клад. По этому отделу автор мог пользоваться главным образом только одним хорошим источником – книгою г. Неболсина и значительно обогатил наши сведения по многим статьям.

Мы должны были опускать интересные подробности, имея преимущественно в виду представить картину торгового ярмарочного движения важнейшими товарами, нарисованную автором с необыкновенной ясностью и неоспоримым знанием дела. Конечно, могут сказать, что в приведенном перечне товаров нет строгой классификации: нет разгруппировки произведений ни по величине сбыта, ни по главным категориям, на которые указывает потребление. От некоторой, хотя и нестрогой системы облегчилось бы не столько чтение, но и удержание в памяти важнейших положений и фактов, заключающихся в «Исследовании». Но не должно забывать, что, имея дело с данными официальными, с торговлей, которая представляет такие разнородные сочетания товаров в одной лавке, в руках одного торговца, трудно было дать рубрики, вполне удовлетворительные.

Оканчивая этим обозрение сочинения об украинских ярмарках и наши замечания, мы считаем необходимым в заключение взвесить достоинства и недостатки рассмотренного нами труда. Достоинства книги г. Аксакова огромны. Она проливает свет на предмет, для нас совершенно новый, и знакомит с ним тем ближе, что исследователь отличается и необыкновенно живым пониманием описываемых им сторон народного быта, и строгим беспристрастием, которое редко встречается в писате-

ле. Видно, что г. Аксаков не думал о том, чтобы доказать то или другое положение, когда он писал свою книгу; поэтому он подарил русскую литературу трудом, который носит на себе печать истины. Эту истину не подрывают в наших глазах числа, иногда неточные, иногда несогласные друг с другом. В таком деле, как наша настоящая внутренняя, и в особенности ярмарочная, торговля, цифры имеют подчиненное значение; пока мы должны искать в них не показаний стоимости и количества привоза или продажи, а указаний на относительное значение ярмарок и товаров. Этому требованию сочинение г. Аксакова удовлетворяет вполне. Будут у нас железные дороги – будет у нас и более точная официальная статистика. Тогда, конечно, поднимется самый уровень требований. Таким образом, погрешности, указанные нами, но долгу беспристрастия, совершенно ничтожны в сравнении с достоинствами труда, вполне заслуживающего награды полною Демидовскою премиею.

А. Н. Молчанов

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. С. АКСАКОВЕ

Воспоминания об И. С. Аксакове настолько недавни и свежи, что мысль еще не успела примириться с его смертью и трудно еще представить себе, что Москва живет, все та же, что и прежде, а И. С. расстался с ней навеки. Поистине Папа покинул Рим…

Я слышал много раз, что не следует писать воспоминания о близком к нам времени, но не вполне согласен с таким советом. Недавние воспоминания труднее для автора их, потому что они всегда отрывочны. Время как морской прибой засыпает все неровности и прорехи; далекое прошедшее всегда кажется связнее и одноцветнее, но эти цвет и связь чаще всего суть продукты личного свойства автора мемуаров, и потому истина едва ли выигрывает от связности и одноцветности воспоминаний. Притом же жизнь газетного корреспондента подвер-

жена стольким случайностям, что ее отказываются принимать даже в страховку, следовательно, есть еще лишняя причина теперь же взять перо и просить у читателя снисхождения к естественным недостаткам всякого недавнего воспоминания…

Моим знакомством с И. С. я обязан В. С. Россоловскому, и состоялось это знакомство в банке. Сколько раз это слово «банк» бросалось в лицо И. С. как обида, оскорбление и упрек. Быть на иждивении у купцов, да еще банкиров – какой позор для публициста! – говорили не только недруги, но и друзья И. С.

Но что же должен делать публицист и поэт, для которого закрыты все двери именно потому, что он проповедник принципов, которыми не может поступиться? Он много раз пробовал издавать газету и журнал. Публика давала плохой доход, потому что публика наша малограмотная, а жизнь наша еще не выработала в обществе достаточной потребности к духовной пище. Власть со своей стороны запрещала издание. Идти на службу государству? Увы, и тут было два непреодолимых препятствия. Первое – чин титулярного советника, с которым можно лишь прислуживаться, но не служить. Я живо помню, что в короткие дни министерства графа Игнатьева был вопрос о предложении И. С. места государственного значения, разбившийся именно об это первое препятствие: «…нельзя предлагать Аксакова, он титулярный советник!» Второй камень преткновения на коронной службе у нас именно то, что стелет скатертью дорогу в служебной курьере на Западе – определенное литературное имя. Такое имя даже не камень, а забор для входа в канцелярию. Эти канцелярии легко мирятся с фельетонистом, порой даже поощряют такового, но бесполезно и доказывать в наши дни, что строгий проповедник народных принципов мог бы быть принят в сонм высоких и маленьких писарей. Итак, что же оставалось делать И. С., которого Господь Бог не подарил обеспеченным состоянием? Очевидно, одно из двух – или умирать с голода, или идти на частную службу. Я думаю поэтому, что гораздо умнее не упрекать, а радоваться, что при настоящем строе нашей жизни небогатый публицист и поэт может

найти себе хлеб хоть в банках, нотариальных конторах etc. Иначе, при известной суровости условий русского печатного слова и при апатичном и не пробудившемся еще отношении общества к этому слову, мы не могли бы иметь публицистов-проповедников, сильных самостоятельностью мысли, но не обладающих деревнями и капиталами… Придет, конечно, время более нормального положения для писателя в России, вот тогда и будем применять к ним более строгие правила…

Банк 2-го Общества взаимного кредита в Москве, находящийся в одном из переулков узкой и многолюдной Ильинки, был для многих обычным местом для свиданий с И. С. Тут в коридоре на деревянных скамьях мне не раз приходилось видеть немалое число посетителей, ожидавших очереди, и в числе их нередко я встречал людей с известным именем. Отставной солдат-швейцар спрашивал фамилии, брал карточки и докладывал И. С. Проводив гостя, И. С. обыкновенно сам выходил в коридорчик и, здороваясь с прибывшими, брал под руку того, с кем он хотел поговорить, и так уводил в свой кабинет. Это была маленькая комната с двумя креслами и диваном; И. С. сидел у стола; сюда ему приносили во время беседы разные счеты, талоны и ассигновки. Не прерывая разговора, он подписывал их и сдавал на руки принесшему. Его обязанности в банке, очевидно, были только формального свойства.

Я уверен, что не меня одного дивила и привлекала к себе вся фигура И. С., его манера общаться с людьми, говорить с ними, смеяться, словом все, что составляет суть человеческой личности. Никак нельзя определить его манеры словами – был ласков, любезен и пр. Эти слова выражают недостаточно способов обращения И. С. Вернее, кажется, сказать, что он весь был полон и переполнен доверия к добрым качествам людей и потому относился к ним всегда с глубочайшей искренностью и искреннейшей доброжелательностью. Я много видел на своем веку, но встречал только двух людей, умевших с первого раза побеждать сердца именно двумя названными, уже столь редкими свойствами души – безбоязненной искренностью и глубочайшим, впившимся в кровь и плоть доброжелательством. Первый из них был покойный И. С., второй, – да

не покажется вам это странно, – Гамбетта. Я встречал русских и французов, которые говорили первые про И. С., вторые про бывшего бордоского диктатора совершенно торжественную фразу: «Беседуя с ним, как-то неловко соглашаться с ним или спорить!» Действительно, тон, которым рассказывал И. С. свои мысли, хотя в нем не было никогда ни одного звука насильственной авторитетности, был всегда отражением мысли, не только продуманной, но и прочувствованной, воплотившейся в строй общего мировоззрения и высказанной до конца, без затайки малейшего кончика, и потому производил впечатление великой силы, крепко врезываясь в память и невольно закрывая уста на спор, ибо у огромного большинства людей нет вовсе мировоззрения и очень редко есть больше, чем отрывочные, недопеченные и недоваренные мысли. Эти отрывки годятся для сопоставления и спора с другими отрывками, но бог совести и самолюбия не дозволяет выставлять их напоказ при встрече с убеждением законченного мышления. Тут люди или молчат, или только ругаются из-за угла…

И. С. был единственный человек из выдающихся русских, который в полном смысле слова не был генералом и не носил на себе следов печального века, которые запирают двери и сердце у всякого, чуть-чуть поднявшегося над общим уровнем по чину, славе или богатству. Со всеми и всегда он был неизменно прост, приветлив, доверчив и дружелюбен. Интеллигент-писатель, начинающий и опытный, купец, мастеровой и приезжий батюшка-славянин могли смело рассказывать ему все свои планы, намерения, мечты и думы. И. С. никогда, по самой честности натуры своей, не мог профанировать, оскорбить или выдать. Он выслушивал все с одинаковой внимательностью, но не с холодной принудительной вежливостью, а как отец, брат или близкий друг с истинным интересом и отвечал на все с неподдельной искренностью. Вера в природу человека, особенно русского, религиозная вера в блеск и свет будущего России давали И. С. ту никогда не унывающую бодрость духа, которая как источник живой воды укрепляла и оживляла каждого его собеседника. При глубочайшей любви в родине я не могу подолгу жить

в милом Отечестве. Изломанная русская интеллигенция, с развинченными нервами, страстными переходами от пьяного пиршества к гражданской скорби и дьявольской раздражительности, делает скоро и меня больным. Отдых от этой заразы я находил всегда или в великорусской деревне, или в беседе с И. С. – оба своей искренностью, доброжелательством, добродушием и силой веры в будущее вносили в душу утраченный мир и успокаивали растревоженную желчь. Я нарочно останавливаюсь на этих чертах покойного, ибо мне хочется передать читателю хоть малое понятие о прекрасных свойствах И. С. и потому еще, что сам я чувствую величайшую благодарность к нему за проведенное с ним время, и как я жалею теперь, что не пользовался им больше!

В банке было гораздо удобнее разговаривать с И. С. и знакомиться ближе с его личностью. Тут никто не мешал. И. С. любил говорить и нередко увлекался. Тогда он переставал смотреть на собеседника, переставал обращаться к нему и, чертя карандашом по бумаге или медленные тонкие штрихи или резкие, смотря по темпу речи, говорил с блеском в глазах и задушевностью тона, но всегда прямолинейно, не сбиваясь с дороги заинтересовавшего его сюжета. Устремленные глаза вперед, частое прищуривание их и появление морщин у бровей во время такой речи ясно указывали, что он весь отдался думе и воображение его работает вместе с разумом, рисуя картину за картиной. С этой точки зрения И. С. был настоящий оратор, ибо слог, красота слова и особенно впечатление даются оратору не краснобайством, а способностью отдаваться мысли и рисовать ее слушателю при помощи воображения. Таких только ораторов не тяжело слушать долго и до конца.

Дома у себя И. С. был несколько иным человеком. На его пятницы собиралось много публики, и И. С. делился на две части – на собеседника и хозяина, что, разумеется, отнимало частицу интересности у первого. Зато хозяин он был прелестный, его открытое лицо, ласковый взор, приветливая улыбка и искренний тон снимали как рукой всякую робость и застенчивость гостя. Сразу, еще в передней, увидев фигуру И. С., начинаешь, бывало, чувствовать себя тепло, свободно и прият-

но. Также светло, тепло и свободно чувствовалось в самой гостиной, со скромной черной клеенчатой мебелью, где собиралось много хороших людей и интересных гостей, оживленная беседа не прекращалась: то один, то другой из гостей становился временно центром разговора, а И. С. без труда и заботы оставался для всех неизменным центром, и к нему именно, по большей части, обращались повествующие и спорящие. Его дружелюбная настоящая русская широкая улыбка манила к себе гостя, и каждому было именно приятно, в полном смысле слова, приятно поделиться с И. С. новым сведением, спросить его совета и проч. Гости подчас чувствовали робость, церемонились, было им неловко друг перед другом, ибо Господь Бог в наказание нашей интеллигенции дал невиннейшему из нас такой вид, как будто за ним сто ужасных преступлений и целый мешок с камнями за спиной, но никто не робел, не конфузился, разговаривая с И. С. Один из ближайших сотрудников «Руси» говорил как-то мне, «что от И. С. пахнет ладаном»; действительно, это был проповедник, умевший покорять сердца, но не нашедший при жизни обширной паствы. История не дала ему этой паствы, и, по убогой участи большинства русских проповедников, сердца открываются ему лишь при пении печального гимна об упокоении души его.

Общество, собиравшееся по вечерам у Аксакова, не блестело ни чинами, ни капиталом. Однажды мне случилось от 9 до 11 часов просидеть у московского банкира-еврея и потом отправиться на jour-fixe И. С. Контраст получился едва ли вероятный для человека, мало знакомого с некоторыми условиями нашей настоящей жизни. Банкир был только что произведен в генеральский чин, и ему уже многие говорили «ваше превосходительство». Могла голова закружиться от титулов и гостей его: вот два губернатора, попечитель учебного округа, один из начальников военного округа, сенатор, попечитель дворянства, председатель земской управы, звезды, аксельбанты, эполеты с вензелем и пр., и пр. В залах позолота, малахитовые столы, резная роскошная мебель, картины известных художников и мраморные статуи хозяев, сделанные рукой первостепенных мастеров… Десять минут езды на ваньке от этого

дворца – и приезжаешь к И. С., где все так просто и в числе гостей нет ни одного, владеющего громами земными. Там банкир чуждой национальности, здесь самый видный из проповедников любви к родине и к истории ее. Этот контраст есть точно олицетворение нашего времени. С И. С. нельзя было быть неоткровенным, и я тотчас рассказал ему о впечатлении на меня этого контраста.

– Иначе и быть не может, – ответил он, печально улыбаясь. – Мы все еще прокаженные для этих господ… знаться с писателем все еще зазорно… Но, – прибавил он, – ничего, скоро это сгладится… я верю, что скоро, потому что уже теперь кой-кто из них забегает потихоньку, справляется с мнением, прислушивается… словом, появляется на сцену и так кое-какая мысль, а это главное: мысль, а не что другое, может приручить их…

Из дальнейших бесед на эту тему я узнал, что действительно, некоторые из имеющих власть заявлялись к И . С. больше утром, по секрету, осматриваясь, чтоб никто не видал их, расспрашивали, жаловались (у нас ведь больше всего жалуются) и любезно прощались, прибавляя: «Пусть, многоуважаемый И. С., наш разговор останется между нами!» – «Я охотно даю такое обещание, – рассказывал И. С., – потому что в большинстве случаев совершенно не в состоянии передать, что именно они говорят и что думают… Все недосказано, трусливо, незаконченно, темно… Господи, Боже мой, просвети их! Вот все, что я могу сказать об этих господах!.. Они ужасно напоминают провинившихся школьников», – говаривал также покойный И. С., и точно я помню, что такое именно впечатление получал я сам, когда важные люди бюрократического мира неожиданно появлялись в стенах редакции, где я работаю. Они конфузились, теряли весь привычный престиж и становились комически любезными. Покойный министр Маков, зайдя однажды в редакцию «Нового времени», был до такой степени сконфужен и робок, что я, не догадываясь о сути такого состояния, спросил его: здоров ли он? Он ответил мне очень искренно: «Я в первый раз захожу в редакцию!»

Я многократно задавал И. С. вопрос: «Кто виноват – система или люди?» Он всегда отвечал: «Система. Она, – говорил он, – затягивает всем руки и ноги. Обществу немыслимо жить без руководителей, а у нас немыслимо иметь руководителей. Апатия, вялость, трусость и безразличное отношение к родине, людям и вещам у нас обязательное правило, и жизнь проявляется только в отрицании Бога, родины, истории и власти; если вы хищник, у вас будут друзья; если вы космополит, те же друзья будут, но если объявите себя русским – вы революционер. Отрицайте Бога и Отечество, никто вас не остановит; начните доказывать, что без Бога и патриотизма жить нельзя, вы наживете массу врагов… Это поистине ужасное положение – быть у себя дома и отрицать свой дом, вековой, обширный и могучий дом».

– Где же выход из этого печального положения?

– Выход всецело в наших руках, – отвечал И. С., не задумываясь и смело. – Мы будем долбить свое – верь в Бога и народ, люби свое Отечество, изучай ее историю и т. д. Рано или поздно мы сделаем свое дело.

– Едва ли, однако, придется увидеть результаты…

– Почем знать, – отвечал И. С., – на Руси делается все по-своему и необыкновенно быстро. Давно ли освободили крестьян? Через 20 лет после освобождения вдруг захотели иметь у себя конституцию и две палаты на немецкий манер… Это увлечение вовсе не было тогда петербургским, о, нет… ко мне недавно приходил купец, настоящий купец, замоскворецкий, знаете, «островский купец», сидит вот так здесь, рядом со мной на стуле, вспотел, утирается красным платком, не шелковым, а кумачовым, и жалуется на непорядки. «Что же делать, – отвечаю я ему, – надо освобождать», а он мне… что бы вы думали? Ха, ха, ха… «Уж не лучше ли конституцию?» – спрашивает он. Ей-богу! Вот до каких столпов нелепости доходили и как широко эта нелепость разливалась. И что же? Подул другой ветер, и всю эту конституционную дребедень как рукой сняло. Теперь многие уже совестятся слова «конституции»…

– Однако представительство вещь не такая дурная… – обмолвился я.

– Разумеется, – с жаром подхватил И. С., – но где и когда? Опыт на Болгарии показал, что составить и дать конституцию плевое дело… Два генерала перевели с румынского и бельгийского – и шабаш. У нас и ученых можно целую тьму пригласить для сочинения конституции. Но что вышло из болгарской конституции, то выйдет и везде, где народ не подготовлен долгой историей к этой форме правления, где народ просто не знает и не хочет ее… Ну, соберутся наши в парламенте, а генерал N. N. возьмет да высечет члена парламента… что тогда! Боже храни от такой комедии и русское общество, даже интеллигентное, не знающее русской истории, воспитанное западниками на преданиях французской революции, и оно смутно сознает, что конституция ему не к лицу, что конституция вовсе не последнее слово в истории человечества.

– Что же вы считаете последним словом в истории?

– Отнюдь не социализм. Уже потому не социализм, – отвечал И. С., – что он все опять собирается регламентировать. Подобное учение не может найти почву в русском народе. Что последним словом? Я сам не знаю этого, и никто, я думаю, не знает. Россия совсем особая статья в истории народов. У нас народ верит во власть и любит власть, даже назло иногда, потому что никто не думает пользоваться ни его верой, ни любовью… У нас нет вовсе сословной розни, нет в западном смысле и борьбы рабочего с капиталом… Мы вольны, как птица, выбирать любое… Подождем. Запад стареет, и у него будет революция, посмотрим тогда. Я ведь не отрицаю Европы, как доказывают наши либералы. Но если уж нужно непременно заимствовать, то, конечно, не то, что там доживает свой век…

В дальнейших разговорах, возобновлявшихся не раз, И. С. высказывал следующие мысли, отчетливо оставшиеся у меня в памяти, так как верность их мне не раз приходилось проверять долгими стоянками в разных странах Европы; порядок на Западе, даже в самых либеральнейших странах и республиках, поддерживается деятельной администрацией и изумительной консервативностью привычек народа; а у нашего народа нет ни coutumes'ов и нет администрации; отнимите у любой европейской страны на один день ее местное начальство – сейчас начнет-

ся разгром. У нас, наоборот, те города и деревни наисчастливейшие, где мало начальства, и селения беглых – даже беглых в трущобах лесов – оказываются живущими вполне честно и благородно единственно на основах: «по-божески» и «по совести».

– До какой степени всякая регламентация чужда уму русского народа, я, – рассказывал И. С., – убедился лично на городе Мологе, где я много лет тому назад был по делам службы. Там рядом с городским управлением по регламенту было секретное городское управление по совести. В первом все как следует – писали бумаги, рапорты, реестры, а у второго были капиталы, и на эти капиталы добросовестнейшим образом учредилось городское благоустройство… И у нас так везде – чуть регламентация, тотчас порядочные люди утекают от дела, и заведовать им берутся канальи…

– Народная совесть – вот драгоценнейший капитал, – прибавлял часто И. С., – на котором следовало строить многое и на котором, может быть, со временем выстроится тот купол, о котором так много пишут и говорят наши либералы.

Однажды недоумение И. С. о том, какие формы будущего ожидают Россию, послужило темой маленького столкновения между нами. Читатели, вероятно, помнят, что после катастрофы 1 марта И. С. сказал политическую речь в С.-Петербургском славянском обществе. Прочитав эту речь по приезде из-за границы, я был очень раздосадован: в ней был призыв к отрезвлению, любви к Отечеству и пр., но не было конца, не было даже намека на то, к чему должно стремиться русское общество и чего должно ожидать оно. Я не сдержал досаду и напечатал в «Новом времени» передовую статью с горькими упреками оратору, заподозревая его в слабохарактерной трусости и обмане тех ожиданий, на которые русское общество имело право по отношению к И. С. Вскоре я поехал в Москву или встретился с И. С. у А. С. Суворина – хорошенько не помню. После первых же слов приветствия он спросил меня, добродушно улыбаясь:

– Это выбранили меня? Я не ответил на вашу статью, – продолжал он, – потому что вы, с одной точки зрения, совершенно правы, и

общество, конечно, право, если оно тоже упрекает меня в недосказанности. Но и я тоже прав, потому что совершенно не знал и не знаю, что я должен был сказать.

– Как не знали, а земский собор? – возразил я.

– Объявлять о нем громогласно, с кафедры, я по совести не мог, – ответил И. С., – при нынешнем настроении это могло бы быть принято за призыв к конституции. Надо дать улечься нелепому настроению умов, и когда начнется в русской интеллигенции поворот к утраченному ею понятию, что она русская, что она призвана для служения русскому народу, его русским идеалам и привычкам, его русской истории, тогда законченность речи могла бы иметь место. Теперь же, например, надо стараться умалчивать о формах, чтоб дать время и свободу для оздоровления, иначе спор о формах остановит прогресс русской мысли. Поверьте, что не формы, не законопроекты делают историю, а именно мысль и сознание в общественном уме…

Убеждение, что общественная мысль есть единственный творец жизни, И. С. высказал мне и по поводу другого вопроса – славянского. В конце прошлого года я поместил в «Руси» письмо из Лондона, посвященное славянскому вопросу. И. С. от 9 ноября 1885 г. писал мне по поводу этой статьи:

«Я вполне согласен с вашим взглядом, вполне убежден, что дорога на Константинополь одна – через Вену, но, увы! Сознанием нашим мы еще не доросли до грандиозности такой задачи. Отчего мы не взяли до сих пор Константинополя? Оттого, что испугались – не войска, а задачи! Взять Царьград и посадить туда Д. К. или Н.? Лучше у нас на виду нет. Да и петербургский период, петербургский режим этого не в силах свершить. Он ведь чувствует, что тогда ему конец, и цепляется всеми способами за условия своего существования. Нам еще нужна внутренняя борьба, внутренний подвиг сознания, пока мы придем «в меру возраста исполнения» нашей задачи, применяя сюда евангельский текст».

Еще ярче это убеждение выражено в письме И. С. ко мне, написанном за несколько месяцев до начала издания «Руси». Будучи неодно-

кратно в Москве проездом, я каждый раз начинал разговор о том, что ему грешно молчать, и с согласия г. Суворина убеждал его работать для «Нового времени». В ответ на это он прислал мне письмо, в котором, между прочим, говорил:

«Да, меня самого тяготит молчание, и я, – говорю вам еще по секрету, – имею намерение предпринять издание еженедельной газеты. Такая форма представляет более удобства для серьезного, обдуманного слова. К сожалению, получить мне разрешение не так-то легко. При Тимашеве года два с половиною назад получил формальный отказ; прошлою зимою опять пытался – неудачно (при Макове). Теперь написал письмо к Лорис-Меликову, которое отправил в Ливадию. Без доклада государю мне не дадут разрешения, а тут разные предубеждения господствуют. Каков-то будет ответ. Вы знаете: зачем это дробление, зачем свой орган? Во-первых, я просто не имею привычки писать в чужих органах; во-вторых, то, что мне хотелось бы сказать, может быть выражено в целом последовательном ряде статей, статеек и примечаний. В-третьих, у меня нет готовой практической формулы à l'ordre du jour, удовлетворяющей злобе дня (что нужно для ежедневной газеты). Признаю все их (т. е. формул) полезное временное значение, но не верю им– духа живого не имут – и потому, не отрицая их, мало расположен заниматься ими. В своей газете я пытался бы только низводить свет народного и исторического сознания – и на современность, и на предлежащий нам путь. Нужно вызвать творчество; исправлять ее должность не может ни правительство, ни наша интеллигенция. Без сомнения, прежде всего нужно предоставить простор для проявления жизни, нужно устранение помех и ликвидация дела Петрова хотя бы в сознании. Иначе ничего не наплодим, кроме чиновников в земских мундирах, бюрократических самоуправлений и т. п. Дело Петрово далеко не ликвидировано. Min Her и Piter на его царских указах существуют и теперь, только в более благообразной форме; форма иная, но дух жив, все тот же. Пока наша интеллигенция не смирится, не отречется трижды, как бы при новом крещении, от своей прежней веры, до тех пор она не получит живого

разумения народного духа и не приобщится его духу. А без этого ее дело будет мертво. Надо сбивать спесь с нашей интеллигенции. Вы уже это начали. Если б вы не были связаны с «Новым временем», то, конечно, ваше сотрудничество было бы мне истинно драгоценно… Положение России, по вашим описаниям, ужасно. Народ бедствует, гибнет, изводится, местами уже портится на корню, а помочь ему мы не умеем, не умеем за него взяться; не имеем никакого авторитета для него, хотя бы и назывались земством. Да, со времен Петра ни одно его учреждение и насаждение не получило авторитета в народе: ни империя, ни Сенат, ни Синод, ни вся екатерининская законодательная стрепня. Один авторитет пребывал и пребывает: царь (императора он не знает); имели, кажется, авторитет мировые посредники 1-го призыва; изо всех «мероприятий» в течение с лишком полутора века только освобождение крестьян и пустило корни в народное сознание… Наши газеты толкуют об увенчании здания. Да здания еще никакого нет. Только и стоят стены, прежней историей выведенные, – царь и народ, все остальное, нагроможденное в полтора века, с табелью о рангах и т. п., подлежит сломке, очищению. Это какие-то деревянные бараки, уже полусгнившие, беспрестанно перестраиваемые: коллегии, министерства и пр. Вообще формация России даже географическая еще не кончилась; процесс ее не завершен. Только при Александре II сложилось, можно сказать, сословие крестьян. Вся законодательная дребедень XVIII и XIX вв., впрочем, была, может быть, нужна, как, вероятно, нужна была варварски-неуклюжая русская речь, созданная в литературе при Петре, для того, чтоб от речи простонародной перейти в язык Пушкина. Может быть, такой процесс был нужен, но нужно скорее его завершить и признать этот переходный момент русской речи все же безобразнейшим! А ведь для русской жизни мы из этого безобразного момента не вышли.

«Все наши ученые – птенцы гнезда Петрова, и наши чиновники, и наши либералы, и (мы этого только не замечаем) несут ту же чепуху, и творят ее в жизни, какая поражает нас в начале XVIII в. Всему этому надо сказать «абшид».

«Но я увлекся, забыв, что, если об этом предмете говорить в письме кратко, намеками, только произведешь недоразумение, а мысль вполне не выскажешь. Если буду издавать, так тогда все разъясню. Если же нет, то, конечно, придется прибегнуть к чужому органу – и, вероятно, к вашему, так как брошюры подлежат цензуре.

Дайте знать заранее о приезде, чтоб нам непременно свидеться», и т. д.

Ставя мысль и сознание массы единственными двигателями истории, И. С. естественно относился с величайшим презрением к творцам разных проектов об осчастливлении Отечества. Однажды с ним случился такой казус. И. С., одевшись во фрак, белый галстук и белые перчатки, отправился к графу Лорис-Меликову, бывшему тогда министром внутренних дел, просить о разрешении издавать «Русь». Граф был очень любезен, долго беседовал с И. С. и в заключение «снял со стола несколько гладеньких и хорошо переписанных листов»[1] и подал Аксакову, говоря: «Возьмите их с собой в Москву, это для вас будет любопытно». Листочки оказались проектом одного земского известного «прожектера». В Москве доставили И. С. другой проект, который был «писан точно так же чисто на голландской бумаге, как бы предназначаясь куда-то вверх». «Все записки, – писал И. С., – я возвратил графу при письме, – очень-де интересны, разбора не пишу, так как это требовало бы целой статьи, цифры надлежало бы проверить и т. п. общие места в нескольких строках». Вдруг автор второй записки потребовал ее обратно. «Выручите из беды, – писал И. С., – а то с «автором» не развяжешься. Он способен прилететь и заговорить до упаду. Господи, как он стремительно, шибко много говорит! Им можно всякого болтуна вылечить по принципу similia similibus».

Таким образом, настоящее России представлялось И. С. тем переходным временем, которое обречено на одну работу мысли без творчества и плодотворных дел. Пока мысль не созрела, не обратилась к истории и национальному самосознанию, не может создаться что-либо прочное и хорошее в жизни. Оттого И. С. совершенно последовательно редко становился на практическую почву, избегая ее, как неизменно от-

рицательную величину для наших дней. Когда, бывало, рассказываешь ему о печальных выводах из своей ежегодной поездки по России, он вздыхает и прибавляет: «Ну, разумеется… иначе и быть не может». В письмах его ко мне я нахожу одну строку, посвященную похвале современного факта. Я как-то напечатал в «Новом времени» статью, похвалив идею о сенаторской ревизии, предпринятой по доброму почину графа Лорис-Меликова. И. С. тотчас отозвался и написал мне: «Ваше участие на первых страницах газеты я сейчас заметил, и с истинным сочувствием. Разумею вторую статью о сенаторской ревизии» и т. д. Но совсем иначе относился И. С. к практическим вопросам внешней политики. Он был глубоко убежден, что берлинский трактат не только позор для России, но и один из источников ее внутренних смут, один из главных стимулов ослабления внутри государства тех основ, на которых создалась русская история, не говоря уже о том, что злополучный трактат поставил дипломатию России в фальшивое антинациональное отношение к Европе и славянам, из которого рано или поздно придется выкупаться ценою обильной крови. В одном из писем прошлого года, через 7 лет после подписи берлинского трактата, И. С. приводит новое доказательство вредного влияния несчастного договора на Россию: «Знаете ли вы, какой великий нравственный упадок представляет русское общество в своей массе? – писал И. С. – Боится и не хочет войны. От купцов нельзя выжать и двугривенного – не то что вообще на славянские нужды (об этом и заикнуться нельзя), а хоть на некое пособие, на оказание гостеприимной заботы несчастному изгнаннику, нас ради, митрополиту сербскому Михаилу, теперь здесь пребывающему в негостеприимной Москве. А было время – они же давали мне сотни тысяч! Боятся войны, не хотят жертвовать только потому, что будет хуже, или, как один из них мне написал: приведет все лишь к пущему заушению и оплеванию. Безверие в русскую дипломатию такое, что страх берет» и пр. Понятно, что такое настроение русского общества не могло сделать ничего доброго, и И. С. был прав, проводя связь неудачного исхода славянской войны даже с катастрофой 1 марта. «Берлинский трактат создал, – говорил он, – никогда

не бывалое у нас общее неудовольствие, оборвал самые твердые и священные струны нашей истории. Он удобрил почву недоверия к власти, и на этой почве должны были вырасти самые грандиозные плевела». В одном из писем ко мне И. С. я нахожу еще более практическое указание на значение внешних политических дел. «Теперь на меня нападают, – писал он, – что я-де накликаю войну». Вот уже я сегодня, как раз во время получения вашего письма, доказывал одному из представителей купечества, одному из мощных, что, отрицаясь от славянства и уступая Европе Балканский полуостров и Царьград, мы лишимся и Малой Азии, Армении, Кавказа и Средней Азии (эти места им дороги как единственный рынок для сбыта мануфактурных русских товаров)!.. Вены они вовсе не знают, но на Берлин злы, потому что берлинская биржа управляет нашим Министерством финансов» и т. д.

Я много раз виделся в И. С. и всегда видел его в образе серьезного мыслителя, публициста и проповедника; лишь однажды, при особой обстановке, И. С. на короткое время предстал предо мной в образе симпатичного и оживленного поэта. Это было летом, в Химках, на даче Аксаковых, за обедом, на котором, кроме милых хозяев, присутствовали генерал Черняев, доктор прав Евреинова и ваш покорный слуга. Был чудный, теплый день, пахло свежими листьями, и с балкона дачи открывался один из тех мирных и широких видов, какими столь богата Русь. Все были в ударе, много рассказывали, смеялись и мечтали вслух. Неизменной темой были отечественные дела – иначе у И. С. и быть не могло. И. С. был особенно весел и любезен. Сели за стол, продолжая беседу, но вскоре И. С. завладел общим вниманием, живо и с увлечением рисуя картину того, чем должна быть Россия, что в ней должно воскреснуть и умереть для счастья народа. Это была настоящая поэтическая и красноречивая импровизация, которую я свято храню в своей памяти для грядущих, несомненно более свободных, времен для печатного слова. Мы все превратились в слух, испытывая то щекочущее нервы наслаждение, которое дано в удел всем алчущим правды в награду за недостаток истинного счастья на земле. Но увы, супруга И. С. не дала кончить поэту

из страха, что мечты его зайдут слишком далеко за пределы легальности. Но взрыв вдохновения улегся в душе И. С. не сразу. Он замолчал во время обеда, а когда мы пошли гулять по зеленым аллеям сада вокруг блестящего пруда, вдохновение снова проснулось и мягко, тихими фразами давало нам понять, что светлый образ будущей родины еще горит в воображении хозяина… Несмотря на то что в каждом году есть сотни дней, я все-таки считаю, что у каждого человека, в сущности, есть только те, увы, всегда крайне ограниченные числом дни, которые следует помянуть. День, проведенный у И. С. Аксакова в Химках, – один из тех дней для меня по двум причинам. Во-первых, в этот день я увидел поэта, вдохновленного самой благородной и близкой сердцу идеей, во-вторых, вечером в тот же день, возвращаясь в Москву вместе с М. Г. Черняевым, мне судьба дала посмотреть на другую картину, столь же достойную кисти художника и внимания историка. Эта картина касается уже не И. С., а генерала Черняева. Но так как я хочу верить, что популярный генерал будет здравствовать многие лета и мне не придется писать о нем воспоминаний, то простите за маленькое отступление кстати. Ехать надо было по железной дороге; в вагонах масса народа, вечер душный, а у нас в груди было и без того жарко от живой беседы у И. С. Генерал решился присесть на платформе вагона третьего класса. Он был в шинели, следовательно, без всяких внешних признаков большого чина. У нас поездная прислуга, как известно, восполняет своей заботой о пассажирах костоломки, устраиваемые директорами. Подлетел кондуктор с требованием войти в вагон, подлетел с начальственным апломбом, но, вглядевшись в лицо генерала, вдруг снял шапку и, осклабляясь от радостной улыбки, заговорил: «Ах, кажется, это вы-с, Михаил Григорьевич, генерал Черняев?.. Пожалуйте, пожалуйте, куда вам угодно. Здесь хотите сидеть? Сидите, сидите, ничего… ваше превосходительство, очень рад!» Отвесив еще пять поклонов, кондуктор исчез. Весть о том, что генерал Черняев едет, пролетела по поезду в одно мгновение. Кондуктора не препятствовали, и публика устроила целое шествие через вагоны и нашу площадку, где сидел генерал. Проходившие снимали шапки, женщины

кланялись, а остановившиеся на площадке оставались с непокрытой головой. Один пассажир, по виду нечто вроде офени, обратился ко мне на ухо: «И ты бы, барин, снял шапку-то, вишь человек поштенный сидит… перед ним и тебе не грешно шапку-то снять!..» Что генерал, ныне находящийся не у дел, чувствовал в те минуты?

И. С. Аксаков был близок к другому популярному генералу – Скобелеву, к сожалению, незадолго до его рановременной смерти. После первой встречи со Скобелевым Аксаков был в восхищении и сказал мне: «Одна немецкая принцесса, увидав Петра I, записала в своих мемуарах, что она видела живое олицетворение гения и всех пророков; подобное же впечатление произвел на меня и Скобелев… Это замечательный человек, как Петр, даже по внешности замечательный… Ему, несомненно, предстоит великая роль в русской истории… Дурная или хорошая роль, – трудно сказать, но во всяком случае великая…» Это пророчество, повторяемое в то время не одними устами И. С., не сбылось. Злая смерть скосила героя и оставила потомству лишь несколько страниц современной истории, которые, разумеется, будут в свое время освящены и для массы; они, наверно, сочтутся грядущими поколениями самой яркой характеристикой тонкости почвы, на которой мы стоим…

Я, конечно, не стану приводить характеристики И. С. ныне еще живым людям. Позволю себе, однако, сделать два исключения, оправдывая их теми соображениями, что судьба чересчур несправедлива к двум другим нашим даровитым писателям – к Н. Гилярову-Платонову и Василию Немировичу-Данченко. О книге последнего «Год войны» И. С. выражался, что это сочинение такое прекрасное, которое в другой, более образованной, среде дало бы автору авторитетное имя и прочное богатство. «Я уверен, – говорил мне И. С., – что в литературе Запада нет ни одного сочинения о войне, могущего выдержать хотя бы слабое сравнение с книгой Немировича»…

Однажды я получил от Н. Гилярова-Платонова в подарок его портрет и показал Аксакову. И. С. взял портрет в руки и сказал: «Вот человек, про которого можно смело сказать, что он никогда и ничего не

эксплуатировал… Большой талант, прекрасное перо, огромная начитанность, масса разнородных познаний… Но Русь-матушка еще не умеет ценить по части грамоты…»

На этом я кончаю свои беглые заметки о покойном учителе России. Недавние воспоминания не могут быть длинными, и я буду счастлив, если мой рассказ и приведенные в нем выписки из собственноручных писем И. С. разуверят русского читателя в проповедываемой чепухе, будто Аксаков был представителем какого-то платонизма и умер вовремя, ибо настал час для практической работы. Что руки, ноги и спина у нас давно готовы – нет сомнения. Но где же та светлая мысль и то глубокое самосознание, которые суть единственные творцы истории?

О. Ф. Миллер

ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ И ХОД РАЗВИТИЯ И. С. АКСАКОВА ПО ЕГО ПИСЬМАМ

Что же нам и делать, как не поминать, поминать и опять поминать? Все вокруг так мертво, и поневоле тянет туда, на родное кладбище – с этим рядом свежих еще могил, откуда только и может повеять на нас духом жизни.

Не раз уже приходилось нам поминать в этих самых стенах И. С. Аксакова. В настоящее время поводом говорить о нем являются его письма, изданные в конце прошедшего года и относящиеся пока к его учебным и служебным годам (1839–1851)[1]. Нам приятно при этом сообщить нашим слушателям, что вдова Ивана Сергеевича, Анна Федоровна Аксакова, передает Славянскому обществу все его остальные письма и бумаги. Совет Славянского общества будет, конечно, смотреть на это дорогое наследие как на святыню. Он, конечно, сочтет своим долгом издать поверенное ему общерусское и общеславянское духовное достояния в не-

прикосновенном виде – без малейших пропусков, без малейшей утайки. Да и чья бы рука поднялась даже на какое-нибудь тут слово?

Читая письма Аксакова, мы отводили себе ими душу, мы оживали за ними. Наше намерение сегодня – поделиться со слушателями своими живыми впечатлениями, не столько говоря им об И. С. Аксакове, сколько давая им послушать его самого. Ведь в этих письмах, как выражено в одном сочувственном отзыве, – заключается «самовоспитание великой души»[2].

Письма писались к самым близким лицам – к отцу, к брату Константину Сергеевичу, к сестре, к одному из товарищей по училищу (князю Оболенскому). Ряд писем открывается теми, которые писаны еще из училища правоведения (где, как известно, Иван Сергеевич получил образование). Уже и в этих училищных письмах нет ничего легковесного, уже и в них ясно сказывается глубокая, занятая истинным смыслом жизни душа писавшего.

«Желал бы я знать свое будущее, – пишет юноша брату. – Как-то повезет судьба? Впрочем, если сам не дашь ей толчок в какую-нибудь сторону, так она и не повезет» (I, 31).

Не менее замечательно и то, что писал он тогда сестре: «Не люблю медленности, противна она моей натуре. Мне совестно долго спать, мне страшно в итоге жизни отметить половину, прошедшую во сне! Я не понимаю также людей, желающих, чтобы время незаметно пролетело в упоении какого-нибудь блаженства или в забытьи» (36).

Заведение, в котором Аксаков получил образование, самою своею специальностью предназначало его к государственной службе. Выбор заведения, надо думать, сделан был без его участия. Юношу брало раздумье, в самом ли деле служба – его прямое призвание? Рано пробудились в нем поэтические наклонности. К 19-летнему возрасту относится у него, как он выразился, мистерия «Жизнь чиновника», в которой вполне отразилась происходившая в нем внутренняя борьба. Пьеса эта, как и все вообще поэтические произведения Аксакова, присоединена в виде приложения к изданию его писем. Это вполне основательно. Стихи

служат комментарием к письмам, письма – комментарием к стихам. В мистерии выведен будущий чиновник, рассуждающий таким образом:

Служить или не служить? да, вот вопрос!

Над ним витают духи. Вот что внушает ему Демон службы:

Будешь жить спокойно, кругло и счастливо;
Лучше лавра гордого мирная олива!
И начальство высшее, дорожа тобой,
Грудь украсит лентою, осенит? звездой!
Не ища фортуны милости случайной,
Будешь ты действительный, будешь ты и тайный!

Но в то же самое время раздается над ним таинственный г о л о с :

Прекрасного в тебе таится много:
Ты Божьей искрой свыше наделен,
И жизни пошлой битая дорога
Не твой удел: к иному ты сужден!
……
На поприще служебном для Отчизны
Не будешь ты полезней и славней.
Еще в тебе так силы свежи, новы.
Ужель на них наденешь ты оковы?

Эти оковы были, однако же, надеты на него судьбою, то есть родительским предрешением его судьбы. По выходе из училища он становится секретарем в одном из департаментов Сената в Москве. К счастью или к несчастью – тут назначена была сенаторская ревизия в Астрахань, во главе которой стоял такой выдающийся государственный деятель, как кн. П. П. Гагарин. В состав этой ревизионной комиссии вошел и 20-летний Аксаков. Между тем в письмах его с дороги в Астрахань (1844) громко звучит глубоко человечная струна. Вот он описывает свой отдых в избе, и перед нами так живо рисуется тут грустный образ молодой крестьян-

ской женщины, то и дело оправляющей лучину. «Мне было и совестно, и тяжело, – пишет Аксаков. – Это освещение в долгие зимние вечера, эта женщина без всякой светлой работы, проводящая рабочую жизнь, и мы, столь чуждые им» (I, 44)[3]. Так же мало похожими на заурядных чиновников, хотя бы тех, которые выставлены у Г. И. Успенского, так высоко ставящими себя и свой «неустанно-полезный» труд, являются Аксаков и его молодой спутник (кн. Оболенский), когда, застигнутые вьюгой в степи, снимают с себя шубы и надевают их на иззябших выбившихся из сил ямщиков и затем поминутно их будят, чтобы не дать им замерзнуть (I, 49).

Но неизбежные остановки среди продолжительного пути, остановки уже не в деревнях, а в городах, наделили их всевозможными впечатлениями тогдашней провинциальной жизни. Вот что пишет Аксаков из Черного Яра:

«Удивительно, право, как люди могут жить спокойно и счастливо в такой глуши, без всяких интересов или с такими мелкими интересами, в такой грязной жизни, что жалко, просто жалко. И по крайней мере $^{7}/_{8}$ человечества плещутся в такой животной жизни!.. Вспомнишь Гоголя и посмеешься. Но что хорошо в мире искусства – часто отвратительно в жизни. Даже грустно. Сколько в тебе дряни и гнилья, Россия!» (I, 58, 61).

Немедленно по приезде в Астрахань юный чиновник принимается за дело. Он очень доволен своим начальником, его умом, его неутомимостью и способностями. Но вот, однако же, что он пишет отцу: «Ревизия, как и все, вещь довольно бесполезная, тем более что всякий ревизор действует против своего убеждения, будучи обязан требовать исполнения таких законов, которые... Я думал убежать от канцелярского порядка, но свойство российского делопроизводства таково, что нет средств выбиться из этой колеи, нет средств не употреблять заученных форм в бумагах и лгать безбожно, важно говоря то, чему ни сам, ни другие не верят! »[4] (69).

При таком настроении он тем более жаждет известий из дому – о деятельности брата Константина Сергеевича, о близких к нему лицах – представителях уже окончательно определявшегося тогда славянофильского направления. Сам он в ту пору, как видно по письмам, еще вовсе

не установился. Он ни славянофил, ни западник, он только туманная, жаждущая свободы душа.

Вот что пишет он отцу по поводу присланных ему стихов знаменитого друга их дома:

«Стихи Хомякова мне очень нравятся. Не нося в себе никаких твердых убеждений, к которым бы питал глубокое душевное участие и которые бы считал Божьею правдою, я могу только порадоваться, если есть такой человек с такою светлою, верящею душою»[5] (129).

В июне того же, 1844 г. вот каким образом отзывается он о брате, об его русском платье:

«Итак, Константин снял с себя дагерротип в русском костюме: истый москвич с татарскою фамилией и нормандского происхождения, в костюме XVII столетия, сшитом французским портным, изобретением западным XIX в., передал черты лица и Святославовской шеи на медной доске для приятеля, светского молодого человека» (I, 160). Несколько позже он пишет: «Любопытно было бы мне знать: какое впечатление на крестьян произвел костюм Кости. Я думал, что он тщетно старался уверять их, что это костюм – когда-то русский; впрочем, борода убедительна» (I, 173).

«Пусть он... (советует И. С. в другом письме) изучит Россию не по одной Москве, ибо помышляющий о благосостоянии ее должен узнать все протоки, по которым оно должно пролиться... Костя, точно паук, наткал около себя хитросплетенную паутину и целый день цепляется по ней, так что не может идти по простому и прямому пути, а должен делать разные сложные повороты и уступы...» (I, 169).

В октябре того же, 1844 г. он пишет: «Я никогда не надену зипуна прежде времени. К чему я подвергнусь стольким хлопотам, басням и общему говору?.. Надеюсь обнять Костю русским, в европейском костюме без бороды» (I, 218).

Ясно, что он не придает никакого значения внешности, что народность, если к ней надо вернуться, должна сказаться изнутри. Связи с остальными

славянами не особенно занимали, как известно, Константина Сергеевича; о них зато издавна уже думал А. С. Хомяков, как это видно и по его стихам. Восхищаясь ими, И. С., как мы видели, еще не был тогда крещен в определенную политическую веру. Вот что, однако, он пишет в августе:

«Я хоть совсем не славянофил, но так, из шутки, собрал несколько денег для церквей Далмации и Герцеговины. Взял с Вюлера 5 руб., с князя даже 10 руб. и, наконец, с Оболенского 10 руб. 50 коп.» (I, 192).

Между тем ревизия окончилась. Иван Сергеевич возвращается в Москву на прежнюю свою должность в Сенат. Тут он становится непосредственным свидетелем той борьбы, которая происходила тогда между двумя направлениями. К этой поре относится его «Зимняя дорога» – licentia poetica, как озаглавил он это большое стихотворение. Тут выведены два спутника: Ящерин – представитель западничества и Архипов – представитель того народолюбия, которое не вполне одобрялось Иваном Сергеевичем ради его угловатости в Константине Сергеевиче, но на сторону которого он становится уже в этом стихотворении, указывая только на народолюбие, на необходимость сойти с теоретических высот на прикладную почву.

Вот что говорит тут Ящерин:

Я не с одной хочу сочувствовать страною –
Во мне пространнее любовь!
Природой русскою и русским человеком
Нельзя, – поверь, довольным быть
Тому, кто вслед идет за просвещенным веком.

Но вот что, с другой стороны, утверждает Архипов:

Не по стопам чужим и узким,
Народ в развитии своем
Пойдет, поверь, иным путем –
Самостоятельным и русским...

Остановка обоих спутников в крестьянской избе напоминает те впечатления, которые вынес Иван Сергеевич из подобных остановок по пути в Астрахань. Ящерин не замечает народной нужды и горя, зато Архипов озадачен тем и другим. Недаром над ним раздавался голос:

Тот эгоист холодный и пустой,
Кто жизнь свою не посвятил народу.

Между тем способности молодого чиновника были замечены начальством (чему, конечно, содействовали и различного рода связи его отца). Нельзя сказать, чтобы этим не было приятно затронуто в нем честолюбие. В письмах своих, со свойственною ему редкою откровенностью, он даже жалуется на свое тщеславие, которое пытается он в себе подавить, но которое снова в нем возникает во всевозможных видоизменениях[6]. Вскоре по окончании ревизии Иван Сергеевич получает новое, и довольно видное, назначение – на должность товарища председателя калужской уголовной палаты (1845). По письмам его из Калуги мы знакомимся с тем, как часто ему приходилось, уступая своему гуманному чувству, прибегать к обходу прямого смысла закона. В этом отношении в нем вполне уже сказывался славянофил: известно, что в славянофильском учении правда внутренняя становится выше правды внешней.

В Калуге Иван Сергеевич близко знакомится с женою губернатора – тою самою А. О. Смирновою (урожденною Россетт), которую хорошо знал Пушкин и которая имела такое сильное влияние на Гоголя. Иван Сергеевич сначала увлекся ее умом, но затем, по-видимому, в ее обращении почуялось ему что-то неприятное для его самолюбия. Вот что он писал тогда брату, как бы поддакивая Смирновой:

«Во мне нет молодого человека, а что же во мне есть? – и ничего: творческих мыслей никаких, один отголосок – и то недостойный – чужих мыслей; дара слова… также нет, а говорю заученными, давно заранее придуманными выражениями; изобретательности нет, стихи мои. Я хороший чиновник, если б меня не сбили с толку… Пожалуйста, не

пиши мне в ответ никаких утешений... но разбери мне, что все это такое: раздраженное ли тщеславие и самолюбие, которых не могу, не могу еще убить в себе, или внутренний голос сознания, которого следовало бы послушаться?.. А тут является женщина, превосходство которой признаю совершенно и которая возбуждает мое тщеславие, оскорбляя его. Все это очень смешно, жалко, детско, скажешь ты, но тем не менее никому не желай таких ощущений» (298). Возомнив себя только чиновником, Аксаков, однако же, тяготится подобного рода призванием.

«За неимением другой живой деятельности, – пишет он в 1846 г., – поневоле все деятельные силы устремляются на эту, а деятельность, хоть какая-нибудь, нужна человеку. Дело в том, что деятельность эта имеет влияние на душу и ум человека... А у нас, в России, кроме этой деятельности, нет другой... Издание журнала почти невозможно, говорить – страшно, писать стихи – не деятельность, а занятие случайное, временное... Сидячий труд, кабинетный, для потомства, как делают немцы, работающие по 20 лет над изысканием смысла каких-нибудь крючков, – нам невозможен; нужна более живая общественная деятельность. Поэтому-то пугает меня, привыкшего к деятельности служебной, при выходе в отставку, отсутствие всякой деятельности...» (I, 382).

Между тем сперва под влиянием Смирновой, предавшись усиленному анализированию самого себя и приведенный к невыгодному о себе мнению, Аксаков начинает мало-помалу анализировать и эту загадочную женщину – может быть, потому, что ее влияние на него стало просто его пугать. Чем более вглядывается он в нее, тем невыгоднее о ней думает.

«Недаром прожила она 20 лет в этом вонющем месте (Петербурге), – пишет он в начале 1847 г. – Я не верю никаким клеветам на ее счет, но от нее иногда веет атмосферою разврата, посреди которого она жила. Она показывала мне свой портфель, где лежат письма... почти всех известностей... Есть такие письма, писанные к ней чуть ли не тогда, когда она была еще фрейлиной, которые она даже посовестилась читать вслух... Много рассказывала она мне про всех своих знакомых... об их образе жизни и толковала про их гнусный разврат и подлую жизнь та-

ким равнодушным тоном привычки, вовсе не возмущаясь этим». Признаюсь, я под конец вечера ругнул ее приятелей довольно энергически» (I, 410). К этой-то поре относится в стихотворениях И. С. «Неоконченное послание» к А. О. Смирновой. Вот тут-то как раз подоспела злополучная книга Гоголя: «Избранные места из переписки с друзьями». В том, что И. С. сначала увлекся этою книгой, едва ли не сказалось опять не вполне побежденное влияние Смирновой. Впрочем, И. С. мог быть подкуплен теми лирическими местами у Гоголя о «душевном подвиге», которые приняты были им сначала все до единого за чистую монету.

Вот что писал он брату в том же январе 1847 г.:

«На какую неизмеримую высоту возносит он (т. е. Гоголь) с собою искусство и служителей искусства и какое благоговение слышно у него всюду перед нашей дивной душой, перед святым призванием поэта! Господи! Кажется, все блага мира отдал бы я, от всех радостей отказался бы, только чтобы подышать мне хотя час воздухом этих горных обителей искусства» (I, 421).

В письмах старика Сергея Тимофеевича выражается совершенно другой взгляд. Его житейская опытность помогла ему распознать в «переписке с друзьями» Гоголя – какое-то «помешательство и плутовство в самом помешательстве». Отзыв отца, ссылавшегося на столь же невыгодное для Гоголя мнение Константина Сергеевича, подействовал наконец и на увлекавшегося Ивана Сергеевича. Он начинает иначе судить о «переписке» Гоголя и вместе с тем, надо думать, окончательно освобождается и от влияния Смирновой. Но вот разыгрались европейские события 1848 г. Под их живым впечатлением Иван Сергеевич пишет кн. Оболенскому:

«В какое время живем мы! Воочию совершается история, ощупью слышишь великие судьбы мира!.. Теперь-то, когда весь Запад отрекается от всех начал, которыми управлялся во всю свою историю... теперь-то вырастает огромное значение России, и всякий поймет, что одно спасение нам в нашей самостоятельности... Великое время для нас. Уничтожили они там себе аристократов и вообще праздный богатый класс, а теперь, я сам читал в одной газете, взывают к богатым, чтобы

они продолжали свою роскошную, развратную жизнь, ибо иначе сотни тысяч работников останутся без хлеба. Там, при развитии промышленности мануфактурной, нельзя иначе» (I, 339).

У нас, по мнению Ивана Сергеевича, оно могло бы выйти не так. России, стране не аристократической и не буржуазной, а земледельческой, можно бы было спастись от всех трудностей «рабочего вопроса» и мирным путем достигнуть осуществления того социального идеала, который не дается Западной Европе, несмотря ни на какие кровавые революции. Но где у нас понимание наших прямых государственных задач – сознание того, что могло бы доставить нам прямо мировое значение, вместо того стояния за старый европейский строй, которое служило очень ненадежной основой для нашего могущества. Что видел Аксаков вокруг себя? Какие люди его окружали? Вот что писал он в июне 1848 г. с Серных вод (куда ездил лечиться):

«Каждый день приезжают новые лица, помещики с отчаянными фигурами, из мест, звучащих свирепо татарскими названиями... Ни одной живой, умной человеческой физиогномии!.. Ведь это все люди же, с душой человеческой, или, по крайней мере, с тем же материалом, и в этой пошлости, плоскости, грязи, повторяются те же законы человеческой природы не в одном физическом отношении» (I, 480).

«Сюда приехал, – продолжал он, – богатейший помещик и туз, Самарского уезда... Носятся слухи, что он был под судом за то, что убил своего крепостного человека до смерти и оставлен по этому предмету в подозрении; был под судом, и за то, что в молодости еще, собрав всех горбатых по уезду, приискав им горбатых невест, обвенчал их в церкви и потом сделал им бал. Теперь он – покровитель мелкопоместных, пред ним раболепствующих, отчаянный либерал, туз и лихой барин; имеет, сверх того, репутацию остроумного насмешника и злого языка; пишет стишки» (I, 483).

Но вот приезжает на Серные воды автор столь известного в свое время «Тарантаса». С ним, по-видимому, можно было бы Ивану Сергеевичу отвести себе душу. Выходит не так.

«Приехал Сологуб... – пишет Аксаков. – Он никак не может совлечь с себя аристократа и человека большого света... Божится и клянется, что он не подлец, как мы думаем в Москве; а я ему доказывал, что в Петербургском свете камер-юнкеру, как ему, трудно обойтись без маленькой подлости, и указывал ему на некоторые его сочинения и действия... Прочел мне два акта своей драмы.. Неверностей много, но он удачно выбрал время: при царе Феодоре Алексеевиче, когда быт боярский гнил и был испорчен донельзя, весь проникнутый гордостью, кичливостью и в то же время принявший некоторые элементы уже чужие. Действительно, гнусность этого боярского быта и привела переворот Петра» (I, 456)[7].

Вскоре по возвращении с Серных вод Иван Сергеевич становится обер-секретарем 2-го департамента правительствующего Сената. Но в сентябре того же года он не только оставляет это место, но и совсем прощается с Министерством юстиции – вследствие особых обстоятельств, о которых вспоминал он 38 лет спустя в своей «Руси», вспоминал так живо и горячо, точно будто бы это только что случилось. Это и была та его громовая статья в защиту новых судов, которою он сослужил им службу против самоновейших их ненавистников. «Старый суд! – восклицал Аксаков 15 февраля 1884 г. – При одном воспоминании о нем волосы встают дыбом, мороз дерет по коже!.. Мы имеем право так говорить. Пишущий эти строки посвятил служебной деятельности в старом суде первые, лучшие годы своей деятельности... Он изведал вдоль и поперек все тогдашнее уголовное правосудие, в провинции и столице, в канцеляриях и в составе суда (в последнем, как член, по назначение от правительства). Это была, воистину, мерзость запустения на месте святе. Со всем пылом юношеского негодования ринулся он, вместе со своими товарищами по воспитанию, в неравную борьбу с судейской неправдой, и точно так же, как иногда и теперь, встревоженная этим натиском стая кривосудов поднимала дикий вопль: «Вольнодумцы, бунтовщики, революционеры!» Помним, как однажды молодой обер-секретарь Сената, опираясь на забытую и никогда не применявшуюся статью свода законов, отказался скрепить истинно неправедное постановление, благопри-

ятствовавшее людям, занимавшим очень видное положение в высшем обществе, – и с каким шумом, с каким гневом, встретили сановные старики такое необычайное дерзновение. Помним, как рябой нахал со знатным именем подавал нашему товарищу для доклада присутствию свое письменное оправдание (в деле столь грязном, прибавим мы, что о нем нельзя и говорить публично), рекомендуясь, что «по милости царской – он сын барский», и как никакими доводами нельзя было предотвратить пристрастного, в пользу «барского сына», решения, то есть полного его оправдания, акт, о котором отказался скрепить своей подписью только один И. С. Аксаков, так как он один не держался гнусного правила, что «свой своему поневоле брат». Понятно, что Аксакову пришлось после этого просить увольнения от должности. Стойкость его, однако же, не осталась бесплодною. Император Николай Павлович приказал пересмотреть дело, и преступник подвергся заслуженной каре.

Удивительно, как даже такой подвиг молодого обер-секретаря или, по крайней мере, санкция, ему данная с высоты престола, не удержали автора статьи об аксаковских письмах, появившейся в одном из так называемых консервативных наших периодических изданий, от проходящего красною нитью через всю статью обвинения Аксакова в каких-то, не подобающих чиновнику, либеральных шалостях, в каком-то неуместном с его стороны озорничестве[8].

Выйдя из Министерства юстиции, Аксаков поступил под начальство тогдашнего министра внутренних дел гр. Л. А. Перовского[9] и отправился в Бессарабию с секретным поручением для исследования тамошнего раскола. Вот что писал он в декабре 1848 г. из Кишинева отцу по поводу известий о брате: «Как мне досадно и грустно, что Константин хандрит... он, которому столько дела... Эх, право, где же у человека воля?.. Странные люди! Разве можно ожидать от жизни счастья, разве можно на нее смотреть иначе, как на широкое горе, как на постоянную борьбу?..»[10] Вскоре вспомнилась ему тут А. О. Смирнова и одно лицо, с которым он у нее познакомился. «Т*. бесспорно человек хороший, с мирной и светлой душой, но не светлым умом, – пишет Аксаков. – Не-

сколько времени его смущало крепостное состояние (а он богат). Вдруг вспомнил текст вместе с А. О.: «рабы, повинуйтесь своим господам», и оба обрадовались и успокоились. Я объяснил ей, что они напрасно веселятся возможности удержать выгодное для них крепостное состояние, что если вообще предписано покорно сносить голод и всякую беду, так еще не значит, что можно не давать есть... Какой человек, смягченный теплотою христианского учения, не почувствует желания воздать должное и во внешнем быту братьям своим о Господе! Тут надо только слушаться сердца... Свидетель Бог, что у меня не будет крепостных! (73–74). Вернувшись в Петербург, он писал оттуда отцу в феврале 1849 г.:

«Я держусь того мнения, что помещики непременно должны понести правомерный убыток при эмансипации крестьян за то, что целые столетия пользовались безобразными правами над собственностью и лицом крестьянина» (II, 108).

Отдавая отчет отцу в результатах возложенного на него поручения, Аксаков упоминает о лице, известном на поприще университетской науки, с одной стороны, журналистики – с другой, занимавшемся тогда, тоже по поручению министерства, раскольничьими делами.

«Вечером я отправился к Надеждину[11], которому я рассказал все, что помещено в записке[12]. Что касается до моих выводов и взглядов, то он меня очень удивил, сказав, что не только их разделяет вполне, но что это его давнишние убеждения. «Отчего же вы действуете совершенно вопреки им?» Он ответил, что на это есть другая воля» (II, 98). Ясно, что Надеждин стал таким истым чиновником, каким никогда бы не мог стать Аксаков.

Между тем все кругом было печально.

17 февраля 1849 года Иван Сергеевич пишет: «Грустно и дома, грустно и тогда, когда поглядишь вокруг и увидишь всю бестолковщину и подлость общества... Затруднен прием в университеты лиц низшего состояния, пр. Куторга[13] посажен на 10 дней под арест... за то, что, будучи когда-то цензором, пропустил какие-то немецкие стихи, о которых никто и не помнит... Всякая честная мысль клеймится названием

якобинства, и торжество старого порядка вещей в Европе дает торжествовать и нашему гнилому обществу... Хоть бы убедилось правительство в мирном характере, в благочестии наших убеждений и нашего направления» (II, 111), то есть славянофильского, которое он теперь прямо уже называет нашим.

При том же письме он посылает отцу одно из самых сильных своих стихотворений – то самое, которое уже читано было когда-то в этих стенах и мною, и нашим многоуважаемым сочленом, В. И. Ламанским.

Пусть сгибнет все, к чему сурово
Так долго дух направлен был...
……...
Так сокрушись, души гордыня!
В борьбе неравной ты падешь:
Сплошного зла стоит твердыня,
Царит бессмысленная ложь!..
……...
Ликуй же, Ложь, и нас, безумцев,
Уроком горьким испытуй,
Клейми прозваньем вольнодумцев!»,
Казни, цари и торжествуй!
Слабейте ж, силы – вы не нужны!
Усни ты, дух! давно пора!
Рассейтесь все, кто были дружны
Во имя правды и добра!

Между тем высочайший двор собирался в Москву. Носились слухи о «народном» настроении в придворных сферах, настроении, которое должно будто бы выразиться в древней столице наглядным образом. Но это вовсе не радует Аксакова, так мало ценившего всякую внешность. Вот что писал он 1 марта 1849 г.:

«Вероятно, будет много манифестаций русицизма, много всяких эффектов. Все это пустится в национальность, которую опошлят до не-

выносимого; если уже Закревский[14] своим маскарадом[15] увлек всю Москву, так что уже будет теперь! И на дне Москвы, на осадке, останется один Константин, ибо и народ поддастся обаянию... Все это так скверно, так грустно, чувствуется такое бессилие, что мне хочется опять вдаль, вдаль – под это чудное, южное, темно синее небо… Как мне хотелось бы провести лето где-нибудь в Малороссии, на хуторе...» (II, 115).

Вскоре, 6 марта, ему пришлось сообщить следующее: «Дела идут плохо: немцы торжествуют, и Самарин сидит» (118), то есть в крепости за свои «Рижские письма» – и это как раз в период официального народничания! «Общество принимает по-своему довольно живое участие, – пишет Аксаков 14 марта, – то есть такое, какое может принять петербургское подлое общество...» (119).

Писать такие письма в то время было не особенно удобно. Их, как и ответные письма отца и старшего брата Аксакова, прочитали в таком месте, о котором И. С. не думал, когда их писал. Следствием был допрос ему, воспроизведенный вместе с его ответами во 2-м томе издания его писем. У Аксакова, между прочим, допытывались: «…из ответов родителя и брата Константина на письма ваши о Самарине видно, что они вполне разделяют негодование Самарина против немцев в России». Вот на этот-то, а равно и на негодование отца и брата по поводу «ругательства над русским платьем», какое усмотрели они в маскараде Закревского, и требовались у него объяснения. Приведу те, которые даны были Иваном Сергеевичем по поводу негодования на немцев из-за Самарина. «Я тоже, – писал он, – разделяю это негодование, ибо, как русский, не могу быть равнодушен к положению русских в Остзейском крае. Впрочем, так же, как и мои родственники, я не люблю немцев, только как касту, действующую в духе презрения к России и ее народу, но в частности уважаю и люблю их, если они хорошие люди» (II, 158).

На другой вопрос (3-й), посредством которого добивались до самой сущности Аксакова, он, между прочим, отвечал: «…люди всеми силами, всеми способностями души преданные России, смиренно изучавшие сокровища духовного народного богатства, свято чтущие корен-

ные начала его быта, неразрывные с Православием, люди эти Бог весть почему прозваны были славянофилами, хотя в их отношениях к западным славянам было только одно сердечное участие к положению единокровных и единоверных своих собратий». Это, как и некоторые другие места в показаниях Аксакова, было подчеркнуто тою же рукою[16], какою написаны были на полях некоторые примечания – например, следующее, к только что приведенному изумлению Аксакова, почему их называют славянофилами: «Потому, что под видом участия к мнимому угнетению славянских племен таится преступная мысль о восстании против законной власти соседних и отчасти союзных государств и их общем соединении, которого ожидают не от Божьего произволения, а от возмущения, гибельного для России». В ответ на вопрос 7-й – о выраженной в письме Григория Сергеевича Аксакова надежде на превращение Австрии из немецкой державы в славянскую Иван Сергеевич поясняет: «Я также думал это, ибо немецкие элементы ее подгнили и она давно бы рухнула, если б не поддержали ее славяне. Поэтому и можно было предполагать, что Австрия сделает volteface[17] обратиться в славянскую империю… Впрочем… возникновение рядом с Россией самобытной сильной славянской монархии привлекло бы к ней все те южные славянские племена, которые теперь мы от себя отталкиваем, и лишило бы Россию значения: быть единственным сосудом Православия и славянских начал на земле… Ко всему этому Аксаков присоединяет, однако же, оговорку: «Признаюсь, меня гораздо более всех славян занимает Русь, а брата моего Константина даже упрекают в совершеннейшем равнодушии ко всем славянам, кроме России, и то даже не всей, а собственно Великороссии». И к этому месту сделана на полях приписка тою же высокоупомянутою рукою: «И дельно, потому что все прочее мечта; один Бог может определить, что́ готовится в дальнейшем будущем; но ежели бы стечения обстоятельств и привели к этому соединению, то оно будет на гибель России».

Допрос, выдержанный Иваном Сергеевичем, очевидно, окончательно сблизил его с московским направлением или так называемым

славянофильским. Конечно, и на русскую одежду он стал смотреть иначе, когда в то же приблизительно время с отца его и брата взяли подписку, что они не будут более появляться в ней. Запрещением той внешности, которую так мало ценил Иван Сергеевич, делалось уже вторжение в область человеческой свободы, и этим заживо затрагивался внутренний мир. Что касается ответов И. С. на допросные пункты, то ими, конечно, далеко еще не выражался весь его взгляд. «На лучшие стороны славянофильства, – справедливо заметил К. К. Арсеньев, – на уважение к свободе совести и мысли, к народному голосу, к поземельной общине – здесь нет и намека»[18]. Между тем все это, разумеется, было дорого И. С. уже тогда.

Допрос благополучно окончился лаконическою инструкцией гр. Орлову, написанною тою же рукою, которою подчеркнуто было многое у Аксакова и написаны были на полях примечания: «…призови, прочти, вразуми, отпусти».

Аксакову оказалось возможным отправиться в Ярославль, для продолжения возложенного на него особого поручения по раскольничьим делам (причем он, однако же, оставался под надзором полиции). В январе 1850 г. Аксаков писал из Ярославля об одном званом вечере, где читал он свою поэму «Бродяга», о которой также был ему предложен в Петербурге один (самый последний) допросный донос. Публика на вечере не удовлетворилась одной поэмой. «Меня, – писал Иван Сергеевич, – стали просить прочесть что-нибудь из мелких стихотворений… Чувствуя сильную потребность выругаться, я объявил, что прочту стихотворение к Петербургу и к светским людям вообще.

С преступной гордостью обидных,
Тупых желаний и надежд,
Речей без смысла, дум постыдных
И остроумия невежд;
В весельях наглых и безбожных,
Средь возмутительных забав,

Гниете вы – условий ложных,
Надменно вытвердя устав!
Блестящей светской мишурою
Свою прикрывши нищету,
Ужель не видите порою,
Вы ваших помыслов тщету?
Того, что вам судьба готовит,
Еще ли страх вас не проник?
Все также лжет и срамословит
И раболепствует язык!
Не стыдно вам пустых занятий,
Богатств и прихотей своих,
Вам нипочем страданья братий
И стоны праведные их!
Господь, Господь! вонми моленью,
Да прогремит бедами гром
Земли гнилому поколенью,
И в прах рассыплется Содом!

Ясно, что допросами не был осажден пыл Аксакова, что «не укатали бурку крутые горки». Но он сильно тоскует среди того общества, которому подносит с досады такие стихи. Тем более жаждет он подробных писем из дому. Лаконичность Константина Сергеевича его сердит. Вот что писал он про него из Углича, куда был вызван на время теми же раскольничьими делами: «Самое большое письмо не составит и половины одного моего; собираясь писать и поговорить со мною, он сейчас своротит на скользкую дорожку, отопрет свое негодование на Запад: «скверный Запад, скотина Запад», – и пойдет, и пойдет!»

Из этого видно, что он по-прежнему недоволен крайностями брата. Вернувшись в Ярославль, И. С. пишет (в январе 1850 г.):

«Что за скоты здешние дворяне! Недавно некто Г., богатый здешний помещик, говоря про свое управление в деревне, с самою добродушною наивностью объявил мне, что у него так и заведено: сечь бурмистров

в кабинет из собственные рук... Кстати, посылаю вам, прибавляет он в том же письме, – свое маленькое стихотворение, перевод с санскритского, то есть не прямо, а с переводом Коссовича, Бюрнуфа и Гольцмана:

Клеймо домашнего позора
Мы носим, славные извне;
В могучем крае нет отпора,
В пространном царстве нет простора,
В родимой душно стороне!
Ее, в своем безумье яром,
Гнетут усердные рабы!
А мы глядим, слабеем жаром,
И с каждым днем сдаемся даром,
В бесплодность веруя борьбы!
И слово правды оробело
И реже шепот смелых душ;
И сердце в нас одебелело;
Порывов нет, в забвенье дело,
Спугнули мысль, стал празден ум!
(II, 278)

Своей неспособности забывать жизненное зло ради теоретических высот Иван Сергеевич противопоставляет настроение брата своего Константина Сергеевича в письме, отправленном из Ярославля в марте 1850 г.

«Я не могу, подобно Константину, – говорит он, – утешаться такими фразами: «главное – принцип, остальное – случайность» или что «русский народ ищет царствия Божия». Равнодушие к пользам общим, лень, апатия и предпочитание собственных выгод признаются за искание царства Божия!.. Говорить голодному: «намажь хлеб принципом вместо масла, посыпай принципом, и вкусно: нужды нет, что сотни тысяч умрут, другие сотни уйдут – это случайность» (II, 300).

Мы не касались до сих пор отношений Ивана Сергеевича к тем раскольничьим делам, с которыми связано было возложенное на него по-

ручение. Сознаемся, что это самая слабая сторона в его письмах. Тут у него сказывается какая-то неустановленность. Недолюбливая так называемого единоверия, он, конечно, далек от того, чтобы одобрять преследование раскола, но в иных случаях находит возможным прибегнуть к давлению, к внешнему понуждению. Это, быть может, дань, заплаченная даже таким человеком той бюрократической среде, в которой он тогда вращался. И вот тут, с другой стороны, приходится уже прямо пожалеть, что, уже сопричислив себя к славянофилам, он еще внутренне не вполне проникся их учением, одним из начал которого была полнейшая веротерпимость, впоследствии так горячо защищавшаяся в печати и им самим. Впрочем, впечатления, вынесенные им тогда из столкновений с расколом и противною ему силою, навели его, наконец, на мысль, что эта сила одержит победу только тогда, когда вполне перестанет быть внешнею, когда она проникнется текстом: «иде же дух Господень, ту свобода»[19]. Вот его, исполненные гуманного чувства и глубокой грусти, строки, писанные в октябре 1850 г. из Ярославля:

«Право, Россия скоро разделится на две половины: Православие будет на стороне казны, правительства, неверующего дворянства и отвращающего от веры духовенства, а все прочие обратятся к расколу. Берущие взятку будут православные, дающие взятку – раскольники. В здешней губернии православный значит гуляка, пьяница, табачник и невежда. Если б вы знали, как иногда делается страшно. Кора все больше и больше сдирается, и язва является вашим глазам во всем отвратительном могуществе. Причины язвы – в крови. Все соки испорчены, и едва ли есть исцеление. Кажется, нам суждено только понять болезнь и созерцать, как она пожирает постепенно еще не вполне зараженные члены» (II, 357).

Тут мы вполне узнаем подлинное славянофильство, узнаем и Ивана Сергеевича, его человечную и свободолюбивую душу. Между тем мысли его в письмах возвращаются по временам к последствиям европейских событий 1848 г. Им было посвящено стихотворение, не понравившееся Сергею Тимофеевичу – быть может, не без влияния на старика «страха иудейска». Вот некоторые строфы:

Пережита тяжелая година;
Была борьба и пролилася кровь.
Последних грез решалася судьбина;
И дряхлый мир не обновился вновь!..
……
О, гордый ум! средь дерзостной надежды
Вдруг старым словом вновь ты поражен
Что вечно здесь тебе удел невежды
Неведомой судьбою обречен.
Среди побед над силами природы,
Среди чудес, что всюду ты воздвиг,
Раскрыл ли нам ты таинство свободы,
Каким путем блаженства ты достиг?
……
Где ж истина?.. Безмолвствует могила.
Везде алтарь разрушенный стоит...
Какая ж мир зиждительная сила
Для жизни вновь и веры оживит?
……
Безмолвно все!.. Но если в мире этом
Есть истина, неведомая нам, –
Блесни лучом, откликнись мне ответом, –
На твой алтарь всего себя отдам!
Перед собой устал я лицемерить!
Для дел твоих мне силы сбереги...
О, если есть, чему я должен верить,
Ты моему безверью помоги!

Огорченный тем, что ближайшие люди отнеслись к этим стихам несочувственно, вот что писал Иван Сергеевич в январе 1851 г.:

«Я бы желал, чтобы их прочли Грановскому или вообще людям, у которых болела душа от «48» г. Даже у Константина она не болела: он безо всякой внутренней душевной боли способен заклеймить прокляти-

ем $^{9}/_{10}$ человечества и давно не считает людьми бедные народы Запада, а чем-то вроде лошадиных пород» (II, 375). Тут опять блистательно проявилась вся гуманная ширь воззрений Ивана Сергеевича, вся прелесть его великой души, более в этом отношении сходившаяся с Хомяковым, чем с Константином Сергеевичем.

Между тем поэма «Бродяга», затронутая во время допроса и, однако, читанная им вслух в Ярославле, натворила ему еще новых бед, или – если поглядеть с другой стороны, – сослужила ему добрую службу. Ему было дано знать от министра, что хотя он и оправдался в взведенных на него обвинениях, но литературные занятия вообще не могут не мешать его служебным обязанностям.

В феврале 1851 г. он ответил на это графу Перовскому:

«Не только правом, но и обязанностью своею считаю объяснить В. С., что не служба терпит от моих литературных занятий, а литературные занятия, нравственное и умственное образование мое принесены в жертву службе. Никто никогда не мог и не может упрекнуть меня в лености или в нерадивом исполнении своего долга, потому что к деятельному служению побуждаюсь я ответственностью – не перед начальством моим, а перед моею собственною совестью» (II, 396).

А вот какие объяснения дал он тогда отцу: «Я отстаивал принцип домашней, нравственной свободы служащего, самостоятельность чиновника, служащего не Перовскому[20] и не правительству, а «самому делу» (II, 388). Между тем он послал в Петербург просьбу об увольнении от службы. Даже Ю. Ф. Самарин просил у него позволения разорвать эту бумагу. В марте Аксаков написал ему в ответ:

«Я решительно не согласен дозволить вам разорвать мой рапорт и прислать мне клочки в конверте... Все это вам покажется, может быть, особенно среди Петербургской атмосферы... смешно, дико, незрело... А со мною странное совершается: чем более уходит моя молодость.... Чем зрелее становлюсь я, тем сильнее и сильнее во мне потребность говорить словом правды, тем живее чувствую я в себе возможность неблагоразумных, непрактических, но честных поступков» (II, 405–406).

Ту же самую способность Аксаков, в сущности, сохранил и до конца своей жизни – способность ставить выше всего свою человеческую душу. На каком бы поприще, думал он всегда, ни пришлось служить, надо прежде всего служить той верховной силе, глашатаем которой является совесть и которая называется Богом!

О душе, об ее нравственном подвиге, об ее ненарушимой свободе говорит он и во многих своих стихах, особенно тех, которые написаны были вскоре по прочтении книги Гоголя, то есть много в ней, понятого Иваном Сергеевичем по-своему. Вот, по нашему мнению, лучшие из этих стихов:

Зачем душа твоя смирна?
Чем в этом мире ты утешен?
Твой праздный день пред Богом грешен,
Душа призванью не верна!
Вокруг тебя кипят задачи,
Вокруг тебя мольбы и плачи
И торжествующее зло,
А ты?.. Ужель хотя однажды
Ты боевой не сведал жажды,
Тебя в борьбу не увлекло?
Ты возлюбил свое безделье
И сна душевного недуг.
В пустых речах, в тупом веселье
Чредою гибнет твой досуг.
На царство лжи глядя незлобно,
Ты примиряешься удобно
С неправдой быта своего,
С уродством всем его увечий,
Не разъяснив противоречий,
Не разрешая ничего!
Пред Богом ленью не греши!
Стряхни ярмо благоразумья!
Люби ревниво, до безумья,
Всем пылом дерзостным души!

Освободясь, в стремленье новом
От плена ложного стыда,
Позорь, греми укорным словом,
Подъемля нас всевластным зовом
На тяжесть общего труда.
Безумцем слыть тебе у всех!
Но пред святыней убежденья
Ничтожны мира оскорбленья
И прелесть жизненных утех!
О, в этой душной нашей ночи,
Кому из нас бесстрашной мочи
Достанет правду возлюбить?
Кто озарит нас правды светом?
Одним безумцам в мире этом
Дано лучей ее добыть![21].

Аксаков всегда и оставался таким безумцем. Потому-то он и не держался пословицы, что «один в поле не воин». И если бы мы постарались, каждый сам по себе, хотя сколько-нибудь следовать его примеру, немало бы прибыло «воинов в поле», твердых и верных стоятелей за добро и за правду.

И. Балаклеев

ПАМЯТИ И. С. АКСАКОВА

(По поводу 10-летия его смерти 27 января 1896 г.)

Он был, о Родина,
твой самый верный сын!
Неизвестный автор.

С благоговением берусь я за перо, чтобы почтить память И. С. Аксакова. Светлый образ этого человека хранится мною как святыня,

составляющая отраду моей жизни и утешение в ее тяжелые минуты. Я уверен, что память И. С. Аксакова не для меня одного священна и строки, посвящаемые мною этой памяти, встретят сочувственный отклик во многих сердцах.

Личность И. С. Аксакова дает нам редкий пример цельности духа. Ум, чувство и воля были у него в редком согласии. То, что он считал истиной, вызывало в нем восторг и выражалось во всем его поведении. То, что он находил прекрасным, выдерживало испытание его замечательного ума и переходило в славные дела. Его деятельность подчинена строгим требованиям долга, ясно сознаваемого, и одушевлена пламенным и возвышенным чувством.

Конечно, совершенной согласованности ума, чувства и воли не может быть ни у кого. Бывали и у Аксакова мгновения разлада и борьбы. Но эти мгновения бывали сравнительно не часто и всегда оканчивались миром.

Редкой цельностью духа Аксакова объясняется то обаяние, которое испытывали от его личности все, кто его знал или только встречался с ним, читал его произведения; в этом человеке чувствовались убеждения, а не только мнения, тем более не одни слова, и видно было, что он искренно стремился провести свои убеждения в жизнь – жить по убеждениям. У него слово и дело не были в разладе, а это вызывало невольное уважение даже в людях противных убеждений. Сохранился, например, отзыв об И. С. Аксакове Белинского, который встретился с ним в Калуге проездом в Крым. «Славный юноша! – пишет он, – славянофил, а так хорош, как будто никогда не был славянофилом[1]. В цельности духа заключается также объяснение той прямоты и смелости, того огня и той увлекательности, с которыми Аксаков писал свои статьи.

Как же выражалась эта дальность духа в жизни Аксакова? Обратимся к данным его биографии.

Оканчивая училище правоведения, Аксаков писал к одной из своих сестер: «Если б я не боялся дать повод думать, что самохвальничаю, я бы сказал, как не люблю медленности, как противна она

моей натуре! Мне совестно долго спать; мне страшно в итоге жизни отметить половину, проведенную во сне! Я не понимаю также людей, желающих, чтобы время незаметно пролетало в упоении какого-нибудь блаженства или в забытьи. Нет, мне хотелось бы каждый день быть полезным членом общества и полезным не в одном околотке» (И. С. Аксаков в его письмах. I, 36).

Пред нами человек, жаждущий дела, и притом большого и общеполезного дела, человек, стыдящийся праздности, тот самый, который несколько позже восклицал:

Зачем душа твоя смирна?
Чем в этой жизни ты утешен?
Твой праздный день пред Богом грешен,
Душа призванью не верна!

А в одном из последних училищных писем он писал домой: «Я совершенно здоров, как физически, так, полагаю, и морально. Я полон твердой решимости и жажды труда, но труда тяжелого, великого и благодетельного. Итак, покуда живы, будем работать и предпринимать такие труды, как будто бы вовсе мы не должны умирать…» (I, 36).

Вот какую решимость выражал Аксаков, вступая в жизнь! Вот какие обещания давал он! Как же он их исполнил? Какие дела последовали за этими прекрасными словами?

Аксаков поступил на государственную службу, стал чиновником. Здесь должен был он осуществить свои стремления к «труду тяжелому и благодетельному». Как же относился Аксаков к своему поступлению на службу? Не было ли это с его стороны изменой своим стремлениям? Не поступал ли он на службу в видах карьеры, как это обыкновенно делалось прежде, да делается и теперь, или же он надеялся быть на службе полезным общественным деятелем? А может быть, он действовал в данном случае бессознательно – поступал потому, что все поступали, – потому, что так было принято, не отдавая себе отчета в том, что его

ждет на службе и насколько его поступок согласуется с теми словами, который он говорил при окончании училища?

Юношеское произведение Аксакова – мистерия «Жизнь человека» – доказывает, что поступал Аксаков на службу не с легким сердцем, а с тяжелым раздумьем, и если не с сознанием «тщеты служебных усилий», как было высказано К. Арсеньевым на страницах «Вестника Европы» (1888. № 12), то с сознанием опасностей, ожидающих его там. Вопрос настолько важен для характеристики Аксакова, что мы позволим себе остановиться на этом юношеском произведении Аксакова. Вот его содержание.

В первой части мистерии на сцену выступает «Будущий чиновник», колеблющийся перед поступлением на службу, сомневающийся – составляет ли служба его призвание или, быть может, ему следует заняться чем-нибудь другим, например, посвятить себя научной или художественной деятельности. Колебания его оканчиваются тем, что он на службу поступает: его соблазняют выгоды, которые можно создать себе на ней (Демон службы говорит ему: «…гражданин полезный и почтенный, будешь ты уважен и счастлив»), ему кажется, что он не способен к другой, более крупной и блестящей деятельности (Демон службы говорит ему: «…ты не из ярких исключений, не слишком добр, не слишком зол, не то чтоб глуп, не то чтоб гений! Так избери солидный быт, где был бы счастлив ты и сыт!»).

Во второй части перед нами «Настоящий чиновник» через 15 лет после поступления на службу. Мы видим его всецело погруженным в служебные занятия, вполне довольным своею деятельностью и своим положением, мечтающим не об общей пользе, как перед поступлением на службу, но о новом ордене, который тут же ему и дается.

В третьей части мистерии, еще через 30 лет, перед нами уже больной, дряхлый старик, ожидающий смерти и вспоминающий проведенную жизнь. Он раскаивается в своем поступлении на службу; считает свою жизнь даром прожитою: деловые занятия иссушили его ум и погубили свежесть чувства; почести, которыми он воспользовался

на службе, пусты и мертвы; счастье, которое ему дала служба, пошлое счастье; не оставляет он после себя «ни светлой памяти, ни ясного следа»; не принес он своей усердной службой «ни пользы никому, ни блага для Отчизны».

Почему же так случилось, почему его постигло такое горькое разочарование? Ответом на этот вопрос служит последний монолог Демона службы. Этот заключительный монолог начинается той мыслью, что на служебном поприще «к достижению великого плода ведет разливная дорога» и что деятели на этом поприще разделяются вообще на два разряда:

Одни (и много их) – правительственных дум
Орудья верные, смиренные пружины:
Полезен их всегда покорный ум
Для государственной, в движении, машины!
Так, если Божий храм художник создает,
Потребен каменщик с испытанным терпеньем.
Он жизнь творениям художника дает
Работы мертвой исполненьем!..

Другие – это вдохновители правительственной машины, это те, которые дают ей направление к общеполезной цели, те, которые создают самый план для здания общественного блага. Тяжел их труд, он требует железной воли, но подвиг их дает великий плод. Они чуждаются легких забав, живут всецело «для блага общего и славы», все дни своей жизни приносят на алтарь Отчизны. Не следует поступать на службу тому, кто не обладает железной волей и сильным умом, у кого преданность общему благу не выдержит испытаний жизни; пусть он лучше посвятит себя наукам и искусствам. Вот после этих-то слов Демона службы чиновник и восклицает: «…я даром жил, я даром жил!»

Вправе ли мы видеть здесь сознание Аксаковым «тщеты служебных усилий»? Нет. Мы видим здесь только сознание опасностей, ожидаю-

щих развитого и мыслящего человека на службе. Вот эти опасности: иссушение ума, потеря свежести чувства, тщеславная погоня за внешним почетом, забвение честных стремлений к общему благу, опошление и в конце концов личная неудовлетворенность, происходящая вследствие сознания своего ничтожества. Все ли подчиняются этим опасностям? Нет. Люди с сильной волей и обширным умом приносят на службе великую пользу, их труд имеет громадное значение для Отечества. Не отрицает Аксаков полезности и мелких тружеников, которых он сравнивает с каменщиками, в противоположность крупным деятелям, которые уподобляются архитекторам.

Вот истинный взгляд Аксакова на службу перед поступлением на нее. Какой высокий душевный строй тут сказывается и какое дельное, вдумчивое отношение к жизни! Нигде, никем и ничего подобного не было сказано в то время. Поступление на службу было в то время самым обыкновенным делом для дворян, ни в ком она не возбуждала сомнений или раздумья.

На службе Аксаков остался верен себе. Он не предал забвению свои юношеские стремления подобно большинству людей, бывших в сходном с ним положении. Его не затянула и не заела чиновничья среда Он не поддался тем опасностям, о которых говорил в своей мистерии. Те же стремления к труду, то же страстное желание служить общему благу владеют душой Аксакова и на службе, даже как будто еще усиливаются.

19 февраля 1844 г., то есть через полтора года после поступления на службу, во время астраханской ревизии, в которой он принимал участие под начальством кн. Гагарина, Аксаков рассказывает в письме домой о своих думах так: «Число тревожащих меня гостей тем более велико, что душа моя сильно симпатизирует всем высоким интересам, всем историческим явлениям, всем страданиям, всем болезненным припадкам современного человечества» (I, 85).

1 апреля того же года, рассказывая, что кн. Гагарин слишком горяч и потому нуждается в человеке, который бы при случае умел его охлаж-

дать, и что эту роль охладителя с успехом исполняет Строев, Аксаков так выражается о себе: «Я в это бы не годился, ибо, несмотря на свое благоразумие и хладнокровие, я именно способен сильно увлекаться в делах такого рода, особенно когда дело идет не о настольных регистрах, а о *существенной, государственной пользе* и о чести и блеске наших ведомств. Вообще надо признаться, что ревизия, поселив во мне еще больше отвращения к канцелярской службе, возбудила во мне сильное участие к делам государственным, и, конечно, будь у нас несколько другой порядок вещей, я бы никогда не оставил службы и предпочел бы ее всем другим занятиям» (I, 109).

16 апреля по поводу письма Гоголя, в котором советуется внутреннее самоуглубление и самоочищение, вообще созерцательная жизнь, чуждая внешней деятельности, Аксаков пишет, что он не может «решиться на самоотделение внутреннее от интересов житейских народа, государства, даже всего человечества». «И так сильно сочувствие мое к человечеству, тревожно бегущему к неизвестной цели, – говорит он далее, – так близки мне интересы его нравственной жизни и материальных выгод, что, охотно пожертвовав блаженством христианским, личным, я посвятил бы себя на общую пользу, согласился бы быть одним из камней пирамиды» (1, 117).

В письме от 8 июля Аксаков жалуется на равнодушие к общественным делам, которое у нас встречается на каждом шагу; упрекает брата Константина и его друзей за то, что они горячатся по поводу какого-нибудь «балахона», а к «общим пользам» не относятся серьезно; говорит, что никогда не оставит службы именно ради возможности быть на ней полезным гражданином; приводит соображения о тех улучшениях, которые бы он сделал в Астрахани, если б был в ней губернатором; еще раз очень резко выражается по поводу лени и равнодушия к общественным делам образованного класса и, наконец, извиняясь в резкости предыдущих выражений, так говорит про себя: «Это одна моя слабая струна, которая заставляет меня расшевеливаться до такой степени, что и теперь у меня рука дрожит» (I, 167–168).

Но где же на службе то дело, которым Аксаков мог бы послужить «общему благу»? Тогда, когда писались вышеприведенные письма, это была астраханская ревизия. В ней Аксаков упорно старается найти что-нибудь общеполезное; он не хочет только исполнить то, что от него требуется, и на том успокоиться; он работает страстно, напряженно, подчас с увлечением.

Сначала ревизия кажется ему «вещью довольно бесполезной»; но потом, по мере углубления в работу, он находит, что она полезна во многих отношениях: во-1-х, она дает возможность ознакомиться с современным положением вещей в Астраханском крае; во-2-х, за нею могут последовать весьма важные мероприятия, имеющие не только местное, но и общегосударственное значение, и в-3-х, она наглядно познакомила собственно его лично с характером всех родов государственной службы, со всем механизмом управления и с отношением этого механизма к народной жизни. В конце ревизии у него уже образовался отчасти тот план, который он стал приводить в исполнение через четыре года и который состоял в том, чтобы получать командировки в разные местности России для ознакомления с ее состоянием (I, 203).

Как работал Аксаков во время ревизии, видно из слов барона Бюлера, одного из товарищей Аксакова по ревизии. «Нас с правителем канцелярии, – говорит Бюлер, – было при сенаторе 12 чиновников разных лет, и... Аксаков положительно работал более чем все остальные 11 вместе. Он занимался 16 часов в день» (I, 42). Такая работа тем более удивительна, что Аксаков не перестает жаловаться в письмах домой, что работа, может быть, по конечным результатам и полезная, сама по себе мелка, скучна, мертва, несносна и т. д. Где же почерпал Аксаков силы для такой работы? Что поддерживало его рвение? Исключительно желание принести посильную пользу родной земле. Хотя душа его и томилась по более живой и широкой деятельности; но он не видел покуда другого способа работы на общую пользу и потому нес тяготу взятого на себя труда с замечательным терпением.

После астраханской ревизии Аксаков возвратился к судебной деятельности. Его назначили товарищем председателя уголовной палаты в Калуге. Эта деятельность уже была ему решительно не по душе, и душа его стала еще больше томиться и рваться к чему-нибудь иному. «Я решительно убеждаюсь, – писал он тогда Оболенскому, – что на службе можно приносить только две пользы: 1) отрицательную, то есть не брать взятки, 2) частную, и то только тогда, когда позволишь себе нарушить закон» (I, 227).

Мысль бросить службу все чаще начинает ему приходить в голову. Он отдается поэтическому творчеству и пробует тут найти свое призвание; но сомнения продолжают его мучить. Он старается опереться на чье-нибудь мнение и пишет Оболенскому: «Ты говоришь, зачем я думаю оставить службу? Я тебе предлагаю другой вопрос: признаешь ли ты во мне хоть какое-нибудь поэтическое дарование? Я себя вовсе не считаю поэтом и истинно говорю, что нет человека, который бы, как я, глубоко сомневался в себе, так бы мало думал о себе, особенно в некоторые минуты... Если ты признаешь во мне хоть что-нибудь, то я не должен служить» (I, 22В).

А в письме к брату Константину он говорил о себе так: «Мне кажется, будто я целый мир ношу в себе и слышу призвание писателя...» И далее: «Признаете ли вы за мной хоть какое-нибудь дарование литературное, если не поэтическое? Если да, в таком случае мне не должно служить» (I, 275–276). Неизвестно, что отвечали ему Оболенский и Константин; во всяком случае, Аксаков не бросил службы, а через два года писал домой: «потребность в деятельности общественной и общеполезной нечем удовлетворить у нас в России… Призваний других – к науке или поэзии – я не имею (да поэзия еще не деятельность), а потому остается одна служба; как ни ограничена эта сфера, но приходится довольствоваться теми размерами деятельности, какие представляет действительность. Нечего делать, и я служу, служу, правда, с затаенной тоской несбывшихся ожиданий» (I, 438).

Это время жизни Аксакова – время самого мучительного раздумья; время, когда он сомневался в себе самом и в своей деятельности и

мучительно искал выхода из своего положения. Работал он на службе усердно; почти вся работа в суде лежала на нем. Он поставил себе задачей «всеми подъяческими хитростями» достигать «человеческого результата там, где все было так бесчеловечно в то время (I, 270), и иначе, как усердно, не мог работать. Но с таким увлечением работать, как во время астраханской ревизии, он уже не мог и потому больше посвящал времени чтению, размышлению и поэтическому творчеству – вообще самоусовершенствованию, в чем и успевал, по собственному сознанию. «Мое одиночество, – писал он брату, – небесполезно для меня; я чувствую свое постоянное развитие и созревание» (1, 274).

На стихотворениях, написанных им в это время, мы должны остановиться подольше, чтобы уяснить себе его душевное состоите. В них он выразил свое общее отношение к жизни, отношение к окружающему обществу и общий взгляд на задачи своей деятельности. Размер нашей статьи не позволяет нам разобрать стихотворения Аксакова с тою подробностью, которой они заслуживают. Мы укажем только их основные мотивы.

Занимаясь мелкой и скучной работой, Аксаков в чем-нибудь должен был находить для себя утешение. Перед ним вставал потому вопрос о жизни вообще; о ее смысле и ценности. И вот в стихотворении «Andante» Аксаков выражает уверенность, что жизнь имеет смысл и красоту; нужно только отнестись к ней внимательно и с любовью; а в стихотворении «Свой строгий суд остановив», подобно Достоевскому, утверждает, что в душе каждого человека, даже самого презренного, есть искра Божья; нужно только, смирив гордыню духа, с любовью всмотреться в нее.

Поверь: нетленной красоты,
(*говорит Аксаков*)
Душа не губит без возврата;
И в каждом ты послышишь брата.
И Бога в нем почуешь ты!

Но находить смысл в жизни и отыскивать в душе каждого человека доброе начало не значит примиряться со злом, искажающим человеческую душу; и вот мы встречаемся с рядом стихотворений, проникнутых негодованием на общественное зло и призывающих к борьбе с ним. Сюда относятся «С преступной гордостью», «Зачем душа твоя смирна» и «К А. О. Смирновой». Они так хороши и так характерны для Аксакова, что мы остановимся на них подольше.

Стихотворение «С преступной гордостью» написано против высшего петербургского общества. С страшным негодованием говорит Аксаков о жизни, которую ведет это общество. Тут – «обидные, тупые желания и надежды», «речи без смысла», «думы постыдные», «остроумие невежд», «возмутительные забавы», «наглое и безбожное веселье». «Гниете вы, – восклицаете Аксаков, – условий ложных надменно вытвердя устав!» – и дальше:

Блестящей светской мишурою
Свою покрывши нищету,
Ужель не видите порою
Вы ваших домыслов тщету?
Того, что вам судьба готовит,
Еще ли страх вас не проник?..
Все так же лжет и срамословит
И раболепствует язык!..

В этих словах Аксаков выражает уверенность, что вести такую жизнь, как ведет светское общество, нельзя безнаказанно; судьба готовит ему страшное наказание; но общество, по-видимому, не сознает неправедности своей жизни и, беззаботно предаваясь веселью, продолжаете «лгать, срамословить и раболепствовать».

Не стыдно вам пустых занятий,
Богатств и прихотей своих,
Вам нипочем страданья братий
И стоны праведные их!

Тут уже намек на крепостное право, на почве которого создавалось такое возмутительное неравенство, когда одним доставалось богатство и веселье, а другим нищета и страдания. Душа Аксакова переполняется негодованием; возмущенное чувство горит нетерпением возмездия за развратную жизнь общества; он обращается с мольбою к Богу:

Господь! Господь! Вонми моленью,
Да прогремит бедами гром
Земли гнилому поколенью,
И в прах рассыплется Содом!

Этою мольбою Аксаков здесь и ограничивается. Стихотворение проникнуто страстным негодованием на общественное зло, но в нем нет еще призыва к деятельной борьбе с этим злом.

Такой призыв с необыкновенною силой раздается уже в стихотворении «Зачем душа твоя смирна?». Аксаков обращается здесь к человеку, который видит и понимает общественное зло, но благоразумно уклоняется от борьбы с ним; сознает «неправду своего быта», видит все его «уродство», но примиряется со своим положением, не стараясь разрешить противоречия, скрытые в нем. Аксаков старается разбудить его от нравственного усыпления и подвинуть к деятельной борьбе со злом.

Зачем душа твоя смирна?
(*восклицает он*)
Чем в этой жизни ты утешен?
Твой праздный день пред Богом грешен,
Душа призванью не верна!..
Вокруг тебя кипят задачи,
Вокруг тебя мольбы и плачи
И торжествующее зло,
А ты... ужель хотя однажды
Ты боевой не сведал жажды,
Тебя в борьбу не увлекло?

Аксаков восстает против того пошлого «благоразумья», которым обыкновенно оправдывают себя люди, бездеятельно и безмятежно созерцающие неправду жизни; он советует стряхнуть с себя «ярмо» этого благоразумья, «любить ревниво, до безумья, всем пылом дерзостным души» и, освободившись от «ложного стыда», обличать зло и призывать к общему труду.

Позорь, греми упорным словом,
(*говорит он*)
Подъемля нас всевластным зовом
На тяжесть общего труда!

Необыкновенно хороша заключительная строфа. Аксаков знает, что слова и поступки бесстрашного борца за правду не встретят сочувствия в обществе, вызовут осуждение и насмешки, но его это не смущает:

Безумцем слыть тебе у всех!
Но для святыни убежденья
Полезней казни и гоненья,
Чем славы суетной успех,
О, в этой душной нашей ночи,
Кому из нас бесстрашной мочи
Достанет правду возлюбить?
Кто озарить нас правды светом?
Одним безумцам в мире этом
Дано лучей ее добыть!

Взгляды Аксакова на светское общество и на обязанность бороться со злом, а также некоторые его поступки на службе в этом направлении не могли не вызывать осуждения и насмешек со стороны людей, с которыми ему приходилось иметь дело или вести знакомство. Его взгляды объяснялись молодостью поэта, незнакомством с жизнью.

Столкновение по этому вопросу произошло у Аксакова с известной по своим связям с выдающимися писателями и людьми того времени А. О. Смирновой. Она была женой калужского губернатора. Аксаков бывал у нее часто и запросто и некоторое время восхищался ее необыкновенным умом. Однажды, в разговоре о петербургском «свете», Аксаков не удержался и изрядно ругнул некоторых близких знакомых Смирновой. Это подало повод к горячему спору о примирении с жизнью, а затем и к написанию Аксаковым стихотворения, отличающегося необыкновенной силой выражения.

Вы примиряетесь легко,
Вы снисходительны не в меру,
И вашу мудрость, вашу веру
Теперь я понял глубоко.
Вчера восторженной и шумной,
Тревожной речью порицал
Я ваш ответ благоразумный
И примиренье отвергал.
Я был смешон! Признайтесь, вами
Мой страшный гнев осмеян был;
Вы гордо думали: с годами
Остынет юношеский пыл!
И выгод власти и разврата,
Как все мы, будет он искать
И равнодушно созерцать
Паденье нравственное брата!
Поймет и жизнь, и род людской,
Бесплодность с ним борьбы и стычек,
Блаженство тихое привычек,
И успокоится душой.

Аксакову не только советовали бросить «завиральные идеи», как Фамусов Чацкому, но выражали уверенность, что он их сам бросит, что

он станет жить, как все, то есть пророчили ему опошление. Как же отнесся к этому Аксаков? Он обращается с мольбою к Богу – просит спасти его от примирения с «житейской мудростью и ложью», не дать ему «опытом и ленью заглушить тревоги сердца». Ужаснее всяких житейских невзгод кажется ему примирение.

Пошли мне бури и ненастья,
(*молится он*)
Даруй мучительные дни,
Но от преступного бесстрастья,
Но от покоя сохрани!

Аксаков желал бы сохранить вечную юность духа и не только не отказаться впоследствии от своих юношеских стремлений, но крепнуть в них все более и более.

Пускай, не старея с годами,
Мой дух тяжелыми трудами
Мужает, крепнет и растет,
И, закалясь в борьбе суровой
И окрылившись силой новой,
Направит выше свой полет!

В споре с Аксаковым Смирнова ссылалась на долг христианского смирения и любви и этим старалась доказать необходимость примирения со злом.

Аксаков отвечает на это:

Пускай досада и волненье
Не возмущают вашу кровь;
Но, право, ваше примиренье –
Не христианская любовь!

И вы к покою и прощенью
Пришли в развитии своем
Не сокрушения путем,
А равнодушием и ленью.

Примирение Смирновой возбуждает у Аксакова чувство жалости. Аксаков жалеет, что Смирнова, которой Бог дал столько «дивных сил» душевных, пришла к такому примирению.

И тяжело, и грустно видеть,
(*говорит он*)
Что вами все соглашено,
Что не способны вы давно,
Негодовать и ненавидеть!..

Рассмотренные три стихотворения нужно причислить к числу самых замечательных по силе выражения и пламенности чувства. В то же время они и наиболее характерны для самого Аксакова. В них Аксаков является с выдающимися чертами своего нравственного облика: силой воли и непримиримой враждой ко злу, беззаветной верой в добро, непоколебимой готовностью самопожертвования ради высокой цели. Внешняя форма этих стихотворений безукоризненна. Красивые и меткие выражения встречаются в изобилии.

Увы! – в крайне неблагоприятной обстановке пришлось Аксакову осуществлять свои высокие стремления. Служба в то время далеко не представляла такого широкого поля деятельности, на котором Аксаков мог бы развернуть все богатство своих сил. Мы уже знаем, что Аксаков помышлял даже совсем бросить службу, но не делал этого только потому, что не хотел обречь себя на бездеятельную жизнь, то есть вступить в противоречие с самим собою. Аксаков требовал борьбы со злом, но бороться в то время было крайне тяжело; а невозможность осуществить свои стремления вызывала в нем мучение веч-

ной неудовлетворенности, и вот в стихотворении «С. Мухановой» мы встречаемся с такими словами:

Стремясь достигнуть идеала,
Гонясь за творчеством живым,
Бессильной мукою томим,
Казнюсь я казнию Тантала,

А позднее, принужденный выйти в отставку после одной стычки с судебной неправдой, Аксаков доходил даже до отчаяния, выраженного в известном стихотворении «Пусть сгибнет все». Тут мы читаем, между прочим, такие безнадежные строки:

Бесплодны все труды и бденья,
Бесплоден слова дар живой,
Бессилен подвиг обличенья,
Безумен всякий честный бой!..

Так сокрушись души гордыня,
В борьбе неравной ты падешь, –
Сплошного зла стоит твердыня,
Царит бессмысленная ложь!

Конечно, это было временное отчаяние. Аксаков перешел в Министерство внутренних дел, стал брать командировки в глубь России, осуществляя давнишнее свое желание познакомиться ближе с положением родной страны и хоть чем-нибудь облегчать «страдания братий». В стихотворении «Усталых сил я долго не жалел» он уже совершенно определенно говорит о возможных размерах своей деятельности. Это одно из лучших стихотворений Аксакова. В нем Аксаков рассказывает вкратце историю своей душевной борьбы и выясняет сущность мучащей его тоски.

В былые дни поэтов чаровал,
(*говорит он*)

Блаженства сон, эдем в неясной дали...
Почуяв ложь, безумец тосковал,
И нам теперь смешны его печали!
Но, осмеяв его бессильный плач,
Я в жизнь вступил путем иных мечтаний:
К трудам благим, к решению задач,
На жаркий бой, на подвиг испытанья
Все помыслы, все силы, всю любовь
Направил я, и гром далекий слышал!..
Лгала и ты, о, молодая кровь,
Исчез обман, едва я в поле вышел!

Действительная жизнь рассеяла мечты о широкой и плодотворной деятельности. Аксаков увидел, что жизнь требует не той блестящей и великодушной борьбы, о которой он мечтал в юности, но глухой и скучной, а потому и гораздо более тяжелой. Аксаков понял, что

Есть путь иной, где вера не легка:
Сгорает в нем порыва скорый пламень;
Есть долгий труд, есть подвиг червяка,
Он точит дуб... Долбит и капля камень.
Невзрачный путь!
(*восклицает Аксаков*)
Тебе я верен был!
Лишен ты всей отрады упоенья,
И дерзко я на сердце наложил
Тяжелый гнет упорного терпенья!..

Понятно, что это терпение нелегко давалось Аксакову и что его постоянно мучила тоска:

Но слышно мне порой в тиши работ.
Что бурных сил не укротило время!

Когда же власть, скажи, твоя пройдет.
О, молодость, о, тягостное бремя!..

Мудрено было в положении Аксакова сохранить цельность духа. Вечный разлад с действительной жизнью легко мог повести, да и вел большею частью современников Аксакова к разладу с самим собою. Известен тип «лишних» людей того времени.

Высокие стремления к идеальной жизни и полное неумение осуществить их даже в собственной жизни; прекрасные слова и совершенное отсутствие дел; отсюда развивалась неискренность, рисовка своими страданиями, а под конец и самые страдания делались напускными. Подобное состояние изображено Аксаковым в нескольких стихотворениях; из них лучшее – «Мы все страдаем и тоскуем»:

Мы все страдаем и тоскуем,
С утра до вечера толкуем
И ждем счастливейшей поры.
Мы негодуем, мы пророчим,
Мы суетимся, мы хлопочем...
Куда ни взглянешь – все добры!
Обман и ложь!
(*восклицает Аксаков*)
Работы черной
Нам ненавистен труд упорный;
Не жжет нас пламя наших дум,
Не разрушительны страданья!..
Умом ослаблены мечтанья,
Мечтаньем обессилен ум!

И дальше:

Но свыкшись с скорбью ожиданья,
Давно мы сделали «страданья»

Житейской роскошью для нас:
Без них тоска! а с ними можно
Рассеять скуку – так тревожно
Так усладительно подчас!

В стихотворении «Добро б мечты!», написанном позднее, в 1858 г., когда Аксаков оставил уже службу, он выражает ту же мысль так:

Мы любим к пышному обеду
Прибавить мудрую беседу
И в поздней ужина поре
В роскошно убранной палате
Потосковать о бедном брате,
Погорячиться о добре!

О том, чтобы сохранить цельность духа, чтобы мысли и слова выражались в соответствующих делах, Аксаков постоянно заботился и делал для этого все, что только мог. В заботах о цельности духа он дошел даже до того, что советовал быть очень осторожным в высказывании своих заветных стремлений перед светом. Он написал брату Константину замечательное стихотворение на эту тему – «Совет». Содержание его таково. Высказывание высоких стремлений может вызвать снисходительные похвалы гордого света, который назовет их «горячностью поэта» и тем пробудит тщеславное чувство, а это поведет к «щеголянью душевной красотой», отчего искренность подменится мало-помалу напускной восторженностью, фальшивой горячностью, деланной красотой душевных движений.

О, бойся их хвалебного отзыва,
(*восклицает Аксаков*)
Не щеголяй душевной красотой,
Чтоб гордый свет улыбкой снисхожденья
Не оскорбил восторженную речь:

Бессильных душ порывом не увлечь!
Своей души растратишь ты движенья,
Остынет жар и притупится меч.

Вот до какой строгости доводил Аксаков свое требование чистоты душевной, искренности и правдивости! И он остался верен ей всю свою жизнь.

Мы должны теперь остановиться на некоторых поступках Аксакова, в которых наиболее ярко выразилась эта верность. Сюда относятся: выход в отставку из Министерства юстиции, арест в III отделении, выход в отставку из Министерства внутренних дел, ополченская служба, борьба с Тимашевым из-за закрытия «Москвы», речь о Берлинском конгрессе и ответ на предостережение гр. Д. А. Толстого.

Когда Аксаков служил в Сенате обер-секретарем (1848), туда поступило дело некоего молодого князя, совершившего уголовное преступление при самых возмутительных обстоятельствах. Преступник имел сильные связи в высших кругах и благодаря этому добился оправдательного приговора от судей высшей сенатской инстанции. Аксаков, опираясь на забытую и никогда не применявшуюся статью Свода Законов, наотрез отказался скрепить своей подписью беззаконный приговор. Это было «необычайное дерзновение» с его стороны, встреченное с большим гневом «сановными стариками» того времени. Аксаков должен был подать в отставку, но, разумеется, это его не остановило, так как «скорее топор стал бы плавать в воде, чем Аксаков изменил бы тому, что считал справедливым»[2]. Поступок этот не остался без добрых последствий. Шум, произведенный им, дошел до Государя. Дело было пересмотрено, и преступник подвергся заслуженной каре.

Аксаков уже не возвращался в Министерство юстиции. Он поступил в Министерство внутренних дел, где и получил вскоре командировку в Бессарабскую губернию для обревизования городского хозяйства и исследования тамошнего раскола. Исполнив это поручение, он прожил три месяца в Петербурге в ожидании нового назначения. Как раз в это время

был арестован Ю. Ф. Самарин за распространение своих «Рижских писем», ярко изображавших тяжелое положение эстов, латышей и русских в Прибалтийском крае под немецким господством. Аксаков принимал в Самарине большое участие. Это участие вместе с принадлежностью к семье, считавшейся за свое славянофильское направление «неблагонамеренной», затем резкость некоторых суждений в его частной переписке, за которою следила полиция, и, наконец, чтение им в частных собраниях своей поэмы с «беспаспортным героем», – все это вместе вызвало внезапный арест и допрос в III отделении. Тут ему был предложен ряд вопросов, на которые он должен был отвечать письменно.

Спрашивается: правдиво ли отвечал Аксаков?

Вопрос для нас в высшей степени важный, и мы должны на нем остановиться подольше.

К этому побуждает нас особенно то, что в печати, именно в «Вестнике Европы» за декабрь 1888 г. К. Арсеньевым и в «Русском вестнике» за октябрь 1888 г. г-ном А. М. было высказано утверждение, что Аксаков в данном случае смалодушничал и стал вывираться. Г-н А. М. говорит, что полная откровенность со стороны Аксакова, «по всей вероятности», после «квартиры у Дубельта», в которой он помещался весьма комфортабельно, повела бы к службе на Кавказе рядовым (с. 293). А г. Арсеньев говорит так: «Приглашенный восстановить, по возможности, точный текст письма от 24 февраля, Аксаков передал содержание его в совершенно измененном виде; о вопросах, решение которых преобразует мир, о ранах, обнаженных 1848 годом, нет и речи, а на первый план выдвигается изобличение петербургских аристократов, «полуфранцузов, полунемцев», коверкающих родной язык и живущих совсем не по-русски. Конечно, и на это решился бы тогда далеко не всякий, но *разница* между показаниями Аксакова и его письмами все-таки остается *громадная*[3] (с. 767).

Это мнение критиков тем более заслуживает внимания, что Аксаков, отвечая на вопрос о письме 24 февраля, заявляет: «Готов отвечать на этот вопрос с полной откровенностью, хотя она может быть для меня

и невыгодной» (II, 150), – и повторяет то же в конце ответа: «Все написанное мною изложено с самою полною откровенностью» (II, 167). Таким образом, Аксаков оказывается лжецом. Посмотрим, так ли это и не поторопились ли критики в своих утверждениях.

Вот как было дело.

У Аксакова при обыске было найдено письмо отца с выговором за резкость и неточность некоторых выражений в письме 24 февраля. «Если б кто-либо, – писал отец, – не знающий тебя и твоего образа мыслей, прочел это письмо, то мог бы заключить, что ты западный европейский либерал, тогда как эти люди для тебя гадки и отвратительны». Так как содержание письма, вызвавшего это замечание отца, III отделению известно не было, то Аксакова и попросили изложить его содержание, особенно тех мест, за которые он получил замечание от отца. Итак, для решения занимающего нас вопроса о правдивости Аксакова нам необходимо изложить содержание письма 24 февраля и сопоставить его с ответом, данным III отделению.

Письмо Аксакова начинается поздравлением матери с днем рождения; далее говорится о петербургской погоде, о том, что он, Аксаков, во время недавнего поста обедал дома, так как «в Петербурге в домах везде скоромное»; упоминается о предполагавшемся и не состоявшемся чтении его у кн. Вяземского и о встрече с Григорьевым, затем следует довольно длинное сообщение о делах Австрии, именно: о борьбе в ней славян с немцами, о письме Елачича[4] в Россию (с жалобой на свое тяжелое положение после введения между хорватами мадьярского языка) и о введении в Галиции десятины в пользу помещиков. Вслед за этим Аксаков так отзывается о возвращении старого порядка вещей в Европе: «Силен же этот старый порядок, нечего сказать! Хоть я и не верил возможности возродиться в Европе новым началам силою собственных средств и тем путем, которым они шли, но все же, пока происходила борьба, они были в ходу в самих душах человеческих и смущали их; все же слышалось, что занесены такие вопросы, разрешение которых вызовет и нас на сцену и преобразует мир. А теперь опять покойно за-

плывет жиром сердце человеческое; грустно знать, что страшные раны, которые были обнажены 1848 годом, остались не вылеченными, закрыты снова и преданы забвению. Разумеется, старый порядок не устоит, но простоит, может быть, еще долго...» После этих слов, за «неточность» и «резкость» которых он, по-видимому, и получил выговор от отца, Аксаков возмущается брошюркой «Отголосок русского сердца» какого-то тверского помещика Шелихова, утверждающего, что в России «законы соблюдаются, как святыня», а «крестьяне благоговеют перед Богом и своими господами»; сообщает, что «Уваров отстоял профессорствование Куторги, с условием строжайшего за ним наблюдения. Куторга же в Университете читает Зоологию»; упоминает о рассказе Языкова, будто Константин Аксаков перестал бывать у Хомякова после того, как тот пустил свою жену на бал к Закревскому; и, наконец, возражает матери относительно возможности мириться с некоторыми вещами.

Вот и все содержание злополучного письма от 24 февраля. «Неблагонамеренным» в нем могло показаться тогдашнему правительству только то, что касалось дел Австрии, старого порядка вещей в Европе, брошюрки Шелихова и профессора Куторги. В своем ответе Аксаков говорит только о старом порядке вещей. Но это объясняется тем, что об Австрии ему предложен был особый вопрос, а о брошюре Шелихова и о Куторге он мог забыть, так как ответ свой писал между 18 и 22 марта, то есть почти через три с половиной недели после письма, да и мог считать лишним распространяться об этом, ограничившись словами, вызвавшими замечание отца.

Итак, посмотрим, насколько верно передал Аксаков смысл своих слов о старом порядке. Само собою разумеется, что мы вправе ожидать передачи только смысла слов.

Вот ответ Аксакова: «Я писал: возвращение старого порядка в Европе наводит улыбку гордой радости на лица наших петербургских аристократов. Они вдруг все приободрились. Всякий раз после прогулки по Невскому проспекту овладевает мною великая скорбь. Вы не поверите, как возмущается душа моя при виде этих господ полуфран-

цузов, полунемцев, все что угодно, только не русских, коверкающих свой родной язык, ослепляющих нас роскошью произведений Запада и живущих уже совсем не по-русски! На лицах их написано: «Слава Богу, теперь мы безопасно можем делать то, что б делали прежде, то есть *роскошничать, развратничать и разорять наших крестьян*»! Когда в прошлом году, испуганные европейскими смутами, они пели хвалебный гимн России и русскому народу, то в этих словах слышались мне другие слова: «…какой у нас в самом деле добрый, терпеливый, *удобный* народ: мы *презираем его, выжимаем из него последнюю денежку,* и он сносит все и даже не имеет к нам ненависти».

Здесь оканчивается изложение Аксаковым слов, вызвавших замечание отца, далее он уже разъясняет свой взгляд на старый европейский порядок, на сменивший его новый и т. д. Об этих разъяснениях мы скажем ниже, а теперь сравним только что приведенные слова Аксакова с теми, которые он написал в письме 24 февраля.

Разница действительно есть; но разница существенная ли? Есть ли малейшее противоречие между сказанным там и сказанным здесь? Нет и нет! То, что там утверждается, здесь вовсе не отрицается, и наоборот. Там со скорбью говорится, что старый порядок силен, что он возвращается и торжествует, что вопросы, поставленные 1848 годом, не разрешены, раны, обнаженные этим годом, не залечены. Здесь же с негодованием говорится о том действии, которое было произведено этим возвращением старого порядка на высшее русское общество: оно увидело тут, по словам Аксакова, оправдание для своих возмутительных отношений к крестьянам.

И там и здесь старый порядок одинаково осуждается; и там и здесь одинаково утверждается, что «европейские смуты» не привели к решению назревших вопросов; здесь только, как бы в дополнение к сказанному там, выражается негодование на русское общество за его самодовольную радость по поводу европейских неудач. Словом, сказанное там и здесь составляет одно согласное целое. Аксаков вовсе не хотел утаить сказанное в письме или придать ему другой смысл; он просто не пом-

нил в точности своих слов. К тому же об отношении русского общества к европейским неудачам он писал в предыдущем письме от 21 февраля; вот его слова там: «…торжество старого порядка вещей в Европе дает торжествовать и нашему гнилому обществу».

Совершенно понятно поэтому, отчего он в своем ответе III отделению распространился об ликовании русского общества. Заподозрить его в неоткровенности странно еще и потому, что как сказанное в письме, так и сказанное в ответе одинаково может быть перетолковано в невыгодную для него сторону: сказанное в ответе даже еще скорее, так как прямо и резко касается нашего общественного недуга – крепостного права.

В совершенном согласии с письмом стоят и дальнейшие объяснения Аксакова. «По моему мнению, – пишет Аксаков, – старый порядок вещей в Европе так же ложен, как и новый. Он уже ложен потому, что привел к новому, как к логическому, непременному своему последствию» (II, 152). В чем же состоит эта ложность? Аксаков видит ее в том, что Запад усвоил «ложные исторические начала», которые, по его мнению, суть: *«авторитет* католицизма, *рационализм* протестантизма и усиленное *преобладание личности*, эти исторические начала увенчались в своем развитии, по мнению Аксакова, «*безверием»* (нравственное состояние), *«анархией*» (состояние государства), *«пролетариатством»* (состояние общественно-экономическое), «устремлением всех помыслов на одни материальные блага и гордым, безумным упованием на одни человеческие силы, на возможность заменить человеческими учреждениями Божьи постановления» (опять нравственное состояние). Не это ли те «раны», которые, по словам Аксакова в письме 24 февраля, были «обнажены» 1848 годом, но «не залечены» и о которых Аксаков умолчал будто бы в ответе III отделению, как говорит г. Арсеньев? И не вполне ли это согласно со словами Аксакова в письме 24 февраля о невозможности «возродиться в Европе новым началам силою собственных средств и тем путем, которым они шли» (см. выше).

«Не такова Русь! – продолжает Аксаков. – Православие спасло ее и внесло в жизнь совершенно *другие начала*, свято хранимые *наро-*

дом» (II, 152), но, к сожалению, не обществом, которое «думает устроить на Руси свой домашний Запад и безнаказанно упиваться сладостью всех тех грехов, которые погубили Запад» (II, 155).

Не правда ли, как это согласно с тем, что говорил Аксаков в письме 24 февраля! Как это искренно и смело сказано! Ведь не нужно забывать, что общество, устраивавшее на Руси «свой домашний Запад», было вполне порождением русского правительства и держалось им. И думать после этого, что Аксаков струсил! Странная, близорукая критика! Эта критика в лице г. Арсеньева дошла даже до того, что объявила «чувства, выраженные Аксаковым» в своих ответах, «заслуживающими, с точки зрения тогдашней власти, только одобрения и поощрения» (768), освобождение Аксакова – делом «простой справедливости» (768), а опасения отца Аксакова, что И. С. может подвергнуться гонениям со стороны общества и «псарей», напрасными (769). Удивительное дело! У критиков выходит так: в письмах своих домой Аксаков наговорил таких вещей, что его могли отдать на военную службу рядовым, да еще на Кавказ, а в ответах III отделению сумел так ловко оправдаться, что заслужил даже «одобрения и поощрения»!

Вздор. Негодование, с которым Аксаков говорил в ответах: о гонениях русской народности, как со стороны общества, так и со стороны правительства, о том, что «администрация с ее немецкими учреждениями и названиями подавила жизнь своим формализмом» (II, 153); о том, что «чиновники со своими немецкими чинами были поставлены в неискренние и странные отношения к народу» (II, 153); о том, что «общество заслоняло от правительства (разумей – Царя) народ и мешало ему понимать Россию в настоящем свете» (II, 153), – это негодование, относившееся не только к временам прошедшим, но, по смыслу всей речи Аксакова, и к настоящим, едва ли могло заслуживать «только одобрения и поощрения» тогдашней власти. Критики напрасно думают опереться в своих утверждениях на то, что Аксакова отпустили. Да, отпустили. Но не Государю ли он этим обязан, который сделал пометки на его ответах и положил резолюцию – *«призови, прочти, вразуми, отпусти»*?

Так и понял это отец Аксакова. «Неужели ты понадеялся на то, что Государь милостиво принял и даже оценил твои объяснения? – писал он сыну. – Неужели ты не знаешь пословицы: жалует Царь, да не жалует псарь? Неужели ты не понимаешь, что ты своими письмами и *своими ответами* на вопросы у Дубельта сделал всех псарей смертельными и непримиримыми врагами самому себе и всем разделяющим твой образ мыслей?» (II, 186).

И отец был прав. Выпущенный на волю Аксаков был взят под тайный надзор полиции, надзор, продолжавшийся до самого конца жизни Императора Николая, а, может быть, и после его смерти. Неужели это «одобрение и поощрение»?! А то, что через 4 года после этой истории самый главный «псарь» того времени граф Орлов, на основании справки об аресте Аксакова, полагал, что его «не должно отпускать» в кругосветное плавание на фрегате «Диана»,[5] – тоже «одобрение и поощрение»?

Нет, напрасны попытки набросить малейшую тень на поведение Аксакова в этой истории. Он остался в ней верен себе вполне. Стоит только без предубеждения прочитать ответы Аксакова III отделению, чтобы прийти в восторг от его благородной смелости, прямой откровенности, замечательной искренности. Так отвечать мог только человек, безусловно честный и правду ставящий выше всего на свете!

И вся его служебная деятельность отличается совершенно необычным для того времени характером смелой и живой правдивости. Еще будучи товарищем председателя уголовной палаты в Калуге, он вел «бранчивую переписку с прокурором, который надоел ему своими пустыми и подъяческими протестами». Аксаков писал ему «резкие» ответы, в которых выводил на чистую воду «без подъяческих темных фраз всю нелепость его замечаний». «Так надоела мне, – восклицает Аксаков, – эта ложь и учтивость на бумаге» (I, 359).

В каждое дело, которым ему приходилось заниматься на службе, он вкладывал свою душу и хотел иметь «право на откровенное, живое слово» (II, 405). «Возьмите все мои бумаги, – пишет он Ю. Ф. Самарину, – писанные в продолжение девятилетней разнообразно деятельной

службы, возьмите все мои рапорты и записки, писанные в Министерство о расколе и о других предметах: везде слышится искренний, а не официально лживый язык. По одному делу о расколе мне пришлось писать совершенно против мнения, принятого Министерством... Во всем этом есть что-то для меня утешительно-честное после утомительных, нередко подлых работ служебных. Я хочу, чтобы мне можно было служить по-моему: иначе я не могу» (там же).

А вот свидетельство ярославца, современника Аксакова, о том впечатлении, которое производил он своими служебными бумагами в Ярославской губернии: «Его живое, сильное слово раздавалось в пределах всех городов губернии... С каким интересом и увлечением читались в то время все ревизионные записки, которые И. С. представлял министру, а им препровождались к губернатору!..» Все были заинтересованы «новым, ясным, беспристрастным взглядом молодого чиновника на дела управления». «Никто из ревизовавших ни прежде, ни после Ивана Сергеевича не представлял своих ревизионных записок высшему начальству в таком правдивом и изящном изложении». «Быстрота и неутомимость И. С. в работах ревизионных, – рассказывает далее ярославец, – были поразительны». «Он не знает отдыха», – говорил тогда чиновный мир». (Сборник статей об И. С. Аксакове. Отд. III. С. 22).

Как верен себе остался Аксаков! Вспомним, что он говорил при окончании училища о «труде и сне»; вспомним разобранные выше его стихотворения и вообще все его слова: в каком замечательном согласии они с его делами! При этом внешнее его положение было далеко не блестящее. После выхода из Министерства юстиции в 1848 г. и до выхода в отставку со службы в Министерстве внутренних дел в 1851 г. он служил без жалованья; ему почему-то не давали определенного места; во время командировки в Ярославскую губернию он даже не получал прогонных для разъездов по городам, а принужден был довольствоваться только суточными и квартирными. При этом его немилосердно заваливали работой и держали под надзором полиции...

Как ни тяжело было положение Аксакова на службе, но он терпел и нес эту тяготу ради цели, которую себе поставил. Однако всякому терпению есть конец. Столкновение с министерством из-за «Бродяги» послужило каплей, переполнившей чашу его терпения, и побудило бросить службу. Дело было так. Губернатором было донесено министру внутренних дел графу Перовскому, что Аксаков написал «стихотворение предосудительного содержания» под названием «Бродяга» и «позволил себе» читать его «при некоторых лицах». Министр потребовал от Аксакова рукопись «Бродяги». Аксаков отослал рукопись с объяснением, в котором откровенно сознается, что читал ее «во многих домах в Петербурге, в Москве и в Ярославле, потому что не полагал и не полагает, чтобы сочинение это было предосудительного содержания»; и, ссылаясь на то, что рукопись «Бродяги» была уже в III отделении и оттуда была ему возвращена, просил также и министра возвратить ему рукопись после ее рассмотрения; министр, прочитав «Бродягу», нашел, что в нем действительно нет «ни предосудительных мыслей, ни сомнительного направления», но усмотрел в литературных занятиях Аксакова «ущерб для службы» и выразил желание, чтобы он прекратил свои «авторские труды».

Задетый этим за живое, Аксаков разразился замечательным письмом к графу Перовскому, в котором говорил, что не «служба терпит от него литературных занятий, а литературные его занятия, нравственное и умственное его образование принесены в жертву службе; что «никто никогда не мог и не может упрекнуть его в лености или нерадивом исполнении своего долга, потому что к этому он побуждается ответственностью не перед начальством, а перед собственной совестью»; что служба часто лишает его «такого досуга, на который имеет право даже и поденщик»; что литературные занятия «важны для него как единственный способ освежения его утомленных службою нравственных сил» и что он «не может убедиться в необходимости» их прекращения. Граф Перовский в ответ на это приказал директору своей канцелярии написать Аксакову, что находит его письмо «совершенно неприличным», так как он отступил в нем «от самого основного правила служ-

бы – от строгой подчиненности», и что «возгласы и жалобы» Аксакова «сами по себе странны и крайне неуместны». Таким ответом Аксаков был глубоко оскорблен и немедленно подал в отставку.

К этому присоединилась еще одна неприятность. Перед тем Аксаков просил разрешения приехать в Петербург для объяснения по делам службы, а именно по делам следственной комиссии о бродягах и притонодержателях. Главный предмет исследований комиссии была новая раскольничья секта «странников», и Аксаков был назначен туда в качестве специалиста по расколу, так как уже дважды занимался его исследованием, и понятно, что большая часть работы комиссии была исполнена им. Между тем министр не только отклонил приезд Аксакова в Петербург для личных объяснений по делам комиссии, но еще нашел «неудобным отбытие Аксакова из Ярославля до окончательного рассмотрения того отчета, который будет представлен коллежским советником графом Стенбоком о действиях следственной комиссии».

Это было новое оскорбление, о котором Аксаков отзывался в письме Самарину так: «Мне отказывают, не объясняя даже почему, и в таких выражениях, которые были употреблены мною для взяточника исправника Любимова и взяточника станового пристава... при обязании их подпискою: не выезжать из города впредь до окончательного рассмотрения в Петербурге всего дела» (II, 404). Словом, Аксаков не только не был понят и оценен, но еще и оскорблен пренебрежением к его служебному достоинству. Он не мог этого стерпеть. Его душа истомилась от «постоянных нравственных тисков», которые он с каким-то «отчаянным усердием» наложил на себя «ради страстного желания пользы». Пренебрежение к его трудам со стороны министра поколебало его веру в пользу своей службы, и он решил ее бросить.

Поступок его удивил начальство и показался «неблагоразумным» его друзьям, между прочим, Ю. Ф. Самарину. Последнему Аксаков написал по этому поводу следующее: «…чем более уходит моя молодость, чем дальше в жизнь, чем зрелее становлюсь я, тем сильнее и сильнее во мне потребность говорить словом правды, тем живее чувствую я в себе

возможность неблагоразумных, непрактичных, но честных поступков, тем гаже и гаже делается для меня ложь официальности, тем противнее самонадеянная, довольная собою и игнорирующая живую жизнь мания администрации» (II, 405). Невольно при этом вспоминается написанное за пять лет перед тем стихотворение Аксакова «А. О. Смирновой», в котором он молит Бога спасти его от примирения «с житейской мудростью и ложью»:

Пускай, не старея с годами,
Мой дух тяжелыми трудами
Мужает, крепнет и растет
и т. д.

Эта мольба Аксакова, очевидно, не была пустыми словами.

Бросив службу, Аксаков занялся сперва изданием «Московского сборника», но этому вскоре помешала цензура; потом он хлопотал о разрешении поехать в кругосветное плавание с поручением от Географического общества, но это нашли «неудобным»; тогда он принял предложение того же Географического общества исследовать украинские ярмарки. Изучению этого интересного явления русской жизни он отдался с увлечением; исследовал его с редкой тщательностью и обстоятельностью, собрал все нужные материалы, но... отчет о своем исследовании представил только через три года.

Своевременному представлению отчета помешала Восточная война.

Аксаков не мог остаться равнодушным к такому крупному явлению, как война, и по свойствам своего характера стремился принять в ней участие. Уже в начале войны он написал стихотворение «На Дунай!», в котором призываете принять участие в «общем деле».

О, туда!
(*восклицает он*)
Отрадно на просторе
Там вздохнуть средь жизни мировой,

В горе всех – свое растратить горе,
В счастье всех исчезнуть, будто в море,
Хода дней не слышать над собой...

Но надежда на возможность совершить великие подвиги привлекала Аксакова; он не надеялся принести своею службою большую пользу; нет, он просто хотел

В общей жизни – жизнью потеряться,
В общем деле свято послужить.

А заключает Аксаков свое стихотворение так:

Меж рабочих темных и безвестных
Ты везде рабочим добрым будь!

Несмотря на хлопоты о позволении поступить на службу при армии, ему не удалось тогда осуществить свою мечту; но он не думал от нее отказываться и, как только был объявлен призыв в ополчение, сейчас вступил в ряды ополченцев.

Поступок Аксакова, которому тогда было уже 33 года, многим показался странным; даже в среде родных и друзей он не встретил полного сочувствия. Один Хомяков вполне одобрил его, сказавши: «…должно, чтобы из нас только людей слова и мысли делом засвидетельствовали свое слово и мнение». В письме домой Аксаков так объяснял свое поступление в ополченцы: «…когда призыв относится не к ремесленникам только (т. е. военным), когда относятся к вам в ваш кабинет и говорят, что России грозит опасность, ответ может быть только один: вы говорите, что грозит опасность? Я готов защищать Россию от опасности. Что касается до меня, то, кроме других побуждений, я поступаю по требованию совести, о чем я и не говорю никому, потому что совестно это говорить, да и не все расположены этому верить. Уже более года мне совестно чи-

тать газеты, толковать о значении эпохи, желать войны и не участвовать в жертвах, необходимых для исполнения этого желания, не участвовать – хоть страдательно, пассивно, в качестве рабочего темного и безвестного, если не в качестве деятеля. Разумеется, очень естественно желать при этом участия, более согласного с наклонностями, более деятельного, но если этого нет, так надобно понести тяготу со всеми» (III, 116).

В ополчении Аксаков был назначен казначеем Серпуховской дружины и тут, изумляя всех невиданным мужеством честности, явился защитником интересов меньшой братии. Он вел по этому поводу полемику в виде рапортов и донесений с начальником дружины, а отчет, представленный им в качестве казначея, по своей изумительной экономии, послужил дерзким изобличением всех остальных казначеев и потому не был начальником дружины подписан. Везде один и тот же боец за правду!

Но вот наконец Аксаков вышел на то поприще, на котором было его истинное призвание – на поприще публицистики.

Никто из русских публицистов не вступал на это поприще с такой подготовкой – с таким богатством сведений о России, с таким закалом духа, с такой готовностью самопожертвования ради высокой цели, как Аксаков, у которого тогда уже успело выработаться цельное и глубокое мировоззрение, так называемое славянофильское. Он не только знал Россию, знал ее болезни и недостатки, но знал и причины этих болезней и недостатков и видел средства их устранения.

Борьбу эту он вел во имя тех идеалов, которые таятся в глубине русского народного духа, которые сознаны во всей своей чистоте и силе только немногими образованными людьми и которые все еще тщетно ждут своего свободного проявления в жизни народной, общественной и государственной, – во имя тех чистых начал Православия, самодержавия и народности, гармоническое сочетание и развитие которых составляет нашу и исконную, русскую правду.

«Вне народной почвы нет основы, – пишет Аксаков 14 октября 1861 г. в «Москве», – вне народного нет ничего реального, жизненного, и всякая мысль благая, всякое учреждение, не связанное корнями с исторической

почвой народной или не выросшее из нее органически, не дает плода и обращается в ветошь. Все, что не зачерпывает жизни, скользит по ее поверхности, тем самым уже осуждено на бессилие и становится ложью».

Но силу и достоинство народности, ее настоящую ценность составляет то духовное начало, которое в ней действует и проявляется.

«Русская народность, – пишет Аксаков 23 октября 1865 г. в «Дне», – немыслима вне Православия... Православие есть тот духовный исторический элемент, под воздействием которого сложилась и образовалась русская народность... Тщетны все попытки выделить из идеи русской народности идею Православия, выкачать, так сказать, из нее разными насосами самый воздух и создать из этого обездушенного материала какую-то новую политическую русскую народность».

В полном согласии с русской народностью, одухотворенной Православием, стоит и создание русского народного разума вне области государственной – Царское Самодержавие. Вот как излагает его сущность Аксаков 2 октября 1865 г. в «Дне».

«Вопрос о том – что лучше: коронованный ли народ, коронованное ли общественное мнение или коронованный человек, один единый, ничем не огражденный, кроме права, за ним всенародно признанного, бессильный, как личная одинокая сила, но могучий лишь идеею, которой он представитель, и этою идеею освящаемый, – этот вопрос решается в каждой стране сообразно ее местным потребностям и историческим особенностям развития. В нашей стране он разрешен так резко и положительно всей историей и всем духовным строем народа, что и толковать о каком-либо другом разрешении было бы бессмысленно. Скажем только, что, по мнению русского народа, как мы его понимаем, лучше видеть власть, – без которой, по немощи человеческой, обойтись гражданскому обществу невозможно, – наделенною человеческой душой и сердцем, облеченною в святейшее звание «человека», нежели обратить ее в какой-нибудь бездушный механический снаряд, называемый парламентским большинством...» «Правда нашего самодержавия не может и не должна бояться света мысли, развития умственного и духовного;

она не на недоразумениях основана и не во тьме коренится, а на отчетливом и свободном убеждении всего народа в современной необходимости именно этой, а не другой формы правления...» «Русский народ, образуя Русское государство, признал за последним, в лице Царя, полную свободу правительственного действия, неограниченную свободу государственной власти, а сам, отказавшись от всяких властолюбивых притязаний, от всякого властительного вмешательства в области государства или верховного правительствования, свободно подчинил – в сфере внешнего формального действия и правительства – слепую волю свою, как массы, и разнообразие частных ошибочных волей в отдельных своих единицах – единоличной воле одного им избранного (с его преемниками) человека, вовсе не потому, чтобы считал ее безошибочною и человека этого безгрешным, а потому, что эта форма, как бы ни были велики ее несовершенства, представляется ему наилучшим залогом внутреннего мира. Для восполнения же недостаточности единоличной неограниченной власти в разумении нужд и потребностей народных, он признает за землею, в своем идеале, полную свободу бытовой и духовной жизни, неограниченную свободу мнения или критики, то есть мысли и слова. «Такова наша мысль и сказка, – говорили на соборах наши предки своим царям, – а впрочем, Государе, пусть решит твоя воля, мы ей повиноваться готовы». Единоличному уму, облеченному верховной неограниченной властью, содействует, таким образом, ум миллионов, нисколько не стесняя его свободы, не насилуя его воли... Свободное мнение в России есть надежнейшая опора свободной власти, ибо в союзе этих двух свобод заключается обоюдная крепость земли и государства».

При свете этих воззрений на Православие, самодержавие и народность и стал рассматривать Аксаков вопросы современной русской жизни, так хорошо ему известной; во имя этих основных начал он и повел смелую и решительную борьбу со злом, от которого страдает Русь, – с тем злом, преимущественно, которое состоит в подавлении свободы русской жизни иноземными, чуждыми ей началами и в искажении ими нашей исконной русской правды.

В своих изданиях Аксаков выступил беспощадным обличителем зла и неправды, разъедающих Россию.

«Преступен тот, – писал он 16 октября 1865 г. в «Дне», – кто, ради личной потехи кощунственно издеваясь, выставляет миру напоказ срамоту матери; но едва ли менее преступны и те, которые, видя ее срамоту, видя ее страшные язвы, не только не снедаются ревностью об ее чистоте, чести и излечении, но из ложного опасения нарушить благочестие, а в сущности, всего чаще, по лени и равнодушию, дают, почти заведомо, укорениться злу и недугам – мерзости запустения на месте святый».

«Только правда, одна лишь широкая правда, – писал Аксаков 18 сентября 1865 г. в том же «Дне», – в состоянии спасти нас, уврачевать язвы нашего общественного организма и восстановить его нравственные силы».

Выступая в своих статьях горячим защитником свободы совести, слова и народного быта, Аксаков смело обличал неправильности сложившихся в России отношений между Церковью и государством, по которым Церковь Православная оказалась в подчинении у государства; он постоянно указывал и на неправильность отношений к народу русскому Государственной Власти, которая, не считаясь с его воззрениями, но руководствуясь иностранными образцами, по своему произволу уродовала быт народный.

«Многие смотрят у нас на Церковь, – писал Аксаков 18 сентября 1865 г. в «Дне», – как на одну из государственных функций, как на часть государственного организма, которой отправления не самостоятельны сами по себе и не сами для себя существуют, а подчинены общей цели этого организма; предназначены соображаться с его задачею, с его общим строем. Такое мнение не только ложно, но и совершенно вредно в практическом применении. Это значит смешивать царство не от мира сего с царством от мира, поставлять вечное в зависимость от временного, непреложное от случайного, внутреннее от внешнего, безусловное от условного, свободу бессмертного духа от грубой плотской силы».

Смешение церковного с государственным повело к тому, что государство стало стеснять религиозную свободу, стало вмешиваться в цер-

ковную жизнь; стало силою своей власти принуждать членов Церкви к исполнению церковных обрядов, стало преследовать и наказывать отпадение от церкви и т. п. С горечью говорит об этом Аксаков в «Москве» 16 апреля 1868 г.: «В России несвободна только русская совесть... Оттого и коснеет религиозная мысль, оттого и водворяется мерзость запустения на месте святе и мертвенность духа заступает жизнь духа, и меч духовный – слово – ржавеет, упраздненный мечом государственным, и у ограды церковной стоят не грозные ангелы Божии, охраняющие ее входы и выходы, а жандармы и квартальные надзиратели, как орудия государственной власти, – эти стражи нашего русского душеспасения, охранители догматов русской Православной Церкви, блюстители и руководители русской совести!..»

«Совращение членов господствующей Церкви в иноверное учение – не путем насилия, а свободного убеждения, – спрашивает Аксаков в той же статье, – есть ли само по себе, в существе своем, деяние преступное?» Очевидно, нет. «Потому именно, что наша вера истинная – она и должна быть истинной верой, то есть свободным изволением духа, как и учит Православная Церковь: она не может требовать от своих чад иного убеждения, как искреннего, то есть вполне свободного, а не лицемерного...» Вторгаясь в область веры, государство, очевидно, вносило принудительность туда, где должна быть полная свобода.

С такой же прямотой нападал Аксаков на правительство за его отношение к свободе слова, этой необходимейшей принадлежности истинного самодержавия.

Но с особенной силой и яркостью указывал Аксаков на печальные последствия насильственного подавления свободы народной жизни, принудительного навязывания народу учреждений по иноземным образцам, чуждых его мировоззрению и бытовому укладу. Эти печальные последствия, которые принято называть «безобразиями», знаменовали собой, по убеждению Аксакова, не что иное, как протест русской народной жизни против чинимого над ней насилия. Картинно изображает он этот народный отпор чужестранным учреждениям 4 ноября 1861 г. в «Москве»:

«Отчего, по-видимому, ты так безобразна, наша святая, великая Русь? Отчего все, что ни посеешь в тебе доброго, всходит негодной травой, вырастает бурьяном да репейником? Отчего в тебе – как лицо красавицы в кривом зеркале, – всякая несомненная, прекрасная истина отражается кривым, косым, неслыханно-уродливым дивом?.. Тебя ли не наряжали, не румянили, не белили? За тобой ли не было уходу и призору? Тысяча прислужников холят тебя и денно и ночно, выписаны из-за моря дорогие учители; есть у тебя и немцы-дядьки, и французы-гувернеры – а все-таки не впрок идет тебе учение, и смотришь ты неряхой, грязным неучем, вся в заплатах и пятнах, и, как дурень в сказке, ни шагу ступить, ни слова молвить кстати, не умеешь!..»

«Оттого я так безобразна, – отвечает святая Русь, – что набелили вы, нарумянили мою красу самородную, что связали вы по рукам и по ногам мою волю-волюшку, что стянули вы могучие плечи в немецкий тесный... кафтан!.. И связали и стянули, да и нудите: ходить по полю да не по паханному, работать сохой не прилаженной, похмеляться во чужом пиру, жить чужим умом, чужим обычаем, чужой верою, чужой совестью! О, не хольте меня, вы отцы, вы благодетели! Не лелейте меня, вы незваные и непрошенные, вы дозорщики, вы надсмотрщики, попечители, строители да учители! Мне невмочь терпеть вашу выправку! Меня давит, томит ваш тесный кафтан, меня душат ваши путы чужеземные! Как не откормить коня сухопарого, не утешить дитя без матери, так не быть мне пригожей на заморский лад, не щеголять мне красою немецкою, не заслужить у Бога милости не своей душой!»

Вот в чем видел Аксаков источник тех многочисленных безобразий, которые бросаются в глаза поверхностному наблюдателю и несправедливо ставятся в вину русскому народу. Истинная причина их – в ложном просвещении, навязываемом сверху и сбоку русскому народу, в ложном направлении государственной и общественной жизни, подпавшей одностороннему воздействию западноевропейской образованности. С этим злом Аксаков боролся упорно и страстно до конца дней своих.

Но ему приходилось вступать в борьбу не только с общим направлением нашей жизни, но и с отдельными явлениями ее. А таких явлений в тогдашней государственной и общественной жизни, которые вызывали Аксакова на бой, было немало. В Северно-Западном крае был генерал-губернатором Потапов, действовавший в противорусском направлении и уничтожавший достигнутые такою дорогою ценою результаты деятельности Муравьева. В Прибалтийском крае продолжалось господство немецкого меньшинства и находило себе деятельную поддержку в высших сферах, подавлявших всякое проявление протеста против неестественных отношений края. Министерство внутренних дел вело двусмысленную политику относительно вводившихся тогда земских учреждений, одною рукою их насаждая, а другою – подрывая их значение, а также относительно печати, которой тогда была предоставлена, по-видимому, большая свобода. На севере России свирепствовал голод, а министерство старалось его скрыть. Все это давало поводы к горячим статьям Аксакова, на которые правительство отвечало предостережениями и запрещениями.

Всякая вообще борьба без невзгод немыслима, а тем более та борьба с ложью наших отношений и направлений, с неправдой нашего изуродованного государственного и общественного быта, с неправильностью и незаконностью действий правительства, которую вел Аксаков. Газеты, им издаваемые, постоянно подвергались предостережениям и запрещениям. «Парус» был запрещен после второго номера. «День» выходил часто без передовых статей, и на время Аксаков был отрешаем от редакторства, «Москва», существовавшая 22 месяца, получила 6 предостережений и три раза была закрываема – в общем на целые 9 месяцев, то есть почти на половину всего времени своего существования. Два раза Аксакова совсем лишали права повременного издательства. Последнее запрещение этого рода постигло Аксакова – редактора «Москвы» и продолжалось 12 лет. На нем мы должны остановиться, так как здесь Аксаков показал себя во всем блеске боевой стойкости и неустрашимости.

Дело было так. За статью «О голоде на севере России», в которой Аксаков изобличал правительство в том, что оно скрывает правду,

Тимашев, тогдашний министр внутренних дел, закрыл аксаковскую «Москву» на 6 месяцев и вместе с тем вошел в Сенат с представлением о необходимости совершенно прекратить газету «Москва» за вредное направление. Узнав об этом, Аксаков решил вступить в борьбу с министром уже не на страницах печати, а в стенах высших государственных учреждений и начал в Сенате беспримерный в летописях нашей печати судебный процесс. Дело разбиралось четыре раза – сперва в одном департаменте Сената, потом в общем собрании первых трех департаментов и департамента герольдии, затем в Государственном совете и, наконец, в общем собрании Государственного совета. Аксаков проиграл дело, но победа Тимашева, во-первых, далась ему нелегко, а во-вторых, была, в сущности, поражением. Дело в том, что в первых трех инстанциях Тимашев не получил требуемых двух третей голосов, а последняя инстанция, хотя и согласилась с мнением Тимашева о необходимости совершенно прекратить «Москву» и лишила Аксакова раз навсегда права повременного издательства, но доводами Аксакова вынуждена была сделать оговорку, что направление «Москвы» «по существу нельзя признать вредным». Ясно стало, что победа Тимашева была победой внешней силы, не имевшей за собой внутренних оснований, то есть, в сущности, была поражением. А пораженный Аксаков, на какую нравственную высоту поднимается он в наших глазах как стойкий и бесстрашный боец за правду!

Запрещение издательства и редактирования тяготело над Аксаковым 12 лет. Только в 1880 году получил он наконец разрешение издавать «Русь» и возобновил свою публицистическую деятельность с новой силой и блеском. До 1880 г. он писал мало, хотя в этот промежуток времени написал «Биографию Ф. И. Тютчева», в которой с замечательной глубиной изложил сущность своих так называемых славянофильских воззрений. Занимался он скромной городской общественной деятельностью и деятельностью в Славянском комитете.

Но высшей точкой всей деятельности Аксакова является его деятельность в Славянском комитете во время герцеговинского восстания,

Сербско-турецкой и, наконец, Русско-турецкой войны. Эта последняя деятельность, оживившаяся и расширившаяся во время герцеговинского восстания, затем Сербско-турецкой и, наконец, Русско-турецкой войны, поглотила Аксакова с головой, подняла его могучие душевные силы и привлекла к нему общее внимание.

Тут он явился не только естественным руководителем русских народных сочувствий к угнетенным славянским народностям, но влиятельным политическим центром. Замечательное явление! Человек, не имевший никакого официального положения, бывший чиновник николаевских времен, оставивший службу в чине надворного советника, публицист, лишенный права издательства, вознесся силою своего духа и согласованностью своих стремлений с вековыми народными сочувствиями на небывалую высоту. О каждой его речи, сказанной в Славянском комитете, летели телеграммы во все концы мира, а западная печать разбирала их как речи какой-нибудь коронованной особы и гадала по ним о могущих последовать за ними событиях. К сожалению, недолго продолжалось это торжество русского духа. После войны вступила в свои права наша лишенная русского народного смысла и чувства дипломатия и испортила дело, совершенное подвигами и жертвами русского народа. Эти подвиги и жертвы увенчали собою пресловутый берлинский трактат. О нем сказал Аксаков замечательную речь на торжественном собрании Славянского общества. Речь эта была криком негодования, жгучей боли и отчаяния, исторгнутым из русской груди позорными уступками наших дипломатов, и в то же время проклятием, навсегда связанным в памяти русских людей с этим событием нашей политической истории. Своею речью Аксаков показал не только свое гражданское мужество и бесстрашие, но и то «безумие», о котором говорил 30 лет тому назад в стихотворении «Зачем душа твоя смирна?»:

О, в этой душной нашей ночи
Кому из нас бесстрашной мочи
Достанет правду возлюбить?

Кто озарит нас правды светом?
Одним безумцам в мире этом
Дано лучей ее добыть!..

С полною готовностью пострадать и потерпеть гонение Аксаков засыпал негодующими упреками виновников нашего унижения, восклицая: «Вот они, наши настоящее нигилисты, для которых не существует в России ни русской народности, ни Православия, ни преданий…» – и называя берлинский конгресс «открытым заговором против русского народа с участием самих представителей России». Он надеялся на единомыслие русского Царя с народом и видел долг верноподданного в том, чтобы не безмолвствовать[6].

К сожалению, он вынужден был замолчать, высланный из Москвы административным порядком. Но речь его все-таки осталась вечным памятником его гражданской доблести. Если и теперь, перечитывая не в первый раз эту речь, содрогаешься от ее силы, то что же было испытано русскими людьми тогда, когда она произносилась? Каким благодатным громом, очищающим духоту тогдашнего мгновенья должна была она показаться!

Обличением нашей дипломатии был вызван и последний поступок Аксакова, доказавший за месяц перед смертью, что он остался верен своим юношеским заветам. Мы говорим о его ответе на предостережение, сделанное ему за статьи о промахах нашей политики на Балканском полуострове. В предостережении было сказано, что он «обсуждает текущие события тоном, несовместным с истинным патриотизмом». С замечательным достоинством отвечал Аксаков на это публичное оскорбление. Ссылаясь на мнение о нем России, он утверждал, что истинный патриотизм для публициста состоит в том, чтобы говорить правительству правду, а для правительства – в том, чтобы выслушивать ее, как бы подчас резка и жестка она ни была; мало того, он находил, что министр, делая предостережение в виде упрека в недостаточности патриотизма, переступил границы, указанные ему за-

коном, и в заключение заявлял, что меняться ему поздно и что, пока у него будет перо в руках, оно останется тем же независимым и патриотическим, каким и было всегда.

В следующих же номерах «Руси» Аксаков продолжал свои нападки на нашу дипломатию и вообще на антинародное направление наших правящих сфер. И замечательно то, что министерство не решилось сделать ему вторичное предостережение или подвергнуть закрытию его издание, чем бы окончательно опозорило себя в глазах всех истинно русских людей. Ясно стало для всех, что Аксаков одержал в этом столкновении блистательную победу.

Вот ряд примеров, взятых из разных времен жизни и деятельности И. С. Аксакова. Они неопровержимо доказывают, что Аксаков остался верен своим основным стремлениям, высказанным еще в юношеских письмах и стихотворениях. В этих поступках особенно ярко выразилась та цельность духа, о которой мы говорили в начале нашей статьи. Нелегко ему было сохранить и укрепить эту цельность, но внутренняя борьба и душевный разлад, постигавшие иногда Аксакова, особенно в николаевскую пору его жизни, приводили к еще большей и лучшей согласованности его великую душу.

В удивительной цельности духа, а также в постоянно высоком душевном настроении кроется тайна того обаяния, которое он производил на современников. Всячески называли его почитатели – и борцом за правду, и богатырем слова, и мощным народным трибуном, и апостолом славянской идеи, и вечевым колоколом, но удачнее всего он был назван пророком и вождем. Да, это был пророк, способный «глаголом жечь сердца людей», и бесстрашный вождь, первым бросавшийся в бой и неудержимо увлекавший за собой дружины русских людей. Еще во время поездки по украинским ярмаркам с ним был такой случай. Во время крестного хода в Курске «исцелил» он шесть «бесноватых». Недалеко от него на площади находилась кликуша, которая страшно металась в истерическом припадке и из которой напрасно старались изгнать «беса» при помощи знахаря-шептуна. Горя состраданием, Аксаков пересилил

чувство застенчивости, подошел к ней и с любовью, осеняясь сам крестным знаменем и ее осеняя, стал убеждать ее успокоиться, уверяя, что в ней никакого «беса» нет, и вот, к удивлению окружающих, больная понемногу начала успокаиваться, и припадок совершенно прекратился. После этого его повели к другим кликушам, и всех их Аксаков успокоил, хотя сначала очень конфузился внутренне своей роли. Удивленный народ окружил его, и многие стали спрашивать, каким образом он «исцеляет»? Аксаков объяснил, что ничего тут мудреного нет, что это может всякий сделать, что не нужно только считать кликуш одержимыми бесом и т. д. Всякий может! Какая скромность со стороны Аксакова! Конечно, всякий, но одаренный таким же сильным духом, такой же любовью и такой же искренностью, как он!

Цельность духа была не только личным качеством Аксакова, но была его философским началом, воспринятым и усвоенным от И. В. Киреевского и А. С. Хомякова. По учению этих мыслителей, истина дается только духу, в котором ум, чувство и воля не в разладе, а это возможно только при жизни, не отделяющей себя от жизни народа. В одном из своих стихотворений – «После 1848 года» – Аксаков, исполненный сомнения в возможности постигнуть истину, восклицал:

Безмолвно все!.. Но если в мире этом
Есть истина, неведомая нам,
Блесни лучом, откликнись мне ответом,
На твой алтарь всего себя отдам!

И вот благодаря жизни, не отделявшей себя от жизни народа, благодаря чистой душевной и строгой искренности, благодаря цельности духа, подвергавшейся иногда таким тяжелым испытаниям, но всегда выдерживавшей их без вреда, – ему открылась Истина, и, обладая ею, он стал могуч и ничего не боялся. Да, это был пророк русского народа, и что-то богодухновенное слышалось в его речах и виделось в его способности увлекать за собою людей...

Пусть же вечно стоит этот образец силы перед нами, слабыми, этот образец бодрости духа перед нами унывающими, образец великодушия перед нами малодушными!..

Владимир Соловьев

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ. АКСАКОВЫ

Вспоминается мне большой, просторный дом – барский оазис среди купеческого Замоскворечья – против Николы, что в Толмочах, близ Ордынки...

– Сегодня у нас вечер с большими: дядя Юша и Анна Федоровна Аксакова хотят тебя смотреть; они теперь внизу у бабушки и будут подниматься не вместе, чтобы не запугать сразу.

«Дядю Юшу», то есть знаменитого славянофила Юрия Федоровича Самарина, а также и племянника, гр. Федора Львовича Соллогуба, – самого своеобразного и привлекательного изо всех людей, каких я только знал, нужно будет когда-нибудь помянуть особо, а теперь я хочу только записать, что осталось в памяти об Аксаковых – Анне Федоровне и Иване Сергеевиче.

Вижу, входит мать моего приятеля, графиня Мария Федоровна Соллогуб (рожденная Самарина) и с нею дама лет 45, невысокого роста, полная и плотная, с очень некрасивым, но оригинальным лицом и, очевидно, давно оставившая всякое притязание (если только когда-нибудь его имела) быть женщиной в специфическом светском смысле этого слова. Желание Анны Федоровны Аксаковой и других лиц «смотреть» меня объясняется некоторым шумом, донесшим в Москву из Петербурга, где я несколько месяцев перед тем начал свое поприще магистерским диспутом в университете. Моя юношеская диссертация, а также вступительная речь на диспуте резко шли против господствовавшего у нас в то время позитивистического течения и, доставивши

мне succes de scandale[1] в большой публике и у молодежи, вместе с тем обратили на себя внимание «старших»: Каткова, Кавелина и особенно последних представителей коренного славянофильства, к которому в некоторых пунктах примыкали мои воззрения, хотя и незрелые, но достаточно определенные в главном. Анна Федоровна начала разговор по-русски с очень сильным иностранным произношением и скоро перешла на безукоризненный французский язык. Дочь нашего великого лирика Ф. И. Тютчева, по матери немка, она воспитывалась в Германии, а затем большую часть жизни провела при дворе покойной императрицы Марии Александровны, где русский язык еще не был в большом употреблении. Впрочем, она его основательно знала, очень хорошо на нем писала и могла говорить грамматически правильно, но только с резким немецким акцентом; она прекрасно знала также церковнославянский язык и была начитана в наших богослужебных книгах.

Темою первого разговора послужила, конечно, моя диссертация и ее главное содержание – критика философии Шопенгауэра и недавно выступившего тогда Гартмана. Моя собеседница с большим жаром напала на самое понятие бессознательного духа.

– Бывают душевные состояния, не сознаваемые нами, то есть мы не всегда сознаем ясно, что делается в нашей душе, и, пожалуй, это можно назвать бессознательностью души, но какой смысл имеет бессознательный дух, когда духом называется то, что владеет собою и, следовательно, имеет самосознание?

Я заметил, что слово Geist[2] употреблялось в различных значениях и что у старших писателей оно относилось не к высшему, а к среднему началу нашей жизни, связывающему психическое существо с физическим, Geist = Gas – как и у французов в старину les esprits animaux[3] означали что-то полуматериальное, посредствующее между душою и телом.

– Да, но ведь Гартман – не старинный писатель, и терминология у него теперешняя, а при этом вся его метафизика, основанная на духовном, но бессознательном начале, есть бессмыслица (n'est qu'un contresens[4]).

Впоследствии я встречал многих дам, рассуждающих о философских предметах; иные предлагали мне на этот счет свои собственные мысли, решительно превышающие мое разумение, другие более настаивали на требовании, чтобы я сказал им в двух словах безусловную истину – la verité absolue. Но женщина, рассуждающая о таких вещах толково и со знанием дела, есть величайшая редкость. С этой стороны я сразу оценил Анну Федоровну и пожелал продолжать знакомство. В ближайшее воскресенье я отправился на Спиридоновку – кажется, там жили тогда Аксаковы, – и застал дома обоих хозяев. Скоро потом я поехал за границу, потом оставил Московский университет и переселился в Петербург.

Но часто и подолгу бывая в Москве, посещал и Аксаковых, у которых собирались по пятницам разные люди, более или менее примыкавшие к Славянскому комитету, где председательствовал тогда Иван Сергеевич. Не все элементы этих вечерних собраний были одинаково приятны; некоторыми тяготилась и сама хозяйка. Мне было интереснее видаться с Аксаковыми без гостей; я полюбил и мужа, и жену, хотя с нею мне было более по себе, между прочим, потому что в Иване Сергеевиче, при всех его серьезных достоинствах, было всегда что-то условное, был какой-то традиционный панцирь, стягивающий и закрывавший его прекрасную душу. У него не было того, что французы называют abandon[5]. У жены его в этом не было недостатка. Унаследовав от своего отца живой и тонкий ум при высоком строе мыслей и при большой чуткости ко всему хорошему, она соединяла с этим недоставшую ее отцу силу характера, германское прямодушие и серьезную добросовестность во всех нравственных вопросах – den sittlichen Ernst[6]. Это, вероятно, пришло к ней с материнской стороны. Но другого свойства она не унаследовала от матери, которая, по ее рассказам, была воплощенною кротостью, чего уж никогда нельзя было сказать про саму Анну Федоровну. При большой сердечной доброте она менее всего была похожа на овечку. Я никогда в жизни не видал более раздражительного, резкого и вспыльчивого существа. Она не сердилась, а как-то вдруг вся

загоралась и начинала «бросать огонь и пламя», по французскому выражению. Иногда это происходило по совершенным пустякам, но большею частью в основе здесь лежало нравственное негодование. Потому что Анна Федоровна была полна нравственной брезгливости, которую вообще нисколько не скрывала, а при всяком заметном поводе эта брезгливость выражалась в яростных вспышках.

Дочь и жена славянофилов, Анна Федоровна очень своеобразно относилась к славянофильству. Западные и южные славяне вызывали в ней глубокое презрение и отвращение. Правда, она их знала лишь по тем образчикам, которые она могла видеть в Славянском комитете и в кабинете своего мужа, где их понятие о славянской взаимности принимало несколько узкую форму, всецело сосредоточиваясь на испрашивании и получении денежных пособий. Не с таким отвращением и брезгливостью, но все-таки презрительно относилась она к русскому простонародью, которое обвиняла в неисправимом мошенничестве и лживости. Конечно, и тут отрицательная оценка вырастала на почве личного опыта – с русскою прислугою. Самой умной женщине легче понять даже отвлеченные философские идеи, нежели в предметах жизненного интереса отделить общее суждение от единичных конкретных впечатлений.

Когда случалось Анне Федоровне рассказывать в присутствии мужа о каком-нибудь подвиге доверенного домочадца, она обобщала рассказ следующим, например, образом: «Наш такой-то, как неиспорченное дитя того «святого» русского народа, которому поклоняется Иван Сергеевич, конечно, должен был произвести такое-то мошенничество». – «Ну что ж, этак и я, как русский, должен быть мошенником?» – проворчит, бывало, Иван Сергеевич. «Нет, ты не должен, потому что ты испорчен европейским образованием, которое тебя научило, что народная святость не освобождает от личной честности». На это Иван Сергеевич ничего не возражал. Так же был он уступчив и при «генеральских атаках» своей жены против славянофильства, каким я бывал свидетелем. Вот одна из самых типичных.

<…>

Разговор, как всегда, шел по-французски. Я перевожу, хорошо помня главные фразы.

– Ну, что, собственно, дало твое славянофильство русскому обществу? Чем было полезно? Какие его результаты? Я вижу только один: что в обществе перестают читать и говорить на иностранных языках. Но ведь это оглупение и одичание! Это бросается в глаза! Сравни только общество, которое мы знали двадцать лет назад, с теперешним!

Иван Сергеевич пытается возражать: разве славянофильство виновато в том, что теперь нет больше таких людей, как, например, твой отец или Хомяков?

– Ты сам себя опровергаешь, – кричит Анна Федоровна, разгораясь, – мой отец и Хомяков были прежде всего люди, европейски образованные, и если это было нужно для них, то тем более нужно для теперешних, которые без помощи культуры совсем пропадут, сделаются такими же животными (brutes), как твои возлюбленные мужики.

Иван Сергеевич кротко и без воодушевления возражает, что значение Хомякова и Тютчева зависит не от их образованности, а от их русских убеждений.

– Неправда, неправда! – прерывает его Анна Федоровна, – никаких русских убеждений нет, а есть только русская дикость. Ты сам если имеешь какое-нибудь достоинство (quelque valeur), то не потому, что ты русский, а лишь потому, что ты только наполовину русский. Все, что в тебе есть хорошего, происходит от твоей татарской крови и от твоего немецкого образования! А теперь вот нашим болванам, вместо того чтобы их сколько-нибудь очеловечить, внушают, что они и так хороши, что им нужно оставаться только русскими, что Европа нам совсем ни к чему, что у нас с нею нет ничего общего! Этого, я думаю, ни мой отец, ни Хомяков не предусматривали. Но вот к каким отвратительным глупостям привело ваше славянофильство. Послушайте, что теперь пишут и читают!..

Анна Федоровна быстро берет с соседнего стола известную тогда лишь в славянофильских кругах, но потом довольно популярную книгу крайне националистического направления и начинает ее гневно перелистывать; но негодование мешает ей найти нужное место, и она с шумом бросает книгу.

– И какая глупая, ребяческая вера в пустые слова! Вы думаете, что образование перестает быть образованием оттого, что вы назовете его «европейничаньем»! Как будто существует еще какая-то другая образованность, другая наука, кроме европейской! Если у вас есть свое, не европейское, покажите поскорей. А если ваша самобытная русская образованность состоит только в том, чтобы бранить Европу, то я вам скажу, что это только надувательство и преступление против Отечества. Когда вы говорите русским: «Не европейничайте, будьте только русскими», это на самом деле значит: «Откажитесь от образования, останьтесь с вашим самодовольным невежеством, то есть под предлогом самобытности подражайте китайцам!» Нет, ты мне скажи, пожалуйста: почему подражать немцам или англичанам – дурно, а подражать китайцам – хорошо?

Но Иван Сергеевич прямого ответа не давал, а лишь кротко улыбался и издавал нечленораздельные, но умиротворяющие звуки, средние между тихим мычанием и легким скрипом.

Я мог передать, разумеется, хотя верно, но лишь в сухом скелете живые и остроумные выходки Анны Федоровны, которые меня и интересовали, и забавляли, хотя я и не разделял тогда ее точки зрения, потому что сам был отчасти жертвою того, что она называла в гневе «надувательством» и что в действительности было искренним увлечением умов, невольно поддавшихся стихийной силе национального самолюбия и самомнения.

Что касается до Ивана Сергеевича, то, зная, что и он человек очень вспыльчивый и с довольно развитым знаком «de la combativite»[7], или «холмом Марса» на руке, я всегда удивлялся невозмутимому благодушию, с которым он принимал все громы своей супруги. Мысленно я называл его за это «добропобедным мучеником».

Должно сказать, что Анна Федоровна громила своего мужа только в глаза; в отсутствие же его она говорила о нем так, как только самая любящая и благородно-самолюбивая жена может говорить о своем муже.

– Иван Сергеевич человек идеальный; его славянофильская публицистика есть с его стороны какой-то подвиг смирения; конечно, при всей антипатичности этих славян, его деятельность имеет большое историческое значение; но я уверена, что по своим умственным и нравственным силам он был бы способен к делу, гораздо более великому.

Отношение Анны Федоровны к деятельности мужа менялось до некоторой степени. В годы Сербской и Русско-турецкой войны она была увлечена и гордилась быстро выросшим значением и популярностью Ивана Сергеевича. Но роль публициста, «газетчика» казалась ей решительно ниже его достоинства.

Если ему заграждена деятельность государственного человека, то он должен уединиться и посвятить себя большому капитальному сочинению о России, о Православии и всех высших вопросах – труду, который бы «остался» и увековечил его имя. А он вместо этого разменивает свои силы на еженедельные печатные разговоры о текущих делах.

Когда умер Иван Сергеевич, с Анной Федоровной произошел переворот.

Всякая тень критического отношения к мыслям и делам покойного исчезла окончательно. Она приняла два решения, в которых видела свой нравственный долг: во-первых, стать настоящею славянофилкою; а во-вторых, собрать и издать все оставшееся от мужа. Вторую задачу она исполнила с поразительным, почти сверхъестественным успехом. В три года (1886–1889) она, больная, приговоренная к смерти, не только собирает из ряда журналов, группирует по предметам и издает множество статей, составивших семь толстейших томов, но еще в то же время разбирает всю обширную переписку покойного, приготовляет ее к печати и начинает печатать.

Первая задача – стать славянофилкою – оказалась труднее. С наивностью, трогательной в такой женщине, она говорила мне:

– Я всячески стараюсь усвоить все идеи и взгляды Ивана Сергеевича – это теперь мой долг и самое горячее желание моего сердца. И я достигла некоторых успехов. Но есть вещи, которые все еще никак в меня не вмещаются. Во-первых, его странное обожание русского народа – я уже не говорю о других славянах, а потом государственный принцип славянофильства, который мне никак не удается согласовать с здравым смыслом. Это самое большое мое огорчение.

Другое, меньшее, но все-таки серьезное, по-видимому, огорчение причинял ей я. Об этом после. А теперь я должен сказать о том, что, кроме глубокого и горячего личного чувства, связывало Анну Федоровну с ее мужем и при жизни, и после его смерти и в чем она без усилия могла примыкать к славянофильству.

Это была ее искренняя и восторженная любовь к Православию или собственно к православному богослужению. В этом она всегда сходилась с Иваном Сергеевичем, хотя характер их религиозности был различный. Иван Сергеевич был, во-первых, привязан к Православию как к вере отцов, как к родовой святыне, с детства осеняющей русского человека.

Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный,
Звонят ко всенощной,
К молитве благостной...
.....
Заутра праздник, вещий день
Ильи, гремящего пророка...[8]

А затем он преклонялся в Православии перед самым чистым и полным, по его убеждению, выражением нравственного принципа, жизненной нормы. Анна же Федоровна брала Православие с его мистической и эстетической стороны, которые сливались в богослужении.

Верой, переданной от отцов, или святыней детства Православие для нее, собственно, не было: родилась она в Германии, отец ее, особенно в молодости, не был практически религиозен, мать была протестантка, а сама она воспитывалась в католическом пансионе. Православие было для нее религией приобретенной, как отвечавшее мистическим потребностям ее природы.

Сверхъестественный мир был для нее реальностью, она наполовину жила в мире вещих снов, пророческих видений и откровений. И в моих воспоминаниях Анна Федоровна неизбежно вызывает память о фактах мистических…

Вл. Соловьев

ЛЮБОВЬ К НАРОДУ И РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ИДЕАЛ

(Открытое письмо к И. С. Аксакову 20 апреля 1884 г.)

М. г. Иван Сергеевич!

В последние два-три года я напечатал (преимущественно у вас в «Руси») несколько статей по церковному вопросу. Главные мотивы мои были следующие. Россия (так же, как и другие страны) тяжело страдает от умственного и нравственного нестроения. Истинная основа христианской общественности – Церковь – не пользуется полной свободой жизни и действия, не занимает подобающего ей места, не полагается во главу угла. Ближайшая этому причина у нас – раскол, который еще с XVII в. парализует действие церковного начала в русской народной жизни. Думая о путях к исцелению этого нашего домашнего недуга, я должен был убедиться, что *начало болезней* лежит дальше – в общем ослаблении земного организма видимой Церкви вследствие разделения ее на две части, разобщенные и враждующие между собою. Истори-

ей образована пропасть между нашею и западною церковью. Но как ни глубока эта пропасть, все-таки она вырыта не Божьими, а человеческими руками. Разделение церквей – это Божье попущение, а не Божья воля. Божья воля неизменна: да будет едино стадо и един пастырь. Итак, можно и должно нам прилагать свои старания к тому, чтобы был засыпан этот пагубный ров, разделивший стадо Христово. Даже внешние политические меры, ведущие к ослаблению церковной вражды, *когда эти меры внушены справедливостью и религиозным чувством*, несомненно, приносят пользу и заслуживают одобрения[1]. Но главное дело, конечно, не в этом: главное дело – внутреннее примирение *по существу*, примирение в духе и истине. Такое примирение было бы невозможно лишь в том случае, если бы католическая Церковь была вполне чужда духу истины, если бы она была ложью *по существу*. Но как решиться это утверждать? Во всяком случае, следует прежде беспристрастно и в христианском духе рассмотреть все спорные вопросы между церквами; к несчастью, я вижу у нас почти исключительно полемическое отношение к западной Церкви. Но односторонняя и исключительная полемика не только к соединению, а и к познанию вести не может. Она только углубляет и упрочивает существующую уже пропасть, преувеличивая недостатки и погрешности противной стороны, превращая случайное в существенное, смешивая историческое явление с вековечной сущностью, теряя всякие границы между Божеским и человеческим.

Мы в храмах, за богослужением, молимся о мире всего мира, о благосостоянии святых Божиих церквей и о соединении всех. Но искренняя ли это будет молитва, если мы на деле препятствуем ее исполнению? То соединение, о котором мы молимся, не может совершиться помимо соединяющихся; для того, чтобы исполнение нашей молитвы стало возможным, требуется нечто и от нас. Требуется прежде всего справедливость, беспристрастное и всестороннее обсуждение дела[2]. А затем требуется и нечто бóльшее: требуется мирное настроение, дружелюбное расположение воли и мысли, требуется заменить обличительное, исключительно полемическое отношение к противной стороне отношени-

ем *иническим* (примирительным). Опыт такого примирительного отношения к западной Церкви я и хотел представить в статьях «Великий спор и христианская политика». К сожалению, после того как главная из этих статей (о папстве и папизме) была без моего ведома искажена произвольным выпущением существеннейшей ее части, я должен был поспешить к заключению, не высказав как следует своих взглядов. Вы нашли, что мой опыт «примирительного богословия» противен русским национальным чувствам и интересам. Я же со своей стороны глубоко и твердо <убежден>, что церковное примирение Востока и Запада есть именно национальная историческая задача России. Это убеждение было уже мною прямо и решительно высказано более года тому назад в первой (вступительной) статье «Великого спора». Это же убеждение я снова повторил и в статье «О народности и народных делах России», напечатанной в «Известиях Славянского общества». Хотя в этой последней небольшой статье я только воспроизвел в новых (а отчасти даже и не в новых) выражениях свои прежние мысли, она почему-то обратила на себя особое внимание в нашей печати и вызвала с вашей стороны двукратный разбор, в котором вы весьма горячо на меня нападаете во имя *любви к народу и русских народных идеалов*. К сожалению, останавливаясь слишком много на отдельных «речениях» из моей статьи, вы недостаточно объяснили, *в чем*, собственно, выражается и *чего* от нас требует *истинная* любовь к народу, – и совсем не объяснили, в чем состоит народный идеал и та народная правда, о которой вы говорите, на которую вы ссылаетесь. Вокруг этих, далеко не ясных вопросов вращается вся ваша полемика; да и не для вас одних служат они причиной многих важных недоразумений. Поэтому, отвечая вам, я хочу остановиться именно на этих вопросах.

Вы пишете («Русь». № 6. С. 11): «В высшей степени замечательно, что г-н Соловьев, определяя отношение к народу словами «верить» и «служить», опустил одно слово... безделицу: *любить!*» И далее (с. 14) вы повторяете: «Как мы уже сказали, во всем диалектическом мудровании г-на Соловьева об отношениях индивидуума к своему народу *слово*

«любовь» *вовсе* и не встречается. Это не случайность: отсутствует не только слово, но и самое понятие». С этими вашими словами сопоставьте теперь следующие места моей статьи: «...патриотизм требует, чтобы мы *любили* свой народ, а истинная *любовь* сочувствует действительным потребностям, сострадает действительным бедствиям тех, кого мы *любим*. Эту истинную *любовь* имели наши предки» и т. д. (с. 12). Затем по поводу Петра Великого я говорю следующее: «И тут опять должен был проявиться у нас истинный патриотизм – бесстрашная вера и деятельная, практическая *любовь* к родине. Такая вера в Россию, такая *любовь* к ней были у Петра Великого и его сподвижников» (там же). И далее: «Петр Великий действительно *любил* Россию, то есть сострадал ее действительным нуждам и бедствиям... Истинная *любовь* деятельна... Они (Петр Великий и его сподвижники) верили в Россию настоящей бесстрашной верой и *любили* ее настоящей деятельной *любовью* и, одушевленные этой верой и *любовью*, они совершили истинно русское дело» (с. 13). И, наконец, в заключение я говорю так: «Настоящая вера не знает страха, и настоящая *любовь* не терпит бездействия и косности: она требует действительного и определенного выражения. Так, в начале нашей истории *любовь* к Отечеству выразилась в любви к государственному порядку, который был прежде всего нужен для Отечества; во времена Петра Великого и Ломоносова любовь к Отечеству выражалась в любви к просвещению, которое тогда было более всего нужно для Отечества. Ныне степень народного возраста и народные нужды выдвигают на первый план такое дело, которое еще выше и важнее, чем государственный порядок и мирская культура, – дело церковного порядка и духовной культуры. И во имя самой России, из *любви* к ней, то есть к ее высшему благу, мы должны быть преданы не русским (в тесном эгоистическом смысле) интересам, а вселенскому церковному интересу – он же и глубочайший окончательный интерес России» (с. 16).

Здесь, как вы видите, не только слово «любовь» в применении к народу, к России употребляется много раз, но вместе с тем дается и некоторое определенное понятие о том, в чем эта любовь должна состоять и

выражаться – именно в сочувствии истинным народным потребностям, в деятельном стремлении пособить настоящим не только материальным, но преимущественно духовным нуждам народа. Но вы, очевидно, недовольны этим понятием, вы требуете еще чего-то другого. По-видимому, вы полагаете любовь к народу главным образом в привязанности к *своему родному*. Ко *всему* ли, однако, своему? Вот, например, русский раскол, возникший в XVII в., когда еще «народный дух и разум» не были в плену, когда еще не была разрушена «духовная цельность нашего национального бытия». И по происхождению, и по характеру своему этот церковный раскол есть нам свое родное, самобытно-национальное. Вы не можете отрицать, что он вырос прямо на русской народной почве. Однако же вы ему не сочувствуете, вы не требуете ни от кого любви и привязанности к расколу; напротив, из любви к России и к *самим раскольникам* вы должны желать, чтобы они не привязывались, а поскорее отвязались, освободились от своего родного и родового, отеческого раскола. Почему же так? Да просто потому, что это родное есть вместе с тем худое, недолжное. Значит, и по-вашему любить нужно не все свое, а только *хорошее*. Значит, во всяком деле не о том нужно спрашивать, *свое* или *не свое*, а о том, хорошо или худо. И стараться нам нужно не о том, чтобы быть и поступать как можно самобытнее и народнее, а о том, чтобы быть и поступать как можно лучше. Работая как следует над общеполезным вселенским делом, мы на *деле* покажем свою любовь и ко всем своим, и к близким и к дальним, и к семье и к народу, и к человечеству.

Главная ваша ошибка в том, что вы ставите народность и народную самобытность как какой-то *предмет* любви и действия, тогда как по-настоящему народная самобытность находится не в предмете любви и действия, а в том, кто любит и действует. Принадлежа к известному народу, мы волей-неволей причастны народной самобытности, народному характеру и типу, мы неизбежно налагаем свой национальный отпечаток на все, что мы делаем, – хорошее и дурное. Нам нечего искать вне себя той народности, которая сидит в нас самих. А вот о чем нам нужно стараться: чтобы наши личные и народные силы прилага-

лись к *настоящему хорошему делу*, чтобы мы проявляли свою народность с лучшей ее стороны.

Возьмите хотя бы какого-нибудь специального деятеля – положим, ученого. Принадлежа к известному народу, этот ученый непременно проявит в своих научных трудах не только свои личные, но и национальные особенности. Но для этого нужно, чтобы этот ученый думал прежде всего о своем предмете, делал свое дело, а иначе и самой национальной особенности *не на чем* будет проявиться. Отличный пример национальности в науке приводит Н. Я. Данилевский в своей книге «Россия и Европа», а именно политико-экономическую систему Адама Смита и теорию Дарвина. И у того и у другого английский национальный характер проявился в высочайшей степени. И тот и другой менее всего об этом заботились. Они вовсе не хотели создать *английскую* политическую экономию или *английскую* биологию. Английский народный характер проявился у Адама Смита незаметно для него самого в его общем взгляде на сущность экономического общества, в его экономических понятиях; точно так же у Дарвина английский национальный характер проявился не в стремлении создать английскую национальную биологию (на что нельзя найти ни одного намека в его сочинениях), а опять-таки в его общем взгляде на природу и в самых его понятиях об органической жизни. Если бы Адам Смит и Дарвин *заметили*, какое сильное влияние их национальность оказывает на их научные труды, они, наверно, как настоящие добросовестные ученые, поспешили бы, ради беспристрастия, ради научной истины, как-нибудь оградить себя от этого влияния. *И это было бы хорошо.* Национальная особенность от них не ушла бы, а от национальной ограниченности и односторонности они бы избавились. В силу своей национальности видя лучше других известную сторону предмета и разрабатывая ее как никто, они не закрывали бы глаза на все остальное. Тогда Адам Смит увидал бы в экономической жизни другой интерес, кроме произведения богатства, а Дарвин открыл бы в жизни природы другой смысл, кроме борьбы за существование. Так и во всем: силою разума и доброй воли поднима-

ясь над своей национальной ограниченностью, мы можем лучше пользоваться своею народною особенностью. Национально-хорошее у нас остается; а от национально-худого мы освобождаемся.

Вы спрашиваете: когда же какой народ в истории забывал о себе и жертвовал собою? О жертве я скажу потом, а на вопрос, «когда забывал», отвечаю: да именно тогда, когда он, народ, целыми массами или же в лице избранных своих сынов совершал великие всемирные дела, когда он не отделял себя от человечества, когда он искал своего блага в общем вселенском благе. Так иудейский народ в лице апостолов забывал иудаизм для вселенского христианства, когда иудею апостолу Петру, на которого вы ссылаетесь, его любовь к братьям по крови не помешала отвергнуть заветные предания и стремления еврейского народа, принести их в жертву такой религии, в которой, по его же словам, нет ни эллина, ни иудея, – ибо он знал, что эта религия, будучи спасением для всего мира, тем самым была спасением и для еврейского народа. Забывали о своей национальности арабы, когда создали и распространили на полмира безнародный ислам и, наконец, сами подчинились и халифат передали иноплеменному турку. Забывали о своей национальности и наши европейские народы, когда подчинились сверхнародной власти католической Церкви и этим подчинением создали европейскую культуру. На забвении национального эгоизма основано все хорошее и у нас в России: и Русское государство, зачатое варягами и оплодотворенное татарами, и русское благочестие, воспринятое от греков, и то заимствованное с Запада просвещение, без которого не было бы русской литературы, не было бы и вашего славянофильства.

Да и помимо этих собирательных проявлений *сверхнародности*, то же самое видим мы и в единичных случаях, каждый раз когда гениальный человек дарит миру какое-нибудь вековечное творение. Вы указываете на пример Англии с ее Бэконом, Ньютоном и Шекспиром. Но неужели вы полагаете, что Бэкон, когда писал по-латыни свою «Instauratio scientiarum» или свой «Novum Organon», думал не об успехах науки, а об английской национальности или хотя бы об английской науке?

Думал ли об этом и Ньютон, когда писал, также по-латыни, свою «Натуральную философию»? Несомненно, у них обоих англичанин исчезал в ученом, национальность забывалась для науки. Да и относительно Шекспира, который писал по-английски и был горячим патриотом, – неужели можно искать в «Гамлете» или «Буре» каких-нибудь проявлений национализма? Не вполне ли ясно, что здесь национальное чувство именно *забыто* для чего-то высшего? А вот у того же Шекспира в драматической хронике «Генрих VI» национализм действительно выступает весьма резко: выводя на сцену Иоанну д'Арк, Шекспир забывает поэзию, помнит только, что он англичанин, и из этого возбужденного национализма порождает нечто безобразное и позорное: кощунство над мученицей, оправдание убийц и палачей[3]. Драмы Шекспира, свободные от национализма, прославили и его, и английскую народность, а внушенные национализмом сцены «Генриха VI» остаются позорным клеймом и для него, и для английского народа.

Я воспользовался вашими примерами. Приведу и другие, еще более убедительные. Вспомните про Гёте – вот бесспорно величайший представитель германской национальности, провозвестник настоящих откровений германского духа, и однако же это не мешало ему быть в высшей степени равнодушным ко всем национальным патриотическим интересам. Возьмите Шопенгауэра – не столь великого, но все-таки крупного и крайне типичного немца, – который не только был чужд всякого национализма, но не иначе как с глубочайшим презрением отзывался о германской нации, находя в ней действительно хорошим лишь немецкий язык (как и наш Тургенев относительно России). Между тем вы согласитесь, что не только Гёте, но и Шопенгауэр лучше представлял собою германскую народность, лучше послужил своему народу и более его прославил, нежели, например, Менцель и другие германофилы. Я указываю на антинационализм Гёте и Шопенгауэра вовсе не как на образец для подражания, но оба они наглядно доказывают, что народность или народный характер как положительная сила, присущая всему народу и особенно проявляющаяся в его лучших людях, – это есть одно,

а национализм, то есть ревнивая и напряженная заботливость о своей национальной особенности, усиленное возбуждение национального эгоизма, – это есть совсем другое и даже противоположное. Народный дух, национальный тип, самобытный характер – все это существует и действует собственной силой, не требуя и не допуская никакого искусственного возбуждения. В истинно *народном* нет ничего *нарочного*, иначе вместо *народности* окажется только *народничанье*. Между тем и другим такая же точно разница, как между оригинальностью и оригинальничаньем: первое есть нечто невольное и хорошее, второе есть нечто намеренное и дурное.

Люди и народы бывают самобытны, но *сделаться* самобытным никто не может: *деланная самобытность* есть contradictio in adjecto, – все равно, что сухая влага или холодное тепло. Народная самобытность, как настоящий клад, дается только тем, кто его не ищет; а кто ищет, тот вместо сокровища приносит домой одни негодные уголья.

Чтобы проявить народную самобытность, вовсе не нужно «устремлять все силы к распознанию нашего народного типа», как вы говорите, а нужно прилагать эти силы к делу. Высшее же дело, высшее призвание народа христианского, как вы сами допускаете, есть водворение на земле правды Божией. В этом деле народный дух должен проявить свою высшую нравственную силу, в этом деле народ должен быть готов жертвовать собою, должен быть готов к подвигу национального самоотречения. Вас пугает это слово. Смешивая национализм, то есть национальный эгоизм, с народностью, вы вследствие этого и под национальным самоотречением разумеете уничтожение самой народности. Но самоотречение не есть самоубийство. Требование национального самоотречения есть только прямое приложение к народу заповеди Христовой, обращенной ко всем: «Глаголаше же *ко всем:* аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и последует Ми. Иже бо аще хощет душу свою спасти, погубит ю; а иже погубит душу свою Мене ради, сей спасет ю» (Лк 9:23–25). Здесь прямо требуется самоотречение, но требуется ли здесь самоубийство? И если лич-

ное самоотречение не есть самоубийство, то почему же национальное самоотречение будет непременно национальным самоубийством? На самом же деле самоотречение, как нравственный подвиг, всегда есть высшее проявление духовной силы и для отдельного лица, и для целого народа. И народ, желающий во что бы то ни стало сохранить душу свою в замкнутом и исключительном национализме, потеряет ее, и только полагая всю душу свою в сверхнародное вселенское дело, народ сохранит ее. Личное самоотречение, отречение от эгоизма – не есть уничтожение самого *ego*, самой личности, а, напротив, есть возведение этой личности на высшую ступень бытия. Точно то же и относительно народа: отвергаясь исключительного национализма, он не только не теряет своей самостоятельной жизни, но тут только и получает свою настоящую жизненную задачу. Если личное самоотречение не есть отречение *от личности*, а есть отречение *лица* от своего эгоизма, то точно так же и национальное самоотречение не есть отречение *от национальности*, или народности, а есть отречение *народа*, или нации, от своего национального эгоизма, или национализма.

Насколько мне известно, никто никогда не обращался к лицу или к народу с бессмысленным требованием отречься от своего *хорошего*. Поскольку народность (так же как и личность) есть положительная сила, способная *по-своему* воспринимать и исполнять добро и правду, постольку заповедь самоотречения к ней неприменима. Эта заповедь относится не к народности, а к национальному эгоизму, которому дорого не хорошее, а *свое*, хотя бы и худое. В силу эгоизма мы склонны стоять за свое худое, за свои недостатки и грехи как за *свои*, то есть как за неотъемлемую часть нас самих, а потому для отвержения этого худого требуется действительное *самоотречение*, или, по еще более сильному выражению Евангелия, требуется *погубить душу свою*. Но это есть гибель худой, злой души, гибель эгоизма, а не личности, гибель национализма, а не народности. В моей статье нет *ни одного* места, где бы даже упоминалось отречение *от народности*. Говоря же о национальном самоотвержении и самоотречении (а в одном месте, на с. 14, прямо об

«отречении от национальной исключительности и замкнутости», от которой мы уже отрешились в области мирской, но не хотим отрешиться в области духовной), я считал излишним объяснить, что не имею в виду ни самоубийства, ни отвержения народом и своего хорошего. Тем более я считал это излишним, что приведенные мною из русской истории примеры национального самоотречения представляют именно отвержение народом своего дурного, возвышение народа над своим данным худым состоянием – над народными усобицами, в одном случае, над народной замкнутостью и невежеством – в другом. Это и вы должны признать, как бы вы ни смотрели на те исторические факты. Впрочем, в большей части того, что вы говорите о призвании варягов, я нашел прекрасное подтверждение и распространение моей мысли. В этом случае вы ее выразили гораздо сильнее, чем я, как это видно из следующих отрывков вашей статьи («Русь». №7. С. 6 и 7).

«Действительно, история не представляет другого примера такого *сознательного*, свободного и произвольного водворения государственного начала; оно принадлежит исключительно России. Эта сознательность в отношениях народа к власти и проходит потом сквозь всю нашу историю до самых последних дней; не на суеверном, слепом, не на рабском чувстве покоится и ныне преданность и покорность русского народа царю, а на сознанном и душою усвоенном принципе... Но возвратимся к подвигу наших предков. Племя восставало на племя, род на род; были, вероятно, попытки племенных союзов и федераций, но они оказывались безуспешными, свободная мирная жизнь становилась невозможною; мудрые предки поняли, что для прекращения и решения их раздоров и споров нужен – *третья*, то есть посредник, взятый *извне*, не причастный ни к одной стороне, нужна власть, не та, которая бы вознесла одно *племя* над *другим*, но которая бы сама над всеми возносилась, всем одинаково *чуждая*, а потому и всем *своя*, свободная от всяких племенных и родовых пристрастий».

«Во всяком случае, не от национальности отрекались наши предки, а от *похоти* властвования и командования друг над другом; отрекались

от вражды и раздора, обуздывая себя всеобщим послушанием единой, общей для всех, *призванной* со стороны власти».

«То же самое отречение от властолюбивой похоти, от принципа «народного верховенства» (la souveraineté du peuple) проявлялось и после варягов несколько раз в русской истории, а в 1613 г., когда государство разбилось вдребезги, народ восстановил его снова, ходил по самодержавного царя за Волгу, несколько лет упрочивал его власть авторитетом и надзором своих земских соборов, а потом с полным доверием, не заручившись никакими гарантиями, «пошел в отставку», по выражению Хомякова, возвратился к своей земской жизни».

Вы прекрасно изложили здесь, как действовали «мудрые предки»; почему же вас так возмущает мое желание, чтобы и потомки были столь же мудрыми? Отречение от своего худого (от раздоров, усобиц и своеволия, в одном случае, от исключительности и замкнутости, от неподвижности духа и мысли – в другом), принесение в жертву худшей стороны себя самого и своей жизни ради высшего блага – это, как и вы сами признаете, есть дело народной мудрости. Побуждать свой народ к этому мудрому делу и деятельно участвовать в нем – этого требует от нас истинная любовь к народу. Ради этой истинной и мудрой любви необходимо отрешиться от слепой привязанности ко многому своему родному, неизбежно отделиться от худой народной действительности и не только самому отделиться от народа, но стараться, чтобы и народ отделился, так сказать, от самого себя, осудил бы себя, поднялся бы над собою. И как это самоосуждение и самоотрицание понятны русскому народу! И чем же, кроме любви к народу, может быть внушено желание, чтобы народ, согласно лучшим, хотя еще и неясным стремлениям своего собственного духа, отрешился от худших сторон своей природы, от дурных и пагубных условий своей жизни, поднялся бы над своей греховной и бедственной действительностью?

Вы требуете, чтобы мы любили народ простым и непосредственным чувством, чтобы мы любили народ как свою семью. Но ведь относительно семьи мы находим в божественном законодательстве две заповеди

или два закона, *по-видимому*, прямо противоречащие друг другу, и для примирения этого видимого противоречия ссылка на непосредственное чувство окажется совершенно недостаточным средством. Первая из сказанных заповедей есть та, которая дана чрез Моисея народу израильскому: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и долголетен будеши на земли». Вторую заповедь дал Христос ученикам своим:

«Идяху же с Ним народи мнози: и обращся рече к ним: Аще кто грядет ко Мне и не возненавидит отца своего и матерь, и жену, и чад, и братию, и сестер, еще же и душу свою, не может Мой быти ученик» (Лк 14 : 25, 26).

Предписывая любить всех, даже и врагов, Евангелие, конечно, не может исключать из этой истинной любви наших ближних, семью. Однако же прямо сказано: «аще кто не возненавидит». Значит, есть такая ненависть, которая не противоречит истинной любви, а, напротив, требуется ею. Значит, есть и такая кажущаяся любовь, которая противоречит истинной любви; от этой ложной любви и нужно отрешиться, в этом смысле и нужно возненавидеть – возненавидеть не только себя или «душу свою», но и свою семью, и всех близких своих, и народ свой, – ибо в других местах Нового Завета требуется отрешение и от своего народа. Вот эта-то истинная ненависть, упраздняющая ложную любовь, ложную и слепую привязанность к своему родному, – она-то и есть то самоотречение – не личное только, но и семейное, и родовое, и национальное, за которое вы на меня так восстали, как будто оно выдумано мною или какими-нибудь западниками, а не возвещено и Западу и Востоку в Новом Завете, и возвещено в выражениях, гораздо более резких, нежели «самоотречение».

Евангельская «ненависть» не противоречит истинной любви, а есть ее необходимое проявление. Отрешаясь от своих исключительных привязанностей, чтобы следовать Христу, участвовать в Его деле – деле всемирного спасения, мы тем самым содействуем истинному благу и своей семьи, и своего народа: мы отрешаемся от них ради их же спасения; тогда как наша слепая исключительная привязанность к своему и своим,

забывающая высшее для низшего, предпочитающая царскому пиршеству пару волов и собственное поле, пагубна не только для нас самих, но и для тех, кого мы любим этою ложною любовью. Зачем же, однако, стоит в Евангелии такое жестокое слово: аще кто не *возненавидит?* Да именно затем, что были люди, которые не понимали, что истинная любовь может требовать отречения от своего родного, которые настаивали на солидарности с семейным и родовым эгоизмом, которые отречение от этого эгоизма во имя истинной любви принимали за ненависть. Обращенные к этим людям евангельские слова имеют такой смысл: «Вы думаете, что настоящая любовь состоит в слепой и исключительной привязанности к своему родному, к семье, к народу, в единении и общении с их неистинною и неправедною жизнью. Для вас отрешение от всего этого означает отсутствие самой любви; на вашем языке это есть ненависть. Итак, применяясь к этому вашему языку, говорю вам: если кто не возненавидит все свое родное и близкое, тот не может быть Моим учеником. Чтобы быть Моим учеником, нужно отрешиться от той низшей, слепой привязанности, которую вы считаете за любовь, и нужно иметь ту истинную, высшую любовь, которая по-вашему есть ненависть». Эту евангельскую ненависть усвоил себе и тот величайший проповедник Евангелия – апостол Павел, на которого вы ссылаетесь: он был обвиняем и преследуем своими как враг, ненавистник и предатель своего народа. Очевидно, есть две ступени в любви к народу, и одна для другой кажется ненавистью. Любовь тут кажется враждою, преданность – предательством, похвала – хулою. Вам, например, осуждение национализма, создавшего наш церковный раскол, показалось хулой на Россию! Да разве Россия и русский национализм – одно и то же? Разве вы и ваш эгоизм – одно и то же? И если бы я, указав на ваши истинные заслуги, рассказав, как хорошо вы действовали в известных случаях, когда руководились высокими нравственными мотивами, пожелал бы, чтобы вы и впредь ими руководились и никогда не становились на явно негодную, явно бесплодную почву самолюбия и самомнения, которая ничего, кроме худого, произвести не может, неужели вы сочли бы это за хулу на себя? Указать

великие нравственные подвиги России в прошедшем, – благодаря которым Россия стала тем, что она есть, и ожидать от нее более великих подвигов в будущем, ожидать от нее восстановления вселенского единства, – неужели это значит хулить Россию? А хулить то, что худо, хулить национализм с его самолюбием – это не только позволительно, но даже нравственно обязательно. Да и что бы вышло, если бы я свою «хулу» заменил в этом случае похвалой, если бы я сказал, например, так: «Россия должна утвердиться на явно полезной и плодотворной почве национального самолюбия и самомнения, явно полезной и плодотворной, ибо она произвела столь прекрасное и спасительное явление, как церковный раздор в русском народе по поводу старых опечаток».

Мое порицание национализма вы относите то к целой России и к русскому народу, то к славянофилам. Отчего же бы, однако, не отнести его туда, куда оно по справедливости относится, именно к национализму, как дурному направлению народного духа, которое может проявляться и в целых массах, и в отдельных людях? Поскольку оно проявлялось в России (и я указал лишь на один крупный пример такого проявления – в церковном расколе), постольку порицание относится и к России. Поскольку славянофилы грешили национализмом, порицание его относится и к ним, но в их воззрениях было кое-что побольше и получше национализма; да и самый национализм у первых славянофилов имел много смягчающих обстоятельств. Но важно вовсе не то, кто и в какой мере грешил или грешит национальным эгоизмом, а то, чтобы этот грех не возводился в праведность, чтобы естественная погрешность не поддерживалась искусственно и не становилась преградой между народом и его настоящей нравственной и исторической задачей. Благодаря Бога, национализм не помешал России исполнить свои ближайшие исторические задачи; даст Бог, не помешает ей и в будущем исполнить дальнейшую, высшую обязанность. Слава Богу, нам приходится более радоваться славным подвигам народного самоотвержения, совершенным Россией, нежели хулить ее за дурные проявления национализма. Но и с этими последними необходимо считаться. Как быть, когда народ в сво-

ем характере, в своей жизни и истории рядом с хорошим представляет противоположное, дурное? Нельзя быть солидарным и с тем и с другим, приходится выбирать – выбирать вовсе не между своим и чужим, ибо и то и другое – свое, а между хорошим и дурным, между правдой и неправдой. Мы должны любить народ как семью. Но разве мы не должны, любя семью, отрешаться и ее стараться отрешить от дурных семейных преданий, разве мы не обязаны противодействовать семейной неправде, семейным раздорам? Если наше семейство находится в вековой закоренелой вражде с другим семейством или родом, неужели мы должны из привязанности к своим поддерживать и эту их вражду, и этот родовой раздор? Неужели рожденный в одном из враждующих между собой семейств будет ненавистником и предателем своего рода, если, вместо того чтобы поддерживать родовую вражду, он постарается примирить ее ради добра и справедливости, ради собственного блага обеих сторон? Не ясно ли, что, любя семью, нужно быть солидарным с нею только в хорошем, а не в дурном? И если вы (совершенно справедливо) сравниваете народ с семьей, то признайте же, что и с народом своим нужно быть единым и солидарным только в добре и правде, а не в дурных инстинктах и преданиях, не в антипатиях и антагонизме народном. Да, мы должны относиться к народу так же, как к семье; мы должны одинаково отрешиться как от семейного, так и от народного эгоизма: только чрез это отрешение мы можем принести истинную пользу и своей семье, и своему народу, только чрез это мы можем доказать на деле свою любовь к ним.

Вы говорите: служа своему народу, мы тем самым служим и человечеству. С таким же правом можно сказать, что, служа самому себе, я служу своей семье, служа своей семье – служу своему народу и т. д., и в результате выйдет, что я могу ограничиться служением самому себе. Но *каким* служением? Все это только игра слов; дело же зависит от того, *в чем* и *как* я служу себе и другим. Если я служу себе в духе исключительно личного эгоизма, то я чрез это никому, кроме самого себя, не служу, да и себе служу *дурно*, так как лишаю себя истинного блага. И если я служу своей семье или своему народу в духе семейного или националь-

ного эгоизма, то я и тут никому, кроме своей семьи и своего народа, не служу, да и им служу дурно, лишая их истинного блага. Ведь можно и человечеству служить дурно. Да и что такое это человечество? Что вы под ним разумеете, я не знаю. Я же, говоря о национальном самоотречении, имел в виду вовсе не какое-то отвлеченное человечество, вовсе не имею в виду какое-то неведомое общечеловеческое дело, а указываю на истинное и святое дело соединения христианского Востока с христианским Западом, – не на основах натурального человечества, которое само есть лишь рассыпанная храмина безо всякой нравственной солидарности и единства, а на основах человечества духовного, возрожденного под знаменем единой, святой, католической и апостольской Церкви.

Человечество *само по себе* может быть хуже, чем ничто. Не только один народ, но и один человек может быть лучше и значительнее, чем все остальные люди вместе. Следовательно, когда требуется самоотречение во имя всечеловеческого дела, то не потому, что оно всечеловеческое, а потому, что оно есть истинное, святое, православное дело.

По счастию, для нас это вселенское православное дело есть вместе с тем наше народное русское дело. Для служения делу Божию нам не нужно разрывать связь со своим народом, нам нужно только быть солидарным с ним в его хорошем, – в настоящей правде народной. Противореча нашему национализму, вселенское дело Божие вполне согласно с лучшими особенностями русского народа, вполне соответствует русскому народному идеалу, русской народной правде. Ибо в чем состоит этот особенный русский народный идеал, на который и вы ссылаетесь? Что считает русский народ за самое лучшее, чего он более всего хочет для себя, для России? Не того он хочет, чтобы Россия была самой могущественной страной в мире; это не есть его первое и высшее желание, – в этом отношении другие народы далеко опередили нас; всемирное могущество не есть ни в каком случае особенно русский идеал. Не желает особенно наш народ и того, чтобы Россия была самой *богатой* страной в мире: этого гораздо более нас желают англичане; они это доказывают и на деле. Не увлекается наш народ и чрезмерным желани-

ем шумной славы, чтобы Россия блестела и гремела в мире, чтобы она была самой видной и красивой нацией, как этого желают, например, французы: идеал национального тщеславия есть, во всяком случае, гораздо более французский, нежели русский народный идеал. Хочет ли наш народ более всего быть самим собой, держаться своих национальных особенностей и традиций, ставит ли он выше всего самобытность и своеобычность? Да, есть у нас и это желание, но преобладающим оно явилось только у части русского народа, которая чрез это и *выделилась* в староверии. Вообще же говоря, идеал своеобычности и бытового консерватизма вместе с любовью к богатству – гораздо более, нежели нам, свойствен англичанам, которые опять-таки и доказывают это на деле. Желает ли, наконец, наш народ более всего быть честным, разумным и порядочным в человеческой жизни? Это, конечно, лучше могущества, богатства, славы и своеобычности, но вы согласитесь, что это не есть *главное* желание русского народа, что идеал честного и разумного существования есть скорее немецкий, нежели русский идеал.

Обыкновенно народ, желая похвалить свою национальность, в самой этой похвале выражает свой национальный идеал, то, что для него лучше всего, чего он более всего желает. Так, француз говорит о *прекрасной* Франции и о французской *славе* (la belle France, la gloire du nom français); англичанин с любовью говорит: *старая Англия* (old England); немец поднимается выше и, придавая этический характер своему национальному идеалу, с гордостью говорит: *die deutsche Treue*. Что же в подобных случаях говорит русский народ, чем он хвалит Россию? Называет ли он ее прекрасной или старой, говорит ли о русской славе[4] или о русской честности и верности? Вы знаете, что ничего такого он не говорит, и, желая выразить свои лучшие чувства к родине, говорит только о «*святой* Руси». Вот идеал: не консервативный и не либеральный, не политический, не эстетический, даже не формально-этический, а идеал нравственно-религиозный.

Но эта «святость», которая составляет особенность нашего народного идеала, не есть только отрешение от мира и жизнь в Боге: святость в

этом смысле, святость исключительно аскетическая, свойственна всему Востоку, в особенности же Индии, – это есть индийский, а не русский народный идеал. Россия, по народному характеру имея много сходства с Индией, резко отличается от нее своим живым практическим и историческим смыслом. Этот практический смысл ясно выразился в прошедшей нашей истории, как это и вы прекрасно показали, в создании и постоянном охранении Русского государства, единой верховной власти, избавлявшей нас от хаоса и самоуничтожения. Соответственно этому практическому и историческому смыслу русского народа и в своем высшем идеале сверх аскетической святости он полагает и деятельную святость. *Святая Русь требует святого дела*. Покажите же мне теперь, что соединение Церквей, духовное примирение Востока и Запада в богочеловеческом единстве вселенской Церкви, что это не есть святое дело, что это не есть именно то действенное слово, которое Россия должна сказать миру? Да никакое другое и невозможно. Это слово России, которого и вы ждете, не может быть каким-нибудь новым откровением, новой истиной: по крайней мере мы с вами, как христиане, не можем допустить нового откровения, новой истины после христианства. Это новое слово может быть только полнейшим выражением, исполнением и совершением христианства. Но какое же совершение христианства возможно при братоубийственной розни двух главных его частей? Итак, новое слово России есть прежде всего слово религиозного примирения между Востоком и Западом. Оригинально ли, самобытно ли это слово – это вопрос праздный: если у русского народа есть самобытные силы, то он сумеет сказать это слово по-своему, но сказать его он должен, если хочет повиноваться воле Божией, если хочет нелживо говорить про «святую Русь». Ибо это слово соединения есть слово святое и божественное, оно одно может дать нам и истинную славу – славу сынов Божиих: «блаженны миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся».

И почему же это слово так возмущает вас? Не потому ли, что вместо религиозного объединения вам представляется *облатынение* русской Церкви, как будто дело идет о какой-то внешней механической унии.

Но верите же вы в духовные силы Востока и России, те силы, которые так явно проявились в русской истории? Я эти силы признаю, а потому и жду их нового проявления. И в соединении Церквей я вижу не умерщвление русской Церкви, а ее оживление, небывалое возвышение нашей духовной власти, украшение нашей церковной жизни, освящение и одухотворение жизни гражданской и народной – явное обнаружение святой Руси. И для того чтобы это совершилось, необходимо самоотречение *не в грубом физическом смысле, не самоубийство*, а самоотречение в смысле чисто нравственном, то есть приложение к делу тех лучших свойств русской народности, на которые и вы указываете: истинной религиозности, братолюбия, широты взгляда, веротерпимости, свободы от всякой исключительности и прежде всего – *духовного смирения*.

В одном месте вашей последней статьи вы замечаете, что о духовном смирении русского народа слыхал кое-что и г-н Соловьев. Да, я действительно слыхал о духовном смирении русского народа, и не только слыхал, но и поверил ему, и не только поверил, но и опираюсь на него в своих взглядах на церковный вопрос. Вы, конечно, более моего слыхали о русском смирении, но я очень хотел бы знать, как вы связываете с этим духовным смирением те задачи усиленного национализма, те возбуждения народного самолюбия, которые вы нам предлагаете. Пока вы этого не покажете, я, к сожалению, не могу ни принять, ни даже понять и того совета, с которым вы обращаетесь ко мне в заключение: не отделять себя от народа, воссоединиться с русским народным духом. Я не знаю, что вы под этим разумеете, про какой дух вы говорите. Тот ли это дух, который водил наших предков за истинной верой в Византию, за государственным началом к варягам, за просвещением к немцам, дух, который всегда внушал им искать не своего, а хорошего?

Если вы его разумеете, то покажите же, что соединение Церквей есть нехорошее дело. Нет, вы сами называете его похвальным. Я же твердо знаю, что это есть истинное святое дело и что посильное служение этому святому делу не может отделить меня от *святой* Руси.

II. МНЕНИЯ ОБ И. С. АКСАКОВЕ ЕГО МЛАДШИХ СОВРЕМЕННИКОВ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

В. Д. Смирнов

Из книги «АКСАКОВЫ. ИХ ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

«Внутреннее противоречие между требованиями истинного патриотизма, желающего, чтобы Россия была как можно лучше, и фальшивыми притязаниями национализма, утверждающего, что она и так всех лучше, – это противоречие погубило славянофильство как учение, но оно же составляет несомненное преимущество старых славянофилов, как людей и деятелей, сравнительно с их позднейшими преемниками – псевдопатриотами. Они питались иллюзиями – это так, но, благодаря своему возвышенному нелицемерному настроению в важные критические минуты для русского общества, когда вопросы ставились на жизненную практическую почву, старые славянофилы бросали в сторону мечты и претензии народного самомнения, думали только о действительных нуждах и бедах России, говорили и действовали как истинные патриоты.

«Во время осады Севастополя, – пишет Ю. Ф. Самарин, – в самую пору мучительного для нашего самолюбия отрезвления, когда очарования одно за другим спадали с наших глаз и перед нами выступали все безобразия, вся нищета нашей действительности, на одном вечере,

в приятельском кругу, Хомяков был как-то особенно весел и беспечен, и на недоумение одного из друзей, как может он смеяться в такое время, отвечал: «Я плакал про себя тридцать лет, пока вокруг меня все смеялось. Поймите же, что мне позволительно радоваться при виде всеобщих слез ко спасению». Говорить о спасении России, да еще посредством самоосуждения, путем горького сознания во всем безобразии и во всей нищете нашей действительности – не явная ли это измена и отступничество? И действительно, Хомяков и его единомышленники подверглись хотя и запоздалой, но все-таки внушительной анафеме от представителей «новейшего зоологического патриотизма».

Если бы «любовь» была не производной, а производящей силой, если бы историческая действительность подчинялась мечтам человека, если бы жизнь народа была свободой, а не необходимостью, – славянофильство, ввиду громадных затраченных на него нравственных и умственных сил, могло бы быть плодотворным. Но благородство, добродетель, искренность, сопровождаемые иллюзиями, не котируются на бирже действительности. «У славянофилов, как и у нас, – говорит один их теоретический противник, – запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы – за пророчество, чувство безграничной, охватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус, как двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как сердце билось одно».

Но действительность мстит за невнимание к себе, и мстит подчас очень жестоко. Как и чем отомстила она славянофильству – увидим сейчас.

Константин Сергеевич Аксаков умер с небольшим 40 лет, успев достаточно разочароваться в жизни, но не в своей теории. Он умер тем самым «большим ребенком», про которого отец его писал как-то: «Кажется, остается желать, чтобы он на всю жизнь оставался в своем приятном заблуждении, ибо прозрение невозможно без тяжких и горьких утрат: так пусть его живет да верит Руси совершенству». Не то случилось с братом его, Иваном Сергеевичем Аксаковым.

Иван Сергеевич Аксаков, младший сын Сергея Тимофеевича, родился 26 сентября 1823 г., в селе Надеждино Белебеевского уезда Уфимской губернии. Деревенские впечатления его еще слабее, чем у старшего брата Константина, потому что всего 4 лет от роду его перевезли в Москву. Учился он, однако, не здесь, а в Петербурге, в Институте правоведения, который и окончил в 1842 г. Идя по обычной дороге, он поступил в «странноприимный» Сенат московский, тогда еще существовавший. Естественно, что у молодого, горячего юноши, поклонника Шиллера и Гёте, еще в ученические свои годы исходившего летом всю Германию и поклонявшегося разным святыням поэзии и философии, нисколько не лежало сердце к чиновничьей карьере. В написанной им в то время «Мистерии в трех периодах» – «Жизнь чиновника» – герой первого периода, «будущий чиновник», задает себе гамлетовский вопрос:

Служить иль не служить? да, вот вопрос!
Как сильно он мою тревожит душу!
Не я ль мечтал для общей пользы жить?
Ужель теперь я свой обет нарушу?
Демон службы шепчет ему:
И начальство высшее, дорожа тобой,
Грудь украсит лентою, осенит звездой...
Не ища фортуны милости случайной,
Будешь ты действительный, будешь ты и тайный...

Во втором периоде, когда герой «Мистерии» поступил уже на службу, прежние порывы и прежние колебания исчезли. Он мечтает теперь лишь о кресте, который и получает за свою угодливость и льстивость.

В третьем периоде герой «Мистерии», ставший генералом, подводит итоги своей жизни, и что же должен сказать он о себе перед судом проснувшейся совести?

Да, счастье пошлое судьба мне даровала,
Занятья «дельные» мой иссушили ум,

И грудь чиновника ничто не волновало:
Лишь служба – вот предмет моих привычных дум.

С грустью вспоминая прежнее, он говорит:

А памятны мне прежние те годы.
Когда был молод я и на своем пути
Так смело выжидал житейские невзгоды...
Но жизнь прожить – не поле перейти.
Душа тогда прекрасное любила,
Порывы доблести мне волновали грудь.
Но жизнь бумажная в ней свежесть погубила
И охватил меня избранный мною путь.
И грустно думать мне, что тщетно я трудился,
Что даром отдал жизнь на жертву службе я,
Что тружеником здесь ничтожным я явился,
Что не своей я шел дорогой бытия!
Что от моей усердной, долгой жизни,
От моего служебного труда
Ни пользы никому, ни блага для отчизны,
Ни светлой памяти, ни ясного следа.

Легко понять, кем было навеяно такое отрицательное отношение к бюрократическим идеалам. Не говоря уже о «Горе от ума» и «Ревизоре», Иван Сергеевич в славянофильском кружке наслушался немало самых страстных реплик против чиновничества «этого средостения», этой «гангрены русской жизни».

После недолгой, бесполезной и томительной по своей бесполезности службы в московском Сенате, этом удивительном архиве государственных старцев, Ивана Сергеевича потянуло в народ. «И вот он уезжает в глушь, поступает в уголовную палату, сначала калужскую, потом астраханскую. Как совершенно верно сказал кто-то после смерти Аксакова, отъезд в провинцию из столицы, где, при огромных связях

Сергея Тимофеевича и славянофильского кружка, он мог бы сделать самую блестящую карьеру, был своего рода хождением в народ». Честный, молодой, горячий, он попал в ту обстановку, которая бросала мрачную тень на всю русскую жизнь. Россия в то время, по словам Хомякова, была «в судах черна неправдой черной»... Тяжела, утомительна, не по силам одному человеку была борьба с этой черной неправдой.

«Знавшие Ивана Сергеевича в эту пору его деятельности, – сообщает один из наиболее обстоятельных некрологистов Аксакова, – знают, как томилась и мучилась молодая еще тогда душа его в эту суровую эпоху и как поборол он в себе чувство личного отвращения, чтобы нести эту тяжелую службу, зная, что несением этого креста ему удастся все-таки уменьшить, хотя немного, количество обильно расточаемых плетей, пролагая хотя ничтожный простор правде и справедливости. Известная литературному миру Авдотья Петровна Елагина послала ему в этот период его отчуждения из Москвы мраморное распятие, на котором лик облеченного терновым венцом Спасителя представлялся ей особенно хорошо выражающим глубь нравственного страдания. В письме, которым сопровождалась эта посылка, старая уже и тогда, Авдотья Петровна писала, что, взирая на этот лик представителя высшего страдания, она всегда вспоминала о тех внутренних муках, о той нравственной пытке, которую приходится переживать И. С. на добровольном поприще его служения».

Если Авдотья Петровна и хватила значительно через край, то все же это нисколько не мешало судейским впечатлениям Ивана Сергеевича быть очень и очень тяжелыми. «Да возродится, наконец, правда и милость в судах», – сказал в начале 90-х годов император Александр III, и как далеко от этого «наконец» было полвека тому назад. Ивану Сергеевичу надо было или прать против рожна целой клики уголовных мародеров, или уйти совсем из палаты. Он выбрал последнее и все в тех же поисках живой работы поступил чиновником особых поручений в Министерство внутренних дел. С обычной своей энергией исполнял он самые тяжелые поручения и, один из немногих чиновников того времени,

умел даже быть гуманным в своих отношениях к раскольникам. Между прочим, ему пришлось столкнуться с таинственной сектой «бегунов», о которой он написал обширное исследование.

В 1852 г. Иван Сергеевич Аксаков вышел в отставку. Эпизод, сопровождавший его удаление со службы, был бы, пожалуй, и смешон, если бы не был так грустен. По словам С. А. Венгерова, он заключался в следующем: «За Аксаковым открылись разные изъяны. Так, ярославский губернатор сообщил в Петербург, что молодой чиновник читает знакомым какую-то подозрительную рукопись. Потребовали объяснения у Ивана Сергеевича. Он переслал рукопись, которая оказалась известной его поэмой «Бродяга». Поэму прочли и не нашли в ней ничего предосудительного. Но тем не менее молодому поэту были поставлены на вид два обстоятельства. Во-первых, ему письменно предложили вопрос: «Почему он, Аксаков, беспаспортного человека выбрал себе в герои?», а затем, возвращая поэму, сделали при этом конфиденциальное сообщение, что «занятие стихотворством не приличествует человеку, облеченному доверием правительства».

Аксаков в ответ на это подал прошение об отставке, которую и получил с чином надворного советника. Он решился посвятить себя журналистике и, вернувшись в Москву, занялся редактированием «Московского сборника». I том этого издания благополучно прошел цензурные мытарства и появился в свет без всяческих ампутаций. Но как бы вдогонку ему – этому благополучно проскользнувшему сборнику, министр народного просвещения, князь Ширинский-Шахматов, обратил внимание на «предосудительность направления», находя, что «хотя народность и составляет одну из главных основ нашего государственного быта, но развитие понятия о ней не должно быть одностороннее и безусловное: иначе безотчетное стремление к народности может перейти в крайность и вместо пользы принести существенный вред». Ввиду этого было приказано ко II тому сборника отнестись возможно «внимательно». Разумеется, он не появился совсем, а его молодой редактор оказался в разряде крайне подозрительных. Ему не только было предписано,

как и остальным членам славянофильского кружка, представлять свои произведения для цензуры непосредственно в Главное управление по делам печати, но, кроме того, его лишили права быть когда бы то ни было издателем или редактором журнала.

Мало того, когда Аксаков хотел было поехать на военном корабле вокруг света – его не пустили.

Будучи не у дела, Аксаков с удовольствием взялся за поручение Географического общества описать малороссийские ярмарки и, проработав полтора года, выпустил в свет обширное исследование о малороссийской торговле вообще. В промежуток между собиранием материалов и обработкой их Аксаков в тяжелые дни севастопольской кампании поступил в ополчение и был казначеем серпуховского отряда. Тут он «удивил весь официальный мир мужеством своей честности. Командующий московским ополчением – граф Строгонов – даже не решился подписать отчет, представленный изумительным казначеем, ибо отчет этот был, в силу великой экономии, обвинительным актом чуть ли не всех других поголовно. Отчет так и остался неподписанным, несмотря на все настояния Аксакова». «Ополченская служба Ивана Сергеевича, – говорит Гиляров-Платонов, – сопровождалась полемикою литератора-ополченца с командовавшим всею Московскою дружиною графом Строгоновым. Оригинальная полемика, философская и политическая, ведшаяся под видом официальных приказов и официальных рапортов, где Аксаков-ополченец был тот же непреклонный боец за меньшую братию, как Аксаков-редактор «Дня» и «Москвы». «Это Аксаковское влияние!» – воскликнул Строгонов, когда при роспуске ополчения, собрав дружину, обратился к рядам с предложением, не хочет ли кто из ратников перейти в военную службу, и когда в ответ на его слова «Кто хочет, ребята, пусть поднимет руку» послышался каламбур: «Кто же, Ваше Сиятельство, на себя руку поднимет?»

После войны Аксаков, ввиду новых веяний, возвратился к известному своему призванию – журналистике. На самом деле это был настоящий публицист, пламенный, искренний, бесконечно уверенный

в себе и своих убеждениях. С молоком матери, с атмосферой родительского дома, с дружбой брата воспринял он славянофильские догматы. Вместе с Константином Сергеевичем он верил и исповедовал, «что русский народ есть народ негосударственный, то есть не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя государственных прав, не имеющий в себе даже зародыша народного властолюбия», – и хотел лишь того, чтобы между властью и земщиной установились живые нравственные отношения, уничтоженные реформой Петра. В истинном смысле слова он был plus royaliste gue le roi (больший роялист, чем сам король – *фр.*), в мистическом ореоле представлялось ему самодержавие, он падал перед ним ниц с религиозным уважением. Непонятное исключение. Но все равно, как не дозволялось доводить до крайности идею народности, так и идея самодержавия в форме, приданной ей Иваном Сергеевичем, оказалась неподходящей к требованиям высшей политики. В 1859 г. Аксакову разрешили издавать газету «Парус» и запретили, очевидно по недоразумению, на 2-м номере за статью Погодина. Желая изгладить неблагоприятное впечатление, Аксакову намекнули, что он может издавать еженедельный журнал «Пароход», но с тем условием, чтобы идея самобытности развития народностей, как славянских, так и иноплеменных, не имела места в газете и все, что до сего предмета относится, было бы из нее исключено. Аксаков не согласился и занялся неофициальным редактированием «Русской беседы». В 1861 г. он выхлопотал право издавать еженедельную газету «День», с тем, чтобы в ней не было политического отдела. «День» выходил благополучно вплоть до 1865 г. В 1867 г. Аксаков затеял ежедневную «Москву» – газету, которая за 22 месяца своего существования получила девять предостережений и, следовательно, три раза была приостановлена – в общей сложности в течение 13 месяцев. За «Москвой» последовала «Русь».

Как публицист, Иван Аксаков составил себе крупное имя. Особенным успехом пользовалась его газета «День», где проводились лучшие идеи старого славянофильства. «Аксаков – издатель «Руси» – был, по преимуществу, глашатай русской самобытности и связанной с

нею национальной исключительности, глашатай ожесточенной вражды ко всему тому, что дорого прогрессивной части русской интеллигенции. Аксаков же – издатель «Дня», поддавшись общему течению эпохи, реже направлял свой талант на бесплодную и часто отрицательного значения позировку с оторванными от нивы прогрессистами, а предпочитал посвящать его положительным задачам времени, восторженному комментированию реформ, быстро следовавших одна за другою. Наиболее горячие симпатии «Дня» принадлежали крестьянскому делу. Ни один из органов тогдашней печати не посвящал столько места выяснению разных деталей, которые возникли при практическом выполнении крестьянской реформы. «День» славился своими обстоятельными корреспонденциями по крестьянскому делу, в которых всегда отстаивались интересы мужика.

Почему же Аксаков, в принципе отрицавший какие бы то ни было политические преобразования, Аксаков, постепенно все более и более сближавшийся с партией застоя, не ладил и не мог ладить с цензурой? Виновата в этом, думается, не столько сущность его идей, сколько форма, которую он придавал им – форма, всегда резкая, непримиримая, вызывающая. Он слишком подчеркивал свое право как земского верноподданного человека говорить все, что ему кажется справедливым. Голос общественного мнения – хотя бы одной только части его – находил себе в нем слишком смелого трибуна. Лучшим образчиком указанных сторон его деятельности может служить знаменитая речь, произнесенная им в 1878 г., речь председателя Славянского благотворительного комитета и человека, наиболее волновавшегося по поводу войны за освобождение, – при первых же слухах о результатах берлинского конгресса.

Это случилось, повторяю, в 1878 г.

В это время, как известно, происходил печальной памяти берлинский конгресс. Мирный трактат еще не был ратифицирован, но уже содержание его было установлено почти окончательно и, как выражался Иван Сергеевич, «корреспонденции и телеграммы ежедневно, ежечасно, на всех языках, во все концы света разносили из Берлина

позорные вести о наших уступках». Не мог перенести Иван Сергеевич этого «надругательства» над Россией; в заседании московского Славянского комитета от 22 июня 1878 г. разразился самой пылкой из всех своих речей, в которой дал полную волю своему патриотическому негодованию. «Мы собрались сегодня, – говорил он, – хоронить миллионы людей, целые страны, свободу болгар, независимость сербов, хоронить великое, святое дело, заветы и предания предков, наши собственные обеты, хоронить русскую славу, русскую честь, русскую совесть». Разве «плененные турецкие армии под Плевной, Шипкой и на Кавказе, зимний переход русских войск чрез Балканы и геройские подвиги наших солдат, потрясшие мир изумлением, торжественное шествие их вплоть до Царьграда, эти необычайные победы, купленные десятками тысяч русских жизней, эти несметные жертвы, принесенные русским народом, эти порывы, это священнодействие народного духа, – разве все это сказки, миф, порождение распаленной фантазии, может быть, даже «измышление московских фанатиков»?.. Ты ли это, Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побежденную? Ты ли на скамье подсудимых, как преступница, каешься в святых, подъятых тобою трудах, манишь простить твои победы?.. Едва сдерживая веселый смех, с презрительной иронией похваляя твою политическую мудрость, западные державы, с Германией впереди, нагло срывают с тебя победный венец, преподносят тебе взамен шутовскую с гремушками шапку, а ты послушно, чуть ли не с выражением чувствительнейшей признательности, подклоняешь под нее свою многострадальную голову!..» Но не хочет всему этому поверить оратор. «Ложь!» – восклицает он. «Если в таком чудовищном образе и представляется Россия из берлинских писем и телеграмм, то самая чудовищность служит лучшей порукой, что этому не бывать».

«Что бы ни происходило там, на конгрессе, как бы ни распиналась русская честь, но жив и властен ее венчанный оберегатель, он же и мститель! Если в нас, при одном чтении газет, кровь закипает в жилах, что же должен испытывать Царь России, несущий за нее ответственность пред

историей? Не он ли сам назвал дело нашей войны «святым»? Не он ли по возвращении из-за Дуная объявил торжественно приветствовавшим его депутатам Москвы и других русских городов, что «святое дело будет доведено до конца»? Страшны ужасы брани, и сердце Государя не может легкомысленно призывать возобновления смертей и кровопролития для своих самоотверженных подданных, – но не уступками, в ущерб чести и совести, могут быть предотвращены эти бедствия. Россия не желает войны, но еще менее желает позорного мира. Спросите любого русского из народа, не предпочтет ли он биться до истощения крови и сил».

«Долг верноподданных велит всем надеяться и верить, долг же верноподданных велит нам не безмолвствовать в эти дни беззакония и неправды, воздвигающих средостение между царем и землей, между царской мыслью и землей, между царской мыслью и народной думой».

Эта речь – прекрасный образчик красноречия Аксакова. Вы как бы видите перед собой страстного и даже дерзкого в своей страстности человека и слышите его взволнованный, убежденный голос. Он весь в этой речи, со своей бесконечной верой в русский народ, его непреоборимое могущество, чуткий ко всем обидам национального достоинства, весь со своими мечтами о всеславянском царстве, которое должно явить человечеству образец жизни, основанной на доверии и любви друг к другу племен и народов. Освободительная война 77–78-х гг. была праздником его жизни. Казалось, что достигнуто уже все, к чему так долго и напрасно стремились предыдущие поколения. Смыт позор Севастопольской войны, золотой крест засиял на куполе Св. Софии, полумесяц изгнан в Азию, и древняя Византия восстала из гроба, чтобы явиться миру в еще неведомом величии... И вдруг берлинский конгресс!.. Всю силу своего «патриотического негодования», всю мощь своей речи И. Аксаков направил против дипломатии, которая являлась в его глазах одним из видов бюрократического средостения. Разумеется, это не могло пройти ему даром, и, несмотря на весь поистине грандиозный авторитет, которым пользовался Аксаков, он был вызван из Москвы для успокоения себя на деревенском воздухе, хотя и ненадолго...

В 1880 г. он принялся за последнее свое дело – издание «Руси». Оптимистическая гарь славянофильства особенно резко выступала в этом органе Аксакова. Охладел реформаторский пыл юности, поддержка устоев стала главнейшей задачей. Друзья Аксакова объясняют неуспех «Руси» следующим образом:

«Со второго же года издания «Руси» оказалось, что людей, смотрящих строго и трезво на русскую действительность вместе с Аксаковым, слишком немного. Общество, не привыкшее к простой и серьезной русской мысли и ждавшее от «Руси» эффективной борьбы с существующим порядком вещей, той страстной и смелой борьбы, которая велась в «Москве» и «Москвиче» – разочаровалось. Аксаков, при всем невысоком мнении о ставшем у дел консерватизме, не объявил ему открытой войны»... «Правильно это было или нет, пока не будем судить, но несомненно, что это обстоятельство было одной из причин, обусловливавших неуспех «Руси» даже у людей, способных выслушать и прочувствовать сердцем русское слово».

«Русь» Аксакова оставила по себе не особенно лестную память, хотя и не во всех кружках общества. Но все же не видно, чтобы газета где-нибудь пользовалась особенным влиянием и уважением. На этот раз несомненно, что знаменитого публициста совершенно покинул его такт, сама чуткость оставила, и он совсем не «во благовремение» стал выдвигать на сцену с особенной энергией и даже не без озлобленности правую сторону славянофильства с ее оптимистической гарью. Как ни изменилась эпоха, сущность этой правой стороны все же сводилась к тому, что у нас все благополучно. И в доказательство этого всеобщего царящего на Руси благополучия Аксаков раздражительно нападал даже на тех, кто указывал на ставшую очевидной недостаточность крестьянских наделов. «Это – ложь и клевета», – говорил он, полагая, что какая-нибудь фраза может прикрыть цифры. Не того ждали от Аксакова, особенно после славного периода 77 и 78-х гг., когда даже его влечения, его крайность и гиперболы чувства так гармонически сливались с общим горячим настроением. В нем привыкли видеть либерала, прогрессиста,

хотя и на почве самого строгого и даже правоверного национализма. Никто еще не забыл, да и некогда было забыть, как он своим пламенным пером приветствовал реформы Александра II, как, смешивая свои личные воспоминания о черной неправде, царящей в судах, с вожделениями каждого мыслящего и честного человека, он видел в новых судах зарю новой, светлой жизни. И вдруг он, как бы поддаваясь старческой слабости, кашляет, брюзжит и ворчит, нападая на слабейших, ломясь в открытую дверь. В той области, где он теперь стал действовать, он мог играть лишь второстепенную роль. Ему не сравняться было с Катковым, и даже искренние его почитатели с неудовольствием замечали порой, что многие и многие статьи «Руси» являются лишь бесполезным придатком к статьям «Московских ведомостей». Дойти до полной прямолинейности Аксаков не мог, не смел, и вся его страсть, весь его талант тратился на ветер, по-пустому. Он переставал быть истинным журналистом и только пребывал в журнализме... С ужасом и огорчением стал он замечать, что над «Русью» начинают просто подсмеиваться (с «Московскими ведомостями» всегда считались); что статьи о русском народе, его величии, благополучии не производят должного впечатления, ибо требовалось, чтобы под эти отвлеченные термины подставлялись реальные понятия, цифры, а у Аксакова – увы – их не было в распоряжении. Только под конец жизни Аксаков, как бы прощаясь с нею и вызванный к тому исключительными обстоятельствами, собрал свои последние силы и явился перед публикой в прежнем грозном величии...

Обстоятельства эти состояли в следующем.

«В одной из статей по болгарскому вопросу, появившейся в конце 1885 года, Иван Сергеевич, со свойственной ему резкостью, напал на нашу дипломатию. Он утверждал, что у заправил нашей иностранной политики нет ни ума, ни сердца, ни совести, ни чести. Подобные нападки неоднократно уже появлялись на страницах «Руси», все равно как мысли, высказанные Аксаковым в речи о берлинском конгрессе, тоже не были новостью для постоянных его слушателей и читателей. Но, как и во время произнесения этой речи, политический момент появления

вышеупомянутой статьи был затруднительный и «Руси» было дано предостережение, мотивированное тем, что газета «обсуждает текущие события тоном, несовместимым с истинным патриотизмом».

Исполняя точную букву закона, «Русь» напечатала предостережение без всяких оговорок, но в следующем же номере (22) Иван Сергеевич поместил совершенно неслыханную по своей резкости отповедь на тему о том, что должно считаться «истинным» патриотизмом, – отповедь на этот раз уже не по адресу дипломатов, а по адресу Министерства внутренних дел.

Статья, о которой только что шла речь, появилась в декабре 1885 г., а 27 января 1886 г. Ивана Сергеевича не стало. Его сразила болезнь сердца.

Л. Тихомиров

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ. И. С. АКСАКОВ

Старые славянофилы, казалось бы, могли оставить что-либо более разработанное относительно самодержавия. В действительности этого не было. Там тоже шла борьба с «западничеством», и все силы ушли на самое преувеличенное обоснование русской «самобытности» в смысле национальном, причем менее всего разрабатывалось учение о самодержавии. Впоследствии об этом вопросе пришлось говорить всю жизнь Ивану Сергеевичу Аксакову, и совершенно на той же боевой адвокатско-прокурорской почве, как и Каткову. Жгучие вопросы того времени – о конституции и парламентаризме, о народном представительстве, о самоуправлении, о свободе слова и мысли, – вот что занимало Аксакова, как и Каткова, и, касаясь вопроса о самодержавии, не столько разбирался этот принцип сам по себе, как его отношение к представительству, самоуправлению и свободе.

В рассмотрении самодержавия Аксакову мешало еще очевидное незнакомство его с государственным правом, вследствие чего его юридические определения подчас режут ухо своей неточностью и даже невероятностью.

Так, имея в виду защитить неограниченность царской власти, Аксаков говорит:

«Что такое самодержавие, неограниченность власти? Это есть принадлежность, необходимое свойство всякой (?) власти в области ей свойственных отправлений» (Соч. Т. V. С. 13). Это, конечно, грубая ошибка. Самодержавность и неограниченность вовсе не свойство всякой власти, а только и исключительно власти Верховной. Все же остальные власти – «делегированные», всегда и обязательно ограничены той властью, которая дала им их полномочия. Но Аксаков вообще не знает различия между властями Верховной и делегированными, передаточными. Его аргументация от этого чрезвычайно слабеет.

«Государь демос (народ), – продолжает Аксаков, – государь совет десяти, государь конвент (?), государь парламент (?), государь царь – все это та же Верховная самодержавная власть с той разницей, что в последнем случае она сосредоточивается в одном лице, а в первом случае переносится на народные массы или же на образованное меньшинство...» Все это опять путанно донельзя. Ни конвент, ни парламент не суть «государи» и Верховной власти не имеют, а потому не имеют неограниченной власти, а если ее захватывают, то лишь как узурпаторы, тогда как царь есть власть Верховная и посему неограниченная – по самому праву своему. Царь вовсе не есть только сосредоточенная власть. Здесь Аксаков, сам того не подозревая, находится вполне во власти абсолютизма, который хочет ниспровергать.

Но оставляю критику, которой почти не заслуживает И. С. Аксаков в области государственно-правовых понятий. Посмотрим, как он представляет себе царскую власть, не касаясь при этом неясности и ошибок терминологии и формулировки.

Аксаков очень хорошо сознает, что связь царя и народа нравственная. «Вопрос о том, что лучше: коронованное ли общественное мнение или коронованный человек, ничем не огражденный, кроме права за ним всенародно признанного, бессильный как личная одинокая сила, но могучий идеей, которой он представитель, и этой идеей освящаемый, – этот вопрос решается в каждой стране сообразно ее местным потребностям (?) и историческим особенностям развития». В России он решен в форме власти единоличной. Тут верно чувство и, как почти всегда, неясность мысли. Дело, конечно, не в «потребностях», а в духовном состоянии народа, чем бы оно ни создавалось.

Но далее у Аксакова идут опять ошибки, зависящие от непонимания того, что такое Верховная власть. Он разграничивает области ведения царя и народа и этим совершенно произвольно ограничивает власть царя. «Русский народ, – говорит он, – образуя Русское государство, признал за последним в лице царя полную свободу правительственного действия, неограниченную свободу государственной власти, а сам, отказавшись от всяких властолюбивых притязаний (?)... свободно подчинил в сфере внешнего, формального действия слепую волю свою... воле одного им избранного (с его преемниками) человека... Для восполнения же недостаточности единоличной неограниченной власти в разумении нужд и потребностей народных – он (народ) признает землю, в своем идеале – полную свободу бытовой и духовной жизни, неограниченную (?) свободу мнения или критики, то есть мысли и слова».

«Единоличному уму, облеченному Верховной неограниченной властью, содействует, таким образом, ум миллионов, нисколько не стесняющих его свободы, не насилуя его воли» (Соч. Т. V. С. 16). Несмотря на это «отречение» народа от «властолюбия», местное самоуправление, по Аксакову, все-таки входит в область ведения народа. «Самоуправляющаяся местная земля с самодержавным царем во главе – вот русский политический идеал» (Соч. Т. V. С. 57. Это писано в 1881 г.).

Тут все неточно, все возбуждает вопросы: почему местное управление не есть дело «властолюбия», а общее государственное – дело

«властолюбия»? Что такое местное управление? Правда ли, что царю принадлежит только внешнее и формальное действие? Неужели царская власть не участвует в действии нравственном? В истории русской никогда цари так себя не ограничивали, и народ всегда ждал от них не одного внешнего и формального действия. В государственном праве точно так же Верховная власть не осуждается на такое бездушное существование... И даже сам Аксаков говорит в своей знаменитой речи 1881 года в петербургском Славянском благородном обществе:

«Не бездушному снаряду вручена народом власть, а человеку, с живой человеческой душой, с русским сердцем и с христианской совестью...»

Совершенно верно, но потому-то и ложны все перегородки, которые Аксаков устраивает между якобы областями ведения царя и народа, ибо монархия именно не имеет их. В монархии и народ не отказывался ни от какой власти, и царь не ограничен какой-либо отдельной областью действия, но как Верховная власть – ниоткуда не устранен.

В свою очередь и народ, как справедливо доказывает Катков, не устранен от сознательного участия в какой бы то ни было отрасли государственных интересов, а даже обязан к этому присягой. Дело не в одном «местном» управлении, которое точно так же не может остаться без воздействия Верховной власти, как в свою очередь общегосударственное управление не может оставаться без воздействия народа. Впрочем, Аксаков и славянофилы сами считали земские соборы непременной принадлежностью нашей монархии. Следовательно, не в одном местном управлении проявляется единство царя и народа в заботе о народно-государственном деле. Сверх того, это единство относится не к области одной политики и какого-нибудь только «внешнего» действия, а ко всему, чем только живет народ.

Верховная власть выражает тот элемент, который выше всего и всем заведует. Царская Верховная власть есть верховенство нравственного идеала в государственной жизни, а следовательно, царь не может быть оторван от жизни этого идеала в народе. Правда, что в этой идеальной области царь уже не есть господин. Он здесь уже есть подчиненная сила.

Но подчинен он только идеалу, а в отношении всего, что уклоняется от этого идеала или восстает на этот идеал, царь, как Верховная власть государства, поставленная на страже этого идеала в общенародной жизни, является властью в области жизни церковной, нравственной и той «бытовой», которую Аксаков выделяет в исключительное ведение народа.

Царская власть не произвольная, она ограничена содержанием идеала, она обязана представлять идеал, действовать сообразно его содержанию. Но оставаясь подчиненной идеалу, она действует властно для его поддержания и осуществления.

В понимании содержания Верховной власти и отношений царя и народа Катков, несомненно, правее Аксакова, но только теоретически. На практике же Аксаков оказывался часто правее.

Аксаков требовал действительного общения царя с народом, он требовал самоуправления, он требовал восстановления прав Церкви, то есть требовал именно того, при наличности чего царская власть только и может быть Верховной, выражать не произвольные побуждения царя как человека, но требования нравственного идеала народа. Катков же всему этому противился, хотя и признавал сам, что какое-то непосредственное общение царя с народом требуется иметь. Он даже в отношении Церкви фактически поддерживал положение царя как главы, фактически помогал цезаропапизму. Никогда он не поддержал ни одного случая нравственного влияния нации на Верховную власть, за исключением своего собственного влияния. Конечно, он допускал давление общественного мнения, например, во время польского восстания или во время сближения с Францией. Но допускал его только потому, что сам считал в данных случаях общественное чувство и мнение правильными. Таким образом, он действовал как чисто практический деятель. Если бы он когда-либо уверился, что земский собор поддержит то, что думает сам Катков, он, вероятно, потребовал бы и земского собора. Его публицистической проповедью руководила практика.

Аксаков же готов был дать России возможность самой высказать, что она считает лучшим для себя. Это разница темпераментов, и в силу

этого Аксаков, при худшей формулировке, искренне выражал требования самого идеала царско-народных отношений.

Но если подвести счет политическому учению Аксакова, то итог получится все-таки небольшой. Положительного и верного в нем лишь то, что, во-первых, связь царя с народом, по существу нравственная, но какая? – это не определено; во-вторых, что есть учреждения, которые царская власть, не превращаясь в абсолютизм, не может уничтожать, а именно то, что охраняет церковную самостоятельность, – патриаршество, соборы, затем «местное» самоуправление и Земские соборы, выражающие право подданных выражать свое мнение и критику. Во всем этом славянофилы и Аксаков стояли на совершенно верном пути к разработке политики самодержавия, но разработки этой все же не сделали и свое учение запестрили множеством теоретических произвольностей.

К. Н. Леонтьев

ПИСЬМО К И. И. ФУДЕЛЮ

(Между 1889 и 1891 гг.)

Оттенки, отличающие М. Н. Каткова от Ивана Аксакова и других славянофилов, касаются государства и «государственной пользы»… Катков чуть ли ни антипод славянофилов.

«Он отличался от них особенно тем, что не ходил далеко за туманными идеалами, а брал то, что есть под рукою. Не мечтал о «будущем», а с жаром в лучшее время своей деятельности (с польского восстания 1863–1864 гг. и до кончины) старался сделать пользу *тому* государственному порядку, который *есть*. И. С. Аксаков был последовательнее и неизменнее – его статьи возвышали помыслы; но все, что он предлагал *делать сейчас* – было некстати. Катков менялся и казался непоследовательным; но у него было великое чутье *времени и срока*. Например,

Аксаков был за большую свободу печати; он воображал (именно *воображал*), что эта свобода – сама по себе имеет нечто целительное; *это неправда*. Вред от этой вольной болтовни неимоверно сильнее пользы. Катков, сам вначале стоявший за большую свободу печати, скоро отступился от нее, *понял* то, чего Аксаков понять никак уже не мог, потому что взирал на человечество, и особенно на русское человечество, слишком *морально*. Он, видимо, слишком верил в хорошие качества русского народа, русского племени – русского духа.

Катков, видимо, не *очень-то* в них верил (и был *прав!* Какая польза в приятном самообмане, *на поприще политическом*?). Катков верил в силу и будущность *государства* Русского; и для *укрепления* его не слишком разбирал средства (страх так страх! насилие так насилие; цензура так цензура; виселица так виселица и т. д.).

Катков был похож на энергического военачальника, знающего *удобопревратную* натуру человека; начальник этот, ввиду наступающего неприятеля, не находит возможным «убеждать» высокими речами заробевших и бунтующих солдат; – *некогда!* Он разбивает сам рукой голову одному, бьет кулаком по лицу другого, ругает третьего, ласково ободряет остальных и кратко взывает к их патриотизму. И. С. Аксаков во *время пожара* читает благородную лекцию о будущей пользе взаимного страхования любви. Бог с ним в такую минуту. Я люблю – полицмейстера, который в такую минуту и меня самого съездит по затылку, чтобы я не стоял сложа руки… Катков в тяжелые дни своеволия и расстройства накидывался на «низших» (т. е. на обреченных самим Богом повиновению); Аксаков либерально и некстати великодушно корил всегда «высших». Катков не брезгал чиновником; Аксаков всегда бестолково (подобно европейскому либералу) нападал *прежде* всего на чиновника. Катков не щадил ни студентов, ни народ, ни земство, ни общество и предпочитал (*основательно*) официальную «казенную» Россию. *Основательно* – ибо даже и вера Православная не только пришла к нам *по указу* Владимира, но и *въелась* в нас благодаря тому, что народ «загнали» в Днепр. И Катков понимал, что одним «чиновником»

дышать и развиваться нельзя нигде; но что ж делать с неофициальной Россией, когда она слабее, глупее, бесчестнее, несогласнее, пьянее, ленивее и бесплоднее «казенной»…

Катков *на практике* ежедневной служил славянофильскому идеалу гораздо лучше, чем сами славянофилы. Он видел *жизнь*, он понимал горькую правду нашей действительности, – пожалуй и поэтической, но запутанной быстрыми либерально-европейскими реформами. Что ж делать, если из двух *русских Европ*, так сказать, наша «казенная» Европа охранительнее, сильнее, надежнее, Государственнее *и даже национальнее* Европы либерально-русской… Государственность наша, даже и полуевропейская, несравненно резче отделяет нас от Запада, чем наша общественность, в которой за последние 30 лет почти уж ничего не осталось бы своего, если бы не сильное правительство… Еще параллель: Катков после 1 марта 81-го г. был против *земского собора;* и его друг Н. А. Любимов написал против этого очень хорошую книгу («Против течения» *Варфоломея Кочнева).* Они справедливо опасались, что и у нас (подобно Франции 89 г. XVIII в.) – *революция* посредством земского собора *станет на легальную почву...* И тогда – прощай Россия!.. Аксаков, его партия хотели земского собора… Я, признаюсь, лично Каткова очень не любил… Но он был истинно великий человек; он был и тем даже велик, что шаг за шагом, не колеблясь, отступался от всех прежних (более либеральных и европейских) убеждений своих, когда понял, что они нам не «ко двору»! Когда понял и то, что русская нация *специально* не создана для свободы; и то, что и на Западе – все либеральное мало-помалу *оказывается просто разрушительным*...

Дайте нам могучее *сословное,* малоподвижное земство – дайте нам общество религиозное… распространите некоторый фанатизм *русских* вкусов – и тогда *само собою* охранение станет меньше нуждаться в официальной помощи. *Но где это* теперь? Есть только мечты, надежды, начинания…

Катков был *за сословия;* из *его* направления вышел *Пазухин («Сословный вопрос в России»)*[1]. Славянофилы советовали дворянству

совсем *слиться* (смешаться) с народом, не *догадываясь,* что не народ нас своим влиянием оденет в кафтаны и заставит ездить в Оптину, – а мы сейчас оденем его в пиджак и научим его верить больше в *атомы*, чем в Св. Троицу…

Катков – был не прав и революционен (*бессознательно*) лишь там, где он близок к славянофилам – например, в вопросах *панславистических* вообще, и в *особенности* в вопросе *церковно-болгарском*. Здесь и Аксаков, и Катков – *одинаково* на ложной дороге. Во всем другом полезно, оставаясь верным общей надежде славянофилов *на особый* культурно-славянский тип, проверять их и *Катковым.*

Три главных пункта, чем поучителен Катков: «*государственность, сословность,* бесцеремонность в политике».

А. Н. Штиглиц

ПАМЯТИ ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА АКСАКОВА

И. С. Аксаков, второй сын известного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, родился 26 сентября 1823 г. в селе Надеждино-Куроедово, Белебеевского уезда, Уфимской губернии. 30 апреля 1838 г. Сергей Тимофеевич привозит сына Ивана в Петербург для определения его в недавно открытое Императорское училище правоведения. На предварительных испытаниях, которые должны были решить вопрос, может ли молодой человек быть допущен к публичному испытанию для поступления в 1-й класс, 15-летний Аксаков удивил всех экзаменаторов обширностью своих познаний и толковостью ответов. Профессор истории Кайданов, рассказывая об экзамене, говорил: «Как отлично отвечал мне Аксаков! Распространяет ответ шире поставленного вопроса, разбирает все относящиеся к событию обстоятельства. Что твой профессор. Просто я слушал, а он мне лекцию читал». В 1842 г., по окончании курса в училище правоведения, Иван Сергеевич переходит на службу в один из

московских департаментов Сената. В конце 1843 г. состоялась отправка астраханской сенаторской ревизионной комиссии князя Гагарина, в которой участвовал и Иван Сергеевич.

В 1848 г. Аксаков переходит в Министерство внутренних дел чиновником особых поручений и тотчас же по поступлении на новую службу он едет в Бессарабию для расследования некоторых раскольничьих дел. Вскоре затем И. С. едет в Ярославскую губернию для ревизии городского управления, для обсуждения на месте вопроса о единоверии, введению которого противился Ярославский архиепископ, и для изучения в составе особой комиссии секты «бегунов», или «странников». Ознакомившись с нравами, обычаями и учением сектантов, И. С. воспользовался этими сведениями и написал солидный труд: «О бегунах». В 1852 г. И. С. выходит в отставку. Отставка эта была вызвана доносом ярославского губернатора в Петербург. В доносе говорилось, что Аксаков читает знакомым какую-то подозрительную рукопись. Рукопись эта оказалась известною поэмою его «Бродяга», за которую автору пришлось держать ответ перед III отделением Собственной Его Величества Канцелярии на письменно предложенный вопрос: «Почему он, Аксаков, беспаспортного человека выбрал себе в герои?»

Возвращая поэму автору, министр внутренних дел граф Перовский 29 января 1851 г. извещает Аксакова, что он в рукописи его стихотворного сочинения не нашел ни предосудительных мыслей, ни сомнительного направления по цели... но что человек, посвятивший себя службе и занятый исполнением важного поручения, доверием начальства на него возложенного, едва ли может найти, без ущерба для службы, довольно свободного времени для литературных или других посторонних занятий. «Посему желательно, – говорит в заключение министр, – чтобы вы, оставаясь на службе, прекратили авторские труды». По выходе в отставку И. С. едет в Москву, к отцу и брату Константину.

Тогда в Москве сплотился славянофильский литературный кружок, решивший распространять свои идеи путем печатного слова. В 1862 г. этим кружком издан первый том «Московского сборника». И. С. был ре-

дактором этого тома, в котором появилась в отрывках вышеупомянутая поэма «Бродяга». Изданный на следующий год второй том «Сборника» был запрещен, причем издателю было объявлено, что запрещение последовало «не столько за то, что в нем сказано, сколько за то, что умолчано». Вместе с тем приказано всем главным участникам в издании «Сборника»: братьям Аксаковым, кн. Черкасскому, Хомякову, братьям Киреевским не иначе печатать свои статьи, как с разрешения Главного управления цензуры, что, говорит И. С., равнялось запрещению. Кроме того, все сотрудники «Сборника» были отданы под надзор полиции. В 1853 г. И. С. принимает предложение Русского географического общества описать торговлю на украинских ярмарках. Результатом его поездки явилось «Исследование о торговле на украинских ярмарках», изданное Географическим обществом в 1859 г. За это сочинение Географическое общество присудило Ивану Сергеевичу большую Константиновскую медаль, а Академия наук – половинную Демидовскую премию (рецензия была написана И. Х. Бунге).

По возвращении из Малороссии И. С. поступает в Серпуховскую дружину, бывшую под начальством князя Гагарина. Серпуховская дружина в деле не участвовала и дошла только до Бессарабии, но И. С., бывший казначеем дружины, удивил тогдашний официальный мир своею честностью. В мае месяце, 1856 г., И. С. едет в Крым, будучи приглашен князем Васильчиковым участвовать в следственной комиссии по делу о злоупотреблениях интендантства во время войны. В 1858 году И. С. принимает на себя (неофициально) редакцию журнала «Русская беседа». Официальным редактором журнала считался издатель его А. И. Кошелев.

Запрещение, наложенное на И. С. в 1853 г., быть когда бы то ни было издателем или редактором журнала, в ряду других карательных мер, которым он подвергся за 2-й том «Московского сборника», было снято с него в 1859 г.

Благодаря Аксакову в 1858 г. вышли 3-й и 4-й том «Русской беседы», а в 1859 г. шесть книжек. В этом периодическом издании участво-

вали лучшие силы славянофильского литературного кружка. В 1859 г. И. С. Аксаков предпринимает издание еженедельной газеты «Парус», которая должна была служить главным органом славянофилов. Но она была прекращена на втором номере. 30 апреля 1859 г. умер отец Ивана Сергеевича – Сергей Тимофеевич, вследствие чего брат Ивана Сергеевича – Константин Сергеевич – от тоски заболел чахоткой и был отправлен докторами на остров Занте, где он и умер в декабре 1860 г. Иван Сергеевич сопровождал его и не оставлял до самой смерти.

Во время своего пребывания за границею Аксаков познакомился с выдающимися политическими и литературными деятелями западного и южного славянства. Возвратившись в Москву, Аксаков начинает издание еженедельной газеты «День». Разрешение издавать эту газету было ему дано под тем условием, чтобы в газете не было политического отдела. «День» стал выходить с конца 1861 г. и занял выдающееся положение среди органов печати, благодаря редактору-издателю, а также вследствие тогдашних крупных событий внутренней и внешней политики (освобождение крестьян, польский вопрос, герцеговинское восстание). В июне месяце 1862 г. от Ивана Сергеевича потребовали, чтобы он выдал имя автора одной корреспонденции, резко порицавшей административные порядки в Прибалтийском крае. Он отказался исполнить это требование и был временно отстранен от редакторства. Звание редактора он передал Юрию Федоровичу Самарину, хотя фактически сам остался редактором. В конце 1865 г. личные обстоятельства заставили И. С. прекратить издание «Дня». В 1858 г. был основан московский Славянский комитет, первым секретарем которого был И. С. Аксаков. После смерти Погодина (1875) И. С. был избран председателем комитета.

В 1867 году И. С. предпринимает издание газеты «Москва», которая просуществовала с 1 января 1867 г. по 21 октября 1868 г. 22 июня 1878 г. И. С. произносит в московском Славянском комитете речь против Берлинского конгресса, за которую комитет был закрыт, а И. С. должен был оставить Москву. Но уже в декабре того же, 1878 г. Ивану Сергеевичу разрешено возвращение в Москву. В ноябре 1880 г. И. С.

начинает издание еженедельной газеты «Русь», которая продолжает выходить по день смерти И. С.

Впрочем, по случаю болезни редактора произошел полугодовой перерыв в издании, а от 1884–1885 гг. «Русь» выходила в виде двухнедельного издания. В конце 1885 года появилась в «Руси» статья И. С. по болгарскому вопросу. В этой статье И. С. весьма резко нападает на нашу дипломатию. За эту статью И. С. получает предостережение, мотивированное тем, что газета «обсуждает текущие события тоном, несовместным с истинным патриотизмом». 27 января 1886 г. И. С. Аксаков скончался от болезни сердца.

Иван Сергеевич Аксаков был безукоризненно честною, благородною, светлою личностью. Много говорят об общем падении нравов, об общей развращенности нашего времени, но России бояться нечего, пока будут рождаться в ней и преуспевать такие люди, как И. С. Дерево мы познаем по его плодам, от гнилья свежести не ищут.

Сердце, душа народа здорова, когда среди него появляются такие величайшие по уму и по нравственной чистоте общественные деятели.

Не погряз такой народ в материализм, в богомерзкое поклонение золотому тельцу, в животно-подобную жизнь. Вся жизнь И. С. является образцом рыцарства, бескорыстия, неподкупности.

Что же такое народ? Все в каждой стране, граждански живущей, существует *из* народа, народом, *ради* народа и вне народа, вне его участия, прямого или косвенного, положительного или отрицательного, не могло бы существовать то, что существует. В обширном смысле народом называется все население известной страны, представляющее цельность нравственную и физическую, единство происхождения и предания, единый общий тип физический и духовный. Но в тесном смысле, и более строгом, народом называется *простой* народ, то народное множество, которое живет жизнью непосредственной и, как зерно, сосредоточивает в себе всю органическую силу, все развитие организма. Народ состоит из отдельных единиц, имеющих каждая свою личную разумную жизнь,

деятельность и свободу... Народ не есть агрегация или совокупность лиц с их совокупною деятельностью, а живой цельный духовный организм, живущий и действующий самостоятельно и независимо от лиц, составляющих народное множество. Прогресс мысли, сознания, творчества в этом организме, его физиологические и психические законы составляют такую же тайну, как и самая тайна жизни. Возьмите, например, язык в народе, хоть наш русский. По свидетельству филологов, он поражает мудростью, стройностью, логичною последовательностью своих законов. Он являет как бы работу мысли, раскрытие которой и составляет задачу филологии, почти неисчерпаемую. Между тем ни одна отдельная личность в народе не мыслила, не работала над языком... Каким же образом, когда ни одно отдельное лицо не обдумывало системы языка и все вместе не условливались в ее строении, создается, однако, язык, весь как бы проникнутый сознанием. Очевидно, что те же самые лица, как *народ*, составляет особый цельный организм, в котором духовные отправления и процесс сознания совершаются иным путем и иным порядком, нежели в отдельном человеке. Собственно говоря, это не есть сознание в обыкновенном смысле: здесь совершается бессознательное *творчество* народного разума и воли. Народные единицы не замечают здесь участия своей личной мысли, участия, однако, несомненного, здесь нет посредствующего действия мысли между отдельною личностью в народе и народом. Как самое народное творчество принадлежит всему народу, а не отдельным лицам, так всему же народу принадлежит и сознание этого творчества. Отдельные лица уже особым, новым действием пересознания постигают мысль, вырабатываемую народным творчеством. Это постижение народной мысли личным сознанием есть уже новая ступень в жизни народной – народное самосознание. Это самосознание совершается в обществе...

Теперь посмотрим поближе, что такое общество.

Во-1-х, имеет ли оно какую-нибудь политическую, внешнюю организацию? Никакой. Это не есть ни сословие, ни цех, ни корпорация, ни кружок, ни какое-либо иное, условленное соединение людей. Это даже

не собрание, а совокупная деятельность живых сил, выделяемых из себя народом, деятельность людей, которые вышли из народа, но не состоят уже под законом непосредственного быта, не поглощаются в народе, а, напротив, делают непосредственное творчество народное и самый народ предметом своего сознания и деятельности, получая в то же время от народа жизнь, питание и силу...

Во-2-х, общество... не должно кристаллизироваться, костенеть, мертветь, а должно постоянно освежаться, обновляться новым притоком сил из народа, одним словом, состоять к нему в таком же отношении, как дерево к корню...

В-3-х, общество... существует только там, где есть цельное народное тело, цельный организм с соответствующим ему цельным органическим покровом, то есть внешней государственной формой...

Здесь Иван Сергеевич Аксаков развивает мысль, что до объединения Германии в ней не было общества, обладавшего живой, реальной действительностью. Немец мог до политического объединения Германии обрести единство германского организма только в области отвлеченной – в Шиллере Канте, Гёте, Гегеле. Вот почему у немцев не было в языке и выражения, соответствующего нашим словам: общество, общественность, общественный, вот почему в немецкой литературе не было общественного романа вроде сочинений Диккенса, Гоголя или Бальзака, потому что в области действительности германец превращался в гессенца, мекленбургца, баварца и пр.

В-4-х, сила общества – есть слово, и, по преимуществу, печатное слово, разумеется свободное[1].

[В редакции 1896 г.: о всемирно-историческом призвании России.]

1 августа 1884 г. И. С. Аксаков пишет в газете «Русь»: «Нас нисколько... не смущают никакие теории Духинского[2], никакие попреки в чужих примесях к нашей славянской породе. Немало, конечно, проникло в наш народный состав крови чуждой, всякой, азиатской и, в особенности, финской. Но есть нечто поважнее и помогущественнее крови, и это нечто, то есть духовное начало славянское, соблюлось в русском на-

роде в большей чистоте, мало того: проявилось деятельною, творящею силою неизмеримо в высшей степени, чем во всех прочих славянских племенах разных наименований, которые остались на степени племенных видов и физиологически, пожалуй, более породисты, чище нас сохранили свою расу... Самое даже название «русский» является в русской истории уже отрешенным от видового племенного определения. Вступая в государственное историческое бытие, все эти разные славянские племена – поляне, древляне, вятичи и пр., перечисляемые Нестором, – по его же словам, прозвались Русью, сливаются в один народ русский, слагают одну землю Русскую... Но все это было пока не более как сосуд, ожидающий содержания, тело как бы еще животное, еще не одухотворенное свыше. С принятием же Св. Крещения пред новокрещенною, православною, славянскою Русью развернулась и вдаль и вширь беспредельного на Востоке простора перспектива иной, мировой исторической задачи: создание высшего и широчайшего, и притом свободного, единства в конкретном образе Русского государства или, точнее, русского христианского народа Русской земли. Символами этого единства, действительно, – православный крест Христов и русский язык...»

Что же противополагается романо-германской Европе или Западу в лице России? Мир православно-восточный, или славянство, возросшее до значения православно-восточного мира. Мир этот еще слагается, Византийская империя, хотя и называлась и была «Восточною», не способна была однако же воплотить собою этот православно-восточный мир. Под сенью Византии, в этом ее вечная заслуга, Христианская церковь впервые предстала миру воочию, со своею святою, вселенско-соборною, братолюбивою сущностью и преподала образ такого соборного всехристианского единения и для будущих лучших веков, по миновании веков разделения и обособленного исторического развития.

Под сенью Византии же христианский Восток выяснил и определил, а вселенское церковное единомыслие соборно и окончательно выразило и утвердило существенные основы истинного вероисповедания, каковые в своей чистоте и сохранились в вероучении Церкви так на-

зываемой Восточной, или Православной. Но Византийская империя, сама создавшаяся на римской закваске, проникнутая в государственной жизни началами Древнего Рима, не в силах была разрешить внутреннего противоречия этих старых своих, языческих, родных ей начал с началами обновления во Христе? Его же самой провозглашенными и вознесенными над своим бытием...

Вино новое требовало и мехов новых, и Византия пала, передав свое драгоценное духовное достояние, то церковно-историческое призвание, которое она неспособна была выполнить, – России. Достойною ли оказывается Россия призвания – это другой вопрос, но что она призвана, это, кажется, не может подлежать и сомнению, и тем хуже для нее, если она окажется недостойною!.. И именно потому, что этот православно-восточный мир еще созидается, еще в процессе внутреннего развития и сложения, ни о каком «соединении Церквей»... теперь и речи быть не может. Разделению сему подобает быти – пока, с одной стороны, Россия не придет в надлежащую меру возраста и силы и не проявит, во всех сферах жизни, хоть в той же полноте и самостоятельном развитии, как и на Западе, существенные стороны своего народного духа, с другой – пока сам церковный Рим не возвратится к чистоте и братолюбивой сущности христианского учения и не исцелится от похоти властолюбия…

Впрочем, вопроса о разделении церквей мы касаемся теперь только мимоходом, мы отмечаем здесь лишь исторический факт, служащий нам точкой отправления для уразумения особого призвания России в истории – ее противоположения на всемирно-исторической арене Западу. Было бы совершенно ошибочно думать, что здесь «противоположение» означает непременно вражду или борьбу в грубом смысле слова, на жизнь и на смерть (как многие охотно толкуют отношение «Руси» к Западу), нисколько. В этом смысле противополагает себя Востоку и России сам Запад, но не Россия. Под «противоположением» разумеем мы здесь лишь самостоятельное проявление в лице православной России новых, отличных от Запада и им не явленных сторон человеческого духа: поле для их беспрепятственного всемирно-исторического

развития – Восток, и то, что сама Европа называет Востоком, но что для нас собственно – Юг.

На Западе же нам, собственно, делать нечего. На своем поле он уже поработал для человечества довольно, совершил ряд величайших подвигов в области мышления, знания и жизненного опыта, благодеяниями которых и мы пользуемся, да и обязаны воспользоваться во всей полноте, как общечеловеческим достоянием. Романо-германской Европе мы не навязываемся ни с какой пропагандой, ни с какими притязаниями на миссию, озабоченные лишь своим собственным самосозиданием. Никаким Drang nach Westen[3] мы не одержимы. Притязания наши по отношению к Западу только в том и заключаются, чтобы он-то сам признал наши права, как мира русско-славянского, не лез в сферу наших интересов и нашей деятельности и оставил бы нас в покое»[4].

Русский народ и вообще-то не питает вражды ни к каким народам и племенам, и тем менее питает ее к племенам европейским, которые он всегда отличал и отличает от «басурманских», но именно Западная Европа сама преисполнена к нему, как и вообще к православному миру и к славянству, неугасимой вражды и ненависти. Эта вражда – неугомонно воинствующая, в том или другом виде. Рим, например, не перестает насылать на православных христиан полчища миссионеров – угрозами, казнями и обольщениями совращая их в подданство папе. Кровь стынет в жилах при одном чтении о подвигах латинских миссионеров в злосчастной Боснии!.. Со всех сторон ломятся немцы на Балканский полуостров, мечтая оттеснить Россию и перенять у нее наследие Византии, создать новую, Латинскую, Восточную империю... Все слилось в единое чувство тайной и явной вражды западноевропейского мира к Православной России и славянству: и племенное самомнение, и аристократическое высокомерие, религиозная и культурная нетерпимость, презрение и в то же время страх; намеченная Западом себе добыча – разные, еще не ассимилированные славянские, за русским рубежом, племена – ускользает, и выступление славян на самостоятельное всемирно-историческое поприще представляется ему грозным бунтом плебеев против патрициев!

Наши мнимые либералы не позволяют себе даже и помышлять о каком-либо самостоятельном призвании России, осуждая ее на вечное ученичество и обезьянство, – но об этом призвании непрестанно пророчествует западноевропейская русобоязнь... В таких беспокойствах и чувствах к нам Запада повинен не кто иной, как он сам, с его патрицианскими и аристократическими притязаниями и властолюбивыми похотями. Мы подлежим упреку разве лишь за долготерпение, с которым переносили и переносим его насилия над славянством и нарушение законнейших. Одним словом, противополагая Россию Западу, мы находимся по отношению к нему в положении не наступательном, агрессивном, а лишь оборонительном...

Но обратимся к созиданию православно-восточного мира в образе России. Если по отношению к европейскому Западу мы состояли и состоим собственно в оборонительном положении, то по отношению к Востоку мы искони находились и находимся в положении наступательном. Здесь, слава Богу, с Востока, широкое поприще открывалось для зиждительства нашему национальному духу. Мы можем лишь гордиться тем, что успели совершить наши «толстобрюхие», «долгополые», «длиннобородые» предки, один образ которых приводит в краску стыда их «культурных потомков» и которые проявили такую необыкновенную способность к колонизации, сплочению и сращению инородных элементов... В историческом процессе нашего государственного созидания замечается черта, которою он существенно отличается от подобного же процесса в Европе... Там политические или государственные цели были почти всегда впереди и предшествовали воздействию, культуры, цивилизации...

Старая же Русь наша, помимо политического сложения, росла себе органически, стихийно, независимо от воли и деятельности правительства, всегда переступая официальные русские государственные пределы. За официальными государственными рубежами всегда оказывалась Русь зарубежная! Государство по большей части шло вослед народному движению и колонизации, а не они по пятам государства...

Русское государство не подходит под общеизвестную, научно-установленную норму государства западного. Наше государство строилось не только князьями и царями, но также и святою отвагою отшельников, ставивших монастыри Бог весть где, в глухих лесных чащах, в пустынных дебрях, среди полудиких инородцев, и деятельною любовью проповедников слова Божия, вроде Зосимы, Савватия, Стефана Пермского просветителя, а потому и обрусителя земли зырянской (хотя он об обрусении и не думал, а переводил Св. Писание на зырянский язык!), и предприимчивостью торговою, а также и воинствующею вольницей, гулящими людьми – удалью казацкою. Обрусение совершалось не во имя какой-либо «государственной теории», не по плану, а свободно, каким-то неисследимым процессом, но притом так прочно и бесповоротно, что мы, потомки, можем тому лишь завидовать. Ничего не поймет в русской истории тот, кто изучает лишь историю одних государственных деяний и событий в тесном смысле или образование лишь одного внешнего правового порядка. Не объяснит он нам, как могло государство с его скудными средствами и силами, с его неуклюжими порядками и тяжелыми приемами, справиться со своим необъятным простором и, не пугаясь его ширить да ширить пределы, и в конце концов, несмотря на все испытания, создать такую исполинскую мощь...

Подвига строения Руси, повторяем, положительно не осмыслит себе тот, кто просматривает действие в нашей истории подспудных сил народно-духовных. Но как история Русского государства немыслима без истории этой земщины, так немыслима та и другая без истории русской Церкви, которую опять-таки надо искать не в истории русской иерархии, а в истории жизненных проявлений христианства, в самом бытии народном. До сих пор еще остается недостаточно выясненным, растолкованным и оцененным изумительный факт спасения и возрождения Русского государства в 1612 г. одним народом, точнее сказать земщиной, одною ею: значит, жива и животворяща была она, несмотря на «деспотическую» форму правления! Мало того: государство, стоявшее совсем на краю гибели, казалось, вконец разрушенное, без войска, без

правительства, без всяких административных учреждений, с победоносным врагом в столице и на окраинах, – это самое государство, через 50 лет после мужичьего подвига со смиренным князем Пожарским во главе, присоединяет к себе Малороссию, принимает в подданство Имеретию, а через 90 лет бьет шведов, овладевает балтийским прибрежьем, опекает самую Польшу! Если в конце XVII столетия возникает Петр, то ведь до Петра из государственных деятелей после междуцарствия не было ни одного великого и гениального, не на кого и указать! В том-то и дело, что до реформы Петра или, точнее, до той поры, когда его реформа проникла в самую душу русских официальных и общественных деятелей, действие народных подспудных сил не было еще нравственно подавлено и заторможено вторжением чуждой духовной стихии. Государство могло быть и деспотичным, правительство грубым, жестоким, но духовного разъединения между ним и народом еще не было.

Цельность внутренней всенародной жизни еще ничем не была подорвана, потому-то и обладала она этою удивительною силою сращения с государственным и народным телом новоприобретаемых краев и племен. Первым делом Ивана Грозного, например по взятии Риги, было даже, может быть, без предвзятой цели, а так, потому что это в русском нраве, воздвигнуть Православную Церковь. Не долго пробыл он там, но следы оставил, а удержи он за собой Ливонию, она явилась бы теперь иною, чем мы ее видим, стала бы совсем русским краем, где и неметчине не было бы и помину, не стал бы он там строить «Екатериненталей», и немецкие названия городов заменил бы русскими, ничтоже сумился, припомнил бы (потому что предания русской истории были живы и в нем, и во всей Руси), что Дерпт-Юрьев – город, построенный Ярославом, и немецкого университета для онемечения латышей в нем бы не завел. Взял он Казань силою, но кровавый след тотчас же затянуло мощным ключом русской жизни, явились и чудотворные иконы, и иные святыни, и через 60 лет после взятия Казани это имя звучит в названии храмов, становится наипопулярнейшим в Русской земле! А там, по Дону, по Яику, по низовьям Волги, ставят

свои курени и станицы казаки, по степи и по морю воюют с азиатчиной... самочинно работая на великое Русское государство, без всякого повеления и руководства правительственной власти и лишь кланяясь царю завоеванными царствами и городами!.. Ту же работу совершили, сами того не сознавая, но движимые тем же общерусским народным инстинктом, и малорусские казаки с запорожцами по низовьям Днепра и на Украине, как в борьбе с туретчиной и татарвой, так и в борьбе с поляками и латинством за русскую свободу и Православие... Все это было, конечно, неблагоразумно, отзывалось невежеством, дикостью, грубостью, пожалуй и суеверием, и фанатизмом, но вместе с тем, несомненно, энергией, внутреннею цельностью народных творческих сил. Получило наше государство благообразие европейское, поступили мы в ученики к Европе, и внутренние силы мигом оскудели. Конечно, не замерли они и теперь: чем же иным стоит, живет и все же кое-как движется наше государство, как не тою же подспудною историческою русскою силою? Не хитроумием же петербургской администрация, не бюрократическим же усердием канцелярии? Но силы только что не замерли, живое же, мощное творчество их пресеклось. Существенная разница обеих эпох в том именно и состоит, что с XVIII в. руководящей, правящей общественный русский слой отчужден мыслью и духом от своего народа и в качестве ученика Западной Европы не имеет других точек зрения, другого образца и другого мерила для явлений русской жизни, кроме западноевропейских, которые опять-таки знает по-гречески, плохо: он в них не хозяин, не самостоятельный мастер... Это тотчас же и отразилось на отношениях наших к новым приобретениям и вообще к окраинам: «сплошной русской силы» мы уже нигде создать не могли. Пошли в ход применяемые всею тяжкою силою русской государственной власти разнообразные иностранные теории, противоречившие требованиям русской практики. Всевозможные доктрины со своими абстрактными идеалами – отвлеченными не только от жизни вообще, но и от всякой религиозной основы – отвратили русские взоры от своего высшего и широчайшего, политического, социального и ре-

лигиозного идеала. Мы усомнились в себе самих, в своем призвании, в своих правах, в своих силах. Наступила пора раздвоения, безверия в Русь, болезни мнения и воли. Длиннобородые наши предки рефлексией заедены (любимое слово литературы 40-х гг.) не были, а в XIX в. она заедала самих носителей власти. Александр I был во многих отношениях мучеником-гамлетом на престоле... Прибалтийская окраина с привилегированным немецким элементом, Финляндия также с своими более или менее вредоносными для России в экономическом отношении привилегиями, Финляндия, к которой русское правительство, ни с того, ни с сего, присоединило часть коренного русского населения, возвращенного Петром из-под шведского подданства, лучший залив на мурманском берегу, неизвестно почему отданный Норвегии, Польское Царство, Литва, Белоруссия, Заднепровская Украина...

Какую силу ассимиляции и истинного обрусения проявило Русское государство в течение XVIII и XIX столетий в сравнении с ассимиляцией и обрусением Руси старой, хотя последняя и слова-то этого не знала? И какое же возможно «обрусение» для официальных орудий власти, когда сама российская интеллигенция не решалась, не решается и до сих пор, взять смело и открыто сторону русского народа даже в возвращенных от Польши русских областях, так как пред лицом «представителей европейской культуры» (даже таких, как поляки) у нее душа в пятки уходит и чувствуется подлость во всех жилах, как у Чичикова пред миллионером?! А когда уроки истории заставили наконец правительство крепче стянуть эти окраины с государством, что же у него остается в распоряжении при оскудении русского национального, земского духа, кроме насильственных, а потому – и не плодотворных мер?.. 1 сентября 1884 г.

И. С. Аксаков пишет в газете «Русь»: «Недавно один из русских путешественников за границей с завистью рассказывал нам об отрадном впечатлении, произведенном на него правильностью прогресса, мирным и мерным ходом общественного развития в Германии. Особенно поразило его отсутствие всякого глумления над существующим

строем, всякого пренебрежения к установленным законам, правилам, учреждениям, званиям, – напротив, все и каждый относятся с полною серьезностью и уважением к пребывающей в действии и силе государственной и социальной системе и несмотря на непрерывную деятельность протестующей, прозирающей в будущее, зиждительной мысли сверху и снизу. Есть, пожалуй, и партия анархистов, но анархизм так уж и выделяется сам как бы официально, в виде партии. В умах и в нравах, в понятиях и чувствах общественных анархий не видать. При всем том жизнь не в застое, постоянно движется вперед, не в застое и система, – постоянно, систематически же исправляется, видоизменяется, совершенствуется. Но отживающее не топчется с ожесточением в грязь, по всякому званию ему же честь – честь всякой должности, пока она стоит подобающий почет, и не из страха, не из корысти, а свободно и искренно, даже с любовью. А как переступишь обратно русскую границу, попадешь в сонмище соотечественников – словно ввалился в хаос какой-то: ничто не свято, не почетно, не честно, ничто не стоит твердо и прямо, а все как-то криво да косо, точно расшатанное, всякий издевается над чужим и над собственным званием, служащие исполняют свою обязанность с усмешкой, как бы стыдясь и совестясь, в вагонах, по отношению к России и русскому строю, – вакханалия самооплевания и самозаушения. «Почему же это так? – с отчаянием спрашивал наш путешественник... – Почему?!..»

Немцев мы пока оставим в стороне, но то, что касается нас, замечено путешественником верно. Основы, на которых зиждется, которыми держится Россия, может быть, у нас незыблемее, чем в самой Германии. Можно надеяться (и мы лично верим), что Россия с них не сорвется, как бы не расшатывалась из стороны в сторону, но от этой веры в настоящем не легче. Действительно! Нет у нас ни истинной жизни с ее деятельным творчеством, ни сонного затишья, а есть толчея. Действительно! Нет прочной системы, но нет даже и уважения к самому качеству систематичности. В современном нашем строе ничто нам не заветно, не мило, ничего мы не любим, ничем не дорожим. Почему это? Потому

что у нас нет преданий, или, вернее, подорвана с ними связь, искоренено само почтение к ним, и не в жизни только, но и в принципе...

Единственный консервативный и в то же время прогрессивный путь развития есть исторический или, точнее сказать, органический. Германия и идет этим путем, стоит на исторической почве. Нас же революция, воплотившаяся в лице Петра, вытолкнула из исторической колеи, мы и колесим, колесим! Не было в летописях мира такого революционера, как наш Петр Великий!.. А не его ли духом запечатлен весь последующий ход нашей жизни, нашего домостроительства, государственной и общественной мысли и деятельности? Не в том ли его духе воспитывался и воспитывается у нас целый преемственный ряд поколений в течение чуть не двух веков?..

Нужно, однако, оговориться, так как, пожалуй, у некоторых читателей понятие о революционном начале непременно связывается с образом революции французской, с красным фригийским колпаком, с демагогическим знаменем: au nom du people soouverain[5], и т. п. Под революционным началом мы разумеем деспотическое, чисто внешнее насилование и извращение исторического склада страны, грубый, тиранический разрыв со всеми преданиями прошлого, одновременно с таковым же водворением чуждых доселе новшеств, пресечение или подавление свободного органического процесса и творчества жизни, с перенесением этих ее функций и всех ее прав на восторжествовавшую власть, становящуюся отселе единым двигателем и водителем по новому, навязанному стране пути. Отличительное свойство таких насильственных переворотов состоит именно в том, что творчество жизни заменяется правительственным сочинительством и рукоделием, лишенным внутренней прочности и нравственного авторитета не только в сознании страны, но и в сознании самого правительства.

Раз с историей и старыми преданиями считаться нечего, а недавнее сочинение еще и не могло прочно приняться в жизни, то нет причины дорожить им и не заменить сочинением новым, по усмотрению обновившегося правительственного состава. Конечно, Петровский перево-

рот не имеет никакого внешнего сходства со знаменитым французским, но нельзя отрицать и некоторой аналогии. Для современного француза история начинается лишь с 1789 г., как и для русского интеллигента – с Петра. Как у русского по отношению к допетровской Руси, так и у француза по отношению к дореволюционному, сравнительно недавнему прошлому, историческую память почти совсем отшибло, так что «старый режим» менее чем за 100 лет должен раскрываться его сознанию путем ученых архивным изысканий.

И сколько в течение этих ста лет ни меняла Франция политических систем и учреждений, все же до сих пор не может приискать себе удобные приличные рамки, которые бы способна была полюбить и крепко себе устроить. Да и как же тут полюбить, когда в ней в этот короткий промежуток времени успели переменить чуть ли не до двадцати конституций. К какой же тут из них народу привязаться? Хоть не конституционных, но только административных и тому подобных учреждений со времен Петра и у нас перечередовалось немало, но, как и упомянутый выше русский путешественник заметил, особенною привязанностью ни одно из них что-то не пользуется, да и не пользовалось. Нам возразят, может быть, что уподоблять дело Петрово революционному перевороту неправильно уже по тому, что в новое, созданное Петром бытие России перешло и ее историческое существо: единовластие и Православная Церковь. Что эти основные начала остались живы и в преобразованной России – это несомненно. Россия вообще держится и стоит лишь старыми допетровскими началами и силами, а не Петербургом, конечно. Стоит и – уверены мы – перестоит все испытания и самый Петербургский период. Но едва ли справедливо утверждать, будто эти начала, в сознании носителей власти, сохранены Петровским переворотом в той же неприкосновенности, в какой они сохраняются у народа. Про Церковь, как внешнее учреждение, нечего, кажется, и говорить. Народ, разумеется, остался православным. Православие вошло в его духовную плоть. Он по-прежнему церковен, сознает себя в неразрывном союзе с Церковью. Но сама Церковь обращена в одно из правительственных

или казенных ведомств, и живое отношение архипастырей к пасомым искажено канцеляризмом, заковано в бюрократические формы. Далека была она от совершенства и в прежние времена, по своим недостаткам и порокам она все же могла бы найти исцеление в себе самой, в силах внутренней жизни и в самом своем внешнем строе, хотя бы подчас и безобразном. С благообразием же, введенным реформою Петра, подсечен, к несчастью, самый жизненный нерв русской Церкви, отчего и самая деятельность высшего церковного управления как бы осуждена на бесплодность и мертвенность. «Велика сила Божьей Церкви в русском народе», – выразился умиленно покойный митрополит Иннокентий, вспоминая свое путешествие из Иркутска в Москву, когда на всем этом громадном протяжении встречали его толпы народа, испрашивая архипастырского благословенья. «Велика сила Божьей Церкви в русском народе»!.. А Святейшего Синода – подивитесь-ка, вовсе почти и не знают: имени его от народа не услышите, словно он ему совсем чужой!.. Что же касается до самодержавия как нашего основного политического принципа, завещанного нам историей, то мы уже однажды объясняли в «Руси», что оно было понято или, по крайней мере, поставлено преобразователем совершенно односторонне, только лишь как власть, оголенная от стихии народной и стихии земской, следовательно, несравненно уже и теснее, чем оно понималось и продолжает, несмотря ни на что, пониматься народом: идея земли и земщины совершенно поглощается при Петре идеею государства, притом государства, так сказать, полицейского, по западноевропейскому типу... Петр заводил разные регламенты, уставы, коллегии, советуясь с Лейбницем, соображаясь с немецкими, шведскими, голландскими образцами. Екатерина заводит новые, свои порядки, советуясь с французскими философами и учеными. Затем опять сделали ломку и переиначивание, опять новые порядки и учреждения: Сперанский пленяется наполеоновской администрацией, централизацией и бюрократизмом. Ни к чему даже и привыкнуть нельзя! И что ни заведи – нет резона, чтобы заведенному, не успевшему еще и окрепнуть, не было предпочтено еще, по-видимому,

лучшее измышление. В том-то и беда, что все это не органический продукт, а подделки. «Nichts gewordenes, alles gemachtes»[6], – сказали бы немцы. Вот почему все у нас нипочем, и это нипочемство, относительно государственного строя жизни, составляет характеристическую черту нашего современного общества. Такова уже нравственная логика революционного переворота… Сначала между постройкой и новой сломкой перерыв был сравнительно долог, потом становился все короче, а в нашу пору, при большей свободе критической оценки и при большей возбужденности политической мысли, вчерашнее почти уже изношено сегодня, все пустились сочинять новое, все вертятся в безвыходном круге измышлений и поделок. Суды, думы, земства, которым всем без году неделя, вчера прославлялись, нынче уже никому не милы, и завтра же будет охаяно то, что встречается с похвалами сегодня...[7]

30 октября 1861 г. И. С. Аксаков пишет из Москвы Костомарову: «Вы говорите, что моя газета («День») задирает две родственные народности, южнорусскую и польскую, и нападает на лежачего, беззащитного. Во-первых, это фактически несправедливо. О поляках не было и речи, покуда они не вздумали задирать нас, русских. Они наводнили иностранную литературу клеветами на Россию и искажениями исторической истины, они громко предъявляют притязания на древние русские области... Вообще между мной и вами та существенная разница, что я стою на стороне истории и народа, а вы против истории и против народа. Как противоречащее народу ваше учение может быть названо аристократическим. Так, например, вы хотите игнорировать вопрос веры, столь важной для народа южнорусского и полагающей несокрушимую преграду между ним и католиками поляками.

Вы... утверждаете, что с уничтожением крепостного права угашаются последние искры вражды между малороссами и поляками... Забывая о борьбе вероисповеданий, двух разных просветительных начал. Народ этого не забывает, и я также. Вы идете наперекор не только народным тенденциям вашей Малороссии, но и тенденциям трехмиллионного народа в Галиции. Страдания, влечения, ожидания всего этого

народа не трогают сердца шляхтича и «патриотов» малорусской петербургской колонии. Относительно Малороссии и Галиции вот мое profession de foi[8]: Малороссии я не только вполне сочувствую, но люблю ее всею душою, любовью вполне свободною и, так сказать, объективною, не только физиологическою. С этою любовью я остаюсь вполне русским или великороссом, не жалуя себя в малороссы, как мой приятель Жемчужников. Я не постигаю полноты русского развития без Малороссии. Следовательно, полнейшее соединение с Малороссиею во всех отношениях есть, по моему мнению, такая же историческая необходимость для России, как головы и сердца в организме... Что касается до народа малорусского... то народ своим историческим смыслом остается и останется всегда верным однажды данному им изволению: для него, хотя бы и не сознательно, так же как и для великоруса, дорого единство земли Русской, для него Царь Православный имеет то же значение, что для рязанца или владимирца. Я жил в Малороссии и хорошо это знаю... Точно так же, как великорусский народ видит в Русском Царе демократическое нивелирующее начало, точно так же и малоросс видит в нем свой оплот против панов и других налегающих на него сословий... Что касается до языка, то я не верю в возможность образования малорусского общего литературного языка, кроме чисто народных художественных произведений, не вижу к этому никакой возможности, не желаю и не могу желать никаких искусственных попыток нарушить цельность общерусского развития, отклонить малороссийских художников от писания на русском языке. Слава Богу, что Гоголь жил и действовал раньше, чем возникли эти требования: у нас не было бы «Мертвых душ», вы или Кулиш наложили бы на него путы племенного эгоизма и сузили бы его горизонт кругозором одного племени... Но, разумеется, никто из нас никогда не хотел и не думал мешать вам: пишите сколько угодно, переводите Шекспира и Шиллера на малорусское наречие... О том, что мы враги всякой репрессивной меры, всякого стеснения свободы и беспрепятственного самообличения лжи, говорить нечего. Только сознающие всю несостоятельность и слабость своих оснований могут нас

обвинять в этом, хватаясь за это, как за единственное свое оружие или способ для менее постыдной ретирады. В Галиции я был. Нужно иметь каменное или польское, но не малорусское сердце, чтоб не сочувствовать стремлениям народа, который страданиями своими выработался до потребности ограничить свое племенное самолюбие, потопить узкий племенной эгоизм в эгоизме всерусского народа, созданного из разных русских племен историею. А вы его потчуете племенными особенностями. Вполне, разумеется, сочувствуя этому стремлению галицкого народа, могу ли я быть равнодушен к статье «Современника», идущей наперекор тенденциям, которые я признаю за истинные, смущающей бедный народ, да еще выдающей себя за голос России? Будь эта статья подписана поляком, появись она в польском журнале, появись даже в «Основе», значение ее было бы другое. Но допустить, чтобы голос польский самозванно, исподтишка прикидывался русским и морочил опасным мороченьем целый народ, нам сочувственный, – допустить это было бы величайшею низостью для всякого истинного русского[9]. Я не вызываю международную вражду, а, напротив, предостерегаю от нее. Требование Киева и пр. я считаю безумным, следовательно, все, требующие Киева, заслуживают названия безумных. Вы попрекаете мне, что я с этим словом обратился ко всей нации, то есть вы хотите сказать, что не все поляки разделяют это безумное требование. Очень рад это слышать от вас, но в таком случае только безумствующие и обидятся этим названием, а прочие хорошо поймут, что это к ним не относится... И так вот мои убеждения, которые я высказываю изустно, буду высказывать и печатно. Упрекать меня в угодливости власти могут только поляки, которые большею частью прибегают ко всякой лжи, клевете и прочим подлостям, как к обыкновенному своему оружию. Когда Герцен в 1858 г., кажется, печатал в «Колоколе» свои письма к полякам и отстаивал против них Киев и другие русские области, то мне самому поляки говорили, что он подкуплен русским правительством и находится в тайной переписке с императрицею!.. Вы угрожаете мне тем, что правительство будет гладить по головке за статьи против поляков. Я не веду оппо-

зицию правительству по западному quand mème, и если правительство скажет: «Я признаю Христа», я не стану говорить, что верю в черта... Перечитывая ваше письмо, нахожу еще следующие места, требующие ответа: 1) Вы говорите, что не противились бы и тому, чтоб галичане писали на чистом великорусском языке. Автор статьи «Современника» положительно этому противится. 2) Вы рисуете картину ужасов Волыни, Подолии и пр., донесения о которых я буду получать, сидя в комфортабельной комнате и пр. Именно для того, чтоб этого не было, нужно, чтоб поляки послушались доброго совета, перестали считать Волынь и Подолию польскими землями, распространять свои польские буквари и т. п. Мы возбуждаем вражду: И вы можете по совести сказать это? Мы хотим отстранить то, что возбуждает вражду, и только даем отпор нападениям. 3) Вы считаете неприкосновенность границ России делом правительства, «тут наша хата с краю». Может быть, ваша, но не моя. Ваши странные слова вы высказали! Так вам все равно, если поляки или австрийцы или турки отнимут у России Киев, Чернигов, Смоленск, Москву и поставят свою границу на Волге? И вы после того станете утверждать, что ваше сердце бьется одним чувством с народом? Нет, вы ему чужды совершенно...[10] 15 ноября 1883 г. И. С. Аксаков пишет в газете «Русь», <что> панславизм, несомненно, имеет бытие как присущее в наше время всем многоразличным ветвям славянского племени сознание их славянской общности или единоплеменное. Эта общность не имеет, как таковая, ни формы, ни иного внешнего выражения. Да и трудно было бы ей, по-видимому, найти их себе при разнообразии всех этих ветвей, отличающихся друг от друга и вероисповеданиями, и внешними историческими судьбами, и партиями, и алфавитом.

Одних азбук славянских можно насчитать семь или восемь!.. Ни одна из ветвей и не думает поступаться в пользу другой своею этнографическою или, пожалуй, местной «национальною» особенностью... Но при всем том, вопреки этому разнообразию, все они слышат в себе близкое родство духа, все они в наши дни сознают себя как бы членами одного духовного и нравственного целого.

Все эти чехи, словаки, словинцы, хорваты, сербы, болгары – все они вместе с пробуждением к национальной жизни пробудились не только как чехи, словаки, словинцы и пр., но и как славяне. Ибо не как чехи, словаки, словинцы и пр., взятые порознь, призваны они ко всемирно-исторической роли, но как славяне и через славянство. Только этою стороною своего бытия, только как части мирового племени славянского могут они достигнуть и мирового значения в истории. Вне этой общеславянской стороны или изменив идее славянства, они – ничто. Одною своею этнографическою особенностью не в состоянии они спасти свою духовную самостоятельность от насилия и соблазнов чуждых народов, более чем они мощных культурою, энергией воли, самомнением и внешнею крепостью. Носительница этой идеи славянства, воплотившая ее и в самом своем бытии, – Россия. Этим и объясняются все вольные и невольные тяготения к ней прочих рассеянных и разрозненных отраслей славянского племени. Она уже сама целый мир, мир, который стоит о себе и сам собою, не извне получает, а сам из себя раскрывает свое призвание, мир, противополагающий себя Западу; и своим отличным от него вероисповеданием, и своею не общею с ним историею, и всеми коренными началами социального, гражданского, политического быта, особым нравственным и духовным складом своего народа. Ему, русско-славянскому миру, передал в наследие и в бережение православный Восток все сохраненные им сокровища верующего духа, когда изнемог сам для исторической жизни и порабощен был ордами магометанскими. Ему, русско-славянскому миру, передала умирающая Восточная империя свой венец и свое неисполненное призвание. Но представитель Востока и наследники Византии, этот русско-славянский мир не стал ни Востоком, ни Византией, а расположен между Востоком и Западом, дерзновенно решил воспринять в себя и все сокровища знания и мысли западного человечества. Как совершит он за себя и за все славянство этот подвиг сочетания и претворения в единое органическое духовное целое сих богатств Востока и Запада – это вопрос грядущих

времен, и не о нем теперь речь, а речь о том, что к концу XVI в., преодолев все противопоставленные препятствия, вырвалась Россия (или в ее лице русско-славянский православный мир) на арену всемирной истории... В высшей степени замечательна поэма, посвященная Петру и написанная его современником, далматинским сербом, да еще католиком[11]. В ней уже тогда приветствуется заря всеобщего славянского возрождения, не той или другой ветви славянской, но славянского мира вообще. Вот когда и начался панславизм...

А между тем Россия не водрузила никакого славянского знамени в тесном смысле слова, не обращалась к славянам ни с каким панславистическим воззванием, да и вообще ни о каком «панславизме» не помышляла, озабоченная своею собственной судьбою. Она лишь только опознала бытие славян в Турции (отчасти и в Европе), да с некоторыми из православных племен завязала сношения для борьбы с турецким султаном. Напротив, Россия в то время озабоченно искала теснейшего сближения с Западом, домогаясь у него науки и знаний... Со времен Петра, повторяем, рядом с миром латино-протестантским и романо-германским, и на равных правах с ним, воздвигся мир православно-русский, или славянский. В своей исторической относительно славян неправде Запад дрожит, как бы мы не потребовали его к ответу, и смущенная его совесть постоянно облекает ему Россию в какое-то грозное пугало!.. А между тем тот русско-славянский мир ничем никогда не оскорбил Запада, никогда не наносил ему ущерба, не присваивал себе его земель, не порабощал себе его население... Нет державы на свете миролюбивее России, нет племени более мирного и добродушного по природе, чем славянское...[12]

Иван Сергеевич Аксаков, как и наш Пушкин, мог воскликнуть:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал!
Что в мой жестокий век восславил я свободу.
……..

Как Пушкин он мог воскликнуть:

Я памятник сев воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа.

Как второй Минин призывал он в 1876 г. наш русский народ оказать помощь братьям нашим, единокровным и единоверным славянам, подпавшим игу худшему, чем мы, порабощенные Батыем и Золотою Ордою. Разве не благородно действует тот, кто ненависть народную не возбуждает между различными слоями населения, напротив, старается объединить весь народ в деле любви и самопожертвования, в деле христианского сострадания, милосердия, в деле самозабвения ради идеи, ради нашей великой общеславянской идеи. Вслед за нижними чинами стали приходить к И. С. Аксакову простые крестьяне, смиренно, как бы испрашивая милости, со слезами, на коленах молили они об отправлении их на поле битвы. Что говорили Аксакову эти люди, эти чудные люди, эти народные единицы, эти представители, выразители чувств и мыслей русского народа? «Положил себе помереть за веру», «сердце кипит», «не терпится – хочу послужить нашим», «наших бьют», – куда? – «к нашим, заодно постоять». И. С. Аксаков был прав, говоря, что то были люди того закала, из которого выходили мученики первых веков христианства. И эти чувства, эта мысли, эти поступки, эти душевные движения, эти сердечные, чудные речи – все это таилось в русской народной душе, в умах и сердцах русского народа, но все это было вызвано наружу, было вызвано к жизни, одухотворено, явилось на свет Божий в небывалом дотоле виде, в смысле и значении, которые никогда еще не проявлялись – благодаря И. С. Аксакову.

Умер Аксаков, но не умер гений, дух Ивана Сергеевича. Мы все, гордящиеся именем славянофилов, его духовные дети: он сеял семя, а мы взросли на этой почве. Слава, честь, вечная память ему, русскому богатырю, борцу неподкупному, нелицеприятному, борцу за правду и справедливость, за истину, прочувствованную и сознанную им, борцу за

нашу правду, русскую, православную, славянскую, за наше христианское миросозерцание. Святой труженик, скончавшийся за работой над последним номером «Руси»! Можем ли мы лучшую, высшую честь воздать ему, лучше воздать ему должную славу, чем всею деятельностью нашею. Будем думать, будем говорить, распространять свои мысли и чувства, будем действовать по-аксаковски. Пусть вечно носится над нами его великий образ, пусть вечно витает перед нашим духовным взором этот искренний христианин, этот чистый деятель, православно-русский и славянский. Когда умер Хомяков, бывший, как ученый, бесспорно глубже И. С. Аксакова, его смерть отразилась только в тесном кружке тогдашних славянофилов. Не то было со смертью И. С. Аксакова. Вся Россия, за исключением лишь «русских европейцев», оплакивала его кончину, как кончину отца родного, печальника земли русской, печальника нашего русского народа. Но разве такая печаль, такое горе не есть залог нашей славянофильской победы? Разве этот всенародный плач не есть предвкушение нашего конечного торжества? Наше народное русское самосознание сильно подвинулось вперед со смерти Хомякова, и прав был незабвенный, дорогой, родной всем нам, русским людям, И. С. Аксаков, сказав одному заезжему иностранцу-путешественнику, спросившему его: «Велика ли ваша партия? Сколько вы насчитываете в ней человек?» – «Ни одного». Иностранец не понял этого ответа, но И. С. Аксаков объяснил ему, что у него нет партии потому, что его партию составляет весь русский народ. Будем вечно помнить эти знаменательные слова И. С. Аксакова. Не пощадим сил своих, душевных и телесных, чтобы слова эти остались истиной. Помня Аксакова, имея пред собою его светлый образ, мы не забудем правды и справедливости, нашей русской правды. Вечно храня в душах наших память этого чисто русского человека, этого глубоко верующего, православного христианина, мы не падем нравственно, а, сохранив нравственную чистоту, мы не побоимся никаких земных невзгод. И. С. Аксаков самое лучшее, доступнейшее, ближайшее, самое понятное народу олицетворение православно-русских, православно-славянских идеалов, нашего народного миросозерцания. Народ, твердо

хранящий заветы предков, заветы родной земли, свою святую веру, народ, чтущий и непреклонно хранящий память таких людей, как И. С. Аксаков, – такой народ непобедим. Сколько бы ни ополчилось на него вражеских сил – они его не одолеют.

СПб.

Январь 1907 г.

К БИОГРАФИИ И. С. АКСАКОВА

(Без автора)

Осенью 1882 г. И. С. Аксаков, будучи в Петербурге, выразил желание сблизиться с здешней университетской молодежью; среди нее он думал найти новых сотрудников. На вечере у одного из профессоров он познакомился с некоторыми представителями молодого поколения, студентами и окончившими университетский курс. Молодые люди произвели на него впечатление не особенно благоприятное, они показались ему мало развитыми, и запас их научных сведений довольно ограниченным. С прискорбием писал он об этом одному своему петербургскому другу, припоминая, что брат его, Константин Сергеевич, Самарин и другие сверстники в годы студенчества стояли гораздо выше новых его знакомых, в которых особенно поражал его недостаток серьезного общего образования. В этом отзыве Аксакова о нашей молодежи было много верного, хотя нельзя не заметить, что мерило, выбранное для суждения о ней, сравнение с Самариным, К. С. Аксаковым, было далеко не подходящее: эти люди и в студенческие годы были не совсем обыкновенными личностями, а новые знакомые Ивана Сергеевича представляли собой только средний тип хороших студентов. Среди нынешней молодежи чрезвычайно редки люди с хорошим образованием: довольно много есть порядочных специалистов, не видящих ничего дальше своей маленькой области, у других же высшее образование заменяется

крайне самонадеянным верхоглядством и фразерством. Однако Аксаков писал, что он не теряет надежды найти себе новых сотрудников среди своих молодых знакомых, но, как известно, случилось так, что из всех их только один поместил в «Руси» небольшую библиографическую статейку. Известие о том, что Аксаков ищет сближения с молодежью, вышло из пределов тесного кружка лиц, знакомых с профессорами, и довольно скоро распространилось по университету; нашлись люди и в других кружках, которым захотелось стать сотрудниками Ивана Сергеевича. Надо заметить, далеко не в похвалу нашей молодежи, что в университете было очень мало людей, сочувствовавших аксаковскому направлению, и еще менее – понимавших его. Они чуждались Аксакова потому, что смешивали его учение с доктриной об «усилении власти», давали ему пренебрежительную кличку «благонамеренного публициста», другие повторяли о славянофильстве общие избитые места, вроде мракобесия, постного масла и т. п. Но были кружки сочувствующих; весьма редко случалось, что эти сочувствующие вполне ясно сознавали, чему они сочувствуют – форме или самому учению. Легкомысленные юноши с некоторой краснотой в направлении увлекались резкостью иных статей Ивана Сергеевича, так что часто в спорах приходилось, как на единственный аргумент в пользу его, наталкиваться на похвалы этой резкости. Своим сторонником признавали Аксакова также люди радикально-народнического духа; таких было довольно много, – гораздо менее, почти ничтожно было число поклонников постного масла и официально благонамеренных, считавших Аксакова тоже своим. Таким образом, настоящее понимание Аксаковского учения, как мы сказали выше, проявлялось крайне редко.

К одному из славянофильствующих кружков принадлежал и студент N. N., к которому было адресовано помещаемое ниже письмо Аксакова. N.N. послал в «Русь» статью, в которой разбирал так называемое народническое направление; эта статья была коллективным произведением кружка, так как в нем читалась и была исправлена по указаниям его членов. Не получая долго ответа о судьбе своей статьи, N. N. обра-

тился к Ивану Сергеевичу с письмом, в котором, спрашивая о статье, вместе с тем, от себя и от лица товарищей, просил Ивана Сергеевича выяснить некоторые недоразумения, возбужденные в них статьями «Руси»: товарищам N. N. казалось, что Аксаков понизил тон своих статей против чиновно-бюрократического начала, что иногда он говорит невполне искренно, не так горячо отстаивает свободу слова; они жаловались, что Аксаков ничего не сказал в своей статье по поводу известной «Поляковской истории», из-за которой из университета было выключено 100 человек, и т. д. Прошло две недели, уже потеряли надежду на ответ, как вдруг пришло печатаемое ниже письмо от Ивана Сергеевича. Прочитав это письмо, читатели, конечно, поймут, какое оно должно было произвести впечатление на горячие, молодые головы; сердечный, искренний тон письма еще более расположил их к Ивану Сергеевичу, они принялись серьезно знакомиться с славянофильством, и это письмо, можно сказать, имело решающее влияние на определение их дальнейшего склада мыслей. Печатаем это письмо без всяких изменений, опуская только имя лица, к которому оно адресовано.

«Очень мне было приятно получить ваше письмо, многоуважаемый N. N. Благодарю вас за сочувствие, за доверие и откровенность. Очень отрадно вступить мне в непосредственные сношения с вами и с вашими товарищами; не только даю вам право, но и прошу обращаться ко мне за разъяснением сомнений и недоразумений, возбуждаемых в вас «Русью». Жалею только, что вместо живых устных сношений приходится ограничиваться только перепиской, для чего и времени больше требуется (а его у меня мало), да всего на почтовом листе и не упишешь. Вашу статью О. Ф. Миллер прислал мне только в мае в самый разгар суеты, неразлучной с коронационными торжествами, с наплывом гостей со всего света и проч., и проч. У меня нет таких помощников, которые бы могли читать статьи за меня; я же вынужден в чтении соблюдать очередь, то есть читать наперед те, которые непременно должны идти в следующих номерах и раньше присланы. Только на днях прочел я вашу статейку.

Прежде всего она представляет для меня очень отрадное явление, как молодой сочувственный мне голос, как живое свидетельство прогресса русской мысли в среде молодежи. Затем она интересна и сама по себе, как критический отзыв о новом умственном движении в русском обществе, или о так называемой народнической партии. Вы очень верно намекаете на органический порок, присущий этому направлению, но, к сожалению, только намекаете. Вообще, скажу откровенно, такая статья не могла бы появиться в «Руси» от имени редакции. Так как журнал «Русское богатство» и вся его партия постоянно ругают славянофилов (хотя от них заимствовали все, что в их направлении есть оригинального и дельного), то неудобно было бы для «Руси» касаться этого обстоятельства вскользь, а следовало бы спуститься вглубь и раскрыть сущность разномыслий; еще менее удобно при таком разномыслии выражать желание, чтобы это новое направление, враждебное «Руси», как можно более распространялось, как это сделано вами, и совсем неудобно недоумевать, почему-де «народники» так враждебны славянофилам, и объяснять это тем, что это-де «остатки старых предубеждений».

Предубеждения! Да, это предубеждения против Бога, Христа, религии, Церкви! «Народники» очень к нам близки, по-видимому, но и разделяются от славянофилов целою бездною.

Славянофильство не мыслится вне религиозной почвы, вне христианского идеала. «Народники» стоят на почве позитивизма, сворачивая то в материализм, то в какой-то особого рода нелепый мистицизм. Они путают страшно и скорее готовы будут, я думаю, отречься и от русской народности, чем признать ее, как она есть, с ее духовною, неразлучною с верою во Христа субстанцией!.. Что, по-вашему, лучше? Прямое отрицание истины или ее лжеподобие?.. По-моему, последнее хуже, опаснее и вреднее, потому что, обольщая внешним сходством, производит гибельное смешение понятий и коварную подтасовку идеалов... Овладевая всем тем, что внесло славянофильство в общественное сознание в течение 40 лет, эти господа стараются вылущить из славянофильства, а вместе с тем и из души народной, самую сущ-

ность, божественную сущность. Пустите их в народ, – они, привлекая к себе сочувствие народное казистою заботою об его материальных интересах, будут стремиться в то же время, так сказать, обезбожить народ, то есть подорвать самый основной нерв духа, самую ту силу, с которой жив народ и без которой немыслимо никакое плодотворное, нравственное решение самих социальных задач.

Конечно, черт не так страшен, как его малюют; конечно, человеческая благородная природа не выдерживает неумолимо строгой, логической последовательности, и нет такого материалиста, отрицающего и Бога, и душу, и нравственные понятия, и ответственность, и вменяемость, который бы не противоречил себе на каждом шагу, негодуя на безнравственный поступок, проповедуя дела любви или милосердия и т. д. Но на этой благородной непоследовательности успокаиваться нельзя, да и мы вообще судим не человека лично, но его исповедание. И в этом отношении никогда никаких уступок, компромиссов и сделок быть не должно...

Тот же Успенский, которого вы похвалили за его действительно во многих отношениях замечательное сочинение «Власть земли», как отнесся он к движению добровольцев в Сербии, к речи Достоевского на Пушкинском юбилее? Говоря про юбилей, он выразился, что в нем было что-то «сербское», пояснив тут же, что этот эпитет есть ругательный, прилагаемый им к бессмысленному, стадному воодушевлению какой-то бессмысленной фикцией и т. д. В таких выходках – обратная сторона медали, или «народнического» направления.

Русский народ, как вы знаете, менее, чем какой-либо народ в мире, замыкается в национальную исключительность, но размыкает свою национальность не для того, чтобы обезличиться в космополитизм, а для того, чтобы возвысить ее до общечеловеческого, нравственного христианского идеала. Он прежде всего христианин, или православный (что в его понятиях одно и то же), а уже потом – русский. Крестьянин значит не что другое, как христианин: оттого-то так и широка духовная природа русской национальности... Я, конечно, радуюсь от души распростра-

няющемуся в обществе признанию прав народа на самобытность развития. Это практически полезно, потому что воздерживает руку власти от ломки и искалечения бытовых форм народной жизни; это полезно и потому, что, возводя народ в объект изучения, оно может привести и к тому, что изучающие, если не все, то многие сами выучатся у народа добру-разуму. Руководствуясь этой точкой зрения, я даю совершаться этому новому движению, окрестившему себя «народничеством», без всякой резкой с моей стороны критики, исключая каких-нибудь слишком торжественно провозглашаемых «народниками» нелишних положений. Да и не всегда удобно касаться христианской, религиозной основы народного духа. Но было бы, конечно, очень полезно подвергнуть «народническое» направление беспристрастному, но строгому, тщательному анализу и раскрыть то, что вы называете слабою стороною учения, а я – «органическим пороком», очень существенным.

Поворот в «интеллигенции» по отношению к русскому народу, то есть начало сочувствия к нему, возникло из того открытия, что «последнее слово» западноевропейской мысли указало на некоторые общественные формы и договорилось до таких понятий, которые русской жизни присущи издавна, как конкретные, практические явления. Тут в этом сочувствии сказалось то же холопство: стали сочувствовать после справки с Западом и с разрешения западного радикализма, но и в меру западного радикализма. Так, например, г. Гольцеву и tutti quanti желательно было бы наши общинные формы землевладения и артельного труда возвести в «ассоциации»... Но вылущите вы из этих народных форм присущее им нравственное, братское начало, живущее в народе не инстинктивно только, а на степени положительного, религиозного сознания – все пойдет к черту!.. Энгельгардт, Успенский и К° пошли, кажется, дальше, об ассоциациях не думают, принимают народ, как он есть, но в душу его все-таки не проникают или же знать ее не хотят, игнорируют!..» Дайте им в руки школу – они наделают много зла, сами зла не желая... Теперь разные господа воспылали сочувствием к раскольникам, усматривая в них протест политический, и только политический,

и ошибаются жестоко: в основе их протеста лежит и пребывает интерес религиозный, как существеннейшая принадлежность русского народного духа. Поэтому такая фальшивая нота звучит в этом сочувствии гг. Пругавиных и К°, которым дело собственно только до протеста, но до самой религиозной потребности духа, до веры ровнехонько нет никакого дела! Люди, которые ни в Бога, ни в черта не верят, атеисты, материалисты, позитивисты и пр., – все считают себя обязанными пламенеть сочувствием к нашим сектантам (кроме скопцов, разумеется!)...

Вот эту-то фальшь слышу я и в «народниках». Она дерет мои уши, и если я сам поэтому не чувствую себя способным отнестись к ней публично с должною объективностью, признавая ее законность, как известного фазиса в развитии, то желал бы, однако, чтобы в статье, помещаемой в «Руси», эта фальшь была выяснена без утайки и смягчения. Одним мимоходным отзывом, вроде вашего, я, к сожалению, не могу удовлетвориться.

Что касается до прочих ваших «недоумевай» на мой счет, то мне кажется, моя долголетняя деятельность дает мне некоторое право требовать к себе доверия. «Зачем я не всегда говорю резко?!» Есть люди, которые все достоинство полагают в резкости фразы и на этом созиждят себе репутацию.

Я никогда не опасался резкости, но она у меня была искренняя и свободна, а не «по принципу». Был моложе, писал заносчивее, теперь же мне 60-й год, и подлаживаться под вкус молодежи, которая часто увлекается смелою формою речи более, чем ее содержанием, не в моем обычае. Затем все зависит, кого я имею в виду, каких читателей и чего могу достигнуть. Начав издавать «Русь», я надеялся действовать благотворно на власть имеющих, а на них действовать удобнее твердою, спокойною, разумною речью, чем плюнувши им в глаза. И думаю, что более принес пользы делу этим способом речи, чем дерзкими «выходками», которые, конечно, снискали бы мне рукоплескания даже нигилистического юношества. Не мог без улыбки прочесть ваши слова о том, что вот-де в № 10 я опять возвращаюсь к прежним началам!! Вольно же вам было

не видеть, что я никогда их не покидал! Я первый, да в первых же номерах «Руси», определенно формулировал нападение на казенщину и казенных людей и не понимаю, как могло кому прийти в голову, что я отказался от своих слов, а вот теперь опять к ним возвращаюсь!! Разве нужно мне в каждом долбить одно и то же? Но тогда бы только сказали, выражаясь языком московских казенных реляций о казенных праздниках: «А на Ивановской колокольне происходил обыкновенный звон!» Всякий перестал бы такой звон и слушать.

Далее: зачем, по поводу запрещения «Голоса», я отстаивал свободу слова на основании «партийных интересов», а не на том, что слово есть божественный дар?.. Прежде всего потому, что я стоял ввиду реального факта и реальной силы, которую никак не убедишь ссылкою на «божественный дар», а только практическим соображением.

Во-вторых, потому, что по поводу продажного сквернословия «Голоса» упомянуть имя Бога было бы суесловием. Когда говорится о слове как божественном даре, то говорится отвлеченно и разумеется слово искреннее и убежденное, следовательно, слово честное, хотя бы выражающее и неверную мысль. Никак не могу я признать слово «Голоса» вообще честным, хотя бы могли подчас проявиться и исключения, и потому по поводу «Голоса» говорить об отвлеченном значении слова, как Божьего дара, было бы даже смешно. Но, отстаивая свободу «Голоса», я отстаивал вообще свободу честной борьбы.

Не знаю, удовлетворитесь ли вы моими объяснениями. Если я не говорил о том или о другом случае, то просто потому, что не доходят руки. Моя газета не ежедневная. «Новое время» успело, например, высказать свое мнение об адресе Полякову, когда номер мой вышел, а к концу недели, к сроку выхода следующего номера «Руси», последовало запрещение толковать о студенческих беспорядках.

Пожалуйста, отвечайте мне и не сердитесь за запоздалый мой ответ. У меня тьма дел, не по одной газете только. Вам же дружески и от всего сердца жму руку.

Ваш Ив. Аксаков».

А. Георгиевский

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ И СОВРЕМЕННАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

I.
Два слова из прошлого

Наступил величайший момент новейшей истории. Русскому народу предстоит решить вопрос о жизни или смерти славянства. Близится осуществление благородной мечты ряда поколений о политическом объединении разрозненных наций и внутреннем их возрождении. Идеалы лучших умов и поэтов осуществляются в прекрасной действительности.

И вот в то время, когда славянство переживает в своей жизни небывалый момент, когда на весы истории положены судьбы всего славянского мира, в это самое время приходится констатировать странное в нашей жизни явление. Светлые мечты лучших русских людей близки к осуществлению, а между тем сами-то они, эти герои мысли и духа, эти страдальцы за лучшие идеалы славянства, они как будто забыты нами. О них не пишут, не говорят, их сочинения даже мало читают. Русское общество как будто забыло, что все поднятые в настоящий момент политические вопросы не новы нашему сознанию, что эти вопросы были подняты уже давно и столь же давно были намечены пути и средства к их решению.

История и литература красноречиво подтверждают это. Ведь еще в эпоху Киевской Руси летописец Нестор мечтал о присоединении Черного моря к Киеву и сам называл его не иначе как «Русским» морем; на Галицию же он смотрел, как на вечное русское достояние. А автор «Слова о полку Игореве», обращаясь к Галицкому князю Ярославу Осмомыслу, так рисует его политическое значение: «Высоко ты

сидишь на своем златокованом престоле; ты подпер горы Угорские своими железными полками, заступив путь королю, затворив ворота Дунаю, метая громадами через облака, суды рядя до Дуная... Грозы твои текут по землям; отворяешь ты ворота Киеву; с отцовского золотого престола стреляешь султанов за землями...»[1]

В эпоху Московской Руси, при дворе «Тишайшего» царя, мы встречаем ученого хорвата, искреннего и чуткого к безотрадному положению своих сородичей славянина. Это был Юрий Крижанич. Преданный слуга папского престола и убежденный славянин, заброшенный судьбою в далекую Московию, он здесь своими глазами убедился в исключительном положении русского народа среди всего славянства. Поэтому, обращаясь к русскому царю и рисуя ему картину бедственного положения южного и западного славянства, Крижанич умоляет Алексея Михайловича, как «честитого царя», как «народного Отца всего славянства»[2], умоляет сбросить немецкое иго со славянских, и в частности русских, плеч, отомстить за униженных братьев, воскресить к новой жизни погибающее славянство.

Однако голос Крижанича остается без надлежащего ответа долгое время, почти два века, до того момента, когда выступают на сцену русские славянофилы.

II.
Биография И. С. Аксакова

Странна была судьба у нас славянофильства. Несомненно, что это учение было и остается до сих пор самым оригинальным созданием русской мысли. Сравнительно с подражательной философией западников, славянофильство выделяется как единственная область, где худо ли, хорошо ли, но русское мышление засвидетельствовало о себе как о чем-то «новом» и «своем». Но вот это «новое» и «свое» с самого появления и до сих пор остается где-то в задних рядах нашей умственной жизни и влияния и с годами как-то мало продвигается в первые ряды, – скорее

еще более отступает и стушевывается. Еще в 1856 г. Ив. Серг. Аксаков пишет: «Много ездил по России: имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше... Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, который бы не знал наизусть письма Белинского к Гоголю... О славянофилах же здесь, в провинции, и слыхом не слыхать, а если и слыхать, так от людей, враждебных направлению».

Что такое славянофильство, когда оно зародилось, как оно росло и развивалось в цельную, стройную систему, – эти вопросы не входят, собственно, в задачу настоящего очерка. Несколько далее мы дадим краткую схему основных положений учения славянофилов. Пока же скажем одно: если мы смотрим на славянофильство как на исповедь заветных идеалов русского народа, то его корни должны отнести в глубочайшую даль истории, и в таком случае первый наш летописец был и первый русский славянофил; если же мы оцениваем славянофильство как цельную и стройную философскую систему, то момент развития его должны будем отнести к 30–40-м гг. прошлого века.

В семье русских славянофилов замечательны: Хомяков, бр. Киреевские, братья Аксаковы, Юрий Самарин, Кошелев и некоторые другие.

И. С. Аксаков, младший из Аксаковых, оставивших по себе яркий след в истории русской литературы XIX в., был сын автора «Семейной хроники», Сергея Т. Аксакова, и младший брат одного из столпов славянофильской школы, Константина Сергеевича.

Иван Сергеевич был одним из выдающихся поэтов лермонтовского цикла, но его роль и значение в истории русского общества и славянства гораздо важнее, нежели его значение как поэта, особенно в переживаемый нами исторический момент. Много написал И. С., и писал он весьма разнообразно: и стихи, и драмы, и статьи. Но все-таки вся его литература отходит на задний план перед той исторически значительной ролью, которую сыграл он в 1876–1878-х гг. в славянском движении того времени. И даже более того: эта роль сделала И. С. Аксакова, наименее самостоятельного и оригинального из представителей славянофильской школы, наиболее памятным и популярным

среди них – до такой степени, что теперь при словах «славянофил», «славянофильство» нам прежде всего вспоминается именно он, Иван Аксаков, и тот народный подъем, который он сумел вызвать вокруг своих идей и чувств. Пусть недолог был этот подъем и скоро сменился он серыми буднями, но, как залог будущего, а может быть, и нашего недалекого настоящего, он незабвенен. Пред И. С. Аксаковым стоял вопрос: суждено ли славянофильству остаться кабинетной и «интеллигентской» теорией, властной лишь над отвлеченными умами или это учение способно войти естественно и смело в поток народной жизни и сообщить этому потоку соответственное направление?.. И он сумел на него ответить, и ответил, безусловно, утвердительно.

Мы потому и остановились на Иване Сергеевиче, а не на его старшем брате или не на Хомякове, что он, как общественный деятель, поразительно верно подметил все те явления из жизни славянского и германского мира, непосредственными свидетелями которых мы являемся. Несмотря на более чем полувековой период, истекший со времени первого слова, сказанного издателем «Дня», и до последней статьи издателя «Руси», ни одна строка по славянскому вопросу и русско-германским отношениям не потеряла своей современности, но многие, даже из самых первых, сказаны как будто вчера. Если некоторые предостережения и утратили, по-видимому, свой практический смысл, уничтоженные историческими фактами (напр., что Россия не допустит аннексии Боснии и Герцеговины), то фактическое опровержение служит в таких случаях только самым разительным доказательством верности высказанных положений.

Иван Сергеевич родился в 1823 г. и был еще десятилетним ребенком, когда брат его Константин играл уже заметную и оригинальную роль между членами кружка Станкевича и других студенческих кружков того времени.

Молчаливый и угрюмый ребенок, он ничем не выдавался между многочисленными, оживленными братьями и сестрами, кроме разве своей неуклюжей наружности. Однако отец его, Сергей Тимофеевич,

скоро подметил, что под этой неуклюжей наружностью третьего сына скрывается даровитая и пламенная натура. «Что мне сказать про Ивана, – пишет отец, – могу сказать только, что Иван меня удивляет». А по прочтении одного из детских произведений сына Серг. Тим. сказал: «Иван будет великий писатель»[3]. И великий отец не ошибся в своем великом сыне!

Подобно Пушкину, из вялого и неподвижного ребенка Ив. Серг. вскоре становится обладателем необыкновенно горячего, пламенного темперамента. Одаренный от природы чрезвычайно проницательным, трезвым умом и пламенным сердцем, И. С. не находит, однако, желанного приложения своим дарованиям ни в училище правоведения, которое стояло совершенно в стороне от идейных и деятельных университетских студенческих кружков, ни на службе в качестве чиновника сенаторской ревизии, председателя Калужской уголовной палаты, обер-секретаря одного из московских департаментов Сената и, наконец, чиновника Министерства внутренних дел.

Но если школа имела на его развитие важные неблагоприятные последствия, так как лишила его знакомства с философией, факт поразительный для той среды, к которой принадлежал Аксаков, то служба, смеем сказать, принесла Ивану Сергеевичу не вред, а пользу, так как приучила его к поразительной работоспособности и деловитости, а главное, познакомила его с русской народной жизнью и тем указала ему настоящий, единственно свойственный путь жизни, путь энергичной и непрерывной общественной деятельности, роль великого народного трибуна.

В 1851 г. Иван Сергеевич пишет министру внутренних дел гр. Перовскому: «Граф! Служил я и служить хочу... Но Вы, граф. Вы, как человек благородный, Вы поймете меня и поверите мне: я хочу иметь в службе возможность сохранить под чиновническим мундиром человека честного, хочу пользоваться правом говорить правду»[4].

Но так как на службе «трудно было», по его буквальному выражению, «уберечь чистоту мыслей и убеждений[5], оказалось невозможным

совместить служебное звание с высокими идеалами личности, то Аксаков вскоре и навсегда сменяет мундир чиновника на более скромный костюм общественного работника.

Общественная деятельность еще с детства привлекает внимание Ив. Сергеевича. С десятилетнего возраста мальчик страстно читает газеты, страстно следит за политическими событиями в Европе; его уже волнует революционное брожение в Испании. Самым чувствительным наказанием за провинность является для него запрещение читать газеты. В нем уже сказывается будущий страстный публицист. Служба только усиливает такое настроение.

Скука и бессодержательность жизни томит молодого Аксакова, но не мешает ему, не смешиваясь с пошлостью, делать над жизнью весьма глубокие и зрелые наблюдения.

В результате этих наблюдений в сознании Ив. Серг. постепенно встает, растет и ширится картина современного ему тяжелого положения родины и славянства. «Сколько в тебе дряни и гнилья, Россия! – восклицает он в тоске[6]. – Какими тяжкими испытаниями ведет Бог тебя к самосознанию, к уразумению несчастий, бед и зол, тебя терзающих»[7]. «Крепостное право, как свинцовая туча, расстилается над тобой»[8]. А там... далеко на Балканах льется кровь, слышатся мучительные стоны, в ужасных судорогах извивается славянство под ударами дикой азиатской орды... В душе поэта грусть и отчаяние: точно тяжелый камень положили на грудь, и он не дает ни пошевелиться, ни вздохнуть свободной грудью. «Скучно, невыносимо скучно жить на свете, если только есть хоть минута досуга оглянуться кругом»[9].

Но Аксаков не мог долго оставаться во власти этого жгучего пессимизма. Слишком тяжело было положение Родины и славянства, чтобы Ив. Сергеевич мог долго оставаться равнодушным.

В его пламенной душе растет и крепнет убеждение в необходимости помочь Родине и славянству выйти из ужасного и недостойного великого племени положения.

Жажда деятельности захватывает его все сильнее и сильнее.

Зачем душа твоя смирна?
Чем в этом мире ты утешишь?
Твой праздный день пред Богом грешен,
Душа призванью не верна.
Вокруг тебя кипят задачи,
Вокруг тебя мольбы и плачи
И торжествующее зло.
А ты... Ужель хотя однажды
Ты боевой не сведал жажды,
Тебя в борьбу не увлекло?
Пред Богом ленью не греши....
Позорь, греми укорным словом,
Подъемля нас всевластным зовом
На тяжесть общего труда![10]

Но... поэт уже «не грешит ленью»... Наоборот, он молит Бога, чтобы Господь сохранил его «от бесстрастья, от покоя», «от сна ленивого души»[11]. Поэт готов отдать жизнь свою за родную землю.

О, прочь тяжелые сомненья,
В груди возникшие моей.
Пора иль нет?!.. Без убежденья,
Без благородного стремленья
Что ж будет жизнь? Что пользы в ней?
Нет! Делу доброму ужели
Не лучше в дар принесть ее,
Чем так, без толку и без цели,
Влачить пустое бытие»[12].

И вот настает горячая, страдная пора в жизни Ив. Серг., пора светлых надежд и горьких разочарований, светлых деяний и тяжких испытаний предел, которым положила лишь смерть.

В Петроград Ив. Серг. попадает вслед за 1848 г. Вскоре его близкому приятелю и единомышленнику Юрию Самарину, а затем и ему самому приходится на себе испытать строгость тогдашнего режима. Во время кратковременного заключения Самарина в крепости переписка Ив. Серг. с отцом привлекает внимание правительства. 18 марта 1849 г. вечером Ив. Серг. был арестован. Но Государь Николай Павлович остался, видимо, доволен смелыми и прямыми ответами молодого славянофила на предложенные ему вопросы, возвратил рукопись Ив. Сергеевича с ответами графу А. О. Орлову с такой резолюцией: «Призови, прочти, вразуми, отпусти». Через четыре дня И. С. был уже на свободе.

События Западной Европы не могли не интересовать в это время Аксакова. Вскоре после февральской революции Ив. Серг. пишет своему другу, кн. Дмитрию Оболенскому: «Ну, вот и настали события, от которых дух захватывает. В какое время живем мы? На наших глазах совершается история... И кто мог ожидать этого! Теперь, когда весь Запад отрекается от всех начал, которыми управлялся во всю историю, когда он так запутался в лабиринте своих умствований, что и выйти не может, теперь-то вырастает огромное значение России, и всякий поймет, что одно спасение нам в нашей самостоятельности. Теперь дело обращения к самим себе гораздо легче: не за что ухватиться на Западе, все кругом раскачалось и качается...»

Теперь-то, по-видимому, И. С. получает возможность найти приложение своим силам в публицистике.

Приехав в Москву весной 1851 г., он решает всецело отдаться литературным занятиям. Однако первый же выпуск издания «Московские сборники» оказался и последним. В начале его была помещена заметка о Гоголе, в которой было, между прочим, сказано, что Гоголь «был последнею современною светлою точкою на нашем грустном небе...» Статья эта, хотя и пропущенная цензурой, показалась дерзостью в высших сферах, и издание было закрыто.

Неутомимый труженик не унывает.

Приближался момент Крымской войны. В воздухе чувствовалась гроза. Вспыхнула война, и Ив. Серг. уже ополченец и принимает деятельное участие в походе на юг Бессарабии. Кончается война, и Ив. Серг. уже далеко, за границей – в Париже, Риме и др. городах...

С обновленными силами вернувшись в Россию, он видит, что заветное движение к обновлению всей родной жизни развивается прочно и стойко. Высочайший рескрипт 20 ноября 1857 г., впервые вынесший крестьянский вопрос на всенародное гласное обсуждение, вызывает слезы восторга в глазах Аксакова. Им овладевает могучая радость.

День встает багрян и пышен,
Долгой ночи скрылась тень,
Новой жизни трепет слышен,
Чем-то вещим смотрит день.
С сонных вежд стряхнув дремоту,
Бодрой свежести полна
Вышла с Богом на работу
Пробужденная страна[13].

Вскоре явилась возможность стать на работу и Ив. Сергеевичу. Он становится фактическим редактором «Русской Беседы».

Кроме того, ему удается выхлопотать разрешение на издание собственной еженедельной газеты «Парус», которая должна была обслуживать не только русские, но и общеславянские интересы. Циркуляр, разосланный по этому случаю Аксаковым во все славянские страны, произвел особенно на австрийских славян огромное впечатление. Но... на втором номере газета была закрыта.

В это самое время Аксакова постигают одно за другим несчастья: умер отец; опасно заболел брат Константин... Ив. Сергеевич снова бросается за границу, разъезжает среди славян Австрии и Турции, везде встречая восторженный прием...

Между тем новая гроза была уже над головой... Почти одновременно умирают два колосса славянофильства: Константин Сергеевич Аксаков и Хомяков.

Трудно представить себе то потрясающее впечатление, какое произвело на Ив. Серг. это новое страшное испытание. В первую минуту это было тяжкое чувство беспомощного сиротства и одиночества. «Ах, Боже мой, Боже мой! – писал он матери, получив извещение о смерти Хомякова. – Я сам просто разбит, уничтожен. Целое светило погасло, и мы вдруг очутились в потемках, наше светило, наша гордость, наша совесть и, наконец, просто отрада жизни». «Теперь для нас, – писал он в порыве отчаяния, – настает пора доживания, воспоминаний, истории – самая жизнь кончилась».

От быстро угасавшего на его руках брата Ив. Серг. скрыл роковое известие, но когда через три месяца умер и брат, Ив. Серг. с полным отчаянием в душе возвращается в Россию...

Здесь, на Родине, он мало-помалу оправился. Сознание, что теперь на нем лежит священный долг не только хранить оставшееся наследие, но и распорядиться так, чтобы оно продолжало влиять на русскую жизнь, вдохнуло в Ив. Серг. новые силы.

«Я постараюсь, – пишет он гр. Хлудовой, – поддержать, по крайней мере, нравственную чистоту знамени, предупредить перерыв преданий и дождаться, может быть, времени, когда явится человек, более достойный наследовать преемство духа всего учения»[14].

И вот он начинает выполнять свой долг со всею горячностью пылкого темперамента.

Это было совершенно исключительное в литературном мире явление: ряд периодических изданий, начиная с газеты «День» и кончая «Русью», последовательно сменяют друг друга, в течение целой четверти века издаются неизменно от имени сошедшей со сцены группы мыслителей, причем издатель стремится освещать все текущие события русской, славянской и мировой жизни с точки зрения этих покойных своих вдохновителей, по возможности даже их выражениями.

Не было, кажется, ни одного важного вопроса общественной жизни славянства и России, который бы не был затронут и разрешен Аксаковым: реформы 60-х гг., свобода печати, судебная реформа, земское самоуправление, славянский вопрос, польский и еврейский вопросы – словом, все злободневные вопросы русской и славянской жизни нашли здесь соответствующее объяснение. Здесь-то и вылился во всей красоте и величии светлый образ Ив. Серг. как великого борца, пламенного страдальца за лучшие идеалы. «Величайшее счастье делать счастье другим, – пишет он в одном из писем Тютчевой, – величайшее несчастье быть причиной чужого несчастья»[15].

Ив. С. Аксаков – это мученик правды и за правду. «Моя главная мольба к Богу, – восклицает он. – Дай правды мне!»[16]

Господь, Господь, мою ты знаешь душу!
Суди меня, о Грозный Судия.
Пусть казнь Твою я на себя обрушу,
Но пусть блеснет мне истина Твоя[17].

Таким страдальцем за правду является Ив. Серг. и в той общественной деятельности, на которую сменяет он свою кипучую публицистическую работу. Для нас особенно ценна и важна его работа в московском Славянском благотворительном комитете, преобразованном с 1877 г. в московское Славянское благотворительное общество. Глубокого, захватывающего интереса полны все его одушевленные речи, произнесенные здесь в разное время. Особенно поразительны: 1) много нашумевшая речь по поводу первых слухов о постановлениях Берлинского конгресса и 2) речь, произнесенная 22 марта 1881 г. по поводу ужаснейшего из цареубийств. Первая речь исполнена гнева и горечи по поводу унизительных для России и крайне невыгодных для балканских славян постановлений Берлинского конгресса. Эта речь содержит в себе ряд резких и страстных нападок на действия русской дипломатии и заканчивается так: «Волнуется, ропщет, негодует народ, смущаемый ежедневными со-

общениями о Берлинском конгрессе, и ждет, как благой вести, решения свыше. Ждет и надеется. Не солжет его надежда, потому что не переломится царское слово: святое дело будет доведено до конца...»[18]

За эту речь Аксаков был выслан из Москвы, а Славянское общество закрыто.

Таким же пламенным одушевлением проникнута и другая речь Ив. Серг., произнесенная им 22 марта 1881 г. по поводу ужаснейшего цареубийства. Заканчивая эту речь, Ив. Серг. восклицает: «Пора же нам, хоть в виду зияющей пред нами бездны, очнуться и стряхнуть с себя путы, которыми оплели наше общество ложные человеческие мудрования. Пора утвердить нам свое подвижное сердце, свою подвижную мысль – на камне истины Божьей и нашей правды народной»[19].

Таким образом, мы видим, как и здесь И. С. является таким же пламенным борцом за истину, таким же страдальцем за правду, каким был и раньше.

Идеал правды – вот исходный пункт мировоззрения Аксакова и характерная черта его личности!

Вот почему, когда И. С. умер почти внезапно 27 января 1886 г., то, несмотря на резкие нападки его на западников-либералов, они, эти самые либералы, не усумнились ни на минуту признать честность и чистоту всей общественной деятельности этого последнего по времени и вместе самого близкого, самого родного нам, как увидим, по настроению славянофила.

III.
Идеалы славянофильства

Посмотрим теперь, каковы же благородные идеалы славянофильства, которые И. С. всю жизнь носил в своей душе, которыми он жил, мыслил, чувствовал и которые завещал он нам, фактическим завершителям исторической миссии России. Пред духовным взором И. С. постоянно стоит образ великой России, как «отдельного, цельного и мо-

гучего мира»[20], России, пронесшей идею славянства, этот священный завет святых братьев Кирилла и Мефодия, от Карпат до Тихого океана, от Северного полюса до самого Арарата[21].

«Основное призвание России – политическое и духовное знамя славянства»[22].

«Освободить из-под материального и духовного гнета народы славянские и даровать им дар самостоятельного духовного и политического бытия под сенью могущественных крыл русского орла – *вот историческое призвание, нравственное право и обязанность России*»[23].

«Без этой роли Россия – не Россия»[24].

Вся сила славян – в России, вся сила России в ее славянстве[25].

Но... величайшее горе славянского мира заключается в том, что сама-то эта великая страна, сама-то Россия находится на положении слабосильного больного[26].

«Если все славяне – дети, – восклицает И. С., – то мы, русские, не дети, мы только больные»[27].

Для славян вне Росси нет спасения ни материального, ни духовного, но Россия сама находится вне себя и стоит скорее на пути к погибели, чем на пути к преуспеянию. Когда Россия станет русской, тогда вопрос славянский решится сам собой[28].

В прекрасном стихотворении «Мы все страдаем и томимся» И. С. так рисует создавшееся положение:

Тоска... Исполненный томленья
Мир жаждет, жаждет обновленья...
Когда ж спасение нахлынет,
И ветхий освежится мир?[29]

Крымская война открыла глаза и русскому царю, и русскому народу на недостатки русской жизни. Период крепкого и сильного правительства закончился для России позорным миром... Словно заревом пожара в ночи, осветилась позором черная мгла русской жизни... Страшно и по-

думать, продолжает И. С., о тех муках разочарования, которые должен был перенести русский царь со своим народом в продолжение Крымской войны. Никаким недугам было не под силу сломить «богатырский организм Царя – его сломило только *великое царское горе...*»[30].

Но не за свою вину, говорит Ив. Серг., пострадал государь и народ... Он пострадал за царя, который насильственно порвал полтораста лет тому назад глубочайшие основы русской жизни, когда «старый тип земского русского государства был смят Петром Великим, скомкан и заменен новым, не русским, чужим»[31].

Тогда разрушен был «*союз любви, веры, союз мысли и духа русского Царя с его землею*»[32].

Только восстановление духовной цельности нашего организма, только восстановление этого полюбовного союза Царя с народом спасет Россию[33].

Три основные идеи составляли фундамент допетровской Руси, и они же должны составлять фундамент России будущей – *идея Царя, идея Церкви и идея народности.*

«Идея государства, идея единой Верховной власти, – говорит И. С., – ни одним народом мира не усвоена так сознательно, как нашим»[34]. «Идея Царя – идея самая народная... которой русский народ остался верен, несмотря на все превратности судьбы»[35]. Выразителем этой Верховной власти является *русский Царь*. Кто такой русский Царь? «Русский со своей прирожденной властью не честолюбец и не властолюбец: власть для него – повинность и бремя; царский сан – истинный подвиг»[36].

Неугасимым жертвенником духа служит вера[37]. Выражением этой веры является Православная Церковь. Учение Церкви – высший орган, к которому может стремиться только верующий разум... руководительная звезда, которая горит на высоте неба и, отражаясь в сердце, освещает разуму его путь к истине[38]. Однако Православная Церковь – это не современная Церковь, в которой нельзя усмотреть даже следов живого соборного начала, которая – не что иное как одно из верховных госу-

дарственных бюрократических учреждений, где самое понятие церкви подменено понятием ведомства[39].

Православная Церковь – это та, во главу угла которой положены начала соборности и самостоятельной приходской общины[40]; та самая, которая «помогла нашему страстотерпцу-народу уберечь в своей душе образ Христов и сквозь все невзгоды и муки рабства соблюсти веру в свою христианскую свободу, в свое человеческое достоинство»[41].

Отсюда между Церковью и народом, между религией и народностью – тесная и неразрывная связь[42].

Что такое народность? Народность – это то же, что личность в отдельном человеке[43]. Народность в истории есть понятие, по преимуществу, нравственное и духовное[44].

Выражением этого понятия народности является «народ, как цельный организм»[45]. Удивительны таинственные отправления этого мистического организма, называемого народом. Точно электрический ток пробегает по всем этим миллионам умов и сердец и связывает их воедино.

Выражением народной воли является народное представительство, земский собор, в котором народу принадлежит мнение, а решение – царю[46].

Итак, самодержавный земский строй под знаменем высшего нравственного начала, то есть истинного христианства, или, иначе, Православия, – вот идеал России как государственного организма, и другого истинного идеала нет и быть не может. «Правительству – неограниченная власть государственная; народу – полная свобода нравственная, свобода жизни и духа; правительству – право действия и, следовательно, закона; народу – право мнения и, следовательно, слова». Только в возрождении цельной, земской, сильной органической жизни – исцеление России[47].

Этот идеал России, по словам И. С., коренится в ее прошлом, в Киевской и Московской Руси, с традициями которых резко разорвала новая Петровская Русь, отчего и пошли все беды Русской земли. Особенно ужасным злом новой России, по словам И. С., является глубокая пропасть между народом и интеллигенцией.

Надо отдать справедливость славянофильству, оно глубоко чувствовало весь трагизм этого разрыва между образованными классами и народной массой. Сама народная масса охарактеризована чертами такой поэтической красоты и высоты, что нельзя не отдать дани удивления этой трогательной вере в свой народ и не преклониться пред нашим народом-молчальником, в безмолвии совершающим геройские подвиги[48].

Русский народ – это *зерно,* сберегающее в себе сущность нашего народного духа, нашего народного я, нашей национальной личности, всего того, почему *Россия – Россия*[49].

Петр Великий, прорубивший в виде столицы окно в Европу, окно, сквозь которое только и глядит Европа на Россию, Петр Великий, основавший столицу с немецким прозванием, чуть не за русским рубежом, где-то на Ингерманландской трясине, лицом к Европе, задом – к России[50], этот государь одним ударом отделил фундамент от дома, и дом рухнул.

В результате – резкая разобщенность народа от интеллигенции, полная глубокого взаимного непонимания. Но на чьей же стороне правда? Только не на стороне интеллигенции! Почему?.. Да потому, что русская-то интеллигенция – она русская ли? В том-то и дело, что нет! Изгнав русский язык из своего употребления, чужая своей стране, своей Церкви, своей истории, она живет чужим словом, чужим домом, она цивилизована и невежественна, она не русская и в то же время не принадлежащая ни к какой другой народности, это – иностранка вообще[51]. Вот что такое, по определению И. С., русская интеллигенция. Вот где корень зла:

Мы любим жить чужим умом,
Свое чужим аршином мерить...
И пировать в пиру чужом...
Кому не нужны мы, – о том
И хлопотать и лицемерить[52].

Вот откуда та потрясающая картина безотрадного положения, какую рисует возмущенная душа писателя-поэта.

Иван Сергеевич спрашивает Русь: «Отчего ты так безобразна, наша святая, великая Русь? Отчего все, что ни посеешь в тебе доброго, всходит негодной травой, вырастает бурьяном да репейником. Отчего в тебе, как лицо красавицы в кривом зеркале, всякая прекрасная истина отражается кривым, косым, уродливым дивом?.. Тебя ли не наряжали, не румянили, не белили? За тобой ли не было уходу и призору? Тысячи прислужников холят тебя и день и ночь, выписаны из-за моря дорогие учители; есть у тебя и немцы-дядьки и французы-гувернеры; а все-таки не впрок идет тебе ученье, и смотришь ты неряхой, грязным неучем, вся в заплатах и пятнах и, как дурень в сказке, ни шагу не ступишь, ни слова кстати не вымолвишь...»

«Оттого я так безобразна, – отвечает Св. Русь, – что набелили вы, нарумянили мою красу самородную, что связали вы по рукам и ногам мою волю-волюшку, что стянули вы могучие плечи во немецкий тесный... кафтан... И связали, и стянули да нудите – жить чужим умом, чужим обычаем, чужой верой, чужой совестью. О, не хольте меня вы, отцы-блогодетели! Не лелейте меня вы, незваные и непрошенные, вы – дозорщики, вы – надсмотрщики, попечители, строители да учители. Мне невмочь терпеть вашу выправку. Меня давит ваш тесный кафтан, меня душат ваши путы чужеземные. Как не откормить коня сухопарого, не утешить дитя – без матери, так не быть мне пригожей на заморский лад, не щеголять мне красою немецкою, не заслужить у Бога милости не своей душой»[53].

Но, по твердому убеждению И. С., не на стороне этого русского иностранца, этого безобразного снимка с чужих народов великое будущее Родины. Великий русский народ могуч, как Волга, говорит Ив. Серг., и в нем корни России, интеллигенция же – листья. Этот богатырь в тесных немецких ботфортах, этот «Илья Муромец, напомаженный и с завитыми волосами», он, по словам И. С., велик даже и в этом безобразном снимке. Народный организм могуч, и им должна проникнуться русская иностранка, наша интеллигенция[54]. Только тогда исчезнет, станет неправдою скорбная народная пословица «До царя

далеко», как исчезла она в переживаемый нами момент в лице Государственной думы. Только народная Россия может пользоваться народной любовью[55], и только одна эта Россия способна достойно выполнить высокие благородные общеславянские идеалы.

Услышь, Господь, усердный зов,
Чтоб самобытное начало
Своих развеяло врагов
И иго нравственных оков
С себя презренное сорвало[56].

IV.
Славяне

Внимательное изучение истории славянства приводит Аксакова к выводу, что ко времени выступления русской державы на политическую сцену Европы не было ни одной отрасли славянского племени свободной и самостоятельной. Чехи и словенцы – провинция Австрийской империи; хорваты входят в состав Венгерского королевства; далматинское славянское побережье находится под влиянием итальянской культуры; на Балканском полуострове сербы и болгары томятся под игом магометан... Только на Черной горе горсть сербских удальцов под управлением владыки митрополита, одна из всех славян, исключая Россию, хранит мужественно свою независимость[57].

Имя славянское казалось затерянным в Европе... В мучительных судорогах извивалось и стонало славянство под игом многочисленных врагов, разноплеменных, но объединенных непримиримой, смертельной ненавистью к славянскому миру.

Трудно сказать, какие славянские племена терпели больше, какие меньше, настолько невыносимо мучительно было их положение.

Вот пред нами *Черная гора* – чудесная горсть храбрецов[58], аванпост славянской свободы[59].

«Когда-то Бог нес мешок с камнями, мешок прорвался, камни высыпались беспорядочной кучей и назвались Черногорией. Ни зверь, ни птица, кроме серны да орла, сами не заходят сюда, в этот лабиринт скал и ущелий, только один человек вздумал обратить эти скалы в жилище – и обратил»[60]. Такова легенда о происхождении Черногории.

Скромным кандидатом в монахи и архиереи явился будущий князь Черногорский Данило в Петроград. Прошло несколько времени довольно скучных ожиданий и скучного монастырского заключения; объявляют Даниле повеление быть во дворце на аудиенции у Императора. Данило явился. «Ну что, чем хочешь быть, архиереем или князем»? – спросил Государь. «Как угодно будет Вашему Императорскому Величеству», – отвечал ловкий черногорец. «Почему ж тебе монахом не быть?» – «Не чувствую призвания, Ваше Величество, жениться хочу». – «Какой же ты монах! – сказал Император Николай и прибавил многозначительно: Будешь князем!»[61] Так передает Ив. Серг., со слов кн. Данилы, разговор последнего с Государем.

И стал Данила князем, тотчас же выехал из монастыря, облекся в блестящий черногорский костюм, а... Европа с изумлением узнала, что на политическом горизонте негаданно-нежданно, без ее спроса и ведома, явилось новое политическое тело.

Тяжело, мучительно оказалось положение нового княжества.

«Вообразите себе, – говорит Ив. С., – горсть храбрецов, решившихся противостоять буре магометанства: они окружены врагами, они в течение четырехсот лет каждый день жизни покупают ценою крови... мгла невежества сгущается над ними, но свет православной веры не дает им погибнуть». Черногория, – по словам И. С., – это *четырехвековой протест* всего славянства против мусульманской тирании в христианской Европе... Это – всеславянская месть за угнетение славян[62].

Относительно Черногории Россия в долгу. Россия не отстояла ее на Берлинском конгрессе[63].

Но черногорцы мечтают о Боснии и Герцеговине – и их мечта *должна* осуществиться.[64]

Вот пред нами Болгария. «Пять веков турецкого рабства не могли вытравить в болгарах их национального сознания»[65].

Это народ серьезный, здравомыслящий... но вместе упорный в достижении своих целей[66].

Болгария – упитана, по словам И. С., русской кровью, на русских костях стала Болгария[67]. Болгары сами приглашали русских для занятия высших административных должностей.[68] Русский офицер положил начало болгарской армии[69].

И болгарский народ, по словам И. С., всегда с Россией[70].

Поэтому Ив. Серг. с чувством глубокого возмущения отзывается о русском представителе, который, когда тысячи болгар ревели – *«Живіо, Русскій Царь»* – в благодарность за воссоединение Румелии с княжеством, объявляет объятой энтузиазмом толпе, что ее крики некстати, неуместны, что то, чему они радуются, то есть воссоединение, совершено против воли и желания русского монарха[71]. Далее Ив. Серг. *пророчески* предостерегает Россию и на будущее время, говоря: «…если Болгарии придется поколебаться в своей вере в Россию, она падет в такую глубокую бездну отчаяния, из которой едва ли выйдет, или же погибнет духовно, отдавшись во власть иноземцам»[72].

Однако были моменты в жизни болгар, к которым И. С. относится отрицательно. И это было в самый важный момент жизни Болгарии, в момент ее политического освобождения и объединения.

Вместо укрепления так долгожданного объединения Болгария, по словам И. С., сразу же, по примеру цивилизованной Европы, сочла нужным обзавестись партиями. «Как же быть без партий, – иронизирует И. С., – коли есть конституция. И вот новые граждане, еще почти не выйдя из утробы матери на политический Божий свет, задаются задачей не единства, а разъединения: ты, Петко, будь консерватором, ты, Ника, ступай-ка в либералы, а я, Райко, махну в радикалы».

Был один красноречивый момент в жизни болгар, «от которого краска стыда и возмущения покрывает благородное лицо нашего славянофила. Это было тогда, когда болгары обратились... к Наполеону III,

императору французскому, за поддержкой, а тот наотрез отказал им из желания сохранить искренние и теплые отношения к России. И. С., вспоминая этот факт, восклицает: «Краска бросается в лицо от стыда. Наполеон напоминает болгарам о России, отсылает их к нам, дарит их нам. Эх, болгары, болгары...»[73]

Без слов ясно, что переживал бы Ив. Серг., если бы он дожил до наших дней, ибо торжественные заверения современной Болгарии, что она ни в каком случае не пойдет против России, с точки зрения идей славянофильства, равносильны вот чему: на моих глазах мой родной брат бьется со смертельным врагом на жизнь и смерть, а я торжественно заявляю посторонним очевидцам драмы: господа, я ни в каком случай не пойду против моего брата...

С полным сочувствием и горячей симпатией относится И. С. к *«многострадальной»*, как он выражается, Сербии. Правда, скороспелость сербского общественного устройства тоже не ускользнула от наблюдательного взора И. С. Сербы «прямехонько», по его словам, из эпоса, из пастушеского периода прыгнули в цивилизацию нашего столетия, обзавелись тотчас же интеллигенцией... а потом и конституцией совершенно европейского склада. И. С. с горечью замечает, что бывают минуты, когда Сербия сама лезет в пасть Австро-Венгрии[74]. Он с негодованием упоминает о насильственном смещении сербами высокопреосвященного Михаила с престола сербской митрополии в 1881 г.[75]

Но, с другой стороны, И. С. с каким-то свойственным только славянофильскому сердцу сочувствием останавливается на ужасной внутренней и внешней обстановке жизни Сербии. Во внутренней жизни Сербии, по его убеждению, предстоит *государственный переворот*[76]. Не на наших ли глазах произошел этот переворот?

Славянское сердце И. С. особенно поражает ужасное внешнее положение Сербии между двух страшных врагов – Турции и Австрии.

«Сербы, – пишет он еще в 1860 г., – с трудом выносят зависимость свою от *Порты*... Никакие... вопросы не идут в голову, когда беспрестанно перебегают выходцы из Боснии и Герцеговины с рассказами

о зверствах турок, когда Россия ограничивается одним сочувствием, когда католическая пропаганда в Боснии каждый день делает успехи, а Австрия под этим условием спасает там жителей от смерти и женщин от поругания, а... сама... грабит, как разбойник на большой дороге; когда Турция все время стягивает войска; когда семь держав... связывают сербов по рукам и ногам, интригуют между собою, вмешиваются в правление и пр., и пр.»[77]

Столица Сербии – «несчастный Белград, осажденный со всех сторон двумя разбойническими державами»[78].

Полный негодования на бесчеловечных врагов славянства, голос И. С. принимает оттенок пророчества. «Мы в долгу у сербов, – восклицает он, – но мы в долгу не останемся. Не только русское общество не даст осрамить русское имя, но уже *близок час,* так давно всеми нами желаемый и призываемый, *благословенный* час, когда в самой России все станет на свое место... когда могучее наше правительство... во главе и при содействии общественных сил возьмет защиту славян в свои *крепкие* руки»[79].

Не являются ли наши дни буквальным исполнением этих буквальных слов Аксакова?!

Еще больше страдает душа и болит сердце, когда И. С. начинает говорить о славянстве *западном,* положение которого прямо отчаянное.

Положение славян в Австрии и Германии, где они шаг за шагом сознательно истребляются, прямо ужасно. Но жив дух славянский под ужасным австро-германским игом. Это видно из того, с каким восторгом и одушевлением принимали И. С. во время его путешествия по Галиции хорваты, чехи. «Что царь Александр? Любит ли он нас, славян? Знают ли в России, как мы ей преданы, великой славянской державе? Скоро ль вы к нам? Подобные вопросы сыпались мне, – говорит И. С., – со всех сторон при первом знакомстве на улице».

«Знаете ли, господа, какие самые любимые *песни* хорватов, – продолжает И. С., – песни про Русского Царя, про *Москву.*

Москва, Свята Москва, –
Руси ты Царица,

Коей нов град Петров
Не потемни (не затемнил) лица.

А заканчивается песня так:

Славянство те чека (тебя ждет),
Да ты всем нам будешь
Медина и Мекка.

Один хорват на своем кисете для табаку золотыми блестками по красному фону вышил слово «Парус», то есть название газеты, в первом номере которой было разослано воззвание ко всем славянам, и, показывая Аксакову, горячо доказывал, что иначе он не мог выразить своего сочувствия, как заказав вышить слово «Парус» на кисете, так как целый день не выпускает изо рта трубки[80].

Благодарный *чешский* народ, «этот, по буквальному выражению Аксакова, передовой страж славянства», возбуждает в его душе чувства восхищения и преклонения. «Велики заслуги чешского народа пред всем славянством! – восклицает он. – Свет христианского учения, воссиявший в Велеграде, озарил весь славянский восток. *Иоанн Гус* был первым в Европе борцом за идею...

Немало мощных сил духа явил в себе чешский народ, который пережил гуситскую эпоху своей истории, эту эпопею борьбы и мужества за высокие идеалы, за просвещение, за свободу совести, за свою славянскую народность, и израненный насмерть пребывает доныне несокрушимый, не отступаясь от права народности»[81]. Прямым подтверждением природного благородства и славянской симпатии чешского народа служит его «древнейший завет» из *«Песни о Любушином суде»*:

Нам не хвально у немцев искать правду...
У нас правда по *Закону Святу*[82]...

Славяне *Боснии и Герцеговины,* по словам Аксакова, переносят со стороны Австрии худшее насилие, чем турецкое иго[83], так как употребление слова «Царь» в молитвах – «Царь Небесный», «Царствие Божие» – ставится здесь священникам в политическую вину, как напоминающее де Царя Русского[84].

И. С. совершенно ясно предвидит, что австрийская оккупация Боснии и Герцеговины должна скоро и неминуемо перейти в аннексию[85]. Не мы ли в 1908 г. были свидетелями этого политического злодеяния!

В порыве горечи И. С. обращается к Галичу с вопросом: «Галич, Галич, где твои сыны?» А Галич отвечает своей грустной песней:

Горе, горе! Их спалили
Польши дикие костры;
Их сманили, их пленили
Польши шумные пиры[86].

А что же самая *Польша?* Каково ее положение? Каковы ее интересы и отношение к общеславянским вопросам?

Польша, по мнению И. С., занимает несколько особое положение, ибо она, «по несчастью для себя, была всегда бульваром Европы, передовым аванпостом против славяно-православного мира»[87].

Польша, по словам И. С., ренегатка в мире славянском, ренегатка вдвойне, не только потому, что дала себя олатынить, но и потому, что в фанатической ненависти к Православию заглушила в себе и чувство, и сознание славянской духовной общности и родства»[88].

Но не польский народ в своей массе виноват в этом, а правящий класс, шляхта, этот болезненный нарост, по словам Аксакова, на польском народе, проквашенный иезуитскими дрожжами, который смотрит на простой польский народ не более как на *быдло – скот*[89].

Сам же польский народ в своей массе любит Русь великую, единоплеменную, и только благодаря России мечтает сделаться полноправным гражданином своей земли[90].

Общеславянские интересы России на востоке и в Польше, по убеждению И. С., совершенно однородны.

В польском деле у России не может быть никакой солидарности с Австрией и Пруссией. У нас с Польшей, говорит И. С., свои исторические счеты, совершенно не прусские и не австрийские.

Столь глубока вера Аксакова в славянское сердце Польши, в ее симпатии к славянской России!

Таково безотрадное положение южного и западного славянства.

Итак, по убеждению И. С., славяне в массе своей везде проникнуты сознанием своего родства и взаимными симпатиями, но все они томятся под ужасным гнетом, под страшным вражеским игом.

V.
Враги славянства

Иван Сергеевич, на месте ознакомившийся с положением южного и западного славянства, на деле убедившийся в его ужасном положении, конечно, не мог не остановиться подробно и обстоятельно на тех народах, которые являются исконными врагами, исконными поработителями славянства.

И эти суждения, как сейчас увидим, прямо поразительны по той очевидности, по той верности, с какой схвачены и зафиксированы они для сведения и предостережения и славян, и, в частности, России.

Первый исконный враг славянства и христианства – Турция.

Мы не будем долго останавливаться на характеристике этого врага, который настолько вошел в сознание славянства, именно под *знаменем врага,* что для русских, по словам И. С., «нет врага популярнее *Турка*»[91].

Дряхлеющий, слабеющий не по дням, а по часам, этот враг старается излить свою злобу на беззащитных южных славянах, виновных только в том, что когда магометанский полумесяц засиял на куполах Цареградской Софии вместо христианского креста, то славяне оказа-

лись соседями этого полумесяца и не пожелали добровольно сменить св. веру и свободу на положение последнего раба Турции.

Веками лилась кровь, веками длились насилие и борьба!

Неистовства, зверства, бешеный разгул самых диких страстей, сожигание заживо девиц, наперед поруганных и обесчещенных, истребление мирных жителей десятками тысяч, опустошение целых областей огнем и мечом – все роды мук и бед обрушены были на безоружное славянское население рассвирепевшим изуверством азиатской орды, севшей на развалинах древнего великого православного царства, некогда обузданной русскими государями, но затем вновь введенной в семью европейских государств размалеванной белилами и румянами европейской цивилизации. Турция – это чудовищное зло и чудовищная ложь, которая замышляет на глазах всей Европы растоптать славянство![92]

Вот что такое Турция в представлении Аксакова. Но... спрашивает в недоумении и благородном гневе И. С., ради каких разумных целей длится этот ряд физических бедствий и нравственных пыток? Понять невозможно!

И сколько времени такое зло, такой позор для христианского мира будет длиться?..

И. С. твердо верил, что долго эта историческая пытка длиться не может.

Но пока все еще льется кровь христианского мира, как лилась она при жизни Аксакова!..

Одно обстоятельство всегда особенно поражало И. С.: кровь христиан-славян льется под ударами кривого турецкого ятагана...

И молчит!.. Кто же? Молчит Европа – носительница всемирной цивилизации, христианская Европа! Но недолго удивлялся И. С. и этому поразительному явлению… Скоро понял он, что европейская цивилизация – гнилая цивилизация, ибо она только прикрывается именем Христа. *Гуманность* же, отрицающая Христа, по словам Аксакова, приводит логически к *бесчеловечью, цивилизации* без просвещения Христова – к *одичанию, прогресс* без Христа – к регрессу, свобода – к деспотизму и

отчаянию»[93]. Современная Европа, говорит И. С., не служит ли очевидным оправданием этого положения, та Европа, у которой две правды – одна для себя[94], другая – для *славян*, та Европа, которая горит смертельной ненавистью к славянскому миру[95].

«На Западе, – пророчески продолжает И. С., – поднимается какой-то культ или обоготворение одичания вместе с созданием целой новой породы диких, которых все идеалы сосредоточились в истреблении и умерщвлении, все дары духа, весь ум и душа – в револьвере, яде и динамите. Это их единственный «человеческий» язык, в этом для них высшее проявление «человечности» и «культуры»[96].

Австрия и Германия – вот два государства, как красноречивые выразители этого нового культа одичания, как создатели этой новой культуры бесчеловечного деспотизма.

Что такое Австрия? Австрия – «это держава, самое существование которой искусственное, насильственное, основанное на неправде – *воплощение противоречия идеи мира*. Это – агломерат, скопление разных племен, спаянных немецким цементом»[97].

Австрия – постоянно уравновешиваемое междоусобие народностей. Австрия считает свое государственное устройство твердым, а между тем в течение всего XIX в. мучается вопросом: ***чем ей быть***?

Из Священной Римской империи разжалованная Наполеоном I в империю Австрийскую, она в 1866 г. выкинута Пруссией за борт Германии; еще более понижена чином с созданием Германской империи; наконец, теперь, внимая коварным внушениям германского канцлера, лелеет несбыточную мечту: стать Западно-Славянской империей с захватом Балканского полуострова»[98].

Для Австрии в настоящее время, продолжает И. С., славянский вопрос делается жизненным[99].

Вот почему она столь усердно ***кокетничает*** со славянами. На самом же деле – это злейший враг освобождения славян даже из-под ***«турецкого ига»***[100].

Историческая натура австрийского государства – немецкая.

Вытесняемая из Германии, Австро-Венгрия оттеснена к Востоку, но и здесь она не более как представительница и носительница исторической германской идеи в ее стремлении на ***Восток.***

Задача Австрии, говорит Аксаков, оттереть Россию от славян и Востока. Эта миссия Австрии на Востоке решена в Берлине бесповоротно.

Какими же средствами? Война для Австрии невыгодна, и ее задача – поставить Россию в фальшивое положение[101] по отношению к славянам, что ей, с горечью говорит И. С., неоднократно и удается. «Итак, – заключает И. С., – Австрия не более как «пионер германизации». Вся ее задача, вся ее историческая миссия, как ее понимают австрийские государственные люди и германский канцлер, – обезнародить славян, обратить их в материал для европейской германо-романской культуры, всосать их в тощее германское тело, утучнить ими немецкую плоть»[102] и, наконец, самой исчезнуть вслед за славянами в пасти чудовищного дракона пангерманизма[103].

Наконец, ***третий – злейший и опаснейший враг славянства – немцы.***

И. С. утверждает, что прямые и непосредственные интересы Германии и России вовсе не до такой степени противоположны друг другу, чтобы подать повод к войне: по крайней мере, этот повод еще не назрел и ничто не мешает нам жить в добром соседстве[104].

Но тогда почему же, задает себе вопрос Аксаков, почему же у немцев ненависть к славянам гораздо сильнее, чем к ***азиатам?***[105]

Крылатая формула Бисмарка красноречиво освещает положение: «Роль России не в Европе, а в Азии»[106].

Чудовищная идея пангерманизма поднимается во весь свой рост.

Жизненный идеал Германии и ее заветная мечта, по словам Аксакова, свергнуть Россию с пьедестала первоклассной европейской державы, лишить ее, при помощи Австрии, всякого влияния на Балканском полуострове, отбросить ее от Польши и Балтийского моря на другой берег Волги и прижать ее к Азии.

Передав решение задачи на Ближнем Востоке Австрии, – своей будущей провинции, Германия сама, по словам И. С., с поразительной энергией принимается за осуществление заветной мечты.

Какими путями? Два основных пути намечает, по словам И. С., Германия и принимается за осуществление их с поразительной энергией и неутомимой методичностью.

Один путь – будущая война с Россией, а другой – еще более опасный путь мирного завоевания, колонизации России с целью постепенного захвата лучших ее областей в свои жадные щупальца.

Обсуждая будущую войну Германии с Россией, Аксаков сознает серьезность положения весьма ясно. Вот красноречивая картина позиции, занятой Германией но отношению к России еще при жизни Ивана Сергеевича. «Прусские крепости, – говорит он, – обступили нашу границу; прусский штаб давно выработал план войны с Россией и даже принял все надлежащие меры, так что может двинуть войска в наши пределы чуть ли не на другой день после разрыва; в прусской военной академии прилежно изучают русский язык и игра в войну с Россией составляет главное упражнение академических слушателей... Нельзя не заметить, – продолжает он, – что эти оборонительные заботы Пруссии так страстны, что хватают через край и переходят чуть ли не в наступательные... Все это такие меры, которые, при всем нашем уважении к чужому праву обороны, допущены быть не могут и не должны»[107].

Но добродушная Россия спокойно смотрела на все эти военные приготовления.

Наряду с этими приготовлениями идет другая работа, подпольная, но еще более опасная для целости и мощи нашей родины.

Мы с удивленными глазами читаем теперь сообщения периодической печати о тех чудовищных размерах, в какие вылилась германская колонизация в России, известия о двойном подданстве германцев, а между тем нашим славянофилам все это было известно по крайней мере 35 лет тому назад, и известно подробно и обстоятельно.

«Немцы, – говорит Аксаков, – не перестают наводнять своими людьми царство Польское. Идет терпеливая, настойчивая, систематическая, вполне немецкая работа, и нельзя сказать, чтобы шла медленно, так как с нашей русской стороны не полагается ровнехонько никаких препятствий. До сих пор, – продолжает он, – скупались имения промотавшихся польских помещиков, скупались зря, только бы купить и посадить немца, а немец окружил себя немецкими управляющими, садовниками и другим нужным в имении народом, также из немцев. Все это заговорило по-немецки... Теперь, когда прусских колоний оказалось довольно, стали покупать имения совсем уже не зря, а в таких местах, где находился либо мост, либо брод. Так, на реке Бзуре все мосты и броды уже в руках пруссаков... Ковенская губерния давно превращена в Kovenland[108]... в Волынской и Подольской губерниях более ста тысяч немцев, и, что всего всего замечательнее, не только не принявших русского подданства... но даже состоящих в прусском ландвере… Оказывается, что в случае столкновения России с Германией последняя имеет заранее заготовленный стотысячный авангард на нашей территории... Мы сами облегчили немцам дело мобилизации, и сами будем дивиться ее быстроте...»[109]

Наконец, на севере – Прибалтийская окраина, иначе остзейские бароны, и в ней как бы символическое довершение всей этой порубежной немецкой работы[110].

«Но этого мало! – горячо продолжает возмущенный Аксаков. – Мы, русские, сами не брезгаем возвеличивать число прусских землевладельцев... Число переселенцев из Германии, сохраняющих германское подданство, постоянно увеличивается.

Но и этого мало! Эти германские подданные, даже не принося присяги русскому Государю, сплошь и рядом облекаются здесь исполнительной властью, заведывают местной полицией и т. п.[111]

Что может быть красноречивее такого случая? В 1883 г. курляндским вице-губернатором был бар. Гейкин-отец, а бар. Гейкин-сын служил у кн. Бисмарка советником по иностранному ведомству, а третий

бар. Гейкин-сын, прусский подданный, – губернский предводитель дворянства в той же Курляндии»[112].

Смелость немцев, граничащая с низким нахальством, пишет Аксаков, идет дальше и дальше. Один немецкий генерал сказал про остзейцев: «Мы мамелюки империи, мы янычары, мы преторианцы казенного, по немецкому образцу созданного государства...» И это немецкий генерал сказал о России... Предоставим читателю, восклицает Иван Сергеевич, самому дополнить эту картинку своим воображением». А один знаменитый немец, граф Канкрин, в своих сочинениях предлагает даже отнять у Русской земли название Русской и именовать ее Петровией, а русских – петровцами[113].

Вслед за баронами, говорит Иван Сергеевич, этой смелостью проникаются и немецкие фабриканты. Так, рассказывает Иван Сергеевич, в 1885 г. немцы сумели исходатайствовать у нашего министра финансов, чтобы, по предъявлению ими свидетельства о русском происхождении их немецких товаров, они провозились в России через нашу таможенную черту беспошлинно, как наши туземные русские произведения[114]...

Так-то чувствовали себя немцы в России.

А когда Россия, говорит далее Иван Сергеевич, Россия, эта темная, непросвещенная, по мнению немцев, страна, требует в своем Балтийском крае признания национальных прав туземного населения, требует для края свободы промыслов, свободы торговли, свободы гражданской жизни, и это для населения почти в 2 миллиона русских подданных против полутораста тысяч немецких колонистов... немцы бьют в набат и зовут Европу на помощь, оглашая ее криками: «Караул! Берегись русской России!»[115]

В такие моменты голос Ивана Сергеевича повышается все больше и сильнее... Его русское сердце, его славянская душа не в состоянии более равнодушно переносить немецкое иго. «Угнетение немцев в России! – восклицает он. – Угнетение немцев в стране, где едва ли не на половину занято ими поприще государственной службы... от низшей до самой высшей среды управления... Угнетение немцев в стране, где поистине...

не только немцам, но и всем иностранцам полный простор, приволье, безопасность, внимательность от правительства, снисхождение, терпимость и приветливость»[116]. Так-то немцы чувствуют себя в России.

Но не этот немец – самый страшный враг России. Самого страшного своего врага мы должны искать в своей среде. Негодуя на иностранную прессу за ее дерзкий тон но отношению к России и за издевательство над ней, Иван Сергеевич в то же время и благодарит ее за то, что она, как в зеркале, отражает нам наши внутренние недуги, оправдывая одну, правда грубую, но и очень умную русскую пословицу, послужившую Гоголю эпиграфом к его «Ревизору»: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Ведь, в самом деле, почти в каждом представителе русской интеллигенции сидит немец; почти в каждом учреждении России дышит немец, понимая это слово в обширном смысле, то есть не привязывая его ни к личности, ни даже именно к германскому племени. Не с германской интеллигенцией должны мы бороться и издеваться над всемирно-историческими подвигами национального германского духа нам не очень-то прилично. Над собой, говорит Иван Сергеевич, должны мы издеваться, над нашим собственным отречением от народности, над нашим добровольным онемечением, над нашей падкостью, уступчивостью... Нам надо уразуметь свои собственные интересы, надо возненавидеть не немца у него дома, а того немца, которого мы сами вогнали себе внутрь, который глубоко засел нам в ум и даже в душу, того опасного немца, которого мы перестали и считать за немца и принимаем за русского...[117] Вот с чем мы должны бороться прежде всего и серьезнее всего!..

Теперь мы видим ту страшную опасность, которая грозит совершенным обезличиванием и нам, и всему славянству. Таковы чудовищные планы пангерманизма.

Вывод из всего сказанного – один: «Славянство обречено в жертву германизации, если... падет, ослабеет, изменит своему назначению единственный в мире оплот славянской и политической и духовной самобытности – Россия...

Но Россия должна помнить, по убеждению Ивана Сергеевича, что:

Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но все же мы – народ единый,
Единой матери сыны.
Но все же братья мы родные!
Вот, вот, что ненавидят в нас –
Вам (славянам) не прощается Россия,
России не прощают вас!..[118]

Как же быть тогда? Что нужно сделать, чтобы дать должный отпор страшному врагу? Что должны делать славянские племена? Что должна делать сама Россия?..

«Славяне, – говорит Иван Сергеевич, – должны объединиться, должны понять, ясно сознать свое кровное родство. Славянам недостает чувства Отечества, как политическая целого, обязывающего всех к солидарности и ответственности[119].

Иначе не прекратятся между славянами случаи ужасной измены, иначе между ними будут постоянные исконные усобицы[120], иначе между ними невозможно никакое соглашение[121].

Первым шагом к такому объединению славян послужил столь нашумевший в Европе Славянский съезд в России в 1867 г., на котором впервые было поднято духовное знамя славянства, и на этом знамени было написано: «Любовь, мир, свобода». Этот съезд показал всему миру, что Россия, сознающая свою славянскую миссию, представляется Европе более грозною, чем Россия, утверждающая повсюду внешний порядок и благочиние[122].

Но для того чтобы Россия явилась славянскою на деле, необходимо, говорил Иван Сергеевич, чтобы она ясно сознала, отчетливо представила себе свое историческое призвание и в корне изменила свою политику.

Какова же историческая роль России в судьбах славянского мира?

«С принятием Св. Крещения, – говорил Иван Сергеевич, – пред Славянской Русью развернулась величественная перспектива мировой исторической задачи: романо-германской Европе противополагается мир православно-восточный, или славянство. Мир этот еще слагается...

Византия, облагодетельствовавшая светом веры новые народы, сама бессильна была связать их в единый крепкий организм. Вино новое требовало и нового сосуда. И Византия пала, передав свое историческое призвание – России[123]. В чем же это призвание и как его осуществить?

Исконный враг Креста Христова – Турция – должен быть изгнан из Европы. Босфор должен быть наш»[124].

Щит Олегов должен быть вновь прибит к вратам Царьграда, но уже навсегда... Когда-то, в 1884 г., Иван Сергеевич высказал пожелание, чтобы Августейший Наследник русского престола посетил славянские земли и Царьград. Какой невыразимой радостью наполнилось бы сердце Ивана Сергеевича, если бы он мог встать из могилы и прислушаться к стихийному грохоту мощного флота наших благородных союзников под стенами Царьграда, мог бы убедиться, что недалек тот момент, когда Государь Император вступит в столицу древней Византии, но не как иноземный Государь в чужой ему город, а как полноправный хозяин, как венценосный вождь и глава торжествующего славянского мира!

Вслед за Турцией карающая рука исторической России должна обрушиться на Австрию и Германию.

Австрия должна окончательно прекратить свое искусственное существование. Чудовищным же планам пангерманизма должен быть положен предел, и Германия должна быть введена в свои этнографические границы.

Тогда и только тогда Россия сможет достойно выполнить свой священный долг по отношению к славянству.

В чем он заключается?

Священный долг России для славян – выдвинуть на место австрийского панславизма, в основе коего лежит абсолютная гегемония среди славян Запада и Балкан[125], панславизм русский, «это пугало Европы,

возбуждающее отчаянный клич к крестовому походу на Россию[126], панславизм, имеющий в своей основе освободить славян от чужеземного ига, дать им право жить и свободно, самостоятельно развиваться рядом с миром романо-германским[127].

И Россия должна это сделать, горячо восклицает Иван Сергеевич, и она может это сделать!

До сих пор не только за границей, но и у нас дома привыкли смотреть на Россию, говорит Иван Сергеевич, как на совсем субтильного политического субъекта[128], как на расслабленного инвалида, которому не только что радеть о своем достоинстве и славе, но дай Бог раз кое-как оправиться, хотя бы и с грехом пополам[129].

«Но это не так, это абсолютная неправда!» – восклицает горячо Иван Сергеевич всем своим существом.

Сам он глубоко верит в силу и мощь русского народа и убежден в том, что этот народ победит, ибо он не может не победить, ибо он должен победить. «Напрасно пугают, – говорит он, – всем немецким народом весь русский народ. Лучше пусть не дразнят они мирного варвара-великана; не только для 200 тыс. немецких колонистов, но и для всей культуроносной Германии не очень-то выгодно подымать его на ноги».

И этот мирный великан, заключает Иван Сергеевич, скоро подымется, разобьет врага, освободит южное и западное славянство, и тогда засияет новый светлый Мир – Мир восточнославянский, на знамени которого будет написано: «Мир, Любовь, Свобода».

Таково положение славянства под игом разноплеменных разноверных, но равно злых врагов. Таковы чудовищные планы германского мира. Таково великое будущее славянства!

Мы видим, какой светлой и твердой верой дышит славянофильство, светлой и твердой верой в славное будущее славянства и русского народа.

Вот где мы можем находить для себя постоянный, вечный источник бодрости, источник духа и силы.

Этот источник столь же богат, сколь обширна Россия, сколь могуч и велик русский народ!

VI.
Современный момент

Заключим наш краткий очерк несколькими словами Ивана Сергеевича о переживаемом Россией моменте.

Настал «вещий миг», скажем словами Ивана Сергеевича[130], «настал суд истории, суд Божий». Мирный варвар-великан встал на ноги, и два враждебных мира – мир славянский и германский – вступили в борьбу на жизнь и смерть.

«Быть или не быть славянству» – вот вопрос, который решается теперь на поле брани!

И русский народ понял это. Будто Илья Муромец, отсидев сиднем, выпрямился он во весь свой рост и двинулся от Ледовитого океана до Черного моря, и от Буга до Амура... Величественная картина!..

Понял он, наш народ, что настоящая война – дело не только чести, но и совести... Это – война за веру Христову. Это – война за освобождение угнетенных славянских братьев. Это – война за правду, война – подвиг, святой, великий, которого сподобляет Господь Святую Русь... Величайший в русской истории момент!

«Россия – на работе… Мы взошли в самую знойную пору страды. Понадобился труд – тяжкий, упорный, исполинский труд, соответственный исполинской задаче. Еще не видно ему конца, еще не скоро отдохнут труженики. Война в самом разгаре»[131].

«Время настало строгое... Но в меру ли важности переживаемого момента настроено духом русское общество? Пусть каждый допросит свою совесть!.. Прочь все поминки прошлого, гнилые сетования и укоры!.. Новая пора настала... Ни колебания, ни выбора уже нет, в виду одно: победить. Нет отступления для России, и хотя бы вся Европа воздвиглась стеной на пути. Нам в том порукою Царь, носитель и оберегатель народной чести... К победе, полной, всеразрешающей победе направим все силы нашего духа, – в опору Царю, в подкрепление нашим неутомимым бойцам»[132].

Станем на высоте нашей исторической задачи и доведем ее до конца, твердо помня слова славного казацкого атамана Тараса Бульбы: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу»!

О Русь, велик грядущий день,
Вселенский день и православный![133]

Несколько стихотворений и отрывков из политических произведений И. С. Аксакова

(См. Сборник его стихотворений. Москва, 1886)

1. НА ДУНАЙ

На Дунай! туда, где новой славы,
Славы чистой светит нам звезда,
Где на пир мы позваны кровавый,
Где, на спор взирая величавый,
Целый мир ждет Божьего Суда!

Чудный миг! миг строгий и суровый!
Там, в бою сшибаясь роковом,
Стонут царств могучие основы,
Старый мир об мир крушится новый,
Ходят тени вещие кругом.

И века над ратными полками
Грозными виденьями встают,
Мрачными глядят на них очами,
Держат свитки длинные руками –
К страшному ответу их зовут.

Там, сквозь пыл, и стоны, и рыданье,
Гул и гром тревоги боевой,

Чьих-то крылий слышно трепетанье,
Чье-то дышет мерное дыханье
Чья-то длань простерлась над землей!

На Дунай! что медлишь ты напрасно?
Слыша сил властительный призыв,
Подвигов у Бога ежечасно
Ты просил... Мгновение прекрасно;
Подвиг свят и праведен порыв!

О, туда! Отрадно на просторе
Там вздохнуть средь жизни мировой,
В горе всех свое растратить горе,
В счастье всех – исчезнуть будто в море,
Хода дней не слышать за собой…

В общей жизни – жизнью потеряться,
В общем – свято послужить:
Дням таким уж вновь не возвращаться.
На Дунай! Что медлишь? чем смущаться?
Раз один дается в мире жить.

Так проси ж у Бога сил небесных,
Все для дня великого забудь,
Весь зажгись огнем восторгов честных,
Меж рабочих темных и безвестных
Ты везде рабочим добрым будь[134].

2. НА НОВЫЙ, 1858 ГОД

День встает, багрян и пышен,
Долгой ночи скрылась тень,
Новой жизни трепет слышен,

Чем-то вещим смотрит день!
С сонных вежд стряхнув дремоту,
Бодрой свежести полна,
Вышла с Богом на работу
Пробужденная страна.

Так торжественно прекрасно
Блещет утро на земле;
На душе светло и ясно,
И не помнится о зле,
Об истекших днях страданья,
О потрате многих сил
В скорбных муках ожиданья,
В безвременности могил!

Пусть почиют мирно гробы
Тщетно ждавших столько лет!
Память им! Но в сердце злобы
Ни вражды, ни мести нет.

Все простит он без расчета,
Устоявши в дни тревог, –
Он, чей дух годину гнета
Пережил и перемог.
Слышишь: новому он лету
Песню радости поет:
Благо всем, ведущим к свету,
Братьям, с братьев снявшим гнет.
Людям мир, благословенье,
Долгих мук исчезнет след,
Дню вчерашнему забвенье,
Дню грядущему привет![135]

3. ЗАЧЕМ ДУША ТВОЯ СМИРНА?

Зачем душа твоя смирна?
Чем в этом мире ты утешен?
Твой праздный день пред Богом грешен,
Душа призванью не верна!
Вокруг тебя кипят задачи,
Вокруг тебя мольбы и плачи
И торжествующее зло,
А ты... Ужель хотя однажды
Ты боевой не сведал жажды
Тебя в борьбу не увлекло?

Ты возлюбил свое безделье
И сна душевного недуг.
В пустых речах, в тупом веселье,
Чредою гибнет твой досуг.
На царство лжи глядя незлобно,
Ты примиряешься удобно
С неправдой быта своего,
С уродством всех его увечий,
Не разъяснив противоречий,
Не разрешая ничего!

Пред Богом ленью не греши!
Стряхни ярмо благоразумья!
Люби ревниво до безумья,
Всем пылом дерзостным души!
Освободясь в стремленье новом
От плена ложного стыда,
Позорь, греми укорным словом,
Подъемля нас всевластным зовом
На тяжесть общего труда!

Безумцем слыть тебе у всех!
Но для святыни убежденья
Полезней казни и говенья,
Чем славы суетной успех.
О, в этой душной нашей ночи,
Кому из нас бесстрашной мочи
Достанет правду возлюбить?
Кто озарит нас правды светом?
Одним безумцам в мире этом
Дано лучей ее добыть![136]

4. ОТРЫВОК ИЗ ПРОИВЕДЕНИЯ «ЗИМНЯЯ ДОРОГА»

Мы любим жить чужим умом,
Свое чужим аршином мирить,
И пировать в пиру чужом,
Кому не нужны мы – о том
И хлопотать, и лицемерить!

Но если в ком недаром кровь
Волнует пылкое стремленье,
Зовет пространная любовь,
Чтоб угнетаемому – вновь
Воздать все прежнее значенье, –

Так чем глядеть по сторонам,
В чужом пиру искать похмелья,
И по проложенным тропам
Идти вослед чужим стопам,
Ковать ненужные изделья, –

Пусть пелену с себя сорвет,
Пусть ближе он допустит к сердцу,

Что отзыв в нем родной найдет,
Что чужестранец не поймет,
Что будет дико иноверцу!

Пусть он почувствует в себе
Всю святость уз своих к народу...
Но не проложенным следом,
Не по стопам чужим и узким,
Народ, в развитии своем,
Пойдет, поверь иным путем,
Самостоятельным и Русским!

Услышь, Господь, усердный зов:
Чтоб самобытное начало
Своих рассеяло врагов
И иго нравственных оков
С себя презренное сорвало.

5. ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ «БРОДЯГА»

Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный!
Звонят ко всенощной,
К молитве благостной.

И звон смиряющий
Всем в душу просится,
Окрёст сзывающий,
В полях разносится!

В Холмах, селе большом,
Есть церковь новая;

Воздвигла Божий дом
Сума торговая;

И службы Божии
Богато справлены,
Икон подножия
Свечьми уставлены.

И стар и млад войдет,
Сперва помолится,
Поклон земной кладет,
Кругом поклонится;

И стройно клирное
Поется пение,
И дьякон мирное
Твердит глашение:

О благодарственном
Труде молящихся,
О граде царственном,
О всех трудящихся,

О тех, кому в удел
Страданье задано...
А в церкви дым висел
Густой от ладана,

И заходящими
Лучами сильными,
И вкось блестящими
Столбами пыльными –

От солнца – Божий храм
Горит и светится;

Стоит Алешка там
И также светится

Довольством, радостью,
Здоровьем в добрый час,
Удачей, младостью
И тем, что в первый раз

На кружку вынул он
Из сумки кожаной
И слышал медный звон
Копейки вложенной,

В труде добытой им...
Стоит Параша там:
Поклоны низкие
Перед иконами

Кладет не по разу,
Вслед за поклонами
И свечку к образу
Усердно вправила:
Ему в спасение,

Ему во здравие,
На возвращение
Домой бродячего...
О ком же молишь так?

Худа ты для чего?
Что очи красны так?
Ты верно плакала,
Иль ночь работала?
Взгрустнув, поплакала,
Но не работала![137]

С. Ф. Шарапов

РУССКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАЧАЛА И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

(Речь, произнесенная 30 ноября 1907 года при открытии Аксаковского политического и литературного общества)

Милостивые Государыни и Милостивые Государи!

С самого начала минувшего столетия в русском образованном обществе, путем исторического насилия оторванном от своих народных основ, начался долгий и мучительный процесс духовного возрождения. Наша национальная мысль, в век Петровской реформы ослепленная Западом, стала мало-помалу чувствовать тоску разъединения с родным народом, хранившим в своих глубинах заветы старины и жившим совершенно иной духовной жизнью, чем его образованный слой, принявший не только дух, но и внешний вид каких-то иностранцев в родной земле.

В эту пору возникло и стало развиваться так называемое славянофильское движение, или учение, направленное к уяснению в сознании тех народных духовных начал, которые были позабыты и отвергнуты. Это движение выдвинуло к середине XIX в. крупные умственные силы в лице Хомякова, двух Киреевских, Юрия Самарина, Сергея и Константина Аксаковых и их немногочисленного, но высоко настроенного кружка, полного святой ревности, жажды истины и искренней любви к Родине и народу.

Этим людям принадлежит создание нашей национальной и исторической, богословской, культурной и философской школы, отыскавшей, определившей и оценившей те затерянные народные начала, которыми одухотворяется Русская земля, которые ее сплотили, возвели на степень могущественной духовной личности, создали то, что называется в народе «Святая Русь».

В лице Ивана Сергеевича Аксакова, в память коего возникло наше общество, славянофильское направление нашло своего могучего толкователя и провозвестника и из уединенных кабинетов мыслителей, философов и историков вышло в жизнь, стало серьезной общественной силой, повело непримиримую борьбу с чужими началами, с заимствованными с Запада идеалами, взглядами и учениями.

Аксаков и его кружок читателей являлись в современном им насквозь западном обществе очень одинокими, составляя как бы остров среди многоголового пестрого моря. Никакие шумные успехи не сопровождали их проповедь, и, однако, мало-помалу ее могущественное воздействие на общественную мысль и даже государственную жизнь и судьбы России сказалось очень скоро. Только усилиям славянофилов и их непосредственному деятельному участию в законодательных работах обязана Россия освобождением крестьян ***с землею,*** удержанием свободного, привычного народу сельского ***общинного*** строя, крестьянским ***самоуправлением.***

Все это дало совсем новое направление делу 19 февраля 1861 года и спасло Россию от решения крестьянского вопроса во вкусе Остзейских губерний. Свободная Россия двинулась по своей национальной, а не по чужой дороге, и если мы не видим ее процветающей и спокойной, то только потому, что наш верхний класс все еще не понимает русского народного духа, все еще чужд ему, все еще старается лечить наши мнимые, а не настоящие болезни по самым странным заморским рецептам.

К последней четверти XIX в. славянофильство оказалось не только силою идейной и культурной, но и силой политической. Начавшееся в 1875 г. славянское движение под влиянием славянофильской у нас проповеди нашло великий отголосок в душе освобожденного русского народа. Иваном Сергеевичем Аксаковым и Славянскими обществами в Москве и Петербурге была поднята великая национальная и народная волна. Вся Россия от мала до велика почувствовала предлежавший ей мировой подвиг освобождения братьев по вере и крови от тяжкого ига, освобождение великой христианской святыни от мусульманского пле-

на. Свобода славян и Крест на Святой Софии подняли и двинули, казалось бы, самых равнодушных к политике людей. Старшие поколения современников помнят эту народную волну, это святое одушевление простых серых масс, жаждавших пострадать за веру и братьев.

Движение оказалось столь могучим, что увлекло за собою и верхние классы, и миролюбивейшего из Государей, Царя-Освободителя. Война 1877–1878 гг. дала два новых свободных государства Европе, дала великое торжество народной России и великий позор России правящей и интеллигентной, которые не сумели историческое народное дело довести до конца, смалодушествовали, изменили и остыли.

А остыли они потому, что те идеи, которые одушевляли народ, хотя и смутно их сознававший, наши родные исторические и национальные идеи были все-таки чужды и непонятны образованному обществу и увлекли его только временно, захватили, так сказать, механически.

Позорной памяти Берлинский трактат, плод неслыханного малодушия наших правящих, стал поворотным пунктом новейшей истории. Тот позор, те ужасы, которые мы недавно пережили и еще переживаем, были тогда же предвидены и предсказаны И. С. Аксаковым.

1 марта 1881 г. пал от руки убийц Царь-Освободитель. Разыгрались подпольные силы, расшатывавшие и разъедавшие наш быт, наш государственный и общественный строй. Правительство принялось за ревностную борьбу с назревавшей революцией и в этой борьбе душило невольно всякие проявления свободной общественной жизни и самодеятельности. Бюрократия захватила в свои руки всю жизнь великой страны и резко противопоставила себя обществу и земщине, бросив все искреннее, мыслящее, свободолюбивое в глухую оппозицию, в ненависть и отрицание. Никогда ложь не была так могущественна, притворство и благонамеренное фарисейство так властны. В течение долгих лет все лгали друг другу и сами себе, поддерживая официальное благополучие. Всякая доблесть, всякая смелость и искренность мало-помалу исчезли, и над Русской землей повис густой туман, где уже не было возможности разобраться, где место честных и стойких государственных людей

с величайшей легкостью занимали хищники и проходимцы, губившие Россию нравственно и разорявшие ее материально.

И все это делалось под знаменем якобы русских народных начал. Великие слова «Православие», «Самодержавие» и «Народность» прикрывали собой циническое ханжество, полное самовластие приказного элемента и грубейший чиновничий национализм, русскому народу совершенно чуждый. Чистое и высокое учение славянофильства, полное веры и искренности, независимое и бесконечно свободолюбивое, было расхищено на все стороны. Пустые звуки, слова без содержания, у него выкраденные, стали вывеской совершенно противоположных ему по духу течений, и вот то направление, которое вырастило и воспитало такого гиганта мысли и творчества, как Достоевский, оказалось в глазах легкомысленного общества чуть не обскурантизмом, темной реакцией и человеконенавистничеством.

В славянофильские ризы вырядился прежде всего наш казенный консерватизм, «истинно русскими» людьми стали все самые главные пружины бюрократии и все то, что пользовалось ее милостями и подачками.

Умерли великие основоположники русского национального философского учения, сошел в могилу последний его трибун Аксаков, школы, учеников почти не осталось, а тем временем славянофильские идеи уже вошли в умственное обращение, смешавшись в странном сочетании с идеями западническими. А так как умственная жизнь России шла ненормально, а реформированная графом Дмитрием Толстым школа толкала молодежь только в сторону одичания и анархии, то, разумеется, наступил полнейший духовный разброд и хаос, становившийся совершенно невыносимым и безнадежно иссушавший умственную жизнь России. Прибавьте сюда ежедневную газету, заменившую собою книгу, страшное падение науки и просвещения, глубокое шарлатанство вместо серьезного знания, грубую, почти животную, ненависть вместо любовного и смиренного искания истины.

Вот при каких условиях застала Россию Великая катастрофа на Дальнем Востоке. Изолированная и словно очутившаяся в безвоздушном пространстве, номинально всемогущая, фактически бессильная власть,

совершенно разложившийся государственный аппарат, злорадное, растерявшее всякий патриотизм, всякие нравственные устои общество, обнищалый, разоренный и споенный собственным правительством народ, брошенный на руки самого низкопробного и развращенного чиновничества, отданный на политическую подготовку нашей сплошь революционной уездной интеллигенции, так называемому третьему элементу!

Болезнь шла, все усиливаясь, и скоро во все государственно-народном организме не оставалось ни одного незараженного места. В Церкви вместо Филаретов, Платонов и Никаноров блистали Гапоны, Григории Петровы, Михаилы и Антонины, армией руководили Куропаткины, Стессели, Рейссы, Фоки и всякие Штакельберги, Гриппенберги и Бильдерлинги, по морям плавали Рождественские и Небогатовы, во главе правительства стоял граф Витте.

Чего можно было ждать при таких условиях от войны, разразившейся на другом конце света? Не помогло ни глубокое государственное чувство и патриотизм, хранившиеся – увы! – только в народе, ни доблесть нашей армии. Россия была обречена заранее на бесславную, без единой победы войну, которую она не могла, не смела довести до конца, хотя Япония в первый же год была уже истощена окончательно и нуждалась в мире гораздо больше, чем мы. Победа – удел народов цельных духовно, верующих в себя и одушевленных, как один человек, великими историческими идеями. Наше ужасное нравственное положение, нашу зияющую духовную нищету мы почувствовали при первых ударах японских миноносцев в Порт-Артуре. Но в то время как наших правящих охватило чувство ужаса и они в бессилии опустили руки, образованным обществом овладела подлая холопская радость – предчувствие поражения ненавистного бюрократического режима, хотя бы с этим режимом гибла и наша военная слава, народная честь, политическое преобладание и значение в сонме мировых держав. Были люди, и не из последних на общественной лестнице, которые, например, громко выражали страх за возможный успех эскадры Рождественского, за возможный поворот военного счастья на нашу сторону. Это спасло бы ненавистный режим.

При таком извращении лучших национальных чувств, при таком глубоком нравственном падении огромного большинства русского образованного общества, разумеется, правительству нужно было спешить заключить хоть какой-нибудь мир. И вот в эту постыдную минуту русской истории и для этого безгранично постыдного дела был готов как раз подходящий человек в лице великого Витте, реформатора нашей экономической жизни и типичного представителя нашей смрадной современности.

Значение Портсмутского мира отнюдь не случайность, не акт минутного малодушия. Это логическое завершение целого исторического периода, необходимый и неотвратимый, как рок, конец той длинной полосы, в которую Россия вступила после Берлинского трактата.

«Неужели, – пророчески восклицал Аксаков в 1881 г., – можно было думать, что такое нравственное падение России не произведет в ней убийственной деморализации?.. Не могло безнаказанно совершиться над великим историческим народом такое деяние, которому имя – Берлинский трактат… Чувство государственной чести и достоинства и инстинкт великих мировых судеб России выношены в нашем народе всею многострадальною тысячелетнею его историей. Понятно поэтому, что теперь, даже не отдавая себе ясного отчета в причине, он поник духом и недоумевает… Одушевление сменилось унынием, вера – сомнением, порыв – бессилием воли, волнение – вялостью, затишьем, тяжелым, сонным затишьем, подобно затишью вод, которые

…лениво спят
И под ленивыми листами
Презренный, производят гад.

«И развелся он, этот гад, на просторе благодаря атмосфере национального бесчестия и приниженного духа…»

Если эти истинно пророческие слова великого патриота давали ясный диагноз русской болезни после Берлинского трактата, то что сказал бы теперь Аксаков после Портсмутского договора, в тысячу раз более постыдного и нравственно тяжелого?

Но Аксаков в могиле, а за него ответили события. Если после Берлинского договора настало гнилое затишье и стал, по образному выражению, «рапложаться гад», то тотчас же за подписанием Портсмутского договора вскрылся наш столь долго назревавший великий и мучительный исторический нарыв.

Что мог дать Петербург, не отстранивший только, но исказивший, изуродовавший наши исторические и национальные начала, кроме последнего им удара, последней и величайшей лжи?

Логика истории требовала выхода из ужасного нравственного положения, в котором очутился правящий Петербург и с ним вся живая Россия. Этот логический, естественный и, в сущности, единственный верный выход – было бы созвание великого земского собора, торжественный акт всенародного покаяния, омытия великих, общих всем нам, грехов и завершения постыдного Петербургского периода нашей истории развенчанием современного Вавилона…

И этот выход открылся бы сам собою, будь в сознании наших правящих живы и действенны наши национальные и исторические начала.

Но мстительная и жестокая судьба не дала нам этого утешения. Чужие, антирусские и антинародные, течения оказались, по-старому, руководящими, русские начала, духовные заветы нашей истории были позабыты теперь более, чем когда-либо. И вот Петербург бросился в другую, противоположную сторону, и мы получили… акт 17 октября.

Я не буду останавливаться над изложением того, что пережито всеми нами за эти последние ужасные два года, наступившие вслед за странным и печальным актом, из которого, как об этом ни хлопотали, так и не удалось выкроить никакой «конституции». Эти события у всех еще перед глазами. Здесь будет довольно попытаться уловить их общую связь и исторический смысл.

Манифест 17 октября, данный Самодержавным, как стояло в заголовке, Царем, возвещавший ряд свобод, не говорил ни слова ни о какой конституции. В нем был, если хотите, только *намек* на некоторое ограничение царской власти в области законодательства *обещанием,* что впредь

ни один закон не должен иметь силы, не пройдя через Государственную Думу. И что же, однако, получилось? Именно 17 октября и было тем моментом, с которого открыто началась наша грязная и нелепая революция, с одной стороны, заговорила народная совесть – с другой.

Словно острое жало пронзило великий народный организм, и вот вся Россия судорожно заметалась. С одной стороны, действует страшная политическая прививка, стремящаяся овладеть тканями, мускулами и нервами и претворить их в новое тело, с другой стороны, могучий, хотя и ослабленный, организм упорно сопротивляется, стараясь выбросить болезнетворное начало. Мы видели чудовищные пароксизмы этой болезни, выразившиеся в море крови, в ужасе военных восстаний, в бесконечных пожарах и грабежах. Несчастная Родина наша напоминала целых два года горячечного буйного больного, утратившего самосознание, потерявшего здравый смысл и свободу действий и в безумии калечившего самого себя и разрывавшего все повязки.

Какими хитрыми соображениями не объяснять этот ряд явления, в основе их лежала, несомненно, все та же давняя борьба между русскими народными и историческими началами, незыблемо покоившимися в душе народа, и тем чужим началом, которое проникло к нам двести лет назад и властно оторвало от народа весь его образованный и правящий класс. Это народная совесть билась и протестовала против святотатственного покушения интеллигенции на ее величайшую святыню, на то *нравственное начало*, которое составляло до сих пор единственную основу Российского государства и воплощалось в великой формуле: «Православие. Самодержавие. Народность».

Пусть эти начала были до неузнаваемости изуродованы, опрофанированы, ослаблены нашим двухсотлетним рабством у Запада – народное чувство жестоко страдало, народная совесть протестовала против этого искажения, отвечая презрением и недоверием на все ухаживания интеллигенции, но в душе народа жила непоколебимая вера, что зло пройдет, что испытания эти только временные, что правда воссияет. С этою верою наш народ переносил безропотно самые неверо-

ятные над ним издевательства, самую разорительную экономическую политику, самую бессмысленную и противную его духу внешнюю обстановку. Он работал голыми руками, едва вырабатывая на подати и вечно погруженный в недоимки, выколачиваемые беспощадной рукой. Он жил среди грязи и смрада, как живут только дикари и как, наверно, не живут культурные и продуктивные животные. Он топил свое горе в вине, услужливо подставлявшемся правительством, которое с глубоким цинизмом строило свое хозяйство на народном отравлении. Он видел к себе одно невнимание и презрение со стороны «господ», третировавших его, как скотину, и в бесчисленных канцеляриях, и в либеральных земских управах, и у гуманных врачей, и адвокатов. Наконец, и в самой Церкви, остававшейся ему единственным прибежищем, он зачастую видел священника, более похожего по профессии на чиновника окладных сборов, чем на пастыря.

Кто знает наш народный быт, господа, тот не затруднится сказать, *во имя чего* так долго и спокойно переносил народ наш это истинно невыносимое, истинно каторжное положение. Только во имя своих идеалов, только во имя своей несокрушимой веры в Бога, а после Бога в Самодержавного Царя, который вспомнит же о своем народе когда-нибудь, как вспомнил Александр II, уничтоживший крепостное право, как вспомнил Александр III, основавший Крестьянский банк, чтобы земля попадала не к кулаку, а к мужику.

И вот вдруг народное сознание почувствовало, что этого-то Самодержавного Царя хотят у народа отнять, или, еще хуже того, выкрасть, и народная совесть заговорила.

Я не могу опять же вдаваться в подробный разбор печальных и страшных явлений, в которых выразился этот народный протест, усложненный и искривленный водкою и разбойною пропагандою революционеров. Но я уверен – и наше собрание разделит мою веру, – что в основе всего лежала все-таки защита своих исконных русских начал, расхищение и опасность окончательной гибели коих народ инстинктивно понял или даже только почувствовал.

Этого глухого протеста народной совести было достаточно, чтобы совершенно лишить почвы наши западнические затеи. На наших глазах могучее русское движение подняло огромную волну до самого царского престола, и под напором этой волны русские начала стали брать верх даже в бюрократическом и космополитическом Петербурге. Посреди всех ужасов, мятежей и смуты отмененное было самодержавие стало вновь подниматься и воскресать. Торжественно раздались царские слова: «Самодержавие Мое останется таким же, как было встарь», собралось предсоборное Присутствие для подготовки Поместного Собора Русской Церкви, имеющего уврачевать наши глубокие духовные язвы; новый избирательный закон 3 июня 1907 г. обличал уже серьезную уступку национальному чувству, дав явное преобладание в Думе русской народности и сократив в ней число инородцев. Словом, определилось по всей линии отступление западных начал и торжество начал русских. Тем временем проснулась и государственная власть, был выброшен за борт, и на этот раз, по-видимому, окончательно, злой гений России и творец Портсмутского договора – граф Витте, и Россия народная начала успокаиваться.

Догорела революция, чуждая, сверхнародная, показавшая свою ужасающую духовную нищету и нравственное бессилие. Только грубым обманом, только при пособничестве сверху высокопоставленных председателей могла она замутить и поднять против порядка и власти наше общество и воспользоваться протестом народной совести, разбудив в народных массах злые и разрушительные инстинкты, соблазнившие временно христианскую душу народа-Богоносца. Теперь перед нами лишь остатки, лишь – простите мне это выражение – помет революции и сор из народной души, все эти грабежи, зверства и чудовищные извращения русской духовной природы. Острая опасность анархии и распадения государства миновала, жизнь входит в свое мирное русло.

Но не будем торопиться торжествовать! Если миновала опасность острая, если вопрос об усмирении революции внизу сводится теперь только к экономическому подъему совершенно разоренного и голодного населения и полицейской борьбе с разбоями, то надвигается опасность

новая, еще горшая. Разыгрывается и растет революция сверху, революция, по-видимому, совершенно благонамеренная и даже патриотическая, революция, громко провозглашающая русские начала, поющая «Боже, Царя храни», кричащая «ура» Самодержавному Царю и клянущаяся умереть за Царя и Родину.

<…>Вот когда приходится напрягать всю силу внимания и мысли, чтобы распознать и разоблачить недостойный маскарад, снять маску с западничества, воровским образом под личиною русских народных и исторических начал пробирающегося в самую цитадель русского народа.

Русские начала… Торжество Православия… Торжество Самодержавия… Торжество русской народности! Все это громко провозглашено в последнем правительственном документе, все это черным по белому стоит в программе, торжественно объявленной в Государственной Думе председателем Совета министров. И вот, добрые русские люди, мнящие себя быть носителями и хранителями этих русских начал, уже служат молебны, делают правительству горячие овации, шлют приветственные телеграммы…

Но в чем, кроме пышных слов, выражается это торжество русских начал? Что отвечает будничная неумолимая действительность?

Не в том ли торжество Православия, что Поместный Собор все откладывается и, по-видимому, сойдет на нет и испарится в воздухе из страха церковной бюрократии перед огромным торжествующим злом, из неверия наших синодальных владык в обетование Христа, что врата адовы Церковь не одолеют? А что, если одолеют? Не лучше ли оставить зло в покое и не тревожить вечную храмину, быть может, представляющую, как и все остальное, уже только одну декорацию?

Не в том ли торжество Самодержавия, что громко провозглашенное и объявленное «драгоценнейшим достоянием русской государственности», оно сдано в архив и будет сберегаться только для великих исторических минут и государственных потрясений, а в обычное время будет замещено «представительным строем» чисто конституционным, в западном смысле, но только без соответствующей вывески?

Новым сановным провозвестникам русских исторических начал пожелалось, однако, после решительной неудачи парламентаризма в лице двух подряд Государственных Дум, не вернуться к действительно русским началам и заветам истории и созвать земский собор в Москве, а смастерить Государственную Думу, третий по счету западный парламент, вернее, его постыдную карикатуру на Русской земле.

И вот они могут радоваться. От прежней толпы бешеных смутьянов, кричавших «долой министров», осталась ничтожная кучка, да и та держит себя сравнительно прилично. Разбитые кадеты обратились в мирную парламентскую оппозицию, тон дает любезная министерским сердцам партия «последнего правительственного распоряжения», а гг. правые, хранители и носители русских народных начал, вместо «революции справа», которой от них ожидали, служат молебны и бьют лбами в землю перед министерством, бьют до синяков. Только крестьяне на этот раз смотрят по-русски и иногда гладят гг. правящих против шерсти, но на этих серых и безграмотных мужиков не стоит, конечно, обращать внимания!..

Бедные русские начала! Бедные их носители, вся эта патриотическая часть правых, с таким одушевлением собравшаяся в Петербурге отстаивать русские народные начала и упования!

Отстояли!

Отстояли пышную фразу, пустой термин и пропустили самую суть! Не сообразили, что наше историческое самодержавие и принцип «народного представительства», так называемый правительственный строй, совершенно несовместимы или совместимы разве в остроумной комбинации г. Столыпина, обещавшего конституцию в будни, самодержавие по праздникам!

Страшно заразительна эта борьба за власть! Страшно соблазнителен самый воздух парламента! Смотрите: уже наши правые, вчера еще у себя дома гремевшие против укрепления Государственной Думы и желавшие только воспользоваться ею, как всенародною трибуною, уже клянутся один за другим в своей верности *законодательной* думе…

И вот осуществление русских начал в области законодательства нам обещается в такой форме: переговорили Милюков с Гучковым и пришли к соглашению – прошел один закон. Состоялся вместо этого блок правых с октябристами – первый закон отвергнут и прошел совсем другой, может быть даже противоположный. Мало того: не дообедали или не приехали на заседание несколько «депутатов», и вот какими-нибудь пятью-шестью голосами Дума решает дело в совершенно другом смысле, чем решила бы, если бы господа отсутствующие или заседающие в буфете кушали поскорее.

Вот отчего будет теперь зависеть и законодательство, и «обновление России» посредством «работоспособной», наконец, Государственной Думой! До сих пор русская народная совесть полагала, что Россию ведет Божий Промысл, умудряющий разум и просвещающий совесть и волю Царя. Теперь все это упраздняется, и вместо Промысла Божия и совести царской вершителем судеб России будет случайный подсчет голосов, подлежащий всяким капризам и настроениям, а может быть, и сознательной душевной подлости иных господ «депутатов». Погодите, объявится и это!..

И вы думаете, что наш народ этого не понимает или что народная совесть с этим может примириться?..

Мне остается сказать только о третьем торжестве русских начал, о торжестве принципа *народности.*

Позвольте думать, что нашему великому народу, призванному, по выражению Достоевского, вместить наиболее полно высшую нравственную правду на земле, явить синтез цивилизаций, до него бывших, воплотить в душе своей все скорби и радости племен и народов, народу, радостно проливавшему свою кровь за чужую свободу и под могучими крылами Русского Орла приютившему стольких обиженных и угнетенных, не к лицу ни хищный западный национализм, обуявший вдруг наших космополитов-сановников, ни римские понятия о привилегированном гражданстве и о делении людей на граждан и париев.

Нашему народу всякий чужой народ – брат о Христе, если он верует во Христа, и добрый сосед или соотечественник, если он во Христа

не верует, *но русскому народу зла не делает.* Вот наше русское исконное понятие о народности; его поэтическое и философское выражение, отвечающее этому понятию, мы найдем у А. С. Хомякова, предостерегавшего от народной гордыни:

«Не верь, не слушай, не гордись!»

С этим совершенно несовместим ни национализм немецкий, выражающийся в столь любимой нами формуле «Deutschland über Alles», которую мы, не смущаясь, целиком перевели на русский язык, ни понятие о римском гражданине, неожиданно появившееся у Столыпина с переездом в Петербург г. Льва Тихомирова.

Но если здесь так называемое торжество русских начал в области народности является только спорным, то там, на земле, в уезде, в деревне, ему грозит уже явная опасность.

Одним из наших народных свойств, особенно отличающих племя великорусское, есть строгая и сознательная приверженность к соборному или мирскому началу, нашедшему себе такое полное выражение в нашей сельской общине. Только благодаря своей уцелевшей общине, своему миру и стало великорусское племя племенем государственным; оно одно из всех славянских племен не только устроило и оберегло свою государственность, но и стало во главе общерусского государства, станет, с Божьей помощью, и во главе славянского мира. Все остальные славянские племена вместе со своей общиной потеряли одно за другим свою государственную независимость, ибо славянин вообще, а русский в особенности, могуч и крепок только на миру, индивидуально же, по мягкости своей природы, заведомо уступает другим народам.

Русская община, и только она, выдержала и помогла выдержать государству и бесконечные нашествия всяких врагов на наши беззащитные равнины, и крепостное право, и господство петербургской бюрократии. Община претворила и всосала в русский государственный организм бесчисленные инородческие племена, занимавшие когда-то поверхность нынешней России. Община являлась хранилищем и Христовой веры, и народного духа, и исторических преданий в то время,

как верхний наш класс изменил своему народу и своей истории. Русский народный мир был той скалой, о которую до сих пор разбивались все волны…

И вот теперь, в момент торжественного провозглашения руководящими «исконных русских начал» наша великорусская община вдруг объявлена врагом, держащим в тисках своих членов, и с высоты парламентской трибуны устами «главы правительства», как себя скромно назвал первый министр, обречена на слом, словно негодная ветошь!

Вот, господа, что провозглашается в Петербурге под именем русских исконных начал, и вот чему рукоплещут: не кадеты, не социал-демократы и смутьяны, желающие распада Русского государства, а православные русские люди, только что служившие молебны по случаю пригрезившегося им торжества русских начал. Но откуда же взялось, кому понадобилось это неожиданное разрушение общины, спешное расселение крестьян на отрубы и хутора? Так завещано великим устроителем России – все тем же графом Витте, которому было нужно этим путем замаскировать прорехи его финансовой системы. В том же направлении слепо и послушно пошли его наследники и ученики.

Ужасающее падение крестьянского хозяйства и постоянные голода то там, то здесь требуют решительных и быстрых мер. Для спасения земледелия нужна широкая постановка народного кредита, снабжение земледельцев оборотными средствами. Но золотая денежная система источников на это не имеет. Она решительно отказывается увеличить, в меру надобности, народное денежное обращение и создать кредит. И вот находится выход: разбить общину, расселить крестьян на хутора, сделать из них личных землевладельцев и этим землевладельцам предоставить закладывать свои участки, добывая этим путем деньги на хозяйство. Только на этом условии наша денежная система, зависящая всецело от благоволения заграничных бирж, и может доставить крестьянству необходимый кредит.

Но ведь это же неминуемо поведет к страшному обезземелению крестьянства, которое до сих пор так усиленно берегли неотчуждае-

мостью наделов? Что же делать? В силу новейших «исконно русских начал» так и следует, и правительство спокойно идет этому явлению навстречу. Услужливая доктрина показывает, что для государства нет в этом никакой опасности. Земля своего хозяина всегда найдет.

Так было, говорят нам, во всех просвещенных и культурных странах. Да, и во главе этих стран надо поставить Венгрию или Галицию. Ипотечный кредит для крестьянства сослужил там поистине предательскую роль. Чуть не половина сельского населения лишилась своей земли, проданной с публичных торгов, и стала батраками. И мы знаем, *кто* стал хозяином этой земли! Вот он здесь, около нас… Это он раздувал и устраивал нам революцию, он ломится в двери… помогите же ему, господа правящие, поскорее снять Россию с петель и овладеть крестьянской землей!

Таковы-то эти новейшие истинно русские начала, коих ревностное приложение мы видим теперь в Петербурге при трогательном единодушии российской обновленной бюрократии и новенького российского парламента. Это единодушие должно вызывать в нас сугубую осторожность. Опасность бесконечно велика. Если наш народный дух и народная совесть смогли справиться с откровенной революцией, с откровенными домогательствами разрушить наши народные начала и этим погубить Россию, то революцию сверху, революцию, задрапированную патриотизмом, революцию, несущую не меч, а растление и соблазн, не побороть народному, хотя бы и могучему и верному инстинкту! На борьбу с этою революцией сверху может и должно выступить то действительно русское, действительно патриотическое, что еще осталось в русском образованном обществе.

Да будет же наше скромное Общество, основанное в память великого борца за русские начала, подлинные и неискаженные, незабвенного Ивана Сергеевича Аксакова, первым маленьким отрядом, выступающим на мирную, идейную, культурную, бескровную, но упорную и беспощадную борьбу. На этой борьбе сосредоточим все наши силы, все внимание и будем верить в Божью помощь, народную и Царскую совесть.

РЕЧЬ И. П. ФИЛЕВИЧА, ЧИТАННАЯ В ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО СЛАВЯНСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

14 февраля 1887 г.

Сочинения И. С., выходящие том за томом с редкою у нас быстротой, дают возможность обществу возобновлять в памяти речи того будителя русского самосознания, к голосу которого, несмотря на свое разномыслие, внимательно прислушивалось все образованное русское общество. Как бы часто ни обращаться к этому источнику русской мысли и русского чувства, можно быть вполне уверенным, что еще долго-долго он не иссякнет.

В настоящем случае я обращусь к нему по поводу того вопроса, который, собственно говоря, начинается на заре нашей исторической жизни, красной нитью тянется через все ее продолжение, в течение последнего столетия все настоятельнее и настоятельнее требует разрешения и все-таки до сих пор не только не разрешен, но представляет пока мало надежды на более или менее удовлетворительное разрешение его в близком будущем – я имею в виду вопрос польский.

В начале своей публицистической деятельности И. С. посвятил ему немало времени.

Ввиду вооруженного польского восстания, в одном 63-м году, им написано 33 статьи, непосредственно касающиеся злополучного вопроса. Прошло 22 года, и И. С., незадолго до своей смерти, в письме к нынешнему редактору «Русского дела» выражает прямое желание снова приняться за тот же вопрос, очевидно, нисколько не упраздненный значительным промежутком времени.

В 50-х гг. русский поэт ясно и точно определил значение занимающего нас вопроса:

Тогда лишь в полном торжестве
В славянской мировой громаде

Строй вожделенный водворится,
Как с Русью Польша примирится.

Через 30 лет русскому журналисту пришлось услышать такое же мнение от поляков. «Пока вы не решите польского вопроса, – говорил в 85-м г. г-ну Шарапову один польский публицист («Русское дело». 1886. № 33), – славянский вопрос не дастся вам в руки; польский вопрос будет ваш кошмар, ваше историческое наказание».

Наконец не дальше как 23 ноября минувшего года, в этих же стенах, член нашего общества проф. М. О. Коялович, на основании собственных впечатлений, свидетельствовал, что вопрос этот существует во всей силе и поныне, даже в пределах Северо-Западного края, что, таким образом, старая болезнь все еще продолжается.

Вопрос, следовательно, получает значение не только исторической справки, но интерес злобы дня и теперь, да и И. С. он доводится почти до последних дней (до 15 мая 84-го г.).

Если в минуту опасности, угрожающей обществу, его сила определяется силой выступающих на защиту его борцов, то в русско-польской борьбе стоятелем и оберегателем русского общества явился настоящий богатырь в полном смысле этого слова. И, можно сказать, не было другого человека, который бы столь счастливо совместил в себе все нужные для борьбы данные. Коренной, чисто русский человек, в жилах которого не было ни капли чуждой примесной крови, он был согрет самыми живыми симпатиями к славянству и как раз незадолго до восстания освежил их поездкой по славянским землям. Старый спор не мог быть никем понят лучше и оценен справедливее, как именно тем, чье сердце страстно любило все истинно русское и вместе с тем горячо билось за все истинно славянское.

Вот почему, особенно в обсуждении польского вопроса, в речах Аксакова послышался голос настоящего народного трибуна, звучавший «как колокол на башне вечевой», вот почему эти речи еще долгое время могут иметь живое назидательное значение и навсегда останутся са-

мым ярким доказательством высокой гражданской доблести покойника и славнейшими страницами русской публицистики.

Мы постараемся коротенько проследить их. Русский человек, проникнутый глубокой верой в неистощимые силы своего народа-победителя в «домашнем старом споре» и согретый живыми славянскими симпатиями, Аксаков не мог без глубокой грусти смотреть на братский раздор двух племен, не мог не желать горячо и страстно прекращения истощающего обе стороны спора. В 61-м году гроза только еще надвигалась, и Аксаков всеми силами старался предотвратить ее; он желал в запутанном деле добиться наконец правды, и хотя понимал, что желания страстные, но неосновательные редко уступают простому убеждению, тем не менее надеялся достигнуть цели. «Неужели, – говорит он, – их (поляков) может вразумить только событие и никакие другие доводы разума им недоступны? Мы убеждены, что рано или поздно последует теснейшее и полнейшее искреннее соединение славянской Польши со славянскою же Россией, что к тому ведет непреложный ход истории, но не лучше ли, ввиду такого неизбежного исторического решения, предупредить все, что грозит нам бедой, враждой и раздором, и добровольно сознательно, покаясь взаимно в исторических грехах своих, соединиться вместе братским тесным союзом против общих врагов – наших и всего славянства?»

Он воодушевлялся в этом случае теми же чувствами, какие внушили Хомякову чудные тут же приводимые нами строфы:

Да будут прокляты сраженья,
Одноплеменников раздор,
И перешедшей в поколенья
Вражды бессмысленной позор!..
И взор поэта вдохновенный
Уж видит новый век чудес...
Он видит: гордо над вселенной,
До свода синего небес,
Орлы славянские взлетают
Широким дерзостным крылом...

Их тверд союз, горят перуны,
Закон их властен над землей,
И будущих баянов струны
Поют согласье и покой!

Это требование согласия и мира было требованием не только чувства, но, так сказать, всего естества и, следовательно, сознательного убеждения Аксакова. С каким бы ни было насилием одинаково не могли мириться и чувство, и ум Аксакова: насилие для него есть прежде всего неправда, и как всякая неправда искажает нравственное достоинство человека, а по мнению Аксакова «ошибочны все соображения государственной пользы, как скоро они основаны на извращении нравственного достоинства подданных», да Аксаков убежден, что и «у России никогда не достанет той энергии зла, той гармонии злой воли и дела, которые так необходимы в деле ненравственном и которые так успешно проявляют Англия и Пруссия в отношении к Индии и к Познани».

Вот почему насильственная совместная жизнь России и Польши, даже не вызывая тех кровавых событий, которые разыгрались в 63-м, не могла удовлетворить и успокоить Аксакова. В разгар мятежа, в июле 63 года, он говорит: «Мы признаем военную диктатуру совершенною необходимостью для избавления страны от страшного террора, подавляющего в ней всякую свободу мысли и слова, – но лучше совсем отказаться от Польши, чем обращать военную диктатуру в постоянную систему управления Польшей. Лучше совсем исключить ее из славянской семьи, предоставив ее собственной ее участи в борьбе с германизмом, чем держать ее в насильственном с собою союзе».

Таково было действительное убеждение Аксакова, но можно думать, что в конце концов он вряд ли допускал столь печальный для славянства исход. В истории русско-польских взаимоотношений Аксаков видел немало залогов для утверждения мира и согласия. Великодушием русского императора сохранено было имя Польши в 1815 г., и Аксаков с справедливою гордостью приводит по этому поводу пись-

мо к кн. Ад. Чарторыжскому того поляка, который сам, по преданию, провозгласил под Мацеевицами: «finis Polonae!» «Я сохраню до смерти справедливую признательность императору Александру за то, что он воскресил имя польское», – писал Костюшко после прокламации императора Александра к полякам о присоединении Варшавского герцогства к России и о переименовании его в Царство Польское. «Воскресил имя польское, – говорит от себя Аксаков. – Что же это значит? Разве не только самой Польши, но даже и имени ее не существовало, – оно исчезло, стерлось с лица земли? Действительно, было так: после трех разделов имени польского уже не встречалось на географических картах... и только название «польских легионов», помогавших Наполеону I в порабощении Европы, напоминало еще миру о несчастном имени польском! Да, Польша, польское имя восстановлены самою Россией; ей обязаны поляки своим политическим возрождением. Поляки недаром прозвали Александра I своим воскресителем. Если бы русский император в 1815 г. отказался вовсе от Варшавского герцогства и оно осталось бы за саксонским королем или, что всего вероятнее, было бы поделено между Австрией и Пруссией, – Костюшко, конечно, не имел бы повода благодарить русского императора за воскрешение Польши.

Аксаков искренно радовался, что среди орудий исторической кары под Польшей оказалась славянская Россия, предотвратившая смерть, угрожавшую отдельному славянскому типу, а реформы русского правительства в Польше после 63-го года внушали ему справедливую и благородную гордость, давали полное основание заявить, что «только в русской Польше сохранились живучесть, энергия, сила польской народности, – что Россия не обезнародила поляков в Польше, благодаря высокому нравственному достоинству своего неуменья, своей неспособности к тому темному государственному искусству, которым так славятся немцы и которое помогло Пруссии обратить Познань в немецкую провинцию».

Устройство быта польских крестьян исполняло Аксакова самыми радостными надеждами. Одним актом Россия повернула всю историю Польши на новый путь: развитие польской нации может идти теперь

не только в древесину и листву, как было прежде, при самостоятельности шляхетской Польши, но в кору и корни. Вытянувшийся и почти обнаженный польский общественный ствол может теперь окрепнуть на оживленном русским царем корне и покрыться твердой корой. Но 19 февраля 1864 г. есть неизбежное последствие, так сказать, эманация 19 февраля 1861 г. и какое высокое нравственное значение получает оно в этом смысле, знаменуя свободу крестьянства в России и Польше, свободу, истекающую из одного источника и опирающуюся на одинаковые основы. Один акт, недаром приуроченный к одним и тем же числам, должен был, по мнению Аксакова, открыть новую эру в исторической жизни обоих народов, и Аксаков глубоко верил в наступление этой эры и гордился тем, что ее подготовляет Россия. «Странно слагаются исторические судьбы Польши! – говорит И. С. – Странный жребий по отношению к ней выпадает, как нам кажется, России – благой и высокий жребий всяческого освобождения Польши от ее же собственной польской лжи и возвращение ее к славянским началам».

Если прибавить к этому, что Аксаков враждебно относился к обрусению Польши, что он был противник какого бы ни было поглощения ее Россией, что он «не требовал отплаты за невинную, коварно пролитую кровь», верил, что Россия, выражаясь прекрасными словами самарского адреса, «сбережет для лучших времен сознание своего племенного родства с поляками и не обрадует врагов славянского мира отречением от уверенности, что рано или поздно благодушие победит озлобление, улягутся предубеждения, и примиренные поляки подадут нам братскую руку», что для окончательного определения отношений польского народа к России Аксаков несколько раз высказывал мысль о созвании всенародного польского сейма – мысль, которая может казаться непрактичной и даже неосновательной, которая недаром отвергалась Самариным, но которая ярко обрисовывает идеально беспристрастное отношение Аксакова к делу; если, повторяю, иметь все это в виду не в той катехизической форме, к какой в данном случае я по необходимости должен прибегнуть, а в той форме, в какой все это является у Аксакова,

одинаково поражающего и неотразимостью логики, и силой убеждения и чувства, то в Аксакове нельзя не признать и искренней любви к Польше, как представительнице отдельного славянского типа, и полного уважения ее национальных прав.

В разгар борьбы, ввиду льющейся крови, распоряжений народового жонда и действий жандармов-вешателей, Аксаков не позволил увлечь себя минутному порыву страсти, всегда держался на высоте, указывая полякам, что именно подобные действия, вызывая силу правительственную, «составляют главную помеху для общественной мирной деятельности и для разрешения вопроса на основаниях нравственно-отвлеченной», то есть самой чистой, самой справедливой правды, которой так жаждала его душа. Были обстоятельства, были моменты, на которые русское чувство Аксакова не могло отозваться ничем другим, кроме негодования. О, как сильно прорывалось оно у него, какими перунами гремела тогда его речь! Но эти перуны были направлены именно на те посторонние обстоятельства, которые лишь мешали справедливому решению вопроса, вносили в него фальшь и ложь, столь противные натуре Аксакова и столь легко поэтому им уловляемые! «Россия негодует, Россия оскорблена»! – так начинался проект адреса, написанный Аксаковым, по просьбе дворян одной губернии, вслед за прочтением первых нот Англии, Франции и Австрии. «Европа не вняла голосу русского народа, не признала адресов за выражение народного чувства! Слишком ново и странно было для нее проявление русского народного участия в делах государства. Европа продолжает отрицать в действиях русского правительства присутствие русской народной мысли и воли, продолжает считать русский народ безгласною массою и в слепом самообольщении смеется и дразнит...» Но ввиду могущества нашей новой народной силы Аксакову не страшны были европейские ноты, одно лишь негодование, а не страх вызывали они в нем. Аксакову нетрудно было указать Европе те бревна, которых не замечала она в своих глазах; нетрудно было указать и ложную подкладку мнимолиберального сочувствия к восставшим. «Мы просим, – говорит Аксаков, – всех увле-

кающихся сочувствием к полякам подвергнуть свое сочувствие строгой критике, испытать прежде всего силу своих увещаний на самих же поляках и условиться с ними в понимании слова «народность». Тогда сочувствие перейдет в сострадание к бедствиям Полыни, к такой безмерной, напрасной трате крови и духа, – или ограничится очень малым объемом. Тогда демократы с ужасом увидят, что «простой народ», сочувствие к которому обязательно для «демократа», – в понятиях польских героев есть только bydlo, скот; космополиты убедятся, что они, симпатизируя польскому делу, служат интересам исключительно узкой национальности; социалисты откроют, что поляки стремятся восстановить специальное неравенство в самом отвратительном виде; ратоборцы своих народностей также узнают, что они хлопочут об утверждении тирании польской народности над другими, – одним словом, всем им достанется на долю не малый сюрприз увидать, что они говорили до сих пор с поляками на языках совершенно разных и, не понимая друг друга, воображали в лирическом восторге, что понимают! Из этого выходит такое нравоучение: во-первых, что правда польского дела, какая есть, всего менее постигается и ценится самими поляками, и едва ли не более всего способна быть оценена в самой России, в нашем народном сознании, особенно когда это сознание будет освобождено от того раздражения, вполне законного, которым затемняют его сами поляки своими безумными притязаниями; во-вторых, что прежде всего и паче всего должны поляки образумиться сами и отказаться от незаконных, безнравственных и несбыточных надежд восстановить польское государство в пределах 1772 г. Но образумятся ли поляки? Способны ли они хоть когда-либо образумиться?..»

Вот именно здесь Аксаков затрагивал самое ядро, самую сущность русско-польского спора, и насколько мягким и уступчивым, старающимся не об усмирении, а о примирении видели мы его до сих пор, рассматривая польский вопрос в собственном смысле слова, настолько твердым и непреклонным увидим мы его теперь, в той существеннейшей части вопроса, где немыслимы никакие сделки и компромиссы, где

они не допускаются не только сознанием народного достоинства, но и живым чувством святой, непререкаемой исторической правды.

Далеко за этнографическими пределами польской народности, восставшей с оружием в руках для отвоевания себе политической независимости, далеко на восток – до Двины и Днепра на обширном пространстве тянется край, полный красноречивых памятников русской старины, край, «где тлеют праотцев останки драгоценны», край, населенный русским народом, родными братьями русскими, в течение долгого времени забытым, двоюродными – поляками забитыми и всеми мерами эксплуатируемыми. Вряд ли во всемирной истории можно найти край, равный по пространству и количеству населения со славными преданиями старины и еще в сравнительно недавнем прошлом представлявший немало доказательств живучести исконной русской народности, вряд ли, повторяю, можно указать край, который бы постигла такая печально странная участь. «На нас, – говорит Аксаков, – лежит тяжкий грех относительно Западной Руси, на нас лежит великая, святая обязанность – исправить нашу неправду, загладить наши вины, возвратить русскому народу в Русской земле права русской народности, угнетению которой мы так долго содействовали... Не на памяти ли наших отцов совершилось то чудовищное явление, что край, в продолжение веков, силою своих русских элементов тяготевший к России, по присоединении к России ополячился так, как в продолжение веков не могли его ополячить поляки? что русские дворянские фамилии, еще православные, еще помнившие свое русское происхождение в эпоху присоединения, отступились от веры и от народности и стали крепчайшею опорою Польши уже под русской державой? Не в 30-х ли только годах ввели мы обязательное преподавание русского языка в учебных заведениях нашего святого Киева, догадавшись наконец, что Киев не Польша? Не был ли Западно-Русский край для нас, для нашего общества в России еще несколько лет тому назад страною неведомою, а русская в ней народность каким-то нежданным открытием?.. Со стыда сгореть должен всякий русский, если узнает подробно всю историю Западно-Русского

края со дня присоединения его к России до последней поры... Да, на России, на русском правительстве, на русском обществе лежит великий долг в отношении к Западно-Русскому краю. Время уплаты наступило...»

На обширном пространстве западнорусских земель разлагался и гнил, но благодаря слабому развитию в нас национального единства еще не разложился и не сгнил труп польской государственности, отравляя чистый воздух Западной России. Политика Великой Екатерины по отношению к этому краю стала забытым преданием, и даже воссоединение западнорусских униатов скользнуло лишь по поверхности их восточных братьев, не оживив в последних чувства народного единства.

В 63-м году в последний раз «в каком-то роковом ослеплении, с безумием отчаяния» решились поляки гальванизировать этот труп. Безумные и ослепленные, они решились резать по живому русскому телу.

Крик боли и негодования вырвался из груди Аксакова, но вместе с тем он с полной силой выразил сознание непререкаемости прав русского народа на злосчастный Западно-Русский край: «Скорее реки потекут вспять и Висла, вместо Балтийского, побежит в Черное море, прежде чем хоть одна пядь земли в русских областях будет отдана нами в власть не русской народности!» – твердо сказал Аксаков в ответ на дерзкие посягательства.

С тех пор западнорусское дело, как дело, в котором заключена вся сущность вопроса, приобрело в Аксакове самого горячего поборника, а высказанные им при этом с такою силой красноречия и убеждения взгляды делают его имя, вместе с именем М. Н. Муравьева, дорогим – особенно для Западной России символом органического развития страны и подъема местных здоровых элементов, то есть символом единственно разумного и достойного России отношения к Западно-Русскому краю.

Положение, занятое западнорусским народом, при первом обнаружении бунта, сразу решило дело, но не упразднило вопроса; напротив, там именно, где многие близорукие усматривали его конец, там Аксаков видел лишь его начало. Польский вооруженный бунт смирен самим же западнорусским народом. Это вызывало живую радость в сердце Ак-

сакова: первое пробуждение народного самосознания выразилось так ярко и отрадно, подавало такие прекрасные надежды на будущее. Но взамен прежнего трупа польской государственности все-таки оставался полонизм, та сила, та стихия, с которой нельзя бороться штыками и элементарными силами массы, где «необходима высшая сознательная деятельность народного духа... Область же этой деятельности, по словам Аксакова есть именно то, что называется обществом, то есть среда, где личное просвещение народных единиц переставших быть однородною массою, образует новое сознательное единство, новую силу общественности. А есть ли у нас эта сила, есть ли у нас это русское общество»? – с горечью должен был задать себе вопрос Аксаков. Польский вопрос, подняв западнорусское дело, вел таким образом в самую глубь русского общественного вопроса. Всю силу своего слова, мысли и чувства употребил Аксаков для пробуждения дремавшего русского общества, и здесь он действительно явился народным трибуном, народным земским богатырем, восставшим во всей своей необъятной мощи на защиту интересов земли и народа. На долю Аксакова выпадали в этом случае сладостные минуты, когда подъем народного духа в обществе сказывался сильно. С каким восторгом приветствовал он тогда его проявление! «Жив еще в нас дух нашей старины!» – восклицал он по поводу заявляемой отовсюду готовности к жертвам. Но обнаружившийся с небывалой до тех пор силой подъем народного духа не мог все-таки вполне удовлетворить Аксакова. Его чуткое сердце не могло не заметить в нем главным образом той привычной готовности нести на алтарь Отечества жизнь и достояние, отстоять его от вражеских посягательств в честном бою или со славою лечь костьми, готовности, в которой он никогда не сомневался и которой в данном случае не требовалось. Жизни и достояния было мало; требовались ум, совесть, воля и тяжелый упорный труд для достижения духовного перерождения, для оживления в себе старых, забытых или смутно сознаваемых преданий. Но в этом отношении наше общество невольно приводило Аксакову на память состояние нашего военного арсенала накануне Крымской войны. Отношение нашего

общества к правительственной власти напоминало слова, которые народная пословица влагает в уста жене про мужа: «Завалюсь за него – не боюсь никого»! «Точно так, – говорит Аксаков, – думало и поступало русское общество, опираясь на правительственную власть, считая себя достаточно обеспеченным, избавленным от беспокойного труда мысли, от деятельности чувства».

Мм. Гг.! я боюсь утомить ваше внимание подробным указанием, как в хронологической последовательности выражалось отношение Аксакова к занимающему нас вопросу. Скажу только, что в течение 21 года оно в существе своем не изменилось: Аксаков не отступал от тех основных положений, на которые я обращал ваше внимание, – в деле западнорусском он не сходил с почвы общерусской, в вопросе польском (в тесном смысле) – с почвы славянской. Но продолжительный срок не обнаружил, к сожалению, неосновательности опасений, тревоживших Аксакова еще в начале 60-х гг., а неизменяемость положения дел не могла не породить в Аксакове некоторого чувства раздражения, какое действительно заметно в отношении к польскому вопросу в последние годы жизни покойника.

А положение дел действительно не изменялось.

Образумились ли поляки? Ответом может послужить то обстоятельство, что в 81-м году Аксаков считал нужным написать статью на чрезвычайно, по-видимому, странную тему: «Польский ли город Киев?» И если вспомнить, что известный романист Крашевский на своем юбилее в Кракове торжественно заявил, что современные поколения поляков не имеют права отрекаться за будущие поколения от притязания на западнорусские земли, не имеют права лишать такого достояния своих детей и потомков, то станет ясно, что странная тема вызывалась самой жизнью. В 83-м году Аксакову пришлось говорить о тайной программе польского противодействия России законными средствами. «Документ этот, – по словам Аксакова, – не возбуждает ни к открытому восстанию, ни к тайному мятежному заговору, даже не ласкает польскую фантазию мечтами о восстановлении Польши в

пределах 1772 г. Но тем сильнее производимое им впечатление, тем ярче выступает наружу вражда внутренняя, сосредоточенная, та вражда, которая пренебрегает праздными фразами, не пылит, не кипятится попусту, а уже перекипела, охладилась, овладела собой и более чем когда-либо непримирима». Отсутствие прямого заявления притязаний на западнорусские земли еще однако не свидетельствовало о прямом отказе от них. «Напрасно, – говорит Аксаков, – искали мы в программе хоть бы след признания прав русской народности в наших Северо-Западном и Юго-Западном краях, хоть бы намек на отречение от этих беззаконных притязаний, хоть бы попытку новой постановки польского вопроса, именно в этнографических пределах польского племени... Ничего подобного и тени – ни в программе, ни в жизни... Как ни достойны сочувствия, – говорит по этому же поводу И. С., – любовь к своему Отечеству, своей народности и верность старым преданиям; но если это «Отечество» зиждется на неправде, на угнетении и порабощении других племен, если эта «любовь» и «верность» – синонимы ненависти и вероломства относительно равноправных племен, если патриотическое знамя поляков есть знамя неволи и плена для миллионов русского народа, то никто, как сами поляки вынуждают нас, даже с насилием нашей нравственной природе, держать их в узде и исполнять относительно их тяжкую обязанность бдительного жандарма».

Эта небольшая выдержка вполне доказывает, что прекрасные чаяния, которые Аксаков так открыто и горячо выражал в начале 60-х гг., через 20 лет должны были совершенно рассеяться. Славянское чувство Аксакова, так страстно желавшего прежде не усмирения славянской Польши, а примирения ее со славянскою Россией, так горячо верившего в возможность этого примирения, должно было испытать горькое разочарование, а безумные притязания, то подразумеваемые, то нередко с беспримерной наглостью выражаемые во всеуслышание, не переставали до последних дней оскорблять его русское национальное достоинство.

Еще более горькое разочарование постигло Аксакова в его надеждах на возрождение русского общества.

Аксакову не пришлось увидеть признаков того тесного единения Восточной и Западной России в сознании и чувствах всего русского общества, единения, которого он так жаждал и на которое возлагал такие богатые надежды; пришлось, напротив, горьким опытом убедиться, что бездушие, апатия, лень мыслить и действовать в одном направлении, формализм и та особенно возмутительная «деликатность» и «гуманность», которые, вовсе не проникая собой всей природы человека, являются лишь так, «для больших оказий», вроде раздушенного носового платка, употребляемого только при фраке и в гостиной – что все это вовсе не исчезает бесследно, что «новейшее фальшиво-либеральное и еще более фальшиво-гуманное направление нашей интеллигенции» мало подают надежды на усиление русского национального чувства и самосознания.

В 64-м году Аксакова томили особенно мрачные думы. Всякое великое общественное дело в других странах, говорит он, высылает обыкновенно вперед себя – молодую, горячую, одушевленную дружину, которой принадлежит начинание и за которой вслед идет уже более спокойная и рассудительная сила зрелого возраста... но у нас, во всех общественных вопросах, волновавших жизнь нашу в последнее время, ни впереди, ни сзади нас не было и нет этой смелой, отважной, благородной дружины, кроме некоторых отдельных деятелей. Кто в этом виноват – это вопрос особый, но во всяком случае очень уже трудно действовать тому обществу, у которого главный доспех – благородный энтузиазм молодежи – обретается в отсутствии... Так было в 64-м году.

Будем верить и уповать, что четверть века для нас не прошла даром, что теперь, когда с выходом в свет сочинений И. С. его слова приобретают значение предсмертных заветов русскому обществу и в лице представителей зрелого возраста и молодежи, они не останутся лишь гласом вопиющего в пустыне, а найдут живой отголосок во всех сердцах!

Западная Русь по-прежнему остается открытой ареной для всякого рода деятельности. Пусть устремляется туда молодая Русь, пусть явит она там доказательства гражданской доблести и зрелости, пусть поды-

мет и оживит она местные молодые силы и поставит их рядом с собой для дружной энергической работы, пусть опирается она, как на крепкий оплот, на чувство живого национального самосознания всего русского общества, пусть все сильней и сильней пробуждается в этом обществе интерес к Западной Руси, пусть выразится он основанием здесь, в центрах, изданий, специально посвященных ее жизни, пусть дружно закипит работа, пусть в душе русского общества непрестанно раздается призыв славного сына Русской земли, обращенный к ней в трудную минуту ее жизни: «Выдвигайся же, Русская земля, вызывай из глубины твоих недр все твои потаенные богатства, все ключи живой целебной воды, и не одних только богатырей:

Из стран далеких,
От осьми твоих морей,
Со степей, равнин широких –

скликай ты, как 1812 г., не одни только внешние и вещественные силы, но силы русского духа, русской мысли и слова!..» – и тогда польский вопрос упразднится, войдет в рамки, определенные ему ходом истории, законами справедливости и перестанет навсегда оскорблять русское чувство, тревожить русскую совесть.

О. Щенков

ВЕЩЕЕ СЛОВО
Стихотворение в прозе
ПАМЯТИ И. С. АКСАКОВА

Славься, наш вольный, могучий, великий, наш новославянский язык. Славься от холодного Севера, от вод, вечно сокрытых под ледяным покровом, до палящего, знойного Юга, до песков пустыни Сахары. Господствуй

и славься от Атлантического океана до берегов Восточного Китая. Проносись по долинам, звучи по полям, греми на горах, господствуй в степях. Бушуй на кораблях вместе с быстрыми волнами; лейся с переливами рек; пролетай песнею по рыбачьим челнам; величайся по бесчисленным весям и многочисленным городам нашей Славии. Мы тебе песнь поем, а ты живи и славься наш кроткий, могучий, наш новославянский язык.

Ты речь – наша услада; ты победоносная сила нашего стана. Будь в горе нашей утехой; будь на праздник нашим венком; ты в досуге наша гордость; в деле наша опора и мысль. Ты, славянская речь, – угроза нашим врагам; ты твердыня, о которую разобьются чуждые нам языки и наречия. Пред тобою дрожат племена и народы: ты в силе залить их холодное слово, их бездушную речь или наивную, или слащавую, или тернистую, как иная дорога, или неприятную для слуха, как лязг цепей. Ты – их победа, наш богатырь и красавец, наш мощный, великий, наш новославянский язык.

Мы, славяне, сложно сольемся пред Богом в вере и грудью станем за престол Самодержца-Царя; мы, славяне, сольем наши наречия в один богатый язык; и пусть обовьются эти наречия около одного твердого ствола – наречия русских славян и образуют речь твердую, плавную, звучную; и скажемте, братья: слава тебе, наш красивый, наш вековечный, наш новославянский язык.

Ты, славянская речь, тверда, как броня; ты, язык наш, тягуч, как смола; ты мощен, как меч; ты приятен, как мед; ты блестящ, как шлем; ты гибок, как морской тростник. Ты мчишься вихрем буйным; ты загораешься огнем небесным; ты необъятен, как земля; ты бесконечен, как воды. Ты будешь жить, пока живы мы; ты будешь греметь и славиться с нашей славой... Так греми же и славься на многие, многие лета, наш вольный, мощный, кроткий, великий, наш новославянский язык.

III. РЕЛИГИОЗНЫЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НАУЧНЫЕ ДЕЯТЕЛИ О КОНЧИНЕ И. С. АКСАКОВА

РЕЧЬ, СКАЗАННАЯ В РИЖСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ ДОНАТОМ, ЕПИСКОПОМ РИЖСКИМ И МИТАВСКИМ, ПРЕД ПАНИХИДОЮ ПО ПОЧИВШЕМ ИВАНЕ СЕРГЕЕВИЧЕ АКСАКОВЕ

Скончался печальник земли Русской об исполнении ее исторических заветов внутри и вне ее пределов, об ее современных нуждах, Иван Сергеевич Аксаков!

Скончался печальник славянства в его поисках за своею историческою судьбою, в его порывах к восстановлению своей славянской личности в убеждениях, в науке, в общежитии, в языке, в гражданском строе жизни!

Умолк вещий голос, которому охотно внимали все истинно русские люди во время общественной радости и печали.

Погас маяк здравого народного самосознания, руководивший его несколько последних десятилетий среди тумана заблуждений и волнений противонародной мысли и жизни.

Оставил поприще достойный вождь истинных любителей славянства (славянофилов), достойный истолкователь высоких идеалов, наследник драгоценнейших сокровищ знания своих учителей и сотрудников: Хомякова, Киреевских, Аксаковых, Самарина, Гильфердинга и других в высоком полете их мысли, всецело владевшей всею мудростью современной им нау-

ки и жизни. Почил обладатель и истолкователь их тайны мирных и дружных отношений веры и знания, человеческого разума и Божией истины.

Оставил свою земную службу верный слуга Русского Царя, ревностный защитник его самодержавия, мудрый истолкователь его идеала, освященного Богом, сохраненного историческим подвигом русского народа и завещанного ему в роды родов до скончания его исторического века, как зиждительное начало государственной жизни России.

Отошел в другой мир истинный сын Православной Церкви, всю жизнь свою одушевленный твердою верою в ее животворное, творческое влияние на личную, семейную, общественную гражданскую жизнь и историческое призвание русского народа среди других народов. Только искренняя смелость веры почившего Ивана Сергеевича в неодолимую твердость Церкви Православной среди полной свободы нападений на нее увлекала его дальше благоразумия тех родителей, которые не позволяют себе полной свободы в речах и действиях пред несовершеннолетними своими детьми из опасения вредного для детей соблазна и колебания их детских понятий. Только уверенность почившего в несокрушимом могуществе Церкви Православной, по обещанию ее Основателя, и ревность об ее славе и всеобъемлющем влиянии на жизнь людей скрывали от него неизбежные жертвы и гибель слабых в вере людей от смешения в их мыслях свободы нападения и борьбы заблуждений против Православной Церкви с мнимым неуважением оной, такие жертвы находили бы для себя оправдание в самой свободе заблуждений, как бы признании их за истину.

Скажем, наконец, замолк сильный и искренний помощник и защитник во всякой нужде, во всякой обиде голосом своей «Руси», откуда бы ни обращался правдивый голос и вопль о народной нужде или обиде, наносимой пренебрежением закона или нарушением его вместо охраны именем закона прав и свободы жизни, неслись ли эти голоса и вопли от Владивостока до берегов Балтийского моря и от Туркестана до Ледовитого океана необъятной России. А нужды и скорби нашей окраины пользовались преимущественным вниманием и сочувствием Ивана Сергеевича, и потому наша утрата с его кончиною почувствуется тяжелее, чем где-либо.

Кто станет теперь отзываться с таким горячим сочувствием и помощью, как отзывался Иван Сергеевич к нуждам славянства, его учреждений, его юношей и его борцов за свою славянскую нравственную и политическую самобытность?

Чей одушевленный голос, равный по силе и влиянию голосу Ивана Сергеевича, призовет Москву и всю Россию к жертвам на помощь нужде общественной и церковной?

Итак, почил от всех дел своих русский православный человек, И. С. Аксаков, много совершивший добра в жизни своей! Но, как и все нужные русские люди, Иван Сергеевич почил, по человеческому разумению, в такое время, когда он наиболее нужен был для русского и славянского дела. Покоримся всеблагой и премудрой воле Божией, уставляющей пределы жизни человеку.

Чем же мы, возлюбленные сыны России, возблагодарим Господа и помянем почившего раба Божия, Ивана Сергеевича, за то утешение, что мы имели более четверти века такого многополезного и искреннего слугу России и ее Государя и истинного сына Православной Церкви? Будем подражать и одушевляться примером жизни Ивана Сергеевича в нашем служении России, Государю и Церкви Православной.

Будем молиться о душе почившего раба Божия Иоанна, не прервавшего с нами общения, как члена Православной Церкви, с переходом в другую жизнь: да успокоит Господь его дух, жаждавший на земле правды, в обители своей вечной правды и мира.

СЛОВО, СКАЗАННОЕ В ВИЛЕНСКОМ СВЯТО-ДУХОВОМ МОНАСТЫРЕ НАСТОЯТЕЛЕМ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СОБОРА, ПРОТОИЕРЕЕМ И. А. КОТОВИЧЕМ

Помните, братье, труд наш и подвиг
(1 Сол 2 : 9).

Точно гром с высоты безоблачного неба поразило всех нас глубокопечальное известие о неожиданной кончине незабвенного Ивана Сергее-

вича Аксакова. Мощный организм уступил силе более мощного духа, и лучший гражданин и печальник земли Русской сошел в могилу, повергши в глубокий траур не одних только близких и знавших его людей. Его гроб и свежую могилу горько оплачут – вся Россия, весь славянский мир и все образованные люди, для которых честное и неподкупное слово, сила и твердость убеждения, неутомимая борьба с ложью, любовь к правде, чистая, беспристрастная любовь к родине, к русскому народу и славянству, преданность вере, Церкви и идее самодержавной царской власти – не пустые фразы, а дух и жизнь. То уважение, с которым встречалось каждое его живое слово, то благоговение, с каким оно прочитывалось и передавалось из уст в уста, тот необыкновенно обширный, ясный и основательный ум, с каким он с легкостью анатома отсекал ложь от истины и возводил и ставил истину на подобающую ей высоту, та замечательная и редкая способность жить в данное время чувствами и думами народными, предугадывать их, воплощать их в прекрасной форме слова, отчего каждый соотечественник, читав его слова, читал как бы заветы своей души и находил в них источник утешения, бодрости и возвышения духа среди радостей и печалей народной жизни, та смелая прозорливость, с какою он раздвигал завесу будущего и так верно прозревал грядущие события и их последствия, – ставят его в ряду замечательнейших деятелей пера и слова в нашем Отечестве. Его труд и духовные подвиги не сойдут с ним в могилу; они живы и будут жить в сознании народном, будут приносить добрые плоды и из рода в род будут вызывать память об их творце и лучшем выразителе, который так талантливо сумел идеалы народной жизни влить в общественную жизнь живою струею. Конечно, нам, современникам, да еще при таком внезапном удручающем душу событии, трудно оценить заслуги и значение деятельности покойного Ивана Сергеевича для России и для славянства; без сомнения, друзья и почитатели, окружая гроб народолюбца, многое скажут о нем в наше назидание, но полная оценка жизни почившего патриота принадлежит все-таки будущему времени.

Следуя заповеди Апостола помнить труды и подвиги деятелей, мы скажем несколько слабых[1] слов о деятельности Ивана Сергеевича и,

останавливая свой взор на трудах для подъема русского народного духа в Западно-Русском крае и для оживления и возвышения в нем Православия, хоть несколько осветим деятельность почившего в этом направлении.

Иван Сергеевич принадлежал к счастливому семейству, нравственные качества и умственные дарования членов которого пользуются заслуженною общею известностью. В среде семейной он получил те задатки любви к народу и началам его жизни, к России и служению правде, какие развились в нем и воспитанием, и влиянием знаменитого в истории развития нашего самосознания кружка славянофилов, центром которого было семейство Аксаковых. Этому кружку талантливых людей, беззаветно преданных своей Родине, путем самоотверженного труда над изучением памятников старины и условий быта и жизни русского народа и единоплеменного славянства посчастливилось восстановить живую связь нашего прошлого с настоящим, порванную реформами XVII в., найти в истории русского народа богатые нравственный силы, зиждущие жизнь народную и строй общества и государства и без пособия заграничных разновидных и вызванных совершенно другими условиями исторической жизни тамошних народов учреждения. Любовь к родной старине и к родному народу оживила память о единстве всех славян и необходимости воскрешения духовного единства в возможной силе. Русские люди стали прислушиваться к этому новому направлению в русской исторической науке, поверять его, почувствовали его правду – и учение славянофилов стало ныне убеждением всякого истинно русского человека и постепенно отражалось в мероприятиях зиждущей государственной силы, так что покойный И. С. Аксаков в известном, составленном им адресе в Бозе почившему Государю Александру II мог со свойственною ему прямотою сказать, что в «новшествах Твоего царствования слышится нам наша старина».

Иван Сергеевич был лучшим, наиболее энергическим представителем славянофильства и самым деятельным проводником учения оного в жизнь при содействии руководимой им периодической печати. Запас знаний, добытых трудами своих предшественников, он обогатил новыми сведениями путем личного опыта и изучения. Не отдавая себя служебным обязанно-

стям, но по временам принимая оные на себя, он близко изучил быт старообрядчества, его верования и надежды, в качестве ополченца совершил в Крымскую войну поход с дружиною в Бессарабию, был затем членом следственной комиссии, возникшей после этой войны, посетил славянские земли и исследовал торговое и промышленное движение в Украине и в связи с оным в других местах нашего Отечества. Эти стороны его деятельности дали ему массу сведений, и Иван Сергеевич в своих статьях нередко ссылался на них, как на доказательства личного опыта и знания.

Честное, правдивое и независимое слово Ивана Сергеевича нередко было источником оживленной литературной борьбы и неприятностей; по временам умолкал его голос, но, казалось, затем только, чтобы с большею еще силою раздалось его вещее и дорогое русскому сердцу слово. Долг и служение России и славянству он ставил выше всего, до самоотвержения; еще на днях он высказал с полною силою убеждения, что уже поздно и не подстать меняться ему в воззрениях, и пока он держит перо в руках, оно будет все тем же независимым и искренним, несомненно истинно патриотическим, каким оно было и есть, теперь и всегда. И это он исповедал с такою силою и твердостью, когда здоровье его уже надломилось и смерть, как тать в ночи, приближалась к нему. Эта верность русско-славянским идеям, доказанная всею его жизнью, приковывала к нему сердца людей русских и славян; сами враги отдавали ему дань уважения. В его доме славянин находил братский привет и отдых и получал нравственное подкрепление и помощь. К нему, Ивану Сергеевичу, в полное его распоряжение, в случае нужды обильною струею лились значительные пожертвования, с полным доверием, что они в руках его дойдут по назначению. Завидное доверие! Велика честь памяти почившего!

Не забудет и Западно-Русский край Ивана Сергеевича! Нужно было иметь много мужества и сознания гражданского долга, чтобы так бесстрашно восстать на защиту попранной и униженной русской народности и православной веры в здешнем крае, как восстал Иван Сергеевич в 1861 и 1862 гг. – это время лихорадочной подготовки и организации польского мятежа, благодаря недальновидности и пагубному либера-

лизму нашей администрации. Всякий, кто бы смел только думать оказать противодействие делом или же заговорить о Западном крае как о русском, а не польском, мог ожидать себе много неприятностей, угроз и беды от поляков. Казалось, что русская печать и власть как бы сознательно отдали край наш в порабощение врагам. Борьба и томление духа были велики и невыносимы; чувства эти испытал только тот, кто лично здесь пережил это тяжелое время. И вот, осенью 1861 г., появляется литературный орган Ивана Сергеевича «День». Со свойственною ему прямотою он открыто исповедал великий грех русского общества и русских ученых – забвение про существование Белоруссии, общерусских основ ее жизни и подвигов ее сынов; он прямо ставил вопрос, что здешний народ – русский народ, господин и хозяин той земли, которую поляки всюду прославили Польшей и этою ложью заслепили глаза русскому обществу; он убеждал белорусов – представителей народа в Западном крае – стряхнуть с себя в своем домашнем быту польскую речь и польские обычаи как символы позора и рабства польщизны и как преграду к воссоединению с остальною православною Россиею; он взывал к русским деятелям ни на минуту не забывать великое значение своего призвания в стране сей – миссионерство русской народности и Православия. Его слова, исходившие из глубины сердца, преданного России, зажигали сердца читателей и давали силу их мыслям и делам. Но Иван Сергеевич был человеком не слова и языка только, а дела и истины. Ратуя за нашу окраину, он призвал к участию в борьбе лучшие силы в крае, вдохнул в них жизнь и любовь к народу; масса сведений, корреспонденций и ученых трактатов, касающихся истории и бытовой жизни страны сей, находили сочувственный приют в его органе, который сотнями бесплатно он распространял среди духовенства и образованных людей. Оживление в Западной России было весьма велико; взоры мыслящих людей постоянно обращались к Москве, к Аксакову: что думает, что скажет он? Почти все проекты преобразований в крае или проходили через его руки, или же не чужды были его указаний и косвенного влияния. Православные храмы, братства при оных, и в частности здешнее Свято-Духовское, и церковные школы находили в нем помощника и дателя[2]. Он

лично от себя делал жертвы, записывался в число братчиков во многих приходах, призывал к тому своих близких, знакомых и сочувствующих его деятельности. Где видел или чувствовал вялость или боязливость в действиях, просил, убеждал, ободрял. Многие десятки тысяч денег, массы книг и церковной утвари явились в пособие местным скудным средствам или же на покрытие этой скудости. Вот вкратце заслуги и значение незабвенного Ивана Сергеевича для Западного края; главное, чего не забудет история, – это озарение сознания русских людей относительно Западно-Русской страны, ставшего теперь непоколебимым.

Принесем же, братие, низкий поклон и глубокую благодарность приснопамятному Ивану Сергеевичу за все его труды и подвиги ради славы и чести России, ради счастья и мирного развития Западно-Русского края. Вознесем к престолу Всевышнего мольбы об упокоении в царстве славы и вечной правды его могучего духа, не знавшего отдыха и покоя ради любви к Богу, Святой Церкви и Отечеству, о прощении его грехов, вольных и невольных, от которых он, как человек, не был свободен. Будем молить Небесного Устроителя судеб народов и жизни частных людей, да вышлет Он на русскую ниву деятелей, подобных почившему. Много есть владеющих пером и даром слова, но на видимом нами горизонте общественной жизни – нет и не видится подобного незабвенному нашему Ивану Сергеевичу Аксакову. Аминь.

Анастасий

РЕЧЬ ПРИ ПОМИНОВЕНИИ ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА АКСАКОВА, СКАЗАННАЯ ПРЕД ПАНИХИДОЮ, В ГРОДНЕНСКОМ СОФИЙСКОМ СОБОРЕ, 30 ЯНВАРЯ 1886 г.

Мы собрались помянуть скончавшегося три дня тому назад Ивана Сергеевича Аксакова. Нужно ли объяснять, что это за человек был?

Его знает не одна Москва, это сердце России, в котором он был самым живым нервом, – его знала вся Русская земля, весь славянский мир, и Европа знала этого замечательного русского человека как одного из главных носителей и лучших выразителей идеи братства всех славянских народов, – как сильного борца за народные начала в русской жизни. В борьбе за эти начала он проявился как личность, поистине светлая, как звезда своего рода, свет которой был путеводным светом для русского человека и отрадным для его сердца. Знала Ивана Сергеевича и Православная Церковь, которую он чтил как верный Ей сын и которой служил, как может служить Церкви просвещенный мирянин, ревнующий о ее благосостоянии.

Все эти качества покойного Ивана Сергеевича Аксакова были особенно ценны в наше смутное время, какое переживал весь славянский мир вообще и в частности русский мир.

Когда мусульманство давило православных славян, кто тогда сильнее Ивана Сергеевича мог сказать слово за угнетенных? Кто живее его мог пробудить на Руси и родственное чувство, и чувство христианского сострадания к несчастным? Кто лучше его мог выяснить значение братского союза между славянскими племенами для их настоящего и будущего? Он был своего рода пророк в славянском мире, пророк и утешающий, ободряющий страдальцев – славян, и сильно обличающий неправды Западной Европы, хищные стремления ее лукавой политики, ищущей поживы в землях славянских, облитых кровью. И не стало этого пророка, замолкли вещие уста, говорившие такие речи, которыми трогались и жестокие сердца!

Когда нашу Русь обуяло какое-то недовольство всем своим родным; когда у нас стали без разбора, огулом, хулить все свое русское, не отличая при том хорошего от худого; когда это недовольство у многих развилось до неспособности замечать в окружающей жизни и выдающихся явлений добра и дошло до страсти раскрывать только язвы русской жизни, находить какое-то удовольствие в самопоругании; когда наши русские поклонники Запада возревновали о пересадке на русскую по-

чву иноземного и с пренебрежением к своему родному русскому, как к чему-то отжившему и нездоровому, стали искать спасения во всякой иноземщине: кто тогда тверже Ивана Сергеевича отстаивал русское национальное достоинство? Кто трезвее его смотрел на русскую жизнь, вернее отличал в ней хорошее от дурного, здоровое от больного» и отжившего? Кто живее его мог изобразить ту уродливость, какая появлялась в русской жизни от насильственных приставок к ней чужеземного, несвойственного духу русского человека? Кто убедительнее Ивана Сергеевича мог говорить о значении национальных начал для русской жизни, об уважении к святым завещаниям ее истории? Кто выразительнее его мог высказать думы русского человека, его радости и скорби в важные исторические моменты, какие мы переживали? Кто-то, не помню, высказал такую мысль, весьма вескую для оценки Аксакова: «Я сильнее чувствую себя русским человеком и довольство тем, что я русский, вот в каких случаях: когда в церкви слышу древнецерковную мелодию священных славянских песнопений, – когда слышу в широком поле задушевную русскую народную песню и когда читаю речи Аксакова о наших русских делах». И не стало русского народного оратора, умевшего гармонически соединить в своей речи общечеловеческое с национальным, церковное с житейским, не стало русского народного трибуна-златоуста! Кто же идет, в замене его, на его опустевшую кафедру и будет говорить нам такие речи? Не видно… Кафедра его, известная всем «Русь», кажется, навсегда опустела с той минуты, как сокрушилось и перестало биться навсегда сердце вещавшего на ней народного витии!

Когда у нас на Руси научились красноречиво говорить и писать; когда для многих чтение стало не школой для мышления и для приобретения полезных знаний, а только приятным развлечением, убивающим способность серьезно думать об окружающей нас жизни; когда притом книгу мы возвели в должность главного руководителя в жизни; когда мы привыкли вычитанные, чужие мысли выдавать за свои собственные; когда таким путем привыкли к фразе и научились искусству прикрывать ею свой собственный образ мыслей и чувств или отсутствие

их; когда у нас развилась обширная торговля печатным словом об общественных делах, причем открылись мелочные лавки, где, наравне с литературным хламом, нередко изменнически продается и святая правда за рубли и копейки: тогда не правда ли, становится величайшею драгоценностью – слово, глубоко обдуманное, выношенное в уме, самостоятельно и заботливо помышляющем об общем благе, и в сердце, горячо любящем Родину, – слово серьезное, правдивое, честное. Такое слово особенно ценно бывает, когда события, касаясь важных общественных интересов, возбуждают в народе заботливые думы, глубоко затрагивают его чувство, а между тем вожди общественной мысли либо неискренно фразируют, либо вяло и темно толкуют, не давая серьезного, искреннего и сильного слова. Вот в такие-то моменты часто слышалось у нас: «Что-то скажет наш Иван Сергеевич Аксаков?» И он говорил, не обинуясь, говорил в подобные моменты такое слово, для которого нужно не только умение сильно говорить правду, но и мощное гражданское мужество. И не стало этого самобытного, искреннего, правдивого писателя и мужественного гражданина, которого уважали и враги его!

Когда у нас усилился обычай браться за науку – не столько для того, чтобы образовать из себя человека, мыслящего и чувствующего истинно по-человечески, сколько для того, чтобы добиться нрава на известное положение с удобствами; когда самое образование у многих получило характер выучки для обыденных практических целей; когда в образовании многие стали более всего ценить выгодные специальности, предпочитая их общему образованию; когда специальности для многих посвятивших им себя стали тем же, чем, например, стал для плотника топор: тогда у нас развелось множество специалистов, сведущих в своей узкой области знаний, но не имеющих того, что называется образованием, в высшем, христианском смысле этого слова. Образование, понимаемое в таком смысле, непременно предполагает у человека, истинно образованного, цельное и правильное мировоззрение, с определенными понятиями по главнейшим вопросам жизни и бытия, а такой-то основы образования и нет ныне у многих долго учившихся разным специаль-

ностям. Эта ученая дробность в наше время весьма усилилась и часто доходит до умственной и нравственной легкости, которая и сама себе не может дать отчета, какого мировоззрения держится она; а между тем она даже и гордится иногда тем, что не имеет никакого определенного мировоззрения, признавая отсутствие этой основы образования за лучший признак здравого ума с «реальным направлением»! Таких людей у нас теперь очень много. С ними можно прожить целые годы и все-таки не узнать: во что они веруют, что составляет заветную святыню их души? Это личности безличные, это умственные и нравственные потемки! Среди такого темного безличия, не правда ли, отрадно встретить личность, светлую личность – и по образу мыслей, и по образу жизни, с определенным мировоззрением, с верно намеченными и твердо поставленными целями жизни, что бывает только у разумно верующего христианина. Такою поистине светлою личностью и был Иван Сергеевич Аксаков. Это был истинный христианин, не стыдившийся признавать Православную Церковь своею матерью, тогда как весьма многие из современных так называемых образованных людей признают как бы недостойным образованного человека веровать и жить по-церковному! Для многих из таковых – прийти в церковь значит не то, что исполнить свой святой долг, а сделать как бы уступку общему и старому обычаю, сделать снисхождение и как бы одолжение кому-то!.. А Иван Сергеевич Аксаков считал за счастье и за величайшую честь принадлежать Православной Церкви и служить ей и словом, и делом. Следы своего служения Православной Церкви он оставил и в здешнем крае: он был одним из величайших ревнителей укрепления Православия и русской народности в этой стране в ту пору, когда она была взволнована известным мятежом. Мы помним это время, когда Иван Сергеевич, с ревностью, достойною истинного христианина и верного своей Родине гражданина, служил благу этой страны; помним, когда среди тогдашней смуты он являлся здесь не в одном только своем «Дне», прогонявшем мрак иезуитства и полонизма, воодушевлявшем к борьбе с ними, но и в благотворениях для пострадавших от этих язв здешнего края.

Вот какого человека опускает в могилу Русская земля! Помолимся, братья, да упокоит Господь душу раба своего Иоанна в Царствии Небесном – после его честных и благотворных трудов для православного русского царства и для всего православного славянства.

РЕЧЬ, СКАЗАННАЯ ПРЕД СОВЕРШЕНИЕМ ПАНИХИДЫ ПО НОВОПРЕСТАВЛЕННОМ БОЛЯРИНЕ ИВАНЕ СЕРГЕЕВИЧЕ АКСАКОВЕ ПРОТОИЕРЕЕМ г. ТАРНОПОЛЬСКИМ

Скончался вмале исполни лета долга
(Прем 4 :13).

Ныне мы собрались творить поминовение о том, преждевременную и так нежданную кончину которого вот уже несколько дней оплакивает вся Православная Русь, и не одна она, а и весь славянский мир. Кому на Руси не известно дорогое имя писателя, публициста Ивана Сергеевича Аксакова? И вот этот богатырь русский, мощный духом и крепкий, по-видимому, телом, внезапно, 27 января, скончался от разрыва сердца, всего – на 63 году жизни! Уснул богатырь русский сном непробудным, умолкли уста, никогда и никому не глаголавшие льсти... Потеря наша невознаградима… Если что и может в постигшей нас горькой утрате пролить хоть некоторый луч утешения в удрученное скорбно сердце русское, то это известие об его христианской кончине. Хотя кончина его по роду болезни должна была быть внезапная, но он умер смертью истинного христианина, после напутствования его св. таинствами покаяния и причащения; умер с молитвою на устах, произносимою вслух, по его предложению, добродетельною его супругою. И сбылось на нем слово Св. Писания: не видех праведники оставлена...

В лице почившего Ивана Сергеевича и Отечество наше, и весь славянский мир понесли великую утрату: Русская земля лишилась одного

из наилучших своих граждан, русский Царь – преданнейшего из своих подданных, Православная Церковь – искренно верующего христианина, человечество – высокогуманного, честного и правдивого человека, русская литература – глубокого мыслителя и писателя-художника, постоянно будившего своим могучим словом русское самосознание, славянофилы – лучшего выразителя своих стремлений, обнимавшего своим любящим сердцем всех славян без различия их вероисповеданий, Северо-Западный край наш, в частности, – самого заботливого радетеля его интересов. Таков был, в кратких чертах, почивший Иван Сергеевич! В немногих словах, конечно, невозможно обрисовать эту выдававшуюся в наше время личность, личность высоконравственную, всесторонне просвещенную, наделенную необыкновенным даром убеждать умы и трогать сердца. Чтобы понять этого глубокого мыслителя и писателя-художника, нужно быть знакомым с его произведениями, а написал он их немало. И кто бы как ни принимал их – или как друг, или как враг, – но всякий принужден признать, что они проникнуты таким высоким христианским духом, носят отпечаток такого высокого гуманизма, искренности, такой глубокой любви к Родине, к русскому народу, к славянству, что к голосу его с уважением относились не только друзья, но и враги, не только русские и славяне, но и вся Западная Европа. И никогда сила его вдохновения так не сказывалась, как в трудные минуты жизни народной: тут Иван Сергеевич был на высоте своего призвания, – в это время он сливался с духом русского народа, думал и писал то, что чувствовал всякий русский человек и весь русский народ, он переживал в себе то, что писал, каждую свою мысль, каждое свое слово, он писал, по справедливому выражению одного нашего писателя, нервами и кровью... Вот где заключается тайна, что слово Ивана Сергеевича Аксакова будило умы и пленяло сердца... Правда, голос его иногда оставался гласом вопиющего в пустыне, но зато с этим голосом потом приходилось, подобно глаголам древних пророков, считаться, как с непреодолимою нравственною и политическою силою... Но во всяком случае переживать это время Ивану Сергеевичу было не легко... И что удивительно после

этого, если сердце его, так много прочувствовавшее и перестрадавшее, разбилось так преждевременно. Скончался вмале исполни лета долга.

Нам, жителям Северо-Западного края, особенно памятна деятельность незабвенного Ивана Сергеевича в шестидесятых годах, когда он начал издавать свой «День». В этих годах русское дело в Северо-Западном крае находилось в самом униженном положении: всюду и везде, за исключением хижин убогого православного духовенства и оголенного и обездоленного крестьянства, царила польская речь, даже в устах, судя по имени, и русских людей; положение Православия было таково, что оскорбляло и религиозное, и патриотическое чувство; служебное и общественное положение русского человека, оставшегося верным своему знамени, было, как это известно по опыту всякому, имевшему несчастье жить здесь в этих годах, невыносимо тяжелое[1].

И не было у нас помогающая.

Казалось, что и само Отечество наше, в лице своих представителей, здесь отступилось от своих прав в этом крае… В эту-то невыносимо тяжкую годину на защиту попранных и поруганных прав православно-русских первый из русских людей выступил и словом и делом незабвенный Иван Сергеевич. Со свойственным ему одному умением и мужеством он выяснил пред сознанием русского народа положение, достойное слез, русского дела в Северо-Западном крае, и своим мощным словом вызвал внимание и сочувствие к нему и со стороны правительства, и со стороны русского общества. Дела в крае изменяются к лучшему, сюда стали прибывать русские люди, не по одному только имени из сердца России – Москвы – посыпались тогда щедрые пожертвования в пользу церквей и церковноприходских школ наших. Желая вызвать к самодеятельности и местных православных людей, особенно из среды духовенства[2], он со многими из них вступил в непосредственную переписку ободрял и воодушевлял их на поприще миссионерской деятельности, принимал от них корреспонденции и помещал их в «Дне». Немало

он принес сюда и личных своих жертв, вписав свое имя в братства при многих церквах. И имя незабвенного Ивана Сергеевича с признательностью записано в диптихи во многих церквах Северо-Западного края.

Вот о каком деятеле мы собрались ныне творить поминовение. Вознесем же, слушатели, свои усердные моления, чтобы Милосердный Господь, простив ему, как человеку, все согрешения его, вольные и невольные, упокоил мощный дух его, не знавший здесь покоя и усталости, в райских обителях. Вместе с тем будем молить Всевышнего, в руце Которого судьбы царств и народов, да не иссякнут на ниве славяно-русской деятели, подобные почившему незабвенному Ивану Сергеевичу Аксакову! Аминь.

В. О. Ключевский

АКСАКОВ

[31 января 1886 г.]

Несколько часов тому назад мы проводили на вечный покой одного из наших сочленов, И. С. Аксакова. Да будет ему вечная память! Каждый из нас будет долго чувствовать всю тяжесть утраты, понесенной с его смертью славянским делом, русским обществом, русской литературой и, особенно, русской периодической печатью. Но, поминая его теплыми словами в настоящем собрании, я должен держаться в пределах тех специальных интересов, во имя которых мы собираемся. Покойный посвятил всю свою жизнь вопросам, изучение которых не входит в число прямых задач О[бщества] и[стории] и д[ревностей] Р[оссийских]. Он работал на более широком и трудном поприще: он служил русскому и остальному слав[янскому] обществу и верх[овному] блюстителю общих русских и всеславянских интересов громким словом честного, самоотверженного и даровитого публициста. Это одно из самых трудных и ответственных общественных служений. Но, идя в передовом ряду бой-

цов за русские и славянские интересы, он на каждом шагу оглядывался на нас, скромный арьергард, или, говоря древнерусским ротным языком, сторожевой полк русской жизни, который, не участвуя в борьбе, подбирает падающих бойцов и читает над ними историческую отходную, – г[ово]ря обычным языком нашей науки, сводит факты и выводит итоги жизни. Немногие из современных публицистов так любили обращаться к прошедшему за уроками и указаниями по текущим вопросам. Становясь перед каким-либо трудным вопросом нашей внутр[енней] или внешней жизни, он спешил обратиться к родной старине, чтобы спросить ее, как надобно поступить. На его суждения в политических и общественных делах всегда падал яркий свет исторического размышления. В своих исторических воззрениях он оставался верен преданиям школы, которую издавна привыкли называть славянофильской. Этой школе принадлежит видное место в нашей историографии, и в истории этой школы покойный занимал место, которое, думается мне, после него останется незанятым.

II.

[После 31 января 1886 г.]

Под впечатлением непритворной скорби, вызванной в нашем обществе преждевременной смертью И. С. Аксакова, многие добрые и нечуждые образования люди приходят в недоумение от суждений о покойном писателе, высказанных в нашей печати. «Скажите, – спросит иной из этих людей, – почему называют И. С. Аксакова славянофилом и даже последним славянофилом». Я много лет и с великой любовью следил за его деятельностью как публициста, и она давно укрепила во мне убеждение, что так, как писал Аксаков, должен чувствовать всякий честный русский человек. Причем тут славянофильство, и зачем публициста, из глубины русской души всегда отзывавшегося на текущие вопросы и насущные нужды нашей жизни, таким широким взглядом смотревшего на положение и практические задачи нашего

народа, зачем характеризовать его каким-то обветшалым и деланным, нерусским и непонятным термином? Я не раз слыхал, что его называют славянофилом; но я всегда думал, что здесь речь идет больше о его родословной, чем об образе его чувств и мыслей: он родился и вырос в кружке, в котором некогда много говорили и писали о гниении Запада, об отношении новой России к древней, – вот и все его славянофильство. По родственным воспоминаниям, он иногда вскользь касался этих специальных славянофильских тем; но он шел своею дорогой. Из многочисленной толпы, с такою скорбью провожавшей его гроб 31 января, многие ли помышляют о гниении Запада, о реформе Петра, и в былые годы, когда мы толпами ходили слушать его на заседаниях Славянского благотворительного комитета, разве речами о мурмолках заставлял он обливаться кровью наши сердца? Может быть, теперь иначе понимают славянофильство, называя этим словом живое патриотическое разумение русских и славянских интересов. В таком случае И. С. Аксакова следует считать первым, а не последним славянофилом в настоящем смысле этого слова.

Теперь нередко слышатся подобные толки о покойном. Они всего прямее указывают то место, какое занимал Аксаков в славянофильской школе. Эти же самые толки всего убедительнее доказывают, что после него это место останется незанятым, что у него не будет преемника. Аксаков останется последним славянофилом.

В самом деле, что такое славянофильство? Было бы ошибкой думать, что это только учение, только известный образ мыслей. Многие и прежде разделяли и разделяют теперь славянофильский образ мыслей, не делаясь славянофилами. И сами славянофилы всегда думали о таких сторонних единомышленниках: это наши, но это не мы. Притом славянофильское учение родилось гораздо раньше славянофильства. Славянофилы стали известны в нашем обществе не раньше тридцатых годов текущего столетия, а их идеи, по крайней мере наиболее определенные, наиболее уловимые из них, были в ходу и настойчиво высказывались уже в прошедшем столетии.

К. П. Победоносцев

АКСАКОВЫ

27 января 1886 года † Иван Сергеевич Аксаков.

Увы! Взят от нас еще один в своем роде последний, незаменимый деятель и боец. Многие явятся идти по следам его и продолжать его дело, но войдут ли они в силу, и когда войдут, и успеют ли приобресть себе подвигом целой жизни имя, подобное его имени? Подобных ему не осталось, потому что он стоял и действовал, так сказать, на костях целого поколения, от коего он, и один он, принял всю годами накопленную силу.

Сергей Аксаков, Константин Аксаков, Киреевский, Хомяков, Чижов, Юрий Самарин – для него все это были живые люди, посреди коих он вырос и воспитался, от коих принял завет живого слова и жизни, верной слову и завету.

Их называли славянофилами и соединяли имя их с понятием о школе и учении особого рода и с политическою бранью, которая доныне продолжается, истощая силы борцов в пререканиях казуистики, свойственной всякому учению школы. Но кто хочет понять, чего стоили и что значили эти люди, тому надобно отрешиться от узкого понятия о школе, стать повыше, на широту, и взглянуть поглубже.

Это были честные и чистые русские люди, родные сыны земли своей, богатые русским умом, чуткие чутьем русского сердца, любящего народ свой и землю и алчущего и жаждущего правды и прямого дела для земли своей. Они были высоко образованы, но близкое знакомство с наукой и культурой Запада не отрешило их от родимой почвы, из которой почерпает духовную силу земли всякий истинный подвижник земли Русской. Перегорев в горниле западной культуры, они остались плотью от плоти, костью от кости русского своего Отечества и правду, которую так пламенно желали осуществить в нем, искали не в отвлеченных теориях и принципах, но в соответствии вечных начал правды

Божией с основными условиями природы русского человека, отразившимися в историческом его быте.

Они начали с того же, с чего начинает каждый искренний искатель истины, – с протеста против ложного отношения к русской жизни и ее потребностям, господствовавшего в сознании так называемого образованного общества, против презрительного предрассудка, самодовольного невежества и равнодушия ко всему, что касалось до самых живых интересов России. В 30-х гг. – в эпоху появления бессмертной комедии Грибоедова – довольно уже накопилось в умах серьезных и в сердцах у простых людей полусознательного негодования против уродливых отражений внешней западной культуры – в жизни и обычаях, во взглядах и мнениях русского общества, в официальном строе управления, в направлении законодательства. Свежа была еще память о том цинизме, с коим относились юные реформаторы России к живому ее организму, к ее истории и к быту народному, в начале царствования Александра, о презрительном отношении высшего петербургского круга к родной Церкви, о рабском поклонении мнимому величию римско-католического культа, мнимому достоинству форм быта, выросших из чуждой нам истории; а недавние события 1825 г. показали, до какого самообольщения могут дойти самые передовые умы в русских людях, горячо преданных благу России, под влиянием ложной веры в ложное начало искусственной и чуждой нам цивилизации. С другой стороны, внимательный наблюдатель современных событий мог видеть, как само правительство, в царствование бесспорно русского по душе Николая I, грозное и в полном сознании своей силы, бессознательно поступалось русскими интересами во внешней и внутренней политике, оттого что не знало своего прошедшего (вспомним, как в правление Паскевича население Холмской Руси безразлично смешиваемо было с польским населением, бессознательно предоставлялось ополячиванию и окатоличиванию).

И вот великая заслуга московского Аксаковского кружка истинно русских людей: от них в первый раз явственно и разумно услышало наше сбитое с толку общество проповедь мудрости в великом слове:

«Познай самого себя, углубись в прошедшие судьбы страны своей и своего народа, и узнаешь свой дух в его духе и свою силу почерпнешь из него». Слово это было необходимо ввиду надвигавшейся с Запада тучи космополитизма и либерализма: представителем его являлся в той же Москве другой кружок западников, кружок, из коего вышел и от коего отделился впоследствии Герцен. То было критическое время, когда прививались передовым умам России навеянные с Запада идеи, разъедавшие органическое чувство любви к родному краю, чувство патриотизма, – во имя отвлеченных либеральных начал. То было время, когда Арнольд Руге в Германии проповедовал, что следует полагать основною целью совсем не отечество, как-де говорили в 1813 и 1815 гг., а свободу и что истинное отечество для ищущих свободы людей есть партия. В отпор этому фальшивому и тлетворному направлению Аксаковский кружок воздвигал свою крепость здорового русского патриотического чувства и разумного познания земли Русской – крепость, к которой стали примыкать все мыслящие люди, сохранявшие в себе здравый инстинкт русской природы.

Нечего останавливаться на увлечениях этой веры и этого учения, увлечениях, свойственных всякой вере и всякому учению. То были люди, искавшие в прошедшем своей родины идеала для настоящего устройства и для будущих судеб ее. Немудрено, что, исследуя и разъясняя отдельные черты этого идеала, они нередко обманывались, увлекались в своих обобщениях, принимали мнимое за действительное, смешивали существенное с несущественным; но в существе своем высоконравственный их идеал есть и будет истинным народным идеалом земли Русской.

К этой же основной мысли присоединялся другой протест – против формального, канцелярского, высокомерного отношения официального мира к живым потребностям и к духовным расположениям народа. Официальный мир чиновничества заражен был и проникнут канцелярскою привычкою делать и решать все посредством мертвой бумаги, отписки и очистки, и этот обычай, простираясь на все сферы управления

и суда, скрывал под собою массу несправедливостей, злоупотреблений и насилий над народной жизнью и бытом. С другой стороны, в верхних кругах управления господствовало, при полном неведении страны и ее потребностей, стремление установить легким путем регламентации, носившие на себе следы того же канцеляризма, порядки и правила всевозможных отправлений народной и общественной жизни; причем принимались во внимание готовые формулы, взятые из чужеземных обычаев и законов: такие приемы носили громкое название цивилизации. Против цивилизации такого рода ратовал всеми силами Аксаковский кружок и в живой беседе, и в литературе: борьба эта продолжается и доныне. Поверхностные умы объясняли и объясняют ее национальным предрассудком и узким чувством ненависти будто бы к немцам; но разумные патриоты, принимающие к сердцу истинное благо Отечества, понимают и чувствуют, что кружок ратовал за правду и заслуга его в этом отношении несомненная.

Наконец, еще великое значение и великая заслуга этих людей состоит в том, что они первые сознательно выяснили перед всеми нераздельную связь русской народности с Православною Церковью. В обществе до них это понятие было смутно и шатко. Они почуяли сердцем и дознали живым опытом в истории Руси и в быте народном, что в народе (которому интеллигенция склонна присваивать значение лишь грубой невежественной массы, подлежащей оживлению свыше) – в народе хранится запас духовной силы и глубокой веры, из коего сами учителя и просветители народа должны почерпать свою силу и одушевление; что у этого темного народа связь с Церковью живая и действенная и что на этой связи стоит и будет стоять вся наша история. Учение о Церкви и о вере давно и вполне было установлено отцами и учителями Церкви; но для общества представлялось оно схематизмом догм и правил, предметом изучения более, нежели живого ощущения. Передовые люди Аксаковского кружка, люди глубоко верующие, со всей горячностью любви преданные родной Церкви и вместе с тем высокопросвещенные наукой, они первые помогли обществу осмыслить и несравненное достоинство

Православной Церкви, и жизненное значение ее для народа, и самую любовь к ней, которую вынес народ изо всей своей истории.

Вот в коротких словах, почему имена этих людей так любезны в России и так ей дороги: им место знаменитое в истории истинного русского просвещения. Притом неоцененное достоинство их и великая нравственная сила состоит в том, что они были люди цельные, не раздвоенные – качество, коим не отличались при всей честности намерений своих люди, принадлежащие к кружку западников и тоже искавшие по-своему истины, к сожалению, «на непроходных, а не на пути». Люди Аксаковского кружка сильны были тем, что у них слово не расходилось с делом, и жизнь их согласовалась с теми началами, в которые они веровали. Они жили просто – все стояли вне официального мира и официальных почестей и не заискивали официальной поддержки, желая сохранить духовную независимость в обществе, к которому принадлежали; они оберегали тщательно скромную обстановку своего быта и простоту своих потребностей; свободно обращаясь в кругу образованного общества, ценившего в них ум, образование, чистоту и возвышенность мысли, они столь же свободно и просто относились к людям самого простого звания и быта. Храня неизменно веру в истинные начала русской жизни и русской истории, они не поступались никому ничем, в чем полагали правду русской жизни и русской истории. Люди эти были в известном смысле подвижниками великой идеи, и это в соединении с несомнительною чистотою их намерений и образа жизни придавало им великую нравственную силу.

И все-то они миновали, все скончались, «не приявшее обетования», ввиду обетованной земли, которую издали видели и проповедовали. Один оставался, один преемник силы, наследник предания, хранитель завета предков, Иван Сергеевич Аксаков. И его-то, последнего, мы потеряли и оплакали.

Вскормленный такой семьей, приняв из такого круга первые юношеские впечатления, Иван Сергеевич попал прямо отсюда в Петербург, в стены училища правоведения, в рамки школьных порядков, на торную

дорогу служебной карьеры – и все время, пока он был тут, чувствовал себя неловко, точно на чужбине. Но и здесь, посреди товарищей, явился он горячим поборником самостоятельности – в характере, в деятельности, в науке, в литературе, которая с детства манила его к себе вкусом, приобретенным из семейных преданий.

Тотчас после выпуска он переехал в Москву и уже не возвращался никогда на житье и на деятельность в северную столицу. Москва осталась для него на всю жизнь домом и центром его деятельности служебной, потом литературной, общественной и политической. Мысль его зрела и направление утверждалось посреди великих событий, коих он был живым свидетелем и участником. Мало-помалу схоронил он всех старших и остался один из своих, в Москве.

Пусть перечисляют другие все многообразные занятия и все литературные труды его. Всего драгоценнее была та нравственная сила, которая соединилась с его именем и действовала и на ближних, и на дальних во всех концах России и даже за ее пределами. Эта неисчислимая и не всегда сознаваемая сила тем и драгоценна, что помогает множеству людей малосильных держаться на ногах, возбуждая их к одной мысли и к одному стремлению. Такую силу слабо сознают и чувствуют, пока она действует, но когда она исчезла, тогда становится явственно для каждого, что она значила. Для многих лиц официального мира Иван Аксаков представлялся лишь отвлеченною величиною в качестве издателя «Руси», иные с ужасом говорили о нем как о народном трибуне, опасном для государства, или с любопытством заглядывали на него как на московскую диковину. Но для Москвы и для великого множества простых русских людей, не знающих, куда деваться и на чем остановиться посреди хаоса современных явлений, течений и веяний общественной и политической жизни, Иван Аксаков был живое лицо, на коем отдыхало взволнованное чувство, успокаивалась смятенная мысль, ощущалась нравственная опора, оживлялась надежда на лучшее, отражалось сияние русской правды во тьме вавилонского разноязычия. Всякий чувствовал, подходя к нему, что в нем нет лести и своекорыстия, что он ни тепл, ни

холоден, а горит огнем любви и негодования – для истинных интересов Русской земли и всего языка славянского. Русский, галичанин, и серб, и болгарин несли к нему свои печали о бедах и нуждах своего края, и простые русские люди шли исповедовать ему заботу о положении дел на Руси и ревность свою о праве. Теперь идти пока не к кому, и многие чувствуют себя осиротевшими.

Добрые, крепкие сеятели сошли с поля; семя, ими посеянное, даст вовремя новые всходы. Явятся, без сомнения, новые подвижники правды, для будущих поколений. Но в настоящем поколении грустное чувство объемлет душу москвича, когда он въезжает в родной свой город, в древний Сион свой, и между священными памятниками истории видит повсюду обширное кладбище – всюду следы людей, богатевших духовною силой, и так мало следов живой силы, вновь расцветающей. Приходится все вспоминать дорогие имена с молитвою. «Мать наша Сион, – скажет человек, – вот такой-то и такой-то родился в нем. Боже, помяни их во царствии Твоем».

Н. П. Гиляров-Платонов

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ № 28 «СОВРЕМЕННЫХ ИЗВЕСТИЙ»

(Москва, 28 января 1886 г.)

Потеря невознаградимая! И. С. Аксаков был не только литератор, публицист, общественный деятель: он был знамя, он был общественная сила. В этом было его главное значение, и поэтому-то особенно тяжела его потеря, и именно теперь, когда положен на весы вопрос: достойно ли Россия встретит надвигающиеся события, а они касаются тех глубочайших ее задач, того коренного ее призвания, которым и посвящена была вся жизнь покойного.

Голос покойного издателя «Руси» не был отголоском правящих сфер даже отдаленнейшим образом. Официальной опоры, материальной и нравственной, он не только не искал, не принимал, напротив, всегда тщательно оберегался, не из оппозиции, которой в нем, искреннейше верноподданном, никогда не было, но чтобы сохранить независимость, оставить за собою свободу говорить правду, не стесняемую частными отношениями. При свете начал, завещанных ему первыми учителями славянофильской школы, он подвергал вопросы общественные и политические оценке с точки зрения народной, а не казенной, московской, а не петербургской.

И это дало ему свою силу. Честен, как Аксаков – это почти была пословица. Он не льстил никому и не подлаживался ни вверху, ни внизу, ни сбоков. Он не был любимцем публики и даже сам не высоко чтил «популярность», которая большею частью создается толпою легкомысленною и дается мыслителям и деятелям поверхностным. Но его слово для многих звучало укором совести, для других служило нравственною уздою.

Сквозь преследование официальное, которому подвергалась его публицистическая деятельность, по удивительному недоразумению, объясняемому, впрочем, свойством Петербурга; сквозь глумление литературное, не переставшее издеваться над тем, чего отчасти не понимало, а отчасти намеренно искажало, – автор «Бродяги», издатель «Московского сборника», «Паруса», «Дня», Москвы», «Москвича» – пронес непоколебимыми свои убеждения, пока памятный 1876 год, застав его председателем Славянского комитета, не преобразил его из вещателя в деятеля. Не он вызвал народное движение, но народное движение нашло в нем чуткое орудие, послушного и разумного исполнителя своих чаяний. Мы читали тогдашние многочисленные письма, летевшие в Славянский комитет иногда из-за Урала и из-за Енисея; сам И. С. еще недавно напоминал в «Руси», как приходившие откуда-нибудь из-за Волги падали пред ним на колена и молили, чтобы он дал им «сподобиться пострадать и умереть за братьев». Москва 1612 года освобождена всею Землею, а не Мининым, но Минин оказался; народное движение к освобождению балканских христиан нашло своего Минина и в 1876 году.

За то и поспешили убрать его. По меткому выражению самих Аксаковых, Земля выступает только в торжественных случаях, затем выходит в отставку. С подписанием Берлинского трактата, закрыли Славянский комитет и бывшего председателя сослали в деревню. Для торжествовавших победу над нами заграничных «друзей» Аксаков был bête noire, и Славянский комитет представлялся революционным гнездилищем, готовым и способным низвергнуть государства. По жалкому заблуждению, воображают там, что у нас есть «партия», славянофильская или панславистская, как они ее называют, и лучшим пояснением глубокого недоразумения, кроющегося в этом мнении, может служить ответ самого покойного И. С. одному иностранному путешественнику. «Сколько вы считаете в своей партии?» – «Никого, – отвечал мнимый глава, – или, если хотите, всю Россию.

И действительно, для русских людей Аксаков остался знаменем, по которому безошибочно можно было проверять, «коего духа» суть мнения, меры, направления; если не для каждого определенного случая можно было узнавать, где русское (человек идеалов, он не признавал себя созданным для подобных регламентов), то с точностью можно было отличать нерусское.

Он умер. Болезнь поразила его еще прошлым годом, но он приехал выздоровевшим и посвежевшим. Он бы должен был жить. К числу причин, сведших его в могилу, мы несомненно уверены, относилось и то глубочайшее страдание, которое испытывал он при виде направления, принимаемого политикою в Балканском вопросе. Говорят, была болезнь сердца, но, однако, врачебные знаменитости даже за несколько часов до кончины обещали ему еще много лет при «спокойной жизни». Но когда к физической болезни сердца присоединяются еще нравственные удары, бьющие в то самое, чем жил и для чего жил человек; – сосуд не устоит, и нравственное страдание прекратит физическую жизнь.

IV. ОТКЛИКИ НА КОНЧИНУ И. С. АКСАКОВА В РОССИЙСКОЙ, СЛАВЯНСКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ПРЕССЕ

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ № 29 «С.-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

(С.-Петербург, 29 января 1886 г.)

Когда три года назад телеграф разнес неожиданную весть о кончине «белого генерала»[1], «одна берлинская газета («Berl. Tagelblatt»), слывущая за выразительницу неофициальных, так сказать, чувств и помыслов большинства германской нации, откровенно и чистосердечно заявила, что при всем уважении к памяти Скобелева, она может, с политической и немецко-национальной точки зрения, только радоваться, что наконец сошел со сцены и прекратил свою «агитаторскую деятельность один из самых энергичных, храбрых и опасных «немцеедов», каких когда-либо выдвигал из своей среды русский народ, питающий будто бы непримиримую ненависть ко всему немецкому. Вероятно, в известной части австро-мадьярской печати и венско-пештского общества кончина И. С. Аксакова вызовет подобный же отклик, и мы вряд ли ошибемся, сделав предположение, что в глубине души некоторых доброавстрийских и добромадьярских патриотов тяжелая и незаменимая потеря, понесенная Россией и славянством, не возбудит особенно скорбного чувства. Можно ожидать даже некоторого злорадного удовольствия по

поводу того, что «традиционный, непримиримый враг» никогда более не появится на столь страшном для «второй западно-славянской империи» восточнославянском поле брани. Не будет более речи об интригах «des berüchtigten Herrn Aksakoff»[2], не будет опасений, что его несколько увлекающееся иногда, но всегда искреннее и горячее слово раздастся из сердца России с предостережением славянству не увлекаться кажущимися благами, предлагаемыми его же вековым врагом.

За время публицистической и политической в обширном смысле слова деятельности И. С. Аксакова многое изменилось, многое приняло совсем другой оборот, чем тот, который был намечен на его знамени, и грустная действительность во многом не оправдала ожиданий, стремлений и идеалов, не оправдала даже целесообразности самой мечты об осуществлении в жизни оптимистических и идеалистических взглядов последнего из могикан славянофильства. Но тем не менее слово Аксакова до последней минуты имело громадный вес во всем славянском и даже во всем западном мире и не оставалось без влияния и в лагере отшатнувшихся от него прежних друзей и единомышленников. Даже клерикально-феодальная старочешская партия, увлекшаяся «государственною идеею чешского королевства под сенью доброавстрийского и ergo[3] антирусского «римско-католического славянского знамени», не переставала ценить в Аксакове бескорыстного, убежденного, твердого и решительного публициста-политика; даже сам д-р Ладислав Ригер[4], «краснеющий» теперь от одной мысли, что двадцать лет назад он увлекался вместе с Палацким[5] «московскою этнографией», даже мечтатель – епископ дьяковарский Штроссмайер[6] и его полуиезуитская, совсем антирусско-славянская, великохорватская католическая партия, стремящаяся вернуть в ватиканское лоно весь схизматический славянский Восток от Дуная до Эгейского моря и от Триеста до Царьграда, – даже и эти люди, диаметрально разошедшиеся в своих идеалах и убеждениях с «московским шовинистом», не переставали питать к нему глубокое уважение, не переставали прислушиваться к его соображениям и советам.

Гораздо долее и искреннее сохранится, можно думать, престиж и значение русского публициста в среде молодого славянского поколения и так называемых молодых партий, стремящихся к действительному осуществлению национальной своей независимости и сохранению самобытных достояний народного своего развития. И в среде младочехов, борющихся под главенством д-ра Грегра за восстановление и независимость свободной славянской, а не доброавстро-католической Чехии, и в среде настоящих хорватских патриотов, под предводительством Старчевичей[7], стремящихся свергнуть с себя мадьярское иго, и во всей массе сербского и болгарского народа, не забитой еще и не одураченной окончательно всякими Гарашаниными и Каравеловыми[8], имя Аксакова продолжает быть знаменем, одинаково дорогим как для безусловных его поклонников и приверженцев, так и для тех, которые, при всем к нему уважении и признании его высокого значения, не находили возможным в целости разделять его взгляды и идеалы. Смерть Аксакова – потеря не для одной России; свободная славянская печать, начиная от чешской газеты «Narodni Listy» и хорватской «Horvatska» (бывшей «Sloboda»), не преминет, вероятно, разделить русское горе.

Русское общество находится под впечатлением новой тягостной утраты, весть о которой неожиданно облетала вчера Москву и Петербург. Никто не был готов к этой прискорбной новости: хотя о расстроенном здоровье И. С. Аксакова давно уже ходили слухи, но прошлогодняя поездка его в Крым, продолжительный отдых и затем возобновившаяся горячая, исполненная свежей энергии журнальная работа его позволяли думать, что он возвратил себе свои, далеко не истощенные силы. И вдруг разрыв сердца внезапно прекратил эту кипучую и бодрую жизнь, в которой, среди настоящих прискорбных замешательств в славянском мире, казалось, чувствовалась особенная надобность... Утрата тем более тяжкая, что Иван Сергеевич не оставляет по себе преемника. У нас существует славянофильский кружок, и есть многочисленная семья истинно русских людей, мыслящих и чувствующих по-русски, но нет того горячего, талантливого пера, которое заставляло понимать силу таких

чувств и мыслей, нет того центрального русского сердца, которое умело биться вслух, сливаясь каждым биением с пульсом народной жизни.

В нашей литературе и в нашем общественном мнении образ Ивана Сергеевича является преимущественно в окраске славянофильства, а на Западе – даже панславизма. Последнее уже совсем неверно, потому что панславизм явился и умер вместе с Погодиным, а роль Аксакова в славянофильстве началась именно с того, что панславизму, то есть служению славян России, он противопоставил служение России славянам. Но не в славянофильстве, во всяком случай, главное значение Аксакова. Это была лишь одна сторона его духа и мысли, которую сам он иногда напрасно выдвигал вперед, но которая никогда не сделала бы имя его столь дорогим и любимым в России, если бы над нею не преобладало его громадное значение русского человека и журналиста. Именно в этом последнем смысле тяжка и незаменима утрата, принесенная его смертью. Аксаков не только знал и любил Россию – ее многие знают и любят, – но он был горд Россиею, он носил в своей крови и в мозгу сознание ее величия и силы, и когда громко в его пламенной и образной речи звучало это сознание, русские люди чувствовали себя бодрее, лучше, способнее для большого национального дела. Среди наших отечественных «европейцев», он, со своим русским взглядом и чувством, был самым истинным европейцем в том смысле, что обладал самым дорогим достоянием истинной культуры – просвещенным чувством народной гордости.

В журналистике и в общественной мысли Аксаков был не только представителем, но почти создателем совершенно самостоятельного течения, главным содержанием которого была борьба с унизительными и лживыми формами петербургского европейничания. Судьбы нашей цивилизации сложились так печально, что эта задача до сих пор еще не исчерпана, и смерть, прекратившая дни издателя «Руси», образует в нашей текущей литературе громадный пробел. Пожелаем, чтобы печать наша разделила духовное наследство истинно русского писателя и продолжала бы, по мере сил, его благородное служение национальному чувству. Знамя, которое держал в своих руках Аксаков, не его личное

знамя; ему обязательно должна присягнуть вся русская печать – русская не по языку только, но и по духу.

Русская печать понесла тяжкую сердечную утрату, тем более ощутительную утрату, что смерть И. С. Аксакова грозит, так сказать, оставить одну из важнейших наших политических идей без достойного защитника. Не будет несправедливым сказать, что в последние годы славянофильство все более и более удалялось в журналистику, точнее – в область журнальной полемики, оставляя другие, практические области жизни, по причинам отчасти не совсем от него зависевшим.

Пока был жив И. С. Аксаков, славянофильская доктрина бодро жила и даже, можно признать, развивалась в области журнальной полемики; пока он был жив, с его мнением приходилось считаться, приходилось даже бороться, потому что, хотя часто оно и не отвечало действительному и точному пониманию момента, но всегда было искренно, живо, сердечно и увлекательно... За каждою строкою стоял и виделся мысленному взору честный человек; когда он ошибался, он и ошибался как честный человек, и всякие низменные побуждения были всегда чужды его вдохновенному слову к обществу, которое он критиковал не без едкости, и к русскому народу, который он любил такою пламенною любовью, какою могли любить этот народ только свидетели и печальники его житья в крепостное время.

Неоднократно на этих самых столбцах и тою же рукою, которая пишет эти надгробные строки, противополагались сердечным заблуждениям покойного более холодные, а потому и более практические, может быть, взгляды на политические задачи и интересы России. Нас не заподозрят поэтому в преувеличении, если мы повторим, что потеря И. С. Аксакова – тяжкая общерусская потеря, объем и значение которой тогда только будут уяснены до наглядности, когда станет очевидно, какое большое пустое место оставил после себя в русской печати последний могикан славянофильства...

СТАТЬЯ № 29 «МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

Скоропостижная кончина Ивана Сергеевича Аксакова – вот событие, которое отзовется далеко. Его помянут повсюду. О характере его политической деятельности могут быть разные суждения, но о нем как о человеке разногласия быть не может между всеми его знавшими. Пишущий эти строки издавна знал его и помнит с тех пор, как он, еще мальчиком, сидел за книжкой, готовясь к училищу правоведения. Тогда над семейством Аксаковых еще не носился дух исключительного кружка, а сам глава этого почтенного семейства, Сергей Тимофеевич, до конца сохранял ясность и свободу своего глубоко русского духа.

Впоследствии, в долговременной политической деятельности, мы шли с Иваном Сергеевичем близко друг от друга, но, к сожалению, редко приходилось нам действовать согласно и союзно. Только в разгар событий, оскорбительных для русского чувства, розни между нами не было. Ее не было, когда Европа судила нас в Берлине; ее не было в те мрачные дни, которыми заключилось минувшее царствование...

Теперь, пред раскрывшеюся могилой, не время для суждений и оценок. Лучше помянем и порадуемся, что покойный, отходя, взял с собою неотъемлемое сокровище веры Христовой, не искаженной суемудрием, горячей, искренней, младенчески простой. (Далее следуют сведения о болезни И. С.-ча.)

ОТВЕТ «НОВОСТЯМ»

I-й из № 3581 «Нового времени»

В «Новостях» не прекращаются жалкие попытки представить в извращенном виде деятельность покойного Аксакова, чтобы умалить ее значение и поднять свое. Уморительная претензия!

Сегодня, например, «Новости» напечатали глумление – неизвестно уже над кем – по поводу того, что в Тихвине нашлись своеобразные поклонники Аксакова, которые смешали его идеи с преобразовательными идеями Петра I...

Сегодня же мы получили вышедший в Москве предпоследний номер «Руси», посвященный кончине Аксакова. Между прочим, здесь воспроизведены все телеграммы, присланные из разных концов России и славянского мира с выражением соболезнований по поводу этой безвременной кончины. Эти телеграммы дают неложный и вполне категорический ответ на дрянные писания «Новостей».

Можно сказать без преувеличения, что вся образованная Россия и весь православно-славянский мир, как один человек, отозвались на горестное событие. Мы внимательно пересмотрели эти телеграммы и можем свидетельствовать, что эти телеграммы, отправленные из разных мест и, конечно, без всякого взаимного соглашения отправителей – под живым впечатлением известия о кончине Аксакова, – выражают одну и ту же мысль, одно и то же убеждение, что смерть Аксакова – «общерусская и общеславянская скорбь», а следовательно, такова мысль, таково убеждение всей России, за исключением гг. Нотовича, Модестова, Михневича и прочей компании «Новостей»[1].

Вот, так сказать, внешняя классификация этих телеграмм. Общее число их свыше 160. В том числе до 130 телеграмм от русских и до 30 от славян Балканского полуострова и Австро-Венгрии. Во главе русских телеграмм, как известно уже, стоит телеграмма Государя Императора и некоторых членов Царской семьи. Затем идут: две телеграммы от высших духовных особ, четыре телеграммы от военных и гражданских сановников (от гр. Игнатьева, гр. Милютина, гг. Победоносцева и Делянова); шесть телеграмм от ученых учреждений (2-го отделения Академии наук, Русского географического общества, университетов Св. Владимира, Харьковского, Новороссийского и Ярославского Демидовского лицея). Сверх того, очень много телеграмм от учителей гимназий, кадетских корпусов и других учебных заведений.

Довольно многочисленный разряд телеграмм – от местных административных и общественных учреждений. Мы насчитали их свыше двадцати пяти, в том числе: от черниговских губернских чинов общественных и сословных учреждений, как то: дворянства, городского общества, земского собрания, местных воинских частей и т. д. То же из Симферополя. Затем: от вологодского губернского земского собрания; от тверской и курской губернских земских управ; особо от дворянств: самарского, смоленского и арзамасского; от дворянства и всех сословий Астраханской губернии. Особо от городских дум: Казанской, Харьковской, Псковской, Полтавской, Самарской, Болградской, Богородской, Ирбитской[2] и т. д.

Печать петербургская и провинциальная отозвалась в количестве 28 изданий, не считая московской печати, которая, конечно, не имела надобности прибегать к телеграммам. Между прочим, была корпоративная телеграмма от латышской печати.

От русской учащейся молодежи телеграммы получены от правоведов, от студентов Петербургского университета, Петербургской Духовной академии, Военно-Медицинской академии, Горного института, Харьковского университета и Киевского филологического факультета.

Затем много телеграмм от благотворительных обществ и разных общественных кружков, а также от отдельных почитателей покойного. В числе последних много имен, известных всей России и пользующихся заслуженным уважением, например: Стояновский, Танеев, Галаган, Чичерин, Сабуров, В. Безобразов, М. Раевский, Бутлеров, князь Шаховской, Дандевиль и мног. др.

Особого внимания заслуживают телеграммы из славянских земель и от славян. Эти телеграммы дают самое несомненное свидетельство о лживости той басни, которую пустили «Новости» при первом известии о смерти Аксакова, а именно будто даже «среди братушек» обаяние Аксакова уступило место влиянию г. Нотовича и прочих писателей из «Новостей»...

Из Софии прислано шесть телеграмм, в том числе: митрополита Климента, от имени Софийской митрополии со всем духовенством;

от имени русских воспитанников болгар (за подписью 5 лиц, в том числе Каравелова); две телеграммы от Болгарского книжного дружества за подписью председателя Стоянова; из телеграмм одна свидетельствует, что «прискорбное известие о преждевременной кончине именитого и незабвенного И. С. Аксакова, многоуважаемого почетного члена Болгарского книжного дружества, великого деятеля славянства и благодетеля болгарского народа, отозвалось потрясающим ударом в сердцах всех его почитателей в Болгарии»; другая же телеграмма сообщает, что Книжное дружество в полном собрании, после панихиды, в память «о великой деятельности И. С. на благо славянства и болгарского народа», учредило премию имени покойного в 2 000 франков, пожертвованных одним из его воспитанников, на сочинение «Истории воспитания болгар в России», тесно связанной с именем Ивана Сергеевича.

Две телеграммы из Софии за многочисленными подписями, а именно: одна за 34 подписями, во главе которых стоит Д. Цанков, и другая за 38 подписями, во главе которых митрополит Климент, полковник Кесяков и Каравелов. В последней телеграмме говорится между прочим: «…мы потеряли достойного и незаменимого борца нашей свободы, любящее сердце которого было так отзывчиво ко всякому горю болгар. Незабвенный Иван Сергеевич был не только провозвестником нашего народного движения, но и со свойственной ему теплотой души подготовлял деятелей этого возрождения. Наша учащаяся молодежь всегда находила у почившего искреннюю поддержку. Дорогой всем нам И. С. будет вечно жить между нами своим теплым чувством и добрым делом. Вечная память великому деятелю нашего возрождения и неутомимому борцу нашей свободы».

Из Филиппополя[3] прислали три телеграммы: митрополит Герасим от имени духовенства, городской голова от имени городского населения и г-жа Радокиркович – от женской гимназии. Из городов Елены и Рущука[4] – городских комитетов от всего населения. Из Габрова – от директора гимназии. Из Шумлы (на имя московского городского головы) за подписью 22 лиц с г. Икономовым во главе. Эти «граждане горо-

да Шумлы», оплакивая смерть почившего «друга», называют Аксакова «великим русским гражданином», «лучшим и благороднейшим представителем славянства», «величайшим доброжелателем и благодетелем болгар, имя и вся деятельность которого теснейше связаны с пробуждением и освобождением Болгарии».

Наконец, получены телеграммы от болгар, проживающих в Киеве, Кишиневе, Николаеве и от Одесского болгарского настоятельства.

От сербов прислали телеграммы: петербургский посланник Груич; из Белграда – Сербское ученое общество за подписью Иовановича, Боскович, М. Васильевича, архимандрита Дучича. В последней телеграмме И. С. Аксаков именуется «великим русским патриотом и несравненным поборником славянских идей». Память о нем, говорится в телеграмме, будет вечно жить в душе славянской, как и самая идея, которой он был лучший представитель. Народ сербский не забудет братской услуги покойного в своей новейшей борьбе за освобождение». Из Бухареста доставлена сербская же телеграмма на имя митрополита Михаила.

Весьма замечательна телеграмма из Вены за подписью: «орватские, словенские и болгарские студенты в университете Венском». Вот эта телеграмма:

«Весть об утрате, понесенной русским народом и всеми славянами со смертью незабвенного Ивана Сергеевича, поразила нас, которым он всегда и в самые роковые часы был неустрашимым защитником. Утрата русского народа – утрата наша. Вместе с сильным братским народом русским мы плачем у одра бессмертного покойника, но надеясь, что русский народ даст нам преемника его идей и стремлений».

От хорватов получена еще телеграмма из Фиуме. Далее телеграммы из Рагузы, из Львова – от редакции «Слова», из Львова же за подписью 20 русских галичан во главе с известными русскими деятелями в Галиции: Иваном Наумовичем, Иваном Добрянским, Б. Дедицким, В. Площанским, О. Марковым и др. Эта телеграмма называет Аксакова «великим русским героем мысли и правды». Между прочим, в телеграмме говорится:

«Погасла звезда, величаво светившая на славянском горизонте; не стало праведного мужа, храбро стоявшего за веру и правду, покровителя бедных и несчастных; перестало биться великое, горячее, благородное русское сердце! Но не пропадет светлый пример великого гражданина-патриота, не перестанет жить между нами его великий дух!»

От русских же галичан получены телеграммы из Варшавы и Вильны.

Из Праги телеграмма называет смерть Аксакова «общеславянским горем».

Всего от болгар получено 16 телеграмм, от сербов и прочих славян 14, не считая, впрочем, телеграммы князя Николая Черногорского и митрополита Михаила.

Вот какой «пустой звук слава Аксакова»! Это «великий деятель славянства, славянского возрождения», «неутомимый борец славянской свободы», «лучший русский гражданин». Умрите вы все вместе... – и дождитесь, чтоб хоть тысячная часть этих сожалений раздалась над вашим гробом...

II-й из № 3584 «Нового времени»

Что такое сталось с публицистами «Новостей» – здоровы ли они? Каждый день почти повторяют они свое мнение, что смерть Аксакова – потеря неважная; между тем каждый день возвращаются к этой теме, трактуют ее на все лады, а в конце концов нравственное удовлетворение и душевное успокоение все-таки не приходят к ним; напротив, их неотвязно преследует, словно тень Банко[5], сознание своего промаха, с головою выдавшего их филистерскую тупость и самомнение…

Так, по поводу торжественного собрания здешнего Славянского благотворительного общества эта газета договорилась до комплимента ораторам собрания за то, что они будто бы скрыли перед своими слушателями настоящего Аксакова, каким он всегда был, каким знает его вся Россия, и, представив его в поддельном виде, тем самым вызвали проявления «сочувствия и уважения» к почившему...

Да что же это, наконец, такое? За кого «Новости» считают русское общество? Кого надеются они убедить, что Аксакову настоящему, тому Аксакову, который сам за себя говорил более 30 лет, русское общество проявило сочувствие и уважение лишь вследствие недостойной мистификации ораторов Славянского общества? Дальше некуда идти на этом пути, если припомнить, что столь поразительная ложь печатается на другой день после обнародования документальных сведений о тех почестях, которые оказаны почившему писателю как со стороны русского общества, так и со стороны славян Балканского полуострова и Австро-Венгрии!

Мы лично не присутствовали при происходившем на днях собрании здешнего Славянского общества и не можем на основании личного наблюдения взять на себя защиту почтенных ораторов собрания от упрека в недостойной мистификации, будто бы проделанной ими ради привлечения к Аксакову симпатии и уважения гг. членов Славянского общества. Но какая нелепость допустить уже одну возможность чего-нибудь подобного: члены Славянского общества нуждаются в обмане, в передержке мнений Аксакова, в тенденциозном подборе отдельных его статей, чтобы эти члены почувствовали симпатии и уважение к памяти того самого Аксакова, который всей России, а не только членам Славянского общества, известен как самый даровитый, самый энергический двигатель славянского дела!

«Новости» же не только выдают за факт эту нелепость, но еще благодарят ораторов Славянского благотворительного общества за то удовольствие, которое они доставили этой газете своею бесцеремонностью в обращении со взглядами И. С. Аксакова. «Мы, – говорит писатель «Новостей», – оставили залу собрания с облегченным сердцем. Нам казалось, что руководители Общества как будто поняли, что и от них требуется сочувственный отзыв на те идеи и стремления, которыми живут образованные люди России... И вот перед нами раздались одна за другой речи, в которых хотя все вертелось около имени И. С. Аксакова, но не выставлялось на вид ничего такою, что в публи-

цистических заявлениях покойного шло вразрез с существующими в наше время общественными сочувствиями».

Ораторам общества остается кланяться и благодарить за столь лестный о них отзыв. По свидетельству писателя из «Новостей», они, стало быть, учинили в память Ивана Сергеевича Аксакова нечто вроде торговой сделки с писателями «Новостей»!

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ № 1769, 1771 И 1773 «ЮЖНОГО КРАЯ»

I.

Харьков, 15 февраля.

Наша так называемая либеральная печать осталась верна самой себе. Неожиданная смерть Аксакова захватила ее врасплох. Она не знала, как ей быть ввиду ярких проявлений всеобщего уважения к личным качествам, литературной и политической деятельности Ивана Сергеевича. Но вот прошло некоторое время со дня кончины знаменитого публициста, и господа «прогрессисты» и «западники» начинают мало-помалу пускаться в откровенности и делать попытки сказать об Аксакове «неприкрашенную правду». Какова должна быть «неприкрашенная правда» тех людей, которых покойный издатель «Дня» и «Руси» заклеймил прозвищем глашатаев пошлости, само собой понятно... Было бы странно, если бы эти люди, всю жизнь издевавшиеся над самобытностью русского народа, над его заветными преданиями, над его идеалами и миросозерцанием, говорили спокойно и беспристрастно о таком противнике, как Аксаков. Было бы странно, если бы люди, систематически забрасывавшие грязью знамя Аксакова, отказались от своей стародавней привычки клеветать и лгать на того, кто столь безжалостно выводил на свежую воду всю ложь и бессодержательность либеральной и радикальной трескотни и в течение стольких лет был живым упреком для «интеллигентных» «бро-

дяг, не помнящих родства». Что ж удивительного, что прогрессисты и западники наконец не выдержали и заговорили тем тоном, каким они говорили... ну, хотя бы, например, по поводу смерти Скобелева!..

Пред нами лежит статья г. Модестова, помещенная в одном из последних номеров «Новостей» и пытающаяся сделать «беспристрастную» оценку деятельности Аксакова. Это формальный обвинительный акт против славянофилов вообще и Аксакова в частности.

Обвинительный акт начинается уверениями, что Аксаков, собственно говоря, не был русским человеком ни «по крови», ни по симпатиям и антипатиям. Прежде всего г. Модестов указывает, и указывает не без злорадства, что Иван Сергеевич «не совсем русского происхождения». Что ж! Чего доброго, г. Модестов скоро будет доказывать, что и Пушкин не может считаться истинно русским поэтом, потому что ведь и его происхождение «не совсем русское». Но оставим в стороне генеалогические разыскания и обратимся к дальнейшему «течению мыслей» нашего автора. «Покойный Аксаков, – говорит г. Модестов, – был больше москвич, чем русский». Развивая свою мысль, г. Модестов объясняет, что «русский дух не есть дух новгородский, московский, тверской, рязанский и пр., а тот дух, который является плодом всей истории народа, обнимает все особенности великого государства и объясняет их в идее общей всем частям национальности». И вот «русского»-то «духа», по мнению г. Модестова, у Аксакова и не было. Аксакова можно назвать русским человеком «в том значении, какое должно прилагаться к личности значительного общественного деятеля» только в таком случае, «если быть русским значит крепко держаться за старину, но за старину лишь московскую, и, упорствуя в своем староверстве, считать какую-нибудь Спиридоновку центром не только русского, но и славянского мира». «Аксаков, видите ли, думал, что русский дух есть именно московский дух, насквозь проникнутый московскими преданиями, отвергающий и предшествующую, и последующую нашу историю». «Знакомство с остальными частями России и с западноевропейской ци-

вилизацией, – снисходительно замечает г. Модестов, – конечно, не было чуждо и Аксакову, как оно не может быть чуждо и ни одному образованному человеку нашего времени, но оно не оплодотворило его души так, как оно действует на умы широкие и сильные».

Весь этот бессодержательный и не всегда грамотный набор фраз доказывает, что г. Модестов очень не любит Аксакова и что народная пословица «Врет как на мертвого» заключает в себе глубокий смысл. Сплетать о мертвых разные небылицы иногда бывает очень удобно, но извращать учение таких людей, как Аксаков, идеи которого всем хорошо известны, далеко не безопасно.

С чего взял г. Модестов, что Аксаков чтил только московские предания и отвергал как «предшествующую, так и последующую нашу историю»? Аксаков стоял за коренные основы русской жизни, вырабатывавшиеся и слагавшиеся веками и потому начинал русскую историю не со времен Белинского и Герцена, даже не со времен Петра Великого, а с тех самых пор, как на историческую арену выступила великая семья славянских народов. Московскому периоду русской истории, как эпохе объединения России, Аксаков, конечно, придавал громадное значение, но в этом отношении он был солидарен со всеми русскими историками, начиная от Карамзина и кончая Соловьевым. «Но Аксаков отрицал Петербург», – в ужасе восклицает г. Модестов. Да вот потому Аксаков и «отрицал Петербург», что он не отрицал всей предшествующей истории. Он «отрицал Петербург» как посягательство на коренные основы русской жизни и как порабощение ее чуждым началам. Неужели г. Модестову надо объяснять как школьнику, что славянофилы критически относились к Петровской реформе не потому, что она была направлена к развитию в России наук и искусств, промышленности и торговли, а потому, что она порвала связь прошлого с настоящим, создала на Руси культ Запада, давший себя знать и в политике, и в литературе, и в общественной жизни? Аксаков учил, что русский человек, усваивая всю широту современных знаний, весь блеск современной цивилизации, должен оставаться русским, а не уподобляться лакеям, которые, побывав

в городе и погуляв по Невскому проспекту, смотрят на деревню уже сверху вниз и от глубины души презирают «необразованное мужичье». А разве наши «западники» не напоминают этих лакеев? Но неужели это значит, что основательное и разностороннее образование «не оплодотворило его души так, как оно действует на умы широкие и сильные»?

И кого только хотят обмануть гг. Модестовы? Пора бы уже оставить их излюбленную систему изображать обскурантами таких людей, как Хомяков, Самарин, братья Аксаковы и т. д. Эта система с большим успехом практиковалась чуть не тридцать лет... Кто же ее не разгадал и кого можно уловить ею в свои сети?

II.

17 февраля.

Продолжаем позавчера начатый нами разбор обвинительного акта против И. С. Аксакова, составленного присяжным сотрудником «Новостей» г. Модестовым.

После «покушения с негодными средствами» удалить Аксакова в обскурантизм, г. Модестов доказывает, что Аксаков не понимал истинного положения дел не только в России, но и в славянском мире. «И тут и там, – вещает г. Модестов, – он смотрел на вещи не так, как они представляются на самом деле здоровому и непредубежденному взгляду, а смотрел на них как человек партии, и партии в добавок очень узкой, мнения которой, за очень малыми исключениями, не разделял, по их резкости, никто ни в России, ни в славянских землях, ни где бы то ни было».

Под «здоровым и непредубежденным взглядом здесь подразумевается взгляд гг. Нотовичей, Модестовых, Григ. Градовского и тому подобных вестовых и тамбур-мажоров всероссийского либерализма и космополитизма. С некоторыми прелестями этого взгляда мы будем иметь случай познакомиться в свое время; спросим только глубокомысленного критика: с чего он взял, будто Аксаков был «человеком партии, и партии узкой, мнения которой не разделялись ни в России, ни

в славянском мире»? Неужели исповедывать, что Православие должно быть краеугольным камнем русской семейной, общественной и государственной жизни, значит быть членом «партии»? Неужели верить в самобытность русского народа и не соглашаться с фонвизинскими Иванушками, твердо убежденными и не без самодовольства проповедующими, что призвание русского народа сводится к тому, чтобы стоять на запятках западноевропейской цивилизации, значит «быть человеком партии, и партии очень узкой? Мы не отрицаем, что среди нашего так называемого образованного общества есть немало людей, по мнению которых русский «интеллигент», желающий «стоять на высоте своего призвания», должен быть «бродягою, не помнящим родства» и не иметь ничего общего ни с верованиями, ни с преданиями своей родины. Нам хорошо известно, что «бродяги, не помнящие родства», водворились и в литературе, и повсюду, и долго руководили, а отчасти и теперь еще руководят нашим «общественным мнением». Но что ж из этого? Все-таки они всегда были не чем иным, как наносным явлением, одним из гнойных нарывов, свидетельствующих о внутреннем недуге, привитом к русскому организму реформами Петра I и его преемников. «Бродяги, не помнящие родства» действительно были всегда людьми партии, и партии притом очень узкой; Аксаков же был истинно русским человеком, слышавшим биение пульса народной жизни. Он высказывал то, что смутно чувствовалось и сознавалось всем народом; вот почему его слово находило такой громкий отклик. Раз как-то один заезжий иностранный турист спросил Аксакова: «Велика ли ваша партия? Сколько вы насчитываете в ней членов?» – «Ни одного», – отвечал Аксаков. Турист был озадачен и понял, в чем дело, только тогда, когда Аксаков прибавил, что у него нет партии, потому что его партию составляет весь русский народ. При этом, конечно, само собою подразумевалось, что «бродяги, не помнящие родства» сами по себе, а народ сам по себе...

В доказательство того, что Аксаков был человеком партии, и притом партии узкой, не понимавшей истинного положения дел в славянском мире, г. Модестов приводит следующее соображение: «Придавая

славянскому вопросу характер вероисповедный, он вооружал против себя и ставил в неловкое положение к России все западное славянство с чехами во главе... В эпоху последней войны с турками в письме к одному из видных чехов он потребовал присоединения их к Православию, гарантии сохранения в потомках Гуса славянского духа и братской связи с русским народом». Глава нашей славянофильской партии, поучает нас г. Модестов, не сообразил, что ни один народ не отказывается добровольно от своей веры и своей истории и что нет и не может быть ничего хуже и неполитичнее, как затрагивать религиозные вопросы в сношениях с другими, хотя бы и родственными народами.

Такова философия г. Модестова. С точки зрения религиозного индифферентизма против этой философии ничего нельзя сказать. В самом деле, если тот или другой россиянин официально считается православным, на самом же деле принадлежит к числу «libres penseurs»[1], то какое ему дело до религии чехов? Но Аксаков не был libres penseurs; он был истолкователем и выразителем мыслей и чувств русского народа, а потому он не мог относиться безразлично к религиозным вопросам, особенно в том случае, о котором упоминает г. Модестов. Как известно, дело происходило следующим образом. Ригер[2] обратился к Аксакову с письмом, в котором говорилось о солидарности чехов и русских, причем высказывалась мысль, что призвание России – послужить славянству своим политическим могуществом, а призвание Чехии – стать во главе умственного движения России и всего славянского мира. Аксаков ответил на эту теорию с своею всегдашнею прямотой и откровенностью. Он не отрицал культурного превосходства чехов в среде семьи славянских народов; он признавал, что чехи могли бы сослужить России и всему славянскому миру великую службу, но в то же самое время он указал на порабощение чехов католицизму, как на пропасть, которая никогда не допустит родственного сближения между русскими и чехами до тех пор, пока чешская интеллигенция не отречется от римской курии, до тех пор, пока чешский народ, в котором, как видно из истории гуситского движения и последующих событий, католицизм не пустил глубоких кор-

ней, – не возвратится к своей стародавней вере. Только при отсутствии религиозной розни чехи могут претендовать на ту роль, которую им предназначает Ригер: таков был окончательный вывод Аксакова. И Аксаков был тысячу раз прав. Он не лавировал и не хитрил в переписке с Ригером; он говорил как честный русский гражданин и писатель, как сын Православной Церкви, гнушающийся всякою ложью и всякими бесчестными компромиссами. Тем не менее в конце концов он поступил, вопреки мнению г. Модестова, в полном смысла слова тактично, ибо уяснил настоящее положение дел, указал на почву, на которой только и возможна славянская взаимность. Правда, по теории наших космополитов, славяне нам близки не в силу того, что они наши единоверцы теперь или прежде, а потому, что они принадлежат к той же расе, к какой принадлежат и русские. Но гг. космополитам не мешало бы вспомнить, что и поляки тоже славянской расы, а между тем... Но лучшим ответом на соображение г. Модестова будет ответ, данный Аксаковым иного лет тому назад всеми теперь позабытой, но в свое время довольно влиятельной, архилиберальной газете «Современное слово», уличавшей аксаковский «День» в «византийстве». «Наше выражение о тяжести для славянских христиан магометанского ига, – писал Аксаков в начале шестидесятых годов, – подало повод редакции «Современного слова» к очень забавному негодованию. «Византийство!» – восклицает она, давая разуметь, что отвращение христиан от магометанства есть признак невежества, остаток грубых времен, наследие Византии, след той тьмы, которую напустила на нас Византия. «Не на этом основании следует сочувствовать славянам, – толкует санкт-петербургский прогрессист, – а на основании расового сходства или единства пород; расы мы одной, вот в чем дело!» Мы дорого бы дали, чтобы видеть, как редактор «Современного слова» обратился бы с такою речью о расе и о византийстве к мужественному населению Сербии, Черногории, Герцеговины, Болгарии, которое только верности вере отцов обязано сохранением своей народности и которое давным-давно купило бы себе спокойствие и благоденствие, если бы признало Коран за истину, как это и сделали боснийские землевладельцы».

Точка зрения Аксакова – точка зрения всего русского народа. Слияние Московского государства с Малороссией, многовековая политическая и нравственная солидарность восточных славян с Россией – все это совершилось и возросло на почве религиозного единения, и Аксаков, как истинно русский человек, понимал это не только своим светлым умом, но и своим чутким, благородным сердцем. И кто же, кроме сбитых с толку российских «интеллигентов», насквозь пропитавшихся антинациональной и антиисторической закваской, решится упрекать его за это?..

III.

19 февраля.

Заканчиваем разбор статьи г. Модестова об Аксакове. Мы уже третий раз возвращаемся к ней, ибо она в таком недосягаемом совершенстве отражает в себе программу политической и литературной партии, которую у нас принято называть либеральной, космополитической и т. д., но которую всего приличнее было бы назвать партией пошлых вожделений, что внимание, оказываемое нами г. Модестову, вполне им заслужено, как типичнейшим представителем «интеллигентной улицы».

Как нам уже известно, г. Модестов уверяет, что Аксаков, по своим симпатиям и антипатиям, не был истинно русским человеком и что он не понимал настоящего положения дел ни в России, ни в славянском мире. Иного вывода от людей той клики, к которой принадлежит г. Модестов, и нельзя ожидать. Аксаков был глубоко и сознательно верующим христианином; этого мало, он видел в Православии краеугольный камень миросозерцания и гражданственности русского народа и всего славянского племени; он считал Церковь не «ведомством государственного исповедания», а силою живою и действенною, влияние которой должно отражаться и на политике, и на литературе, и на частной, и на общественной жизни; он считал русскую историю, предшествующую Петровской реформе, не бессодержательной фантасмагорией диких проявлений варварства и невежества, а эпохою, заслу-

жившей и выработавшей коренные основы русской жизни; он дерзал различать в крутом и насильственном перевороте Петра I не только великие и славные деяния, но и односторонние увлечения Западом, и легкое отношение к народным идеалам, и плохо замаскированное презрение к Родине; он, наконец, постоянно твердил, что бóльшая часть нашего образованного общества – «чужая у себя, чужая на чужбине», что ей необходимо отказаться от мысли, что Россия «материал, из которого каждый может кроить

На всякий образец и что кому угодно:
Парламент с лордами или республик ряд,
Аркадских пастухов иль пахотных солдат».

Что ж удивительного, что наши не помнящие родства западники, эти пустоцветы ложного просвещения, утверждают, будто Аксаков «не понимал настоящего положения дел, ни в России, ни в славянском мире»? «Не понимал» на их жаргоне значит: считал пошлостью и игру в парламентаризм, и боязнь сметь свое суждение иметь, идущее вразрез с заграничными «веяниями» и «течениями». Кроме того, Аксаков усматривал тесную связь между славянской взаимностью и Православием, а это уже ни на что не похоже!.. Разве в нашей «прессе» не твердится на все лады в течение последних 30 лет, что религиозными вопросами могут интересоваться только «чернь непросвещенная» да «отсталые люди»? «Sommes-nous positivtes?»[3] – вопрошает один из героев г. Боборыкина. Как же не провозгласить, что Аксаков не был истинно русским человеком? Как не прокричать, что образование оплодотворило его ум, как оно оплодотворяет истинно широкие умы? Ведь у Аксакова не было ничего общего ни с «Современником», ни с «Отечественными записками», ни с «Вестником Европы», ни с «Новостями»! Но не комично ли все-таки, когда гг. Модестовы соболезнуют, что «образование оплодотворило» ум Аксакова менее, чем следовало бы? Если это можно сказать об Аксакове, в полном смысле слова блестящем и образованном чело-

веке, имя которого займет одно из почетных мест и в истории русской науки, и в истории русской поэзии, то что сказать об его строгих ценителях и судьях, если и заявивших себя, так разве только на поприща составления плохих компиляций и бесталанных фельетонов?

Г-н Модестов полагает, что Аксаков смотрел на Западную Европу с ненавистью и злобой и не понимал значения западноевропейской культуры. «Интеллигентная улица» всегда придерживалась такого взгляда, повторяя урок, который ей из детства натвержен.

Она и не подозревает, что представители «славянофильства» зорко следили за развитием западноевропейской мысли, глубоко интересовались ее судьбами и стояли на высоте современного знания. В этом смысле и Аксаков был «европейцем», чего отнюдь нельзя сказать о наших не помнящих родства космополитах. Но Аксаков относился к Западной Европе не с подобострастным чувством холопа цивилизации, а как человек великого племени и великого народа, предназначенного не к подражательной, а к творческой деятельности, к созиданию самобытной культуры. Следует ли из этого, что вожди славянофильства вообще, Аксаков в частности, не понимали значения западноевропейской цивилизации? Конечно нет. Вспомним хотя бы вот эти из сердца вылившиеся строфы Хомякова, посвященные славному прошлому Запада:

О, как прекрасен был тот Запад величавый!
Как долго целый мир, колена преклонив
И чудно озарен его высокой славой,
Пред ним безмолвствовал, смирен и молчалив!
Там солнце мудрости встречали наши очи,
Кометы бурных сеч бродили в высоте,
И тихо, как луна, царица летней ночи,
Сияла там любовь в невинной красоте!
Там в ярких радугах сливались вдохновенья,
И вера, огнь живой, потоки света лил...
О, никогда земля от первых дней творенья
Не зрела над собой столь пламенных светил!

А какая скорбь звучит в этих стихах:

О, грустно, грустно мне! ложится тьма густая
На дальнем Западе, в стране святых чудес:
Светила прежние бледнеют, догорая,
И звезды лучшие скрываются с небес.

Лучшее представители славянофильства, в том числе и И. С. Аксаков, понимали значение западноевропейской цивилизации лучше своих беспочвенных антагонистов, но им не представлялось человечество «в образе француза», они не считали западноевропейскую цивилизацию последним словом цивилизации... Они, наконец, не скрывали от себя, что «на дальнем Западе ложится тьма густая», и настойчиво указывали «дремлющему Востоку» его великое призвание. Это ли «узкая точка зрения»? Это ли «односторонность» и «партийность» взглядов?

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ

(Журнал «Русская мысль». 27 января 1886 г.)

Смерть Ивана Сергеевича Аксакова составляет тяжелую и незаменимую утрату. В течение всей своей жизни покойный страстно и настойчиво боролся с теми узкобюрократическими началами, которые так долго и много тормозили правильное развитие русского народа. Величайшею заслугой знаменитого публициста мы считаем его энергическую защиту свободы совести и печати. Самому Ивану Сергеевичу пришлось немало потерпеть от неправильной оценки его взглядов на истинные интересы и национальное достоинство России. Сильно и резко нападая на противников, Аксаков никогда не унижался до требования заставить этих противников замолчать. Иван Сергеевич был искренний и честный публицист, он беззаветно любил Россию, земскую

Русь, на старый, допетровский лад. Много было в его воззрениях неясного и, на наш взгляд, неправильного, но такого, как он, противника нельзя было не уважать глубоко. Со смертью Ивана Сергеевича Аксакова смолкает честный, громкий и авторитетный голос, и русская печать лишается одного из достойнейших своих представителей. Эта потеря почувствуется во всем русском обществе.

Вечная память и чистая слава публицисту, вся деятельность, вся жизнь которого были посвящены защите простой и великой мысли, что «духа единственный меч – свободное слово».

О. Ф. Миллер

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ[1]

(Из № 3 «Русской старины»)

<…>

События все более и более усложняются, в двери стучится роковой «исторический день» с его запросом на живые, твердые силы, «гроза близится», как выразился в своей самой последней печатной строке покойный.

А люди уходят, все лучшие люди!

Содрогнется же ли, наконец, наше ветреное племя?

Мы дружно проводили в могилу Аксакова, проводили именно дружно – с забвением, по-видимому, всяких старых счетов, с подавлением всякого духа партии. Но нас начинает уже разбирать раздумье. Не слишком ли много мы выказали и высказали относительно покойного, не пора ли поудержать свой пыл, протрезвиться в своем увлечении? Но те, которые задаются такими вопросами, знают ли они хорошенько Аксакова? Много ли они прочитали его статей и многое ли из них запомнили? Сам покойный заметил как-то раз в своем «Дне», что у нас

следовало бы вторично печатать одни и те же передовые статьи года два спустя после их появления. Такое издание могло бы послужить для нашего общества самою лучшею школою общественной доблести.

А трудно было Аксакову, ему, как и старшим, ранее его умершим сподвижникам, вырабатывать в себе эту доблесть. Порою тяжелого испытания была для них самая заря жизни. Вот как вспоминал о ней Иван Сергеевич в передовой статье «Дня» 1 января 1862 г.: «Одиноко нарождалась мысль, созревала и увядала в одиночестве, без осуществления, без дела, без приложения к жизни. Казалось, в непробудный сон были погружены и народ, и общество, и ничто не могло вызвать Руси из этого томительного застоя! Хоть бы движение, хоть бы звук живого вольного слова!.. Да, помним мы эти печальные годы, когда не знали мы, куда девать ненужный праздный избыток сил, и проклинали молодость, как тягостное бремя!»

Мысль их созревала и увядала в одиночестве, потому что ей, как и всякой другой сильной мысли, нельзя было высказываться открыто и открыто вести борьбу с противною мыслью. Им нельзя было выяснять и отстаивать настоящий смысл тех слов своего исповедания, которые громко раздавались над их головой, но опозоренные и опошленные. Нельзя было нападать на противников, остававшихся, искренно или притворно, под неотразимым впечатлением такой профанации, – нельзя было уже потому, что им было так удобно ссылаться на свою безответность и безоружность. Вот в эту-то пору в вылились из пылкой, наболевшей души И. С. Аксакова стихи, которым можно было появиться в печати только десять лет спустя:

Пусть гибнет все, к чему сурово
Так долго дух готовлен был:
Трудилась мысль, дерзало слово,
В запасе много было сил...
Слабейте, силы! вы не нужны!
Засни ты, дух! давно пора!

Рассейтесь все, кто были дружны,
Во имя правды и добра!

Бесплодны все труды и бденья,
Бесплоден слова дар живой,
Бессилен подвиг обличенья,
Безумен всякий честный бой!
Безумна честная отвага
Правдивой юности – и с ней
Безумны все желанья блага,
Святые бредни юных дней.

Так сокрушись души гордыня,
В борьбе неравной ты падешь:
Сплошного зла стоит твердыня,
Царит бессмысленная ложь!
Она страшней врагов опасных.
Сильна не внешнею бедой,
Но тратой дней и сил прекрасных
В борьбе тупой, пустой, немой!

Ликуй же, ложь! и нас, безумцев,
Уроком горьким испытуй,
Гони со света вольнодумцев,
Казни, цари и торжествуй!
Слабейте ж, силы! вы не нужны!
Засни ты, дух! давно пора!
Рассейтесь все, кто были дружны,
Во имя правды и добра!

(«Русская беседа». 1859 г. Кн. 6.)

Но такая нота отчаяния никогда еще, может быть, не звучавшая у нас так сильно, не могла оставаться постоянно господствующей нотой в поэзии Аксакова.

В нем было слишком много бодрой силы, и он слишком хорошо сознавал, что должна же наконец наступить пора, когда сделается возможною открытая борьба с ложью... Общее и господствующее впечатление его поэзии оставалось закаляющим нравственные силы в горниле терпения и выносливости. Недаром он говорил про себя в 1850 г.:

...понял я, что подвигов живых,
Блестящих жертв, борьбы великодушной
Пора прошла, – и нам в замену их
Борьбы глухой достался подвиг скучный.
Отважных сил не нужно в наши дни!
И юности лукавые порывы
Опасны нам – затем, что все они:
Так хороши, так ярки, так красивы!
Есть путь иной, где вера не легка,
Сгорает в нем порыва скорый пламень;
Есть долгий труд, есть подвиг червяка:
Он точит дуб... Долбит и капля камень.
Невзрачный путь! тебе я верен был!
Лишен ты всей отрады упоенья;
И дерзко я на сердце наложил
Тяжелый гнет упорного терпенья...

(««Русская беседа»« 1856 г.)

Вокруг себя между тем замечал он немало людей, которые только ссылались на трудности борьбы, на невозможность настоящего жизненного дела, людей, только извинявших всем этим свою собственную лень и дряблость. Вот какую отповедь прочитал им Аксаков еще в 1847 г.:

Смотри! толпа людей нахмурившись стоит:
Какой печальный взор! Какой здоровый вид!
Каким страданием томяся неизвестным,

С душой мечтательной и телом полновесным,
Они речь умную, но праздную ведут;
О жизни мудрствуют, но жизнью не живут
И тратят свой досуг лениво и бесплодно,
Всему сочувствовать умея благородно!
Ужели пламя их добра не принесет?
Досада тайная подчас меня берет –
И хочется мне им, взамен досужей скуки,
Дать заступ и соху, топор железный в руки,
И толки прекратив об участи людской,
Работников из них составить полк лихой!

(«Московский сборник».)

Но вот наконец прошла та пора, на которую жаловались и эти люди фразы, тогда как для них она скорее была удобною, и именно с прекращением ее и должна была оказаться вся их негодность. С воцарением Государя Александра Николаевича наступила наконец пора, когда настоящим, притаившимся только силам стало возможным действовать на просторе... Прежде всего стало явным и несомненным, что правительство не желает более слушаться мудрости Екатерининского «Наказа», утверждавшего со слов Монтескье, будто «не следует вдруг и чрез узаконение общее делать великого числа освобожденных». В 1857 г. уже открыто сказалась воля покойного Государя порушить наконец, не внимая никаким застращиваниям и воспользовавшись своею самодержавною властью, с роковым крестьянским вопросом. И вот И. С. Аксакову можно было приветствовать наступающий 1858 г. известными стихами:

День встает, багрян и пышен,
Долгом ночи скрылась тень,
Новой жизни трепет слышен,
Чем-то вещим смотрит день.
С сонных вежд стряхнув дремоту,

Бодрой свежести полна,
Вышла с Богом на работу
Пробужденная страна.
Так торжественно прекрасно
Блещет утро на земле;
На душе светло и ясно
И не помнится о зле, –
Об истекших днях страданья,
О потрате многих сил
В скорбных муках ожиданья,
В безвременности могил…

Пусть почиют мирно гробы
Тщетно ждавших столько лет.
Память им! Но в сердце злобы,
Ни вражды, ни мести нет.
Все простит он без расчета,
Устоявший в дни тревог,
Он, чей дух годину гнета
Пережил и перемог.

Слышишь: новому он лету
Песню радости поет:
Благо всем, ведущим к свету,
Братьям, с братьев снявшим гнет.
Людям мир, благословенье;
Долгих мук исчезнет след.
Дню вчерашнему забвенье,
Дню грядущему привет!

(«Русская беседа». 1858 г. Книга 1.)

Но трезвый, мужественный дух поэта, сумевший в свое время удержаться от отчаяния, не мог окончательно отдать себя и во власть на-

деждам. Он чуял, как трудно идее перейти в дело, какой грубый отпор чистоте принципа дается обыкновенно неохотно поддающеюся ему действительностью... Он понимал, что болезни, что роковые последствия болезней излечиваются не сразу; он видел, зорким своим глазом видел, как упорно держатся общественные недуги и там, куда заглянул он не ради развлечения и отдыха в 1860 г., пробираясь в славянские земли, – на Европейском Западе, и вот в Мюнхене вылились из-под его пера стихи, в которых то, что называется у немцев мировою скорбью (Weltschmerz), звучит, может быть, с такой силою, какой не бывало ни у одного из наших байронистов.

К тишине, к примиренью, к покою
Мне пора бы склониться давно.
Порешить я намерен с тоскою, –
Но могу ли? Удастся ль оно?
Отвращусь ли от грустной юдоли,
Убаюкаю ль скорбные сны? –
Сердцу страшно не чувствовать боли,
Сам своей я боюсь тишины.

Все как будто готовлю, измену
Я великому множеству их –
Обреченных работе и плену,
Бедных, страждущих братьев моих!

А сдается – над всей бесконечной
Жизнью мира проносится стон,
Стон тоски, мировой, вековечной,
Порожденный в пучине времен, –
В те творения дни молодые,
Как, собравшись на жизненный пир,
Человеческим воплем впервые
Огласился ликующий мир...

С той поры и поныне ты с нами
Неразлучно проходишь века,
О, всесильная, ветхая днями,
О, владычица мира, тоска!
(«День». 1862 г. № 16.)

По возвращении из-за границы, дождавшись наконец радостного дня 19 февраля, но встретив его уже не с отцом, не с братом Константином Сергеевичем, не с Киреевскими и не А. С. Хомяковым (они умерли, один за другим, на рубеже обетованной земли), Иван Сергеевич, расставаясь с «Русской беседой», получает наконец право стать редактором собственного органа – еженедельной, составившей у нас своего рода эпоху, газеты «День». Она стала выходить, как известно, в самый год освобождения крестьян – с осенней поры.

В передовых статьях публициста продолжала сказываться поэзия – поэзия в мысли и в оборотах самый возвышенный и самый глубокий лиризм. Вспомним начало первой статьи:

«Мелкий дождь моросит, не переставая; сыро, мокро, скользко... Безотрадно путнику. Но что же внезапно сквозь туманную пелену воздуха поражает и приковывает и радует взор?.. Это озими... это зеленые всходы будущей жатвы...»

«И мы всей душой, всем сердцем – душой, наболевшей от долгого тщетного ожидания, сердцем, не устававшим любить и верить, – с радостным упованием приветствуем молодые, зеленые всходы Русской земли, первые шаги пробуждающейся народной жизни!.. 19 февраля 1861 г. начинается новое летосчисление русской истории...»

«Вне народной почвы нет основы», – продолжал Аксаков, усматривая в освобождении крестьян толчок и к будущему развитию на просторе, развитию во всю его глубь и ширь настоящего народного духа, прикосновение с которым должно послужить живою водой и для нас – для русского образованного общества. В следующем номере «Дня» (21 октября) народ уже прямо представляется Аксакову призывающим всех нас к ответу.

«Если народ наконец подымет усталые от долгой дремоты очи, – говорит Аксаков, – что скажет он? Куда давали вы порученные вам дары нашей родной, богатой земли? Куда расточили ее духовные сокровища? Что сталось с моим обычаем, верою, преданием, моею прожитою жизнью, моим долгим и горьким опытом?.. Где наука, вами взрощенная? Где мое живое, изобразительное, свободное слово?.. Какого хламу нанесли вы на мою почву?.. Нет, вы не мои, вы безобразные снимки с чужих народов, подите к ним, если они вас примут, я не знаю вас, вы мне не нужны, вы чужды мне», – скажет народ, пробуждаясь к сознанию, – и сметет их, как сор, свежая струя воскресшего народного духа!» Аксаков понимал, что слова его озадачат. Он едва ли смягчает впечатление тем, что «еще не наступила пора». И хотя мы почти уверены, заключает он, что голос наш раздается напрасно, но, применяясь к предмету настоящей речи, скажем и мы: «Глас вопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень! Покайтеся!»

Зорко следя за всеми явлениями новой поры, далекий от безусловного ею увлечения, в статье 11 ноября 1861 г. Аксаков замечает:

«Потянуло новым, еще не передышанным воздухом... Но движение свежей воздушной струи ускоряет самое разложение... Нравственная среда нашего общества исполнена заразительных и мертвящих испарений, но против них тут нет другого целения, как преизбыток того же воздуха, усилившего и ускорившего тленье... Настежь же двери и окна – пусть без помех и затворов льется он к нам свободно вольными, свежими, целебными струями!..»

Обращаясь к ближайшим последствиям освобождения крестьян, к изменившемуся положению общественных классов, он останавливается на том, чтó такое теперь его собственное сословие – дворянство? Он находит, что оно, слава Богу, избавилось от своего существенного у нас отличия, своей еще столь недавней печальной «прерогативы», и спрашивает: за чтó же держаться ему теперь? «За отличие по происхождению? Но русское дворянство гордится только одним русским происхождением и всегда признавало и признает, что тщеславиться

породою безнравственно само по себе и несовместно с достоинством человеческим... Нравственное единство и целость Русской земли, столь желанные и столь необходимые для ее преуспеяния, были бы решительно невозможны, если б в начале 2-го тысячелетия ее исторического бытия было создано новое привилегированное сословие или аристократия на западный лад...»

В заключение Иван Сергеевич хотел бы угадать мысли нашего дворянства, хотел бы иметь право от его имени заявить, что оно «считает долгом выразить правительству свое единодушное и решительное желание, чтобы ему было позволено: торжественно, перед лицом всей России, совершить великий акт уничтожения себя как сословия (номер 6 января 1862 г.). Дворянство, по мнению Аксакова, могло бы удовольствоваться теми преимуществами образования, которые до сих пор были ему более доступны, чем всем другим классам общества, и которыми ему предстоит воспользоваться для блага общего. Вот тут-то и открывается ряд знаменитых статей «Дня» об обществе.

17 марта 1862 г. он пишет:

«Общество создается не верхним и не средним сословием, не мужиками и не дворянами, а создают его только образованные люди или, вернее, люди всех сословий и состояний безразлично, – связанные между собою тем уровнем образования, при котором становится возможною деятельность общественная, выражающаяся в наше время в литературе... Никакие парламенты, генеральные штаты, собрания государственных чинов не выскажут настоящей мысли всенародной; они составляют меньшинство по отношению к тому множеству, которого думают быть представителями... Английский парламент не был бы тем, чем он есть, без английской прессы... Выше народных, ограниченных в числе, и во времени, и в пространстве представительных собраний – стоит сам народ или общество, как тот же народ, но самосознающий и развивающийся... ему надо поле пошире, и таким вполне соответственным полем для общественного слова есть – печать».

На печать, как на могучее орудие общественной мысли, Аксаков, как и вся его школа, имел свой особый, своеобразно выражаемый, взгляд, подробно развитый Иваном Сергеевичем еще в статье 10 марта 1862 г.

«Сила общества, как явления неполитического, есть сила нравственная, сила «общественного мнения». Орудие деятельности общества есть слово, и по преимуществу печатное слово, разумеется, свободное. Напрасно воображают некоторые, что свобода слова, устного или печатного, есть политическая свобода. После этого и свобода есть, пить, спать, дышать воздухом, двигать руками и ногами есть также политическая «прерогатива». Между тем свобода слова, свободный обмен мыслей, чувств, мнений, необходимый для нравственной деятельности, относится точно так же к стороне нравственной человека, как свобода спать, есть к стороне физической. Злоупотребление слова так же возможно, как и злоупотребление рук, но если бы, в предупреждение зла, которое можно учинить руками, связать всем людям руки за спину, то уничтожилась бы всякая возможность деятельности, следовательно, и существования, как связываемых, так и вяжущих...»

Главная беда нашей исторической жизни, по мнению Аксакова, и заключалась в том, что «между государством и землею не было той среды, которую мы называем обществом и которая – независимою духовною деятельностью народного самосознания – могла бы придать силу земской стихии и сдержать напор государственного начала: в течение восьми веков не создалось у нас ни училищ, ни литературы, и грех нашего всенародного невежества, нашего нравственного и умственного бездействия дал временную победу стихии деятельной, но чуждой нашей народности». Иван Сергеевич говорит тут о том явлении нашей древней жизни, которое впоследствии называлось у Ф. М. Достоевского «недостатком культуры». Именно невыработанность своей культуры и, по взгляду Достоевского, вызвала у нас, наконец, нетерпеливое стремление обзавестись ею сразу, выписать ее из-за моря, при ближайшем участии правительственной власти. Таким характером нашей запоздалой культуры и объясняется то, что мы уже

слишком много забот возложили на попечительное правительство. Вот как писал об этом Аксаков 12 января 1863 г.: «Правительство, награждай в нас любовь к Богу и ближнему, развивай талант... забавляй нас, одевай, умывай, молись, сочиняй, веруй, надейся, люби, негодуй, даже, наконец, либеральничай за нас или поучи нас либеральничать, если либерализм оказывается нужным и полезным винтом в государственной машине...»

«Нам кажется, – продолжает он, – можно было бы отвечать обществу следующее: «Вы хотите, чтобы правительство помогло вам остаться в вечном младенчестве и чтобы кроме великих, важных государственных обязанностей, на нем лежащих, оно обращало бы в государственное дело всякие ваши домашние делишки...» Примером нашей общественной лени служит ему следующее: «Православные храмы в Белоруссии находятся в бедности... Но мы совершенно хладнокровно относимся к этому позору и предоставляем строить церкви в Западно-Русском крае... Кому же? Самому правительству!.. Где в мире слыхано и видано, – спрашивает Аксаков, – чтобы правительство строило церкви целому народу?»

Построение в Белоруссии храмов связывалось с поднятием в нашем Западном крае забитой русской народности, о которой пришлось наконец вспомнить при дерзких притязаниях на этот край польской справы, заявленных в 1862–1863 гг. Аксаков имел на польский и западнорусский вопрос, или, лучше сказать, на способы его решения, свой особенный взгляд, резко отличавшийся от взгляда другого влиятельного московского органа. «Чтобы обрусить, – писал он 23 марта 1863 г., – надо быть русским, а русских-то между нами и нет... Что делает русское общество в то самое время, когда мы так бедны и слабы общественною силою?.. 275,000 русских, уехавших в 1860 г. за границу, служат самым красноречивым ответом... Это почти целая четверть русского дворянства... Хорошие выйдут русские – эти несчастные дети, так деспотически лишаемые родителями всего, что может дать только отчизна: общего единства жизни с русским народом, родного

быта, связывающего дитя неуловимыми нитями с его землею... впечатлений родной природы, непосредственного действия на ум и душу – народного ума, народной речи...»

Говоря об обрусении, Аксаков к тому же имел в виду не что иное, как возвращение в лоно русской народности того, что ей несомненно принадлежало. Другие готовы были в своем особенном смысле обрусивать и чужое, ссылаясь, в сущности, не на что иное, как на право меча.

«Мы не считаем цену крови, – писал Аксаков 4 мая 1863 г. в отпор этим людям, – основанием какого-либо права. Это не принцип, а факт, упраздняемый другим подобным же фактом... Если бы всякий последний совершившийся факт возводить на степень права, то это бы значило давать торжествовать насилию... то есть чья возьмет, кто кого пересилит... Человек не может довольствоваться таким основанием для своего права, его совесть ищет оправдания факту».

11 мая 1863 г. он к этому прибавил: «Мы, русские, не должны отказываться от коренных свойств нашего народного характера и насиловать наше народное благодушие. Нам незачем учиться штатс-науке у немцев, мы никогда не будем такими мастерами в темном искусстве – угнести, стереть, обезнародить чужую народность, как пруссаки или австрийцы».

С окончательною ясностью высказался он 20 июля 1863 г. «В Белоруссии мы у себя дома, в России чувствуем и сознаем себя вполне и по праву хозяевами... здесь мы вправе не терпеть польского духу, и не только вправе, но положительно и несомненно обязаны. В Царстве Польском мы в Польше, и едва ли найдется русский, который, побывав в царстве хотя мимоездом, не почувствовал бы себя гостем, пришельцем в этой среде – сплошной, компактной, резко определенной... хотящей жить и предъявляющей право на жизнь...» Относительно Польши Аксаков вполне признавал одну совершенно законную меру.

«Было бы полезно, – писал он тут же, – если бы Россия не из своекорыстных расчетов, но для выгоды самой Польши выдвинула в ней новую историческую идею: значение и участие в общей жизни народно-

го организма – простого народа, крестьянского населения...» И другие говорили о том же, но имея в виду с нашей стороны именно те «своекорыстные расчеты», которых так чуждался Аксаков.

«Если мы теперь, – писал он 31 августа 1863 г., – наделим польское крестьянство землею, крестьянским самоуправлением, гражданскими и политическими правами, то нет сомнения – это положение, эти права уже никакою силою не будут от них отняты польскими панами, даже в случае совершенной самостоятельности Польши... Мы введем в ее жизнь новую историческую идею, противопоставим силу устоя ее многовековому общественному брожению, дадим груз, упор ее легковесному судну, носившемуся до сих пор под управлением шляхты по прихоти воли и всяческих ветров!.. Мы в то же время совершим долг человеколюбия относительно значительной части угнетенного человечества и исполним историческое призвание России, страны сильной простонародностью, самой демократической в лучшем, не политическом, а общественном и нравственном значении этого слова». Люди, глядевшие так же, да не так, желая отмежевать себе польский вопрос в монополии, желали совершенно устранить от него Аксакова...

Вот что ему пришлось «отметить» в передовой статье 7 сентября 1863 г.

«Московские ведомости» приходят к следующим, поистине изумительным выводам:

«Газета «День» учит презирать простой народ и не считает заслуживающими внимания интересы крестьян в Польше. Для газеты «День» холопы ничего не значат, и она жертвует ими панам, толкуя в то же время о крестьянском самоуправлении в России, которое в России не имеет смысла...» «Примем это к сведению – отметим это презрение «Моск. ведомостей» к мирскому устройству простого русского народа», – прибавляет Аксаков в ответ «Ведомостям», только отмечая поучительный факт. Он продолжает разоблачать всех противников своих во всех сферах и в статье своей 16 ноября 1863 г.:

«Как вы будете стоять за русскую народность в Западном крае, если вы ее презираете, пренебрегаете ею в восточном, северном, срединном крае России?.. Вправе ли вы надеяться на успех вашей народной роли, если она только роль, и в душе, для «своих», entre nous autres[2], вы остаетесь теми же аристократами петербургских салонов?..»

Относительно сепаратизма у Аксакова опять-таки был свой особый взгляд, связанный с его общим воззрением на общество как на такую силу, которой во многих случаях не может никоим образом заменить государство.

«Если вас беспокоят, – писал он 28 ноября 1865 г., – сепаративные тенденции, то устремите вашу деятельность не столько на внешнее искоренение этих тенденций внешними способами (вы их не уничтожите, а заставите притаиться), сколько на возбуждение той органической силы сращения в нашем собственном организме, о которой вы говорили; направьте ваши удары не на сепаратистов, а на те условия, при которых слабеет в народе всепоборающая вера в самого себя, в свою народность, – на нас самих, на тех, которые, будучи преданы идее государственного единства, не перестают разрывать свое духовное единство с народом».

Когда во время тогдашних на нас атак европейской дипломатии одно время запахло даже войной, «День», со своей точки зрения, заметил:

20 июля 1863 г.: «Война с Австрией, действительная, настоящая – небывалое явление в нашей истории – была бы для нас крещением в новое политическое вероисповедание, вместе с отречением от Австрии и всех дел ее...»

«Но войну с Австрией, – пояснил он в статье 27 июля, – мы можем вести, только водрузив славянское знамя, знамя освобождения славянских племен (в том числе и польского) из-под немецко-австрийского гнета, для возвращения их к свободной и самобытной жизни... Может быть, Россия еще не созрела для выполнения этого своего исторического призвания, еще мы сами, может быть, не окрепли в сознании

своей русской народности, еще в нас самих много немца, – и слабы наши русские общественные силы...»

Между тем как мы не только тогда отписывались от европейской дипломатии, но при помощи общественного мнения и в самом деле разделывались с ней, внутренние мероприятия решительного свойства продолжались своим чередом. Прямо восторженный, радостно увлекающийся тон послышался в передовой статье «Дня» 27 апреля 1863 г.: «Сил прибывает... еще гора свалилась с плеч, еще тяготой меньше. Удрученный бременем, богатырь выпрямляется...»

«Плети, кошки, шпицрутены, клейма, торговые казни – все это было, всего этого уже нет, все рухнуло в темную бездну минувших зол, пережитого русского горя. Долой – гласит между строк Государев указ Сенату – все орудия истязания и срама, долой сейчас же, немедленно по получении указа! Вон из нашей речи, вон навеки, вся эта позорная терминология, эти выражения, с которыми так постыдно свыклись наши уста и наш слух, эти «сквозь строй», «отодрать», «засечь», «перепороть», со всеми их отвратительными бесчисленными вариантами! «Заплечному мастеру» нет уж дела в Русской земле»[3].

Продолжающиеся преобразования представлялись вообще Аксакову в таком, опять совершенно своеобразном свете (статья 17 августа 1863 г.):

«В новизнах твоего царствования нам старина наша слышится, – писали московские старообрядцы в известном своем адресе Государю. – Мы можем также сказать, что в новизнах нынешнего времени слышится, дает себя ведать и чувствовать, свидетельствуя о своей упорной живучести, русская народная старина. Полуторавековой слой петербургского периода нашей истории еще не вполне сокрушил древние бытовые, гражданские и духовные насаждения Русской земли, не разорвал ее союза с государством, – и едва только луч тепла и света пробился к ней сквозь густые и толстые пласты чужеземного хлама, она вновь ожила, и схороненные зерна готовы вновь дать ростки, может быть, пышнее и краше прежнего. Говорим – может быть. Еще бы тепла и света! Еще бы побольше солнца и свежего воздуха».

К «полуторавековому периоду» нашей новой истории Аксаков, как известно, очень часто возвращался в своих статьях. Он не особенно сочувственно относился к этому периоду, конечно, не ради того, что этому периоду обязаны мы появлением у нас наконец науки, а ради того, что, как все другое, так и самая новозаведенная у нас наука была отобрана в казну.

«Когда читаешь, – писал он 11 января 1864 г., – истории просвещения России при Петре I, приходишь в невольное изумление пред теми настойчивыми, энергическими усилиями государства создать во что бы то ни стало штатс-просвещение, штатс-науку, штатс-искусство, штатс-журналистику, штатс-поэзию, штатс-литературу, штатс-галантерейность, штатс-право, штатс-нравственность…

Конечно, ни одно общество в мире не стоило таких издержек казне, как русское общество! Нигде, впрочем, и не давалось ему свыше, от казны, воспитание.

Скоро оказалось, – пояснял Аксаков, – что государство обременило себя через силу... открылась необходимость в обществе как в материале, в грузе для государственного судна, как в посредствующем элементе между властью и массами. Екатерина вспомнила о земстве и передала земству часть попечений государственных по внутреннему управлению. Отсюда начинается ряд правительственных действий, которым ничего подобного не представляет история других стран: правительство само, непринужденно, поступается своею властью обществу, уделяет ему, вместе с обязанностями, часть своих прав... и большею частью встречает со стороны самого общества, если не отпор, то равнодушие или пассивную покорность... Последним новейшим актом этого поступления государством обществу своей власти – являются земские учреждения. Но для того, чтобы усилия государства увенчались успехом, чтоб государство и общество стали в надлежащее равновесие друг к другу... необходимо отрешиться от преданий Петровской реформы... Необходимо, чтобы общество получило не только политическую привилегию, но и нравственную свободу...»

В статье этой указывается уже на земские учреждения. К ним, как и к новому суду, Аксаков относился со всею полнотою сочувствия – то есть сочувствия в принципе. Но он оставался далеким и тут, как и вообще, от тона похвального слова; он даже указывал в выполнении принципа на такие подробности, которые, не обнаруживая достаточного знакомства с условиями нашей жизни и слишком отзываясь прямым подражанием, могли кое в чем подорвать пользу дела. На необходимость для нас суда присяжных с его гласностью Аксаков указывал еще до введения его у нас – в статьях о свободе слова, указывая на то, что кара за злоупотребления этою свободою должна принадлежать не администрации, а только суду, и именно суду присяжных. На новый суд в его принципе Аксаков, как известно, ополчился и в последние годы, ополчился уже в «Руси», и в сильной мере содействовал своим горячим ратованием на новый суд благополучному исходу тех нападок, которые были на него направлены его противниками.

Вообще же, в самые даже пылкие дни наших увлечений реформами, Аксаков был далек от того, чтобы приписывать им чудотворную силу, чтобы видеть в них панацею от всего. Писал же он еще 18 декабря 1865 г.: «Нелегко живется теперь на Руси. Неможется ей во всех смыслах и отношениях... Освобождение крепостных крестьян и свобода (хотя бы даже не полная) печатного слова – самое необходимое мы уже имеем... Но это еще не даст нам здоровья, потому что государственная власть не может же стоять выше общественного нравственного уровня и сама нуждается в притоке для себя изнутри новой здоровой жизненной силы. Дело за нами... По пути внешних учреждений и мероприятий двинулись мы далеко. Пора бы, кажется, понять, что это все не более как средства к жизни, ее внешняя форма, а не сама жизнь... внешняя искусственная обстановка государственного строя еще не в силах сама по себе вдохнуть жизнь в ту органическую силу творчества, которой именно ей недостает и недостаток которой сказывается в нас таким тяжелым томительным недугом. Когда утратилось непосредственное чутье своего прямого прирожденного

пути, когда мы сбились с дороги, вся задача в том, чтобы отыскать эту дорогу, а не в том, чтоб обзавестись конями и экипажем, да вприбавок еще казенным».

Распростившись сам со своим «Днем», Аксаков затем вернулся к газетной деятельности, но и в статьях «Москвы» и «Москвича» оставался верным своему широкому взгляду на свободу слова. К сожалению, взгляд этот далеко не сходился в то время со взглядами административных сфер…

Тогда-то он и сосредоточил всю энергию своей деятельности на московском Славянском обществе, которого он был не только душою, но и бессменным тружеником, выносившим на своих плечах всю тяготу той поры, которая наступила в 1876 г. О силе народного увлечения, народной готовности пострадать за братьев живо вспоминал он еще в предсмертной своей статье. Как очевидец, участник и орудие народного увлечения той поры, он тем с большим негодованием относился к европейским стремлениям вырвать из наших рук все добытое русскою кровью и готовностью русского человека жертвовать и последнею трудовою копейкою. Когда Россия предстала пред судом Европы в Берлине, он произнес 22 июня 1878 г. в Москве громовую речь...

Он продолжал проводить свои прежние взгляды и в новейшее время – проводить их в последнем своем органа – «Русь», которого издание стало опять возможно с 1880 г.

Аксаков не успел дожить до великой годовщины, годовщины того, что оставалось для него до конца особенно дорогим. Многие ожидали его слова в этот великий день. И он сказал бы это слово в силу правды внутренней. Не стало того человека, который достойным образом помянул бы великого Государя!.. Плачь Русская земля!.. Но когда подобного рода призыв раздавался у нас в старину, с ним соединялся и другой призыв – к молитве и покаянию. То был обычный клич Древней Руси. Верный ее заветам, и сам Аксаков, припомним это, еще в начала своего «Дня» обратился к нам со словами: «Глас вопиющего в пустыне: уготовайте путь Господень!.. Покайтеся».

И. С. Аксаков

НЕКРОЛОГ

(Из № 2 журнала Министерства народного просвещения)

Русская литература и русское общество понесли опять тяжелую утрату. 27 января скончался в Москве, на 62 году своей жизни, один из лучших представителей современной русской мысли, образованности Иван Сергеевич Аксаков.

И. С. Аксаков принадлежал к той замечательной группе просвещенных русских людей, которые почти за полвека перед сим выступили у нас с горячею проповедью о самобытных духовных началах русской народной жизни и о тесной духовной связи России с миром славянским. Было время, когда эти идеи казались чем-то не только странным, но и враждебным просвещению; теперь основные начала этого учения стали очевидною истиной для всех истинно просвещенных русских людей. Ивану Сергеевичу суждено было пережить всех своих первоначальных единомышленников, но до последней минуты своей жизни он оставался верным и горячим представителем убеждений, которые высказывал некогда лишь небольшой кружок, и он имел счастливую долю видеть, как широко разрослось доброе семя, брошенное им и его друзьями на нашу умственную ниву.

Слишком сорок лет раздавался в русской литературе его красноречивый и правдивый голос как поэта, исследователя русского быта и публициста. Русской поэзии он дал небольшое число произведений, но запечатленных печатью блестящего таланта и проникнутых живым чувством. Русская экономическая наука обязана ему превосходным исследованием о торговле в Южной России, в котором он соединил здравые экономические начала с глубоким знанием народного быта. В изучение духовной жизни нашего народа он внес дорогой вклад своим

исследованием о секте «бегунов». Ему же принадлежит глубоко продуманный и мастерски написанный критико-биографический очерк об одном из оригинальнейших русских умов – Ф. Ив. Тютчеве. Наконец, в периодической печати Аксаков всегда действовал как пламенный сын своей земли, как глубоко искренний и горячо убежденный сторонник тех высоких начал духовной самобытности, на которых должно покоиться благоденствие нашего Отечества.

Правдивое патриотическое слово Аксакова доставило ему широкую популярность во всех концах России; искренняя преданность его интересам славянства приобрела ему большую известность во всем славянском мире: и там и здесь преждевременная кончина этого бескорыстного общественного деятеля и патриота вызовет самую глубокую скорбь.

Н. П. Гиляров-Платонов

ПОХОРОНЫ АКСАКОВА
Москва, 31 января 1886 г.

(Из № 28 «Современных известий)

Сегодня хороним И. С. Аксакова. К чувству общественной утраты присоединяются и личные воспоминания, подступающие тем настойчивее, что местом вечного покоя усопшему избрана Троице-Сергиева лавра, где 33 года назад впервые довелось узнать молодого публициста и сблизиться с ним, с молодым, повторяем, но уже побывавшим в III отделении и затем выпущенным оттуда с резолюциею покойного Николая Павловича, обращенною к шефу жандармов: «Призови, прочти, вразуми и отпусти». Вспоминаются тогдашние беседы наши о расколе, который только что перед тем был предметом служебных занятий Ивана Сергеевича. Вспоминается и отъезд его на исследование

украинских ярмарок, и по возврате оттуда вечер, когда для приведения в порядок собранных материалов приехал исследователь к Троице из Абрамцева, бежа от деревенского уединения еще в большее уединение, чтобы легче опознаться в груде собранных сведений. В номере монастырской гостиницы, в часы глубокой полночи, за большими чашками крепчайшего чая (для прогнания сна) исповедовался он о тех новых впечатлениях, которые вынесены им из наблюдения над купеческим бытом, над разницею характера великороссийского и малороссийского. Несмотря на свои тридцать всего лет, он уже сравнительно со своими годами обладал богатою опытностью, побывавши с самого начала службы в Астрахани, затем перекинувшись в Ярославль, изъездивши, кроме того, Бессарабию. И ни одна поездка не оставалась без того, чтобы не возбудить его замечательной наблюдательности, не привести его к метким выводам, социальным и этнографическим.

Припоминается и еще вечер, – нет, это было днем, когда исследователь, окончив предисловие к своему статистическому труду, читал его в кругу близких, а вечно памятный родитель его, Сергей Тимофеевич, бывший в числе слушателей, вечно юный, несмотря на свои семидесятые годы, всегда отзывчивый, восторженный, отозвал пишущего эти строки, среди самого чтения, в другую комнату. «Вы запомните это слово, запомните, – сказал он, – Иван будет великим писателем, великим!» Старца поразила основательность и глубина исследования; поразило в особенности мастерство, с каким поэт (а только поэтом числился пока его сын в литературе) справился с сухим предметом, с данными, состоявшими из мертвых цифр, только из цифр, – и умел осветить их не только точно, но и художественно.

Но вот и отъезд в ополчение, и напутствие друзей, и благословение А. С. Хомякова, отвечавшего на возражение некоторых о бесполезности Ивана Сергеевича в этой новой деятельности. «Нет, должно, чтобы из нас, людей слова и мысли, делом засвидетельствовали свое слово и мнение». И началась ополченская служба, сопровождаемая полемикою литератора-ополченца с командовавшим Московскою дружиною графом

Строгановым. Оригинальная полемика, философская и политическая, ведшаяся под видом официальных приказов и официальных рапортов, где Аксаков-ополченец был тот же непреклонный боец за меньшую братью, как Аксаков – редактор «Дня», «Москвы» и «Руси». «Это аксаковское влияние!» – воскликнул Строганов, когда при роспуске ополчения, собрав дружину, обратился к рядам с предложением, не хочет ли кто из ратников перейти в военную службу. «Кто хочет, ребята? – воскликнул граф, – поднимайте руку, кто хочет». И услышал в ответ невольный каламбур: «Кто ж, ваше сиятельство, на себя руку поднимет?»

А время бежит, бежит... Вот уж роковое 18 февраля 1855 г. Вот мягкий февральский день – то был день присяги для троицких жителей; Иван Сергеевич приезжает из Абрамцева поделиться впечатлением, вызванным переменою царствования. После обмененных нескольких слов поездка обоих в Абрамцево, обратно тройкою, гуськом, «при ласкающем полувесеннем солнце», с целию отвести душу в общей беседе и со стариком-отцом, и со всею семьею. Ополченец говорил о новом ощущении, которое охватило писателя, о непривычном положении, в которое писатель поставлен, что «приходится перестраивать лиру», как сказал он своим образным языком...

Что же мы распространяемся, однако?

Столбцов, страниц, листов недостанет, чтобы перечислить эти обмены мыслей, впечатлений, чтобы перечислить все разнообразные события, в которых выражалась душа оплакиваемого ныне деятеля, та его неустанная энергия, несокрушимая, упорная настойчивость, которая при полном единстве образа мыслей отличала его среди всех его ближайших и близких. Помимо всего, этот неугомонный деятельный нерв был его характеристическою чертою, выделявшею его из славянофильской плеяды: Хомякова, К. Аксакова, Киреевских, Самарина, Чижова и проч. С этой стороны он из перечисленных сейчас ближе подходил к Чижову, который точно так же был весь энергия.

Предсказание отца сбылось. Иван сделался великим писателем, но не писателем только, а деятелем, чего не предвидел, по крайней мере,

не предсказывал ни Сергей Тимофеевич, ни Хомяков. Но то были времена, когда тесная семья единомыслящих, заподозренная и гонимая, не мечтала о практическом влиянии, ограничивая свою деятельность теоретическими усилиями к исправлению общественного сознания. 19 февраля вызвало эти силы на поприще практической деятельности, и только с Ю. Ф. Самарина начался благоприятный славянофилам поворот общественной оценки, если и не государственной все еще. И теперь, при удручающем чувстве глубочайшей скорби, которую вызывает свежая переживаемая утрата, находишь еще утешение в единодушии выраженного сожаления. Нас трогает, между прочим, отношение петербургской печати, столь восторженно почтившей усопшего славянофила, как тронуло десять лет назад подобное же единодушие почтения, оказанного Ю. Ф. Самарину по его кончине. Но какая ирония в то же время! Когда все прославляют его, ныне почившего, как пламеннейшего патриота, когда Высочайший отзыв находит в нем «честного человека, преданного русским интересам», он умирает, однако, с официальным аттестатом «недостаточного патриотизма». И одного месяца же ведь не прошло еще, как редактором «Руси» получено публично официальное предостережение именно в этих выражениях...

Н. Н. Страхов

ПОМИНКИ ПО И. С. АКСАКОВУ

(Из № 3599 «Нового времени»)

Вовремя умер И. С. Аксаков. Разумеется, вовремя для себя, а не для нас, не для русской литературы, не для России. Мы должны, без сомнения, горько пожалеть о себе, о том, что лишились такого человека. Но нужно же нам пожалеть и о нем. Много ли ему было от нас радости? Много ли радости ждало его впереди? Если этому бо-

дрому деятелю, этому богатырю по телу и по духу предстояли разочарования, если ему суждено было впереди переходить от уныния к унынию, то нельзя разве сказать, что смерть вовремя избавила его от неминуемых горестей?

Может быть, найдутся люди, которые заменят его в наших славянских делах, но как писатель, как русский публицист он не имел себе равного, и его никто не заменит. Мы говорим здесь о внутреннем значении Аксакова, о нравственном складе, в нем воплощавшемся, о том чувстве, которое подсказывало его речи и светилось в них, о том несравненном тоне, которым они произносились. Какое безукоризненное благородство! Какая искренняя чистота! А в силу этого – какая смелость и твердость!

В публицистике, на этой арене, где так непрерывно и так жестоко оскорбляется наше нравственное чувство, явление, подобное Аксакову, есть нечто изумительное, и еще больше мы должны удивляться, если подумаем, где и как возникло это явление. Когда наши потомки будут судить о нашем времени, то они, конечно, строго осудят нас не только за дурное состояние нашей литературы, за нашу безвыходную, умственную лень и распущенность, но также и за отсутствие у нас истинных гражданских чувств, за то, что мы, когда не имели власти, вели себя как рабы, а когда имели власть, то смотрели на других как на рабов. И тогда имя Аксакова удивит историка и, может быть, спасет нас от полного осуждения.

Он был вполне гражданин своего государства. Понимаем ли мы как следует смысл этих слов? Он искренно и вполне признавал самый принцип той власти, под которою жил. Всякая власть обращается в насилие для тех, кто не признает ее, и никакая власть не лишает нас свободы, если признается нами, если внутри нас есть согласие на нее. Но для этого необходимо гораздо больше, чем для простого подчинения власти. Для этого нужно видеть во власти известный смысл, иметь ясную ее идею; только тогда у нас будет согласие на ее осуществление. И у Аксакова это было. Мы не будем излагать здесь эту его идею; мы

указываем только общие условия, который давали ему возможность быть у нас истинным гражданином.

Между управляющими и управляемыми всегда и везде существует некоторый антагонизм. И как не быть здесь антагонизму, когда он неизбежно появляется во всяких отношениях, даже между отцами и детьми, между мужьями и женами? Это зло однако же легко переносится, когда выше и крепче антагонизма стоит связующее, объединяющее начало, над которым он никогда не может взять верх. В этом отношении свойства нашего государства всем известны и не ясны разве только ослепленным! Глубокое внутреннее единство проникает всю массу огромного тела и дает ему крепость несокрушимую. Но в то же время частные проявления антагонизма, его действия в наружном, выветрившемся слое достигают иногда остроты почти беспримерной. Благодаря им Россия сделалась позором всего мира; на нее указывают как на поучительный пример извращения человеческой природы; злорадные иностранцы убеждены, что нигилизм разъедает нашу силу и что скоро рухнет эта громада, наводящая на них страх и заботу. Они не видят, что это – частные явления, всплески, подымаемые вихрями на поверхности, и что невозмутимый покой царит в глубине народного моря.

Как же Аксаков стоял в этих сферах внутренней политики? Отношение его к правительственному строю и действию есть для нас пример и поучение. Имея определенную идею власти, он желал и полного воплощения этой идеи, осуществления ее в действительных формах государственной жизни. И здесь мы не хотим и не будем излагать его воззрений; мы хотим лишь указать, что они у него были, что у него была такая формула отношений между властью и всею массою людей управляемых, при которой власть не только сохраняла всю свою силу, но, по его убеждению, все больше проникалась животворным духом, ее создавшим. В человеческом мире – так он верил и так должно верить – только то сильно и растет, что́ живет некоторою идеею.

Вот в каком духе вел свою публицистику Аксаков. Он стоял почти в постоянном антагонизме к управляющим сферам, но именно пото-

му, что ратовал против искажения идеи, воплощаемой властью. И так как он твердо сознавал свою высшую благонамеренность, то и говорил смело, считал свою речь и ее смелость своим долгом. Теперь, когда мы плачем об этой умолкнувшей речи, нам яснее прежнего ее несравненно благородный характер. Это была не лукавая дерзость человека, который дышит враждою, но укрывается за формы закона или лицемерно показывает вид, что он сам не замечает, к чему клонятся его слова. Это была и неподдельная храбрость человека, который сам так или иначе прикосновен к власти и лишь потому может давать много воли своим речам, но делает вид, что его увлекает за положенные пределы одна горячность к общим интересам. Нет, речь Аксакова была прямая, искренняя речь русского гражданина, не имеющего никаких задних мыслей, опирающегося в своей смелости только и единственно на чистоту своего чувства, на ясное сознание прав этого чувства. Вот откуда та неотразимая прелесть, которую имела эта речь для всех чутких сердец. Лукавство и ложь есть самое обыкновенное явление в политической печати, и можно сказать, что вся наша литература, все больше и больше проникаясь политическими идеями, вместе с тем прониклась и ложью. Для многих и многих лукавство стало естественным делом лавировать между препятствиями, изворачиваться и отводить глаза – для многих это занятие стало приятным и привычным упражнением их ловкости, и они даже забыли, что значит говорить прямо и искренно.

Среди этой атмосферы лжи, среди всеобщего лукавства разных видов и степеней как отрадно было слышать откровенную, чистую речь Аксакова! Он имел дар красноречия, говорил красиво и обильно, но эта блестящая форма не закрывала, а только яснее выказывала сердечную теплоту его мыслей. Много было таких минут, когда, казалось, в целой России он один говорил, один подавал голос, потому что всем другим голосам нельзя было придавать никакого действительного значения, так что они равнялись молчанию или даже были хуже молчания.

И ко всем тем предметам, за которые он стоял, у него было одинаково прямое, чистое отношение. Если он говорил о Церкви и Православии,

то не так, как люди, только уважающее Церковь или только считающие нужным показывать уважение к Церкви, даже радеющие об ней, но не для себя, а для других, для людей низшего разбора. Аксаков говорил как истинный сын Церкви, благоговейно почитавший ее своею духовною матерью, живший действительно в ее лоне и под ее покровом. Понятно, почему в его речах не было и не могло быть и тени рабского лукавства.

Если он заявлял любовь к России, то это была не полуживотная привязанность к месту, не ревнивая забота о доме, где мы живем и под кровом которого можем иметь удобства, выгоды и наслаждения; нет, это была преданность глубочайшим началам русской жизни, осмысленное, сознательное исповедание этих начал. Бессознательного патриотизма, живущего в массах, Аксаков никогда не употреблял как орудие, как средство, которое отбрасывается, когда миновала в нем надобность. Он говорил всегда в смысле высшего патриотизма, в котором государственная мощь и государственные интересы получают свое освящение от духовной жизни народа. Для истинного поэта, как говорил Шиллер, муза должна быть не дойною коровою, а богинею. То же самое нужно сказать и об истинном патриоте в его отношении к отечеству.

Точно то же и в славянском вопросе, в наших отношениях к родственным племенам. Эти темные массы, тяготеющие к России, не потому были предметом мыслей и действий Аксакова, что их тяготение имеет важность во внешних государственных делах, может повредить или помочь этим делам, а потому, что в основе его лежит духовное родство с Россиею, что истинная жизнь – славян неразрывна с этим глубоким тяготением и что способствовать этой жизни значит способствовать тому духу, который ищет себе воплощения и в этих племенах так же, как в России. Если бы мы отвергали заботы о славянах, то мы, значит, отрицались бы от того духа, которым сами живем. И вот отчего речи Аксакова о славянах имели полную задушевность и, так сказать, чистоту звука.

Возьмите теперь все это вместе, представьте публициста, который таким образом имел возможность вести свою речь с совершенною пря-

мотою, с отсутствием малейшего лицемерия, и вы поймете, отчего никто не мог равняться с Аксаковым и отчего для многих его писания были незаменимою отрадой и утешением. Когда после больших или малых перерывов являлся вновь номер его издания, то иному казалось, что он из мрачного и гнилого погреба вдруг выходил на широкие поля, где светит солнце. Люди, страдающие от зрелища нашей смутной и больной общественной жизни, измученные тем нестерпимым диссонансом, который непрерывно звучит в ней, отдыхали душою на строках Аксакова. Чувство бодрости, великих надежд, кровной любви к России опять теплою струею приливало к сердцу. Читатель становился лучше, видел яснее свое положение и сознавал, что он и должен и может быть гражданином вместе с этим богатырем, так бодро несущим тягости дня.

Может быть, мы слабо и не вполне очертили здесь особенные свойства деятельности Аксакова; пусть читатели сами постараются дополнить и исправить этот очерк. Мы же хотим здесь настаивать лишь на том, что эти свойства были возможны и осуществлялись только под условием идей Аксакова; если бы он не был исповедником некоторых идей, то он не мог бы быть ни прямым, ни смелым, ни твердым и одушевленным, не заслужил бы того имени истинного гражданина, которое невольно пришло и приходит на мысль самым разнообразным его почитателям. В статье К. П. верно и прекрасно сказано, что Аксаков принадлежал к «подвижникам великой идеи» (см. статью «Аксаковы»).

Как мы видели, к идеям такого рода мы должны устремляться всею душою. Если в нас не заглохло нравственное чувство, если мы не хотим жить во лжи и двусмыслии, то нам должно быть бесконечно дорого учение, которое осмысливает нашу жизнь, указывает нам в ней некоторый правильный и ясный путь. Когда мы плачем об Аксакове, то плачем о человеке, который высоко держал знамя такого учения, был чистым и прекрасным его воплощением.

Но если так, то нужно же нам взять дело и с другой стороны, и добросовестно спросить себя: что́ же мы сделали и делаем с этим учением? Как приняла и принимает его публика? Какие оно имело успехи

и можем ли мы думать, что Аксаков сошел в могилу не без радостных мыслей о плодах своего подвига?

Увы! В истории нашего литературного и умственного движения нет ничего печальнее судьбы славянофильства, и такой одновременный опыт невольно приводит к заключению, что и впереди этому учению предстоят одни горькие неудачи. Наша неисцелимая умственная зыбкость, та самая, которая известна под именем живости и бойкости русского ума, делает нас неспособными к усвоению широких и глубоких идей, и не только к усвоению, но и к простому пониманию. Можно очень опасаться, что Аксаков будет большинством занесен в историю литературы как писатель совершенно честный, но и совершенно ошибавшийся в своем направлении, мало того – имевший очень вредное влияние. Такою враждою постоянно отзывалась наша образованность на проповедь славянофильства, отзывается и теперь и будет отзываться впереди. Тому, что называется нашею образованностью, эта проповедь не нужна, всегда была антипатична и, без сомнения, всегда будет. И тут нет ничего удивительного и странного, если мы подумаем, как глубоко лежит основание этого антагонизма.

Не будем же обманывать себя и, прославляя Аксакова, забывать, как мало плода мы принесли, несмотря на всю работу славянофильских подвижников, забывать, что может быть никогда не было более трудной минуты для того дела, которому была посвящена эта работа.

В одном из некрологов сказано так: «Было время, когда эти идеи (славянофильские) казались чем-то не только странным, но и враждебным просвещению; теперь основные начала «этого учения стали очевидной истиной для всех истинно просвещенных русских людей». И далее: «Он (Иван Сергеевич) имел счастливую долю видеть, как широко разрослось доброе семя, брошенное им и его друзьями на нашу умственную ниву».

О, если бы так! Как утешительно это было бы для нас и как сладко было бы думать, что Иван Сергеевич мог перед смертью повторить слова: «Ныне отпущаеши раба Твоего!» Но, к несчастью, трудно так думать; к несчастью, едва ли не вернее будет сказать, что наша умственная нива

и теперь больше всего растит бурьян и крапиву, среди которых легко могут заглохнуть добрые семена, и что кружок истинно просвещенных людей, может быть, иногда бывал и больше нынешнего. Не забудем, что славянофильство было провозглашено почти полвека тому назад и что Иван Сергеевич был тридцать лет его проповедником. Сколько времени! Представим себе юношу, проникнутого и одушевленного этими прекрасными идеями; не имел ли он права далеко заноситься своими надеждами, ожидать великих успехов от своих сил, от тех начал, в которые твердо и ясно верил? Если так, то жизнь Ивана Сергеевича должна нам представиться целым рядом разочарований, рядом тщетных усилий и несбывшихся надежд; и может быть, горькое чувство этого разочарования никогда не было горше, чем перед смертью.

Прошлое царствование было временем шумного движения, почти непрерывных преобразований. Но принципы, которыми руководилось и поддерживалось это движение, были мало похожи на славянофильские. Была однако же доля, и притом значительная доля, в преобразованиях, которая совпадала со стремлениями славянофильства, и Аксаков сочувствовал ей всею душою. Все доброе, что принесло нам минувшее царствование, – освобождение крестьян, расширение печати, облегчение всяких административных уз и всеобщее смягчение нравов, – все это было вполне в духе учения, наследованного и проповедоваемого Аксаковым. Но все это лишь меры отрицательные, а не зиждительные; все это входит в программу того общего либерализма, который есть правило всякого хорошего правительства, которому следует даже военная диктатура во всем, что не касается ее прямого дела. И что же вышло? В умах большинства очевидно тогда не было ничего, что составило бы противовес чисто отвлеченным, чисто отрицательным понятиям, ничего подобного тем положительным и живым понятиям, к которым стремились славянофилы. Потому и не было в умах отпора разным уродливым и крайним порождениям либерализма: неожиданно созрели идеи смут и покушений, и Тот, Кто так любил освобождать и в этом полагал свою заслугу, был убит безумцами, одуревшими от детской мысли, что, убивая

Его, они убьют самую власть. Государство и его внутренняя объединяющая сила, недоступная никакому динамиту, остались незыблемыми, не потерпели и самомалейшего ущерба. Но на умы наши этот удар произвел неизгладимое впечатление. Общественное сознание почувствовало, что в путях прежних прекрасных реформ был какой-то существенный недостаток, что их следовало бы чем-то восполнять. И движение остановилось, потому что прежние пути оказались опасными, а нового пути никакого не видно; он, конечно, существует, но совершенно нам неизвестен. Таким образом, кажется, что мы как будто вернулись назад, к той точке, с которой начались преобразования. Этот опыт, продолжавшийся четверть века, как будто ничему не научил нас; по крайней мере мы не умеем извлечь из него поучения. Растерянность общественной мысли очевидна; эта мысль нисколько не созрела, потому что вовсе и не работала над вопросами об основах нашей государственной жизни, и хотя прошлое царствование, казалось бы, давало сильнейшие поводы к занятию этими вопросами, наши понятия о таком существенном деле не подвинулись вперед ни на шаг. Зачем же мы жалуемся иногда на ретроградство, когда сами не двигаемся с места?

В доказательство сказанного можно сослаться на один знаменательный факт. Недавно Министерство народного просвещения предложило нашим университетам задачу создать «науку русского государственного права», в которой бы было представлено «существо русского монархического начала». А чтобы показать основательность и необходимость этой задачи, Министерство опирается на такое общее соображение: «У немцев есть изобилие философских учений; у французов, англичан и других народов есть также свои воззрения на мир. Почему бы «не взглянуть на мир и с точки зрения русского народа?»

Нельзя не приветствовать всею душой таких приглашений к самостоятельной работе мысли, таких указаний на то, что следует нам быть самобытными, если желаем стать рядом с иностранцами. Будем философствовать как немцы, то есть по-своему, будем консерваторами, как англичане, но только по-своему; будем и прогрессистами, но

по-своему, а не как французы. Только тогда у нас будет настоящая умственная и общественная жизнь.

Но ведь этого самого и желали и требовали славянофилы; это есть только общая и отвлеченная формула, которую они не только давно заявили, но которую поддерживали живым и глубоким сочувствием к русским началам. Они не только искали этих начал, а уже нашли их в своей душе и много трудились над тем, чтобы довести их до логической формулировки и до ясного выражения в словах. Эта попытка на самостоятельную мысль, это стремление к сознательной самобытности уже больше сорока лет тому назад выступило у нас во всеоружии научных и литературных достоинств. Поэтому нам следует предположить, что университеты теперь, конечно, прежде всего займутся славянофильством; может быть, они его расширят, углубят или даже совершенно изменят; но во всяком случае оно должно быть примером и основанием всяких новых попыток.

Выводы эти ясны; но, без сомнения, было бы великим легковерием надеяться на их осуществление. Как можно думать, что получит свой вес учение, которое сорок лет было заглушаемо и подавляемо невниманием и враждою? Разве изменились обстоятельства, под влиянием которых живет наш умственный мир? Разве всемогущее влияние Запада и наша рабская ему подражательность ослабели? Разве мы прозрели, поумнели, почувствовали в себе больше нравственной крепости, больше желания жить, руководясь определенными идеями, а не случайностями дня? Совершенно ясно, что все у нас обстоит по-прежнему, потому что недоумение, в которое мы попали, не побуждает нас искать выхода в новых началах, а только ослабило веру в какие бы то ни было начала.

Ни одна из надежд, ни одно из задушевных желаний Аксакова не имеет впереди себя ясного будущего. Церковь осталась в том же своем положении; укрепление и развитие ее внутренней жизни по-прежнему идет шатко, и медленно, и невозможно предвидеть, откуда явится поворот к лучшему. Славянские дела ясно свидетельствуют, что духовное значение России не развилось. После подвигов, достойных Аннибала или Александра Македонского, мы вдруг с сокрушением видим, что старания

иностранцев и их политическое и культурное влияние берут верх над тою связью по крови, по вере и по истории, которая соединяет нас со славянами. Но ведь весь узел славянского вопроса заключается именно в нашей культуре, и если самобытные духовные и исторические силы наши не развиваются, если наша религиозная, политическая, умственная и художественная жизнь не растет так, чтобы соперничать с развитием западной культуры, то мы неизбежно должны отступить для славян на задний план, сколько бы мы крови ни проливали. Какая же для нас надежда в этой борьбе? Становясь грудью за единоверцев, мы должны спрашивать себя: не убывает ли и в нас, и в них та вера, в которой весь смысл дела и вне которой бесплодны всякие подвиги? Так точно мы должны спросить себя и о всякой другой черте нашей духовной связи со славянами. И если так, то разве можно теперь глядеть вперед без уныния и боязни?

Все это и лучше, и яснее всякого видел и чувствовал Аксаков. Поэтому больше, чем когда-нибудь, ему стало тяжело перед смертью. Не могу выразить, как изумили, как больно поразили меня несколько унылых слов, вырвавшихся у него в последних письмах и тем сильнее поражавших, что выходили из уст такого богатыря. «Чувствуешь, – писал он, между прочим, – что настоящий переживаемый нами период – долгий период и что его ничем не сократишь». И вот ему не довелось переживать этот период; смерть избавила его от этого страдания. Он так долго ждал, так долго обманывался в своих надеждах и вдруг убедился, что еще долго, долго ждать минуты, когда он мог бы сказать свое *ныне отпущаеши*. В этом смысле смерть была для него милостью. В самом деле, при таком ходе дела, когда мы оказываемся так мало способными к восприятию и развитию внутренней духовной жизни России, когда для возбуждения наших умов и сердец потребуются, может быть, новые бедствия, новые тяжкие испытания, когда всякий призыв к сознанию, к уяснению смысла нашей жизни, к пониманию и развитию ее идеи неизбежно глохнет в наших умах, уроки истории не выводят нас из слепоты, а только наводят на нас недоумение, – при таком ходе вещей какая судьба предстояла Аксакову? Что должен был чувствовать

этот Сизиф, столько раз подымавший камень на гору и под конец увидавший, что камень опять скатился, но гораздо ниже прежнего?

Нет, для себя он вовремя умер. Благочестивые люди верят, что смерть всякого человека совершается не без соизволения Божия. И на этот раз мы как будто можем понять смысл этого соизволения. Аксаков довольно потрудился, и верный раб был наконец отпущен от своей работы. Что же с нами будет? Конечно, то, чего мы заслуживаем.

3 марта.

СЛОВО, СКАЗАННОЕ НА ПАНИХИДЕ ПО И. С. АКСАКОВЕ АРХИМАНДРИТОМ НИКИФОРОМ ДУЧИЧЕМ В БЕЛГРАДСКОЙ СОБОРНОЙ ЦЕРКВИ, 8 марта 1886 г.[1]

Кто есть человек, иже поживет и не узрит смерти?
Пс. 88 : 49

По вечным и непреложным Божиим законам угасла жизнь великого русского патриота, члена Сербского ученого общества Ивана Сергеевича Аксакова, о коем и мы, душевно сожалея, приносим ныне в этом святом храме теплые христианские молитвы Богу истины, Богу правды и милости, да упокоит Он душу этого великого русского и великого славянина. Со смертью Ивана Сергеевича Аксакова угасла блестящая звезда на русском пространном небе – звезда, какие и у великих народов, как русский, появляются лишь веками, звезда, десятки лет рассыпавшая от края и до края великой России свои теплые лучи, которые согревали русские народные сердца, освещали русскую историческую жизнь, поддерживали русский народный дух и крепили русскую народную мысль. Сияние этой блестящей звезды переходило за пределы великого Русского царства и простиралось и на края и земли южных и западных славян, оживляя и укрепляя их вековые надежды на свободу, исторические и народные права, пробуждая и развивая в них сознание духовного единства

всех славян. Вот та крепкая духовная связь – связь племенная, связь родства между северными, южными и западными славянами, – о которой усердно заботился Аксаков и которую должны развивать все истинные славянские патриоты, радеющие о преуспеянии, просвещении, свободе и независимости своего народа. Это верное ручательство за существование отдельных славянских племен вне России – этой могучей защитницы славянства и Православия. Это та сила, которой трепещут противники славян, радующиеся раздору между ними и желающие им вечного рабства у чужеплеменников, – сила, которой и *врата адовы не одолеют* (Мф 16 :18), когда она разовьется и окрепнет. Бог праведен и благ, славяне – молодой и многочисленный народ, народ во сто миллионов душ: по общим законам исторического и общественного развития им предстоит великая будущность, которую своим великим умом Аксаков ясно предвидел и для которой он расчищал путь. <…>

Этим хронологическим сухим перечнем не исчерпывается и не оценивается по достоинству вся обильная литературная и блестящая политическая деятельность Аксакова. Предоставляем бóльшему знатоку и искуснейшему перу пополнить некролог и начертать пространную его биографию. Наше перо слишком слабо, чтоб изобразить и представить в полноте все величие ума, учености, патриотизма, деятельности и заслуг Ивана Сергеевича Аксакова пред Россией и славянством. Он жил, чтобы работать, и весь век свой работал так, чтоб и по смерти вечно жить. Действительно, его великий талант, его возвышенные идеи и его образцовая публицистическая, литературная и патриотическая деятельность не могут никогда ни затмиться, ни погибнуть. Он воплотился в своих делах и будет жить, покуда останется хоть один русский; ибо он посеял в сердцах русского народа добрые семена, семена без плевел, которые пали на добрую землю и должны принести желанный и обильный плод. Да, редко, весьма редко бывают смертные, кои бы украшались столь отличными качествами, как Иван Сергеевич Аксаков. В доме родителей он получил прекрасное христианское воспитание, а в школе – классическое образование; был необыкновенно честен, имел твердый, чистый характер и

крепкую волю, был редкий отчизнолюбец, неподражаемый публицист, даровитый оратор и поэт, глубокий философ, неистощимый писатель, образцовый гражданин, верный русский но отношению к Царскому дому и царству, великий славянин и по евангельским идеалам весьма благочестивый христианин. Все это ясно отражается в его сочинениях, в коих излиты его ум, его сердце и его душа. А об его христианском благочестии, сверх других бесчисленных доказательству, свидетельствует и то, что он завещал похоронить себя в Троице-Сергиевой лавре, воспевая с царем Давидом: «Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя: Господь утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него» (Пс 17 : 2 и 3).

Для Аксакова славянство и Православие были тождественны, и он сожалел о том, что все славяне не объединены по крайней мере верой и учением св. славянских равноапостолов и первоучителей Кирилла и Мефодия, в твердом убеждении, что только через Православную народную Церковь славяне могут сохранить свою народность и свой язык, а также скорее и легче достигнуть своей народной свободы и государственной независимости. И подтверждение этого убеждения было у него перед глазами: Сербия, Черная Гора и Болгария.

Вся жизнь Аксакова была благородною борьбой за свои идеи, свои начала, за свободу и самостоятельность народного развития, а вместе с тем за славу и величие Русского царства. Он не забывал ни славян южных, ни западных. Он им искренно желал, чтоб они освободились и перестали служить чужим и противославянским интересам, писал об этом и работал для этого самим делом. России же он желал, чтоб она переродилась по его идеалам на основе русской народной истории, преданий, обычаев и народной жизни прежней эпохи и преобразований Петра Великого. Все же, что взято с Запада и противно русской народной жизни и ее духу, что навязано ей и непригодно, Россия должна отвергнуть. Аксаков так любил свое широкое Отечество – Россию, что размышлял даже о том, как бы могла образоваться в ней русская народная культура на основе восточного христианства, независимая от западной, дабы таким об-

разом великий русский народ развивался по-своему и самостоятельно во всех отношениях. Мысль эта, как и все его мысли, имеет глубокое значение для России и славянства. Нет сомнения, что русские просвещенные патриоты, друзья народа, единомышленники и почитатели Аксакова, в особенности славянофилы, будут продолжать действовать в его духе и направлении. И это будет благовоннейший фимиам его русскому духу, прекраснейший венок на его могилу и лучшая память его имени.

Иван Сергеевич Аксаков как думал и был убежден, так говорил и действовал. Своих убеждений, своих начал и своего направления он не менял никогда, ни перед кем и ни за какие блага. Всегда, а в особенности с 1875 г. до последних дней жизни он оказывал могущественное воздействие на умы всех в России. Он принадлежал к тем редким, не только между русскими, но и европейцами, великим людям, к чьим словам и речам прислушивалась в последнее время вся политическая и образованная Европа. Это была сила нравственная – сила ума, сила философская, сила без власти и штыка. Русский народ вправе гордиться этим. А русская молодежь пусть изучает жизнь, светлый характер и великие патриотические дела своего Аксакова. Аксаков, вдохновленный идеей духовного единства всех славян, одушевленный братскою славянскою любовью и христианскими идеалами, энергически поднимал свой мощный голос за освобождение сербов и болгар. Его голос в последнее время был голосом русского народа. В истории всех народов редко встречаются люди, которые бы пользовались в своем народе таким неограниченным доверием, какое имел в русском народе Иван Сергеевич Аксаков. Голос его сильно отзывался в русском народном сердце, потому что народ понимал его, как свой голос. Народ русский, чувствуя как и Аксаков, говорил через его сердце и уста. Голос Аксакова доходил и до царского дворца и не бывал пренебрегаем. В особенности Царь Александр III обращает благосклонно свое царское внимание на русский народ и на мысли народных любимцев, как Аксаков.

Во время герцеговинского и боснийского восстания в 1875 г. и Сербской войны за освобождение и независимость в 1876 г. Аксаков, под-

вигнутый братскою любовью и славянскою идеей, организовал в России нравственную и материальную помощь, посылая на подмогу сербскому народу и русские деньги, и русских добровольцев. Это с похвалой записано на страницах сербской истории. Разве могут быть забыты те патриотические вдохновенные речи, которые говорил Аксаков, и те энергические статьи, которые он писал в пользу сербского и вообще славянского народа во время и после Сербской войны, – особенно та громовая речь, которую он произнес в Москве по заключении Берлинского договора в 1878 г. как председатель тамошнего Славянского благотворительного комитета и в которой он излил глубокую боль русского уязвленного сердца в сильнейших выражениях? Разве может быть забыт его русский гостеприимный дом, бывший всегда открытым для молодых сынов южных и западных славян, особенно сирот, искавших науки и воспитания в братской России? Нет, никогда! Мы ведь все знаем, что не было такого, кто бы в нужде протянул к нему руку и не получил; ибо в его русском благородном и христианском сердце были живы евангельские добродетели и слова Христа Спасителя: *Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут* (Мф 5 : 7).

Аксаков много начал, много и сделал. Но, увы! много он и унес с собою в могилу, ибо много он еще мог бы сделать, если бы Богу не угодно было переселить его из этого привременного мира в другой, вечный и райский, всего на 63-м году жизни. О, сколько потеряла в нем Россия, сколько потеряли в нем и остальные славяне, по-славянски мыслящие и чувствующие! Смерть Ивана Сергеевича Аксакова оплакивает его благородная, теперь осиротелая, горько опечаленная супруга, Анна Федоровна, дочь русского славного поэта Тютчева, коей да пошлет милосердый Бог душевную крепость христиански с терпением перенести этот тяжкий удар! Сожалеет о нем вся Россия от царского дворца до крестьянской избы, сожалеют все истинные славяне, особенно мы, сербы. О нем сожалеют многие и там, где нет славян, но где ценятся светлые умы, железные характеры, примерная честность, истинный патриотизм, нравственные доблести и возвышенные идеи, коими был одушевлен Аксаков до последнего своего часа.

Сербский благодарный народ нелегко забудет имя великого Аксакова и его братскую любовь и помощь в самые тяжелые дни своей новой истории. А Сербское ученое общество, потеряв в нем своего отличного члена, коим гордилось, выражает свое горе и благоговение к его памяти сегодняшнею панихидой, по христианскому и сербскому обычаю вознося ко Господу Богу теплые молитвы об упокоении души его.

Да будет мир его праху в Русской благословенной земле, которую он безгранично любил и для которой он жил! Да даст Всемогущий Бог светлой душе его на небе райское селение, а на земле, между славянами, его великому имени вечную память! Вечная память! Аминь.

ПАНИХИДА ПО И. С. АКСАКОВУ

(Из № 29 газеты «Уставност»)

В субботу, 8 марта, в 11 часов 30 минут в Белградской соборной церкви, по почину Сербского ученого общества совершена была панихида за упокой души И. С. Аксакова – великого русского и славянского патриота и писателя-публициста. Церковь была полна молящихся, мужчин и женщин. Присутствовали представители сербской интеллигенции и именитейшие граждане, русский посланник г. Персиани, с супругой, секретари посольства Боджио и Кукель, г. Шведов и все остальные члены депутации русского Красного Креста.

Панихиду совершал ректор семинарии, о. Никанор Ружичич, с двадцатью священниками и четырьмя диаконами. По окончании панихиды архимандрит Никифор Дучич сказал слово, в коем очертил деятельность усопшего и его заслуги пред Россией и славянством. Проповедник перечислил в своем слове и все то, что сделал почивший для сербов. Слово произвело на слушателей весьма хорошее впечатление.

Погода в день панихиды была прекрасная – настоящая весенняя. Само солнце сербского неба как будто радовалось, взирая на то, как

сербские патриоты и ученые молитвенным воспоминанием чествовали заслуги великого мужа, который своим великим умом и сердцем столь искренно и столь много послужил великому славянскому делу. Панихида в сербской столице по И. С. Аксакову, одному из отличнейших представителей славянской мысли, показала, что и в сербском народе имеет широкую и плодоносную почву эта возвышенная мысль. Добрые семена посеяны в сербском народе, и никто не в силах истребить их. Они должны принести обильный плод.

Отец архимандрит Дучич прекрасно выразился в своем слове, что И. С. Аксаков был сияющею звездой, которая рассыпала лучи свои не только в широком Русском царстве, но и по всему славянскому миру... Великие люди являются истинным откровением для народов, ибо через этих людей Провидение посылает народам великие и славные дела, счастье и благословение. Одним из таковых и был И. С. Аксаков. А эти люди не умирают, но живут вечно. И. С. Аксаков будет жить вечно во всем славянском мире, ибо последствия его трудов не умрут. Он будет жить вечно и в сербском народе, который он обнимал своим великим умом и сердцем. Слава, вечная слава да будет великому Аксакову!

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ

(Из № 13 газеты «Уставност»)

Великий русский и славянский патриот и публицист умер в г. Москве!

Кто был Иван Сергеевич Аксаков и какие дела составляют высоту и великое значение его, нельзя высказать в нескольких словах; удрученные скорбью, оставляем речь об этом до другого раза.

Аксакова хорошо знал и сербский народ. Всякий серб, хотя бы и поверхностно следивший за ходом народной жизни славян и мощного представителя славянского – России, знает Ивана Сергеевича Аксакова. Потому известие о смерти его сильною жалостью потрясет и сердца сер-

бов, как и сердца всего славянства, особенно православного. Но кто бы мог вполне рассмотреть непрозримую глубину, кто бы мог теперь как следует, по достоинству, оценить и описать жизнь и обширную деятельность Аксакова, который воплощал в себе идеал славянского патриота? Ум и сердце у Аксакова были в дивной гармонии, так что и враги славянские признали, что Аксаков был человек сильного и великого ума, высокого, благородного и пламенного сердца. Высота его ума и сердца видны были во всякой его деятельности, в каждой строке, им написанной. Кто прочитал хотя несколько строк, написанных пером его, тот чувствовал в себе сладость воды живой этой духовной пищи, которая одинаково животворно действует и на ум, и на сердце.

Аксаков был великий славянский патриот. Великий ум и благородное сердце его обнимало сербский народ и все славянство. Припомним наши войны за освобождение и независимость нашу, и мы найдем тут многие доказательства этого. Все заслуги и обширную деятельность великого Аксакова оценят лишь наши потомки через нескольких поколений, оценит История. А мы и теперь, и потом что́ напишем об Аксакове своими слабыми силами? Возьмем лишь несколько общих черт, чтоб исполнить свою обязанность – воздать должное другу нашего народа. Очень мала та свечка, которую зажигаем мы на гробе великого славянского патриота И. С. Аксакова...

Глубоко кланяемся пред гробом Ивана Сергеевича Аксакова и всенародно возвещаем ему: вечная тебе память! Слава, слава, слава Ивану Сергеевичу Аксакову!

ИВАН АКСАКОВ

(Из № 5-го газеты «Српски Лист», выходящей в Задре)

За одною могилой разверзается другая. После Суботича, владевшего милою сербскою лирой, умирает Аксаков, охватывавший все сла-

вянство. Грустно!.. Грустно, мы полагаем, каждому, у кого человеческое сердце в груди. Аксаков принадлежал к тем необыкновенным людям, которые, как представители великого народа, оставляют глубокий след в истории. Некогда из первых, нынче он был первый в знаменитом кружке тех избранных русских патриотов, которые старались очистить Россию от чуждой примеси, которые общественную и государственную жизнь в России хотели поставить на чисто народное, русское основание. Он был из первых и первый между великими людьми, которые проповедовали духовное единство всех славян. Он был, стало быть, вождь славянофильства. Он имел противников, но разве не имели их и все из ряда выходящие люди? И в России славянофильство находило отпор... Но мысль русских славянофилов остается непреоборимой, ибо непреоборимая истина, что Россия поражена была чужеплеменным наплывом, что и ныне она не свободна еще от чужеплеменного воздействия. Нигде, однако, славянофильство не имеет более ожесточенных врагов, нигде славянофильское учение злее не извращается, как у немцев, особенно в Вене. В Вене выдумали и страшилище панславизма. Австрийские немцы, которые рукоплещут всякому шагу князя Бисмарка к немецкому единству, которые радуются ему даже и тогда, когда немецкая идея находит свое выражение в зверском гонении на поляков, – эти кровожадные немцы вопияли против Аксакова, который проповедовал духовное единение славян. Дела Ивана Сергеевича Аксакова не могут быть изложены здесь во всей своей красоте и величии, потому что имя его, его семьи и его друзей тесно связано с историей Русского государства в нынешнем веке, с лучшими делами народа русского. Напомним лишь новейшие и самые блестящие моменты.

В 1867 г. открылась в Москве этнографическая славянская выставка. Эту выставку задумал и совершил Аксаков, председатель Славянского благотворительного общества. В Москве, в «матушке Москве», собрались представители всех славянских народов. Тогда в первый раз сказалось сознание славянского братства, и Аксаков одержал блистательную победу. В 1875 г. поднялась несчастная сербская рая[1], вооружась

кое-как, чем кто мог. На братский призыв загремел Аксаков, и пришла в движение вся Россия. На освобождение балканских народов Аксакову посыпались деньги, стали жертвовать пушки и ружья. Официальная Россия уступила народной воле и перешла Дунай. Официальная Россия запнулась на Сан-Стефанском договоре, в Берлине спасовала. Тут опять боль из-за оскорбленной народной гордости проговорила устами Аксакова. Его речь, сказанная в Славянском обществе, как острая стрела ударила в Берлинский договор и в русскую дипломатию. На этот раз его пламенная речь не прошла ему даром: Славянское благотворительное общество в Москве было распущено, а его председатель выслан в деревню на короткое время. Так поступили в России, а в каком-нибудь конституционном государстве его постигла бы тюрьма. Затем Аксаков снова предался своему призванию – журналистике. В своей газете «Русь» он продолжал проповедовать свои начала. На этом его захватил филиппопольский бунт,[2] и теперь – преждевременная смерть в тот самый момент, когда из этого первого облака на Балканы поднимается буря. Очевидцы рассказывают, как страшно он был раздражен этим событием. Да как и не раздражаться, когда неожиданный бунт, подготовленный славянскими врагами, нанес тяжкий удар идеалу Аксакова? В своей «Руси» он с самого начала и один во всей русской печати защищал болгарское объединение. Сербскому народу в Сербии он послал призыв: освободиться от нынешних управителей ради своей чести и достоинства. Не щадил он и официальной России... за что опять его постигла кара в виде предостережения.

Но его не стало. Печально погиб Скобелев после знаменитой речи в Париже (Немец, вот наш враг!). Оледенело сердце и у Аксакова, когда он громче всего должен был говорить. Самое сильное перо и самая острая сабля – сломались.

Но все-таки мысль его не погибла. Сам Император Александр III выражает соболезнование вдове Аксакова. Велик народ русский, и утешительную истину сказал поэт наш: «В великом народе гений вьет гнездо себе».

АКСАКОВ

(Из № 16 сербской газеты «Застава», выходящей в Новом Саде, на Дунае, в Южной Венгрии)

Тот, кто из-за славян потрясал свет, умер... и нам так тяжело стало, точно мы потеряли свет.

Иван Аксаков был великан. Когда он говорил, голос его раздавался по всей Европе, и к его голосу прислушивались на всем том широком пространстве, покуда простирается великая Россия. До сих пор не было публициста с бóльшим значением, чем Аксаков.

Любовь Аксакова обнимала все славянство одинаково. Если бы мы жили при более счастливых обстоятельствах, Аксаков, без сомнения, простер бы свою любовь на все человечество, но он видел, что славяне всех более угнетены, что они не имеют ни защитника, ни друга в широком мире, и он встал перед Россией и сказал: «Теперь ты должна вступиться за них».

Сербский народ за многое должен быть благодарен Аксакову. Он положил много, много труда для освобождения сербского народа от турок. А когда Пеко Павлович в 1875 г. начал кровавый хоровод свой на Балканах, Аксаков стал работать неутомимо. Наступили трудные обстоятельства для славян и России. Европа была против сербского дела, но Сербия и Черногория все-таки начали войну, вопреки советам русской дипломатии…

И пока сербские батальоны отбивали нападения турок, Аксаков со своими друзьями всколебал и воодушевил всю России. Когда дошло дело до Дьюниса[1], царь Александр II крикнул туркам: «Стойте»! Знаем, что произошло после этого. Общее мнение России подвигнуло ее на войну, и Русско-турецкая война 1877 г. – это преимущественно дело Аксакова!

Нам представится еще случай сказать больше о жизни Аксакова. Пока вспомним о том, что он действовал на поприще публицистики и просла-

вился всего больше как редактор «Москвы» и «Руси». Его высокую честность признают даже его противники и говорят: «Это – он, человек, вечно заботившийся о других и никогда не искавший для себя ничего».

Аксакова нет боле, но если бы его приятелями и друзьями овладело отчаяние, то это значило бы – осквернить его память, уменьшить цену всего его труда. Аксаков не был бы Аксаковым, Аксаков не был бы великаном, а карлой, если бы после такого его громадного труда легла в могилу та мысль, которой он был носителем.

Аксаков был великий друг сербов, он много сделал для сербов на Балканах. Да будет ему великая благодарность и по ту сторону могилы.

Великий Аксаков, мир праху твоему!

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ

(Из № 12 сербской газеты «Браник», издаваемой в Новом Саде (Neusatz), передовая статья в извлечении)

Телеграф принес нам печальное известие, что вождь славянофильской партии в великой России, Аксаков, умер. Известие это пришло неожиданно и как громом поразило всех друзей лучшей будущности славян. Сама природа как будто подает руку противникам славянства. Скобелев, Аксаков сошли преждевременно в могилу, оставив за собой следы своей огромной работы, но не дождавшись светлых дней славянского племени, хотя они больше всех потрудились в этом направлении.

Аксаков был симпатичнейшее явление. Он верил в способности неиспорченного русского народа, почерпал в этом свое одушевление, бодро прислушивался к биению русского сердца и являлся для русских государственных людей истолкователем его стремления. Он стал достойнейшим и неутомимейшим апостолом славянской мысли. Сильный, энергический и несокрушимый как в живой речи, так и в писаном

слове, он будил свой народ и указывал ему широкие перспективы в будущем. Таким образом, Аксаков явился любимцем русского народа и пламенным другом остальных славян на Балканском полуострове. Он проповедовал своему народу любовь к самому себе, к братьям своим, к тому нравственному союзу, который единит с Россией остальных балканских славян. Он учил, что эти народы на Востоке не имеют лучшего друга, как Россия, он ободрял своих земляков, объясняя, что Россия тогда именно является наиболее сильною, когда руководится славянскою мыслью.

И на холодном севере, и на теплом юге понимали его. Ныне всякий добрый серб в Сербии с благодарностью вспоминает русское имя; черногорец, произнося русское имя, скидает шапку. Что это так, это – великая заслуга Аксакова. В Славянских комитетах, которые поддерживали материально славян на Балканах, ему принадлежало решающее слово; он заставил русский народ возгореться гневом на турецкое насилие, он подвигнул официальную Россию на войну с Турцией, и таким образом возникли свободные государства на Балканах. Он научил балканские народы, что за высокими горами, за широким морем живет великий народ, который не отступится от них и не может отступиться. Он работал для осуществления великой славянской цели в Православии, которое считается славянскою Церковью, как протестантство германскою; сообразно со славянскими потребностями он боролся за здоровую культуру; он стоял за свободу, но полагал ее не в пустых формах Запада. Оттого противники славянства его ненавидели, западные славяне – не понимали. В нем жил великий деятельный дух, в груди его билось великое сердце, которое обнимало горячею любовью всех славян – и тех, что на Балканах, и тех, что в России.

И эти уста, проповедовавшие единство и согласие, онемели; и это великое сердце, которое было исполнено пламенной любви и великих желаний, перестало биться навеки! Аксаков сделал много и все-таки мало, потому что впереди перед ним оставалась еще великая задача; Аксаков видел довольно и опять-таки мало, потому что слишком корот-

ка жизнь человеческая для совершения того, что составляет задачу многих поколений. Но семя, которое сеял Аксаков, пало на добрую землю и должно принести плод. В последний смертный час Аксакову нечего было бояться, что он даром жил в этом мире. Его бренные останки примет земля и по естественным законам претворит в прах и пепел. Но он все-таки будет жить в тех живых делах, которые созданы его трудом и страданиями. Такие трудолюбцы, каким был Аксаков, не забываются, но живут вечно в благодарной памяти потомства.

Осиротелая великая Россия достойно оплакивает своего великого сына. Аксаков был первый сын русского народа. На его гроб канет искренняя слеза сожаления и сербского народа, ибо Аксаков был великий друг сербского народа на Балканском полуострове. Отпевание его тела не будет вместе и отпеванием его надежд, его желаний, его мыслей!

Слава памяти Аксакова!

АКСАКОВ

(Из № 57 сербского листка «Драшков Рабош», выходящего в Сплите — Спалато)

Ивана Сергеевича Аксакова, который неложно мог применить к себе слова: «Ныне отпущаеши с миром раба Твоего, Владыко», смерть похитила в Москве, 27 января сего года. С ним погасла в России звезда, величественно блиставшая на славянском горизонте. Все славянские братья лишились в нем брата-русского – праведного, смелого, непоколебимо стоявшего за веру-правду. Он первый воздвиг невидимую плотину, чтобы греко-славянский мир не потонул в мире германо-римском. Первый возвысил голос, чтобы в нашу кровь не проникла порча чужой крови, – первый отмежевал Восток от Запада. Служил народу и вере славянской с ревностью апостола, более всех проникнутый духом Св. Первоучителей Славянских. Был славен во всем свете как писатель – лучший из

лучших; был учитель, которого светлый пример не забудется в потомстве, был искра божественного зиждительного духа славянского.

Мир праху твоему, великий подвижник славянской правды! Серб над твоим прахом сердечно плачет.

Иван Сергеевич, твоя память не погибнет!

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ

(Из № 41 чешской газеты «Narodni Listy»)

Новый удар поразил всю великую славянскую семью. Брат, выдающийся духом и сердцем, брат благороднейший и деятельнейший, оставил нас и переселился в вечность. Нет возвышенного апостола славянской идеи, глубокого мыслителя, доброго русского патриота – Ивана Сергеевича Аксакова! Умер он третьего дня, 8 февраля (27 января) 1886 г. в Москве на 63-м году славной и деятельной своей жизни.

Заплачет не одна Белокаменная Матушка-Москва, горько опечалится не только вся громадная Святая Русь – зарыдает весь пробужденный широкий славянский мир от Урала и Кавказа до Шумавы[1] и высота Дормитора.

Ибо если в Аксакове русский народ оплакивает своего выдающегося сына, который, будучи одарен духом глубоким и пламенным, имел вместе с тем и сердце смелое, так что из любви к своему народу смелее и энергичнее, чем кто-нибудь до него, говорил правду в глаза абсолютному правительству, то остальное славянство теряет в нем друга преданного, мужа, который идеей славянских комитетов в России в высшей степени содействовал практическому сближению русского народа с остальными славянами, и кроме того, словом живым и пером замечательного публициста неутомимо, в течение двадцати лет, с огнем и твердостью настоящего апостола идеи, ширил в народе русском сознание его славянского призвания и задач.

Да, конечно, в Аксакове народ русский потерял одного из величайших деятелей, а все остальное славянство оплакивает потерю защитника и преданнейшего друга. Но потеряли ли мы его целиком и совершенно? Никоим образом! Люди такого духа и значения оставляют по себе для счастья народов светлый путь, ничем не затмеваемый: это – лучи светлых идей, лучи, которые освещают потомству путь и тогда, когда самая звезда уже потухла.

Это не фраза, это наше убеждение, когда мы говорим: эта мертвая ныне, холодная, как мрамор, голова, чело которой окружено, по обычаю Православной Церкви, белым венцом – знаком вечного покоя – думала и жила недаром! Мысли, которые в ней родились, не похолодеют и не умрут вместе с нею, но из нее, как из оторванной виноградной кисти, для нас истекает живительное вино, полное огня, жизни и правды...

Во время нашего съезда в Москве, в 1867 г., в первый раз слова Аксакова отозвались в тысячах славянских сердец в землях короны чешской. Во время приема славянских гостей в Москве, 1 июня 1867 г., Аксаков поднял чашу за братство между всеми славянами. «Отныне, – говорил он воодушевленно, – это братство призвано стать не отвлеченною только, абстрактною, как говорят немцы, идеей, не платоническим только, бесплодным чувством, а действительным, деятельным, животворящим фактом. Братство! братья! Как много сказано этими словами, невольно повторишь слова Хомякова:

О, вспомним ли, что это слово братья
Всех слов земных дороже и святей?

Я прибавлю: оно не только святей, но и сильней. О каком братстве говорим? О братстве полсвета! О братстве 90 миллионов братьев. Славянское братство не умещается в рамки географических и политических отношений. Член славянской семьи, который отказывается от братства, этим самым отказывается от своего существа. Но что такое братство? Братство значит любовь и равенство. Все велики, все сво-

бодны» – так сказал Хомяков о славянстве. В братстве нет ни высших, ни низших; братья – это значит все равны. Кто из них лучше и сильнее, на том лежит и большая ответственность. От того, кто много имеет, больше и требуется. Обязанность сильного – помогать слабому. На России лежит великая обязанность: Россия обязана осуществить на земле славянское братство и призвать всех братьев к свободе и жизни. Будем же блюсти это наше братство, как наше величайшее богатство, как наше драгоценное сокровище, как завет истории! Да будет далек от нас дух сомнения и гордости; да познаем все мы дух славянства! Все остальное приложится нам! Мы все здесь – рабочие одного общего дела. Дело это – осуществление славянского братства. Господа! поднимаю тост за нашу общую славянскую работу!..

И слова эти для Аксакова не были просто лишь словами: этот муж, истинно русский человек, мысли славянского братства посвятил все силы своей жизни! Он своею мыслью был всюду, где славянский брат страждет и борется за свою жизнь. Он работал посредством Славянских благотворительных обществ в пользу нравственного и материального подъема рассеянных славянских племен; его рука и голова видны всюду, где только идет дело о помощи угнетенным и преследуемым братьям, на Балкане ли, на Тимоке, на Влтаве или Лабе; при этом он напоминал русскому обществу, что помогать остальным славянам не есть дело великодушия, но святая нравственная обязанность русского народа, на котором, как на сильнейшем из всех славянских племен, лежит великое историческое призвание помогать славянам: освобождать угнетенных, подкреплять слабых, соединять несогласных и раздробленных.

Неутомимо он проповедует России, и притом не только народной, но и официальной, это сознание «исторического долга по отношению ко всем славянам; Россия, по его горячему убеждению, не должна допускать, чтобы славянство потеряло свою естественную почву в средине и на юге Европы. «Не должно более погибать славянское наследство». А когда 22 июня 1868 г. австрийский канцлер Бейст в частной беседе угрожал Палацкому и Ригеру, что-де он знает о русско-прусском плане,

по которому Россия в случае распадения Австрии не станет требовать для себя Чехию, Аксаков отвечал на это в своей Москве:

«Конечно, она бы не требовала для себя Чехии, но она бы никогда не смела допустить и не допустила бы, чтобы Чехия когда-нибудь была отдана Пруссии или Германии: это значило бы создать великую опасность не только для остальных славян, но и для самой России. Великонемецкая партия может утешать себя фантастическим планом великого немецкого государства – это старая песня, но мысль о присоединении к Пруссии новых славянских стран так противна интересам России, что русская дипломатия совершила бы величайшее злое дело, если бы на это согласилась, и навлекла бы такой позор на Россию, что его не смыли бы все наши победы в Средней Азии. Россия не нуждается в том, чтобы увеличивать свои владения чешскими землями, но в вопросе о судьбе чешских земель Россия никогда не может быть равнодушною. Напротив того, в случае распадения Австрии собственные выгоды России «прямо требуют от нас желать, чтобы между Германией и Россией созданы были нейтральные государства».

Аксаков был в русском народе самым горячим из тех деятелей, которым удалось вдохновить Царя Александра II поднять войну за освобождение славянского юга в 1877–1878 гг. Несколько раз, говорил сам Аксаков, Москва в эти годы посылала сотни тысяч рублей в Черногорию, Боснию и Герцеговину на помощь тамошним славянам против турок. Московское купечество вместе со Славянским благотворительным обществом создало тогда на собственный счет болгарский легион в Бессарабии, передало министерству несколько сот тысяч ружей, двенадцать крупповских пушек со всеми принадлежностями и т. д.

Понятно поэтому, каким справедливым гневом должен был воспламениться благородный дух Аксакова на те правительственные круги, на тех «духовных изменников» народа, которые, по желанию чужеземной шайки, имеющей многих представителей в русской бюрократии, старались лишить последнюю войну ее славянского характера, старались умалить значение по-славянски мыслящих военачальников и распространить

в народе нерасположение к «войне вынужденной». Тогда, после первых неудач русских войск под Плевною и в Армении, поднялся Аксаков, чтобы 8 октября 1877 г. в речи, которая сама была геройским подвигом, пристыдить этих людей «малой веры» и возбудить во всем русском народе, указав ему на его великое призвание и его великие обязанности в славянском мире, новое богатырское воодушевление: «Вперед! Россия не может уступить, мы должны победить: ибо уступить значило бы отступить».

И Россия благодаря своим богатырям, которых Аксаков увенчал венком своих феноменальных, полных красноречия и силы речей, действительно победила, а ее чудо-богатырь Скобелев стал пред воротами Царьграда. Но тут зависть старых врагов России составила заговор против нее; «честный маклер» Бисмарк зло отплатил России за все ее благодеяния, а русская дипломатия, потеряв голову, позволила разорвать Свято-Стефанский мир. Кто не знает и не помнит эту монументальную речь Аксакова в час Берлинского конгресса? Как ветхозаветный пророк, который презирает опасности и гнев властителей и провозглашает миру истину, как ему велит сердце, так тогда протестовал именем русского народа его геройский мыслитель и ученый против этого деления Болгарии, против этого унижения русской славы, против этой задержки славянства в его кровью добытом развитии.

История наших дней пишет послесловие к тем незабвенным речам Аксакова. Предсказание Аксакова исполняется: мир Берлинский распадается, южное славянство снова волнуется, Россия окончит свое дело, тогда уничтоженное.

Не забудь также и ты, чешский народ, тех золотых слов, которые написал нам Аксаков в своем знаменитом ответе д-ру Ригеру:

«Вам следует стараться о том, чтобы вы оказались достойными своего призвания и помнили о завете, происходящем из вашей славной чешской страны:

Нехвально нам в немцах искать правду,
У нас правда по закону своему.

Какая польза оттого, что народ сохранит свои физиологические особенности, если он не сохранит особенностей своего духа и потеряет свои нравственные особенности? Какой смысл имеет народность, когда лишится своего внутреннего, собственного, существенно отличающего ее от других содержания?»

Пусть подумают над этим словом все искренние наши патриоты, которые вместе с миллионами остальных славян в эти минуты восклицают благородному сыну великой России:

«Вечная ему память!»

Д-р Ц. (Автор не установлен.)

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ

(Из № 3 словенской газеты «Ljubljanski Zvon»)

Вся великая Россия горюет: она потеряла на этих днях благороднейшего из сынов своих, которого в особенности Москва с гордостью называла *своим* Иваном Сергеевичем.

С нею горюет и все славянство, ибо оно знает и болезненно чувствует, что нет уже мужа, который с такою сознательностью и безо всяких предубеждений любил все славянство горячею любовью. Среди благородной борьбы за глубокие убеждения смерть исторгла у него из рук золотое перо – перо, которое с одинаковою ясностью истолковывало нам прошлое, как и настоящее, и указывало нам пути для правильного, благополучного развития в будущем. Благородство ума и сердца признавали в нем все русские партии. И вот теперь, когда он так неожиданно закрыл глаза, не слышно порицательных голосов даже от тех, которые охотно нападают на славянофилов, так как, по их мнению, славянофилы мыслят или недостаточно «радикально», или недостаточно «реально».

И. С. Аксаков – сын известного русского писателя Сергея Тимофеевича (1791–1859), родился 8 октября 1823 г. Род Аксаковых весьма ста-

ринный; предок их, Семен, пришел в Россию с севера – «из варяг» – и породнился с Рюриковичами. Нынешние Аксаковы добились больших отличий – сначала отец, Сергей, и потом оба сына – Ивана и Константин. Из сочинений отца больше всех славятся: «Семейная хроника»« и «Детские годы Багрова-внука». Тут он изображает пред нами жизнь недавнего прошлого так ясно и самую природу рисует так художественно, что сравниться с ним могут лишь немногие. Тою же ясностью, соединенною с какою-то чарующею привлекательностью и теплотой, обладали и оба его сына, оба знаменитые славянофильские писателя.

Известно, что на исходе 30-х гг. этого столетия развились в России две партии: *славянофильская* и противоположная ей – *западническая,* и развились они именно вследствие неодинакового толкования русского прошлого и настоящего, а также разного понимания важности европейской культуры для России и славян вообще. Первые решительно восставали против великих реформ Петра, которые оторвали интеллигенцию от народа. Западники, наоборот, прославляли эти реформы – зачастую весьма преувеличенно – и не признавали мнения своих противников, что европейское влияние вредно и что русский народ (и славянство вообще) имеет достаточно задатков для культурной самостоятельности.

Те и другие стали заниматься русским народом гораздо более, чем прежде, и хотя жестоко враждовали между собою, оказали великие услуги русскому прогрессу. Западники, сверх того, не признавали положений своих противников: что вся европейская культура основана на «сухом рационализме» римского права и римской Церкви, что живое христианское чувство сохранилось лишь в Православии, что в России не было западного феодализма, что Запад гниет, но все-таки кое-чему научились; в особенности славянофилы научили их любить весь народ и заниматься положением самых низших народных классов, а также столь важною и занимательною «русскою общиной» (мир), в которой земля делится по числу мужских душ.

Великая заслуга в развитии славянофильской теории принадлежит Константину Аксакову (1817–1860). Он усматривает в старой рус-

ской истории полное единство между народом и властью, не видит в ней западного рыцарства с кровавыми преимуществами, не видит «западной насильственной религиозной пропаганды» и вообще «вечного драматизма страстей».

Старейшими защитниками этой партии были братья Иван и Петр Киреевские, Хомяков, Дм. Валуев, два брата Аксаковы (Иван и Константин), Юрий Самарин и другие. Пыпин («Характеристики». С. 338–339) порицает партию за то, что она была романтична и частью остается такою доселе, но хвалит ее все-таки за любовь к простому народу и за старание найти внутренние основы народного характера, без чего не может быть объяснена история народа и государства. Первым чисто славянофильским журналом была ««Русская беседа», основанная в 1856 г.

Иван Сергеевич занимался сначала поэзией, и весьма успешно, потом посвятил себя журналистике, которой остался верен до смерти. Был редактором «Паруса», а с 1852 г. начал издавать «Московский сборник». Но в том же году на него донесли, будто он принадлежал к тайному политическому обществу, и его постигло наказание, как и некоторых других выдающихся людей: он был причислен к политически неблагонадежным, лишен возможности издавать какую бы то ни было газету в России и принужден даже совсем оставить свою милую матушку-Москву. Но после Крымской войны, когда вся Россия начала дышать свободно, Аксаков снова получил возможность действовать публично. Его голос был слышен и имел силу по всей России, и он много помог благополучному совершению одной из важнейших реформ – освобождению крестьян (в 1861 г.). Так же точно и за другую важную реформу – за классические гимназии – он горячо ратовал сообща со своим единомышленником М. Н. Катковым, и в нынешнем году (в «Руси» от 30 января) порицал «бесплодный, мертвый классицизм», который не сроден русскому духу и задерживает развитие народа. Он требовал в этой статье, чтобы было обращено внимание на важный вопрос о национальной (независимой от классицизма) педагогике.

В 1861 г. Аксаков стал издавать чисто славянофильский «День» (1861–1867), потом «Москву» и за нею «Москвича». Оба последние издания были запрещены, потому что Аксаков с мужественною откровенностью порицал в них ненародные мысли русской интеллигенции и ненародную, неславянскую политику. Писал потом в других изданиях и горячо защищал свои убеждения – и в них, и в публичных собраниях, особенно как председатель московского Славянского благотворительного комитета. А когда началось восстание в Герцеговине, когда зашевелились Сербия и Болгария, Иван Сергеевич развил столь неутомимую деятельность, показал такое одушевление славянским делом, что огонь, согревавший его благородное сердце, зажег тысячи и тысячи, которые или жертвовали деньги, или как добровольцы проливали кровь свою в боях против турок. Когда же пробужденное общее мнение заставило наконец русскую власть объявить туркам войну, великий московский отчизнолюбец работал день и ночь, ободряя русский народ и стараясь удержать его на высоте его великой, с таким одушевлением подъятой задачи – освобождения славян от турецкого ига.

Тут вступил русский народ на тот путь, который Аксаков с такою радостью называл его «историческим призванием»: он проникся весь ясным сознанием своей исторической задачи, и благородная готовность на жертвы вторично (в первый раз – в эпоху Наполеоновских войн) достигла в этом столетии той высоты и той силы, к которой способны только великие исторические народы. Но злосчастный Берлинский договор уничтожил вскоре все приобретения славных русских побед, и Аксаков в Москве громко осудил это поражение русской дипломатии. Московское Славянское общество было закрыто, и Аксакову выразил порицание сам Царь. Аксакову на некоторое время пришлось совсем расстаться с Москвой. Эта царская немилость должна была тем болезненнее на него подействовать, что он по убеждению ревностно стоял за самодержавие Русского Царя и только желал, чтоб и народ получил некоторое влияние в государстве и чтобы таким образом было ограничено вредное преобладание чиновничества. Но это

народное участие он понимал не по рецепту европейской конституции: оно не ограничивало бы царской власти, а имело бы лишь голос совещательный. Как тепло и сколько раз потом он развивал и защищал эти свои взгляды, когда с 1880 г. стал издавать «Русь»! Как горячо он доказывал, что Петербург не понимает России и что легкоумное подражание Западу с Петра Великого не принесло добрых плодов, что оно еще более разделило народ и что, следовательно, народ всеми силами должен стремиться к прежнему единству.

Он поддерживал и защищал Православие, где оно было в небрежении (например, в западных губерниях), стоял за распространение его в балтийских окраинах (между латышами и т. д.), дабы ослабить преобладание там немецких баронов и немецкого мещанства... Полякам он не был враждебен по принципу.

Немцев не любил и неоднократно предостерегал, что их расселение в пограничных губерниях (в Польше) опасно в народном, политическом и хозяйственном отношении. Хозяйственная самостоятельность России составляла вообще заветнейшее его убеждение, и потому он с радостью приветствовал всякий правительственный шаг, всякое вообще предприятие, направленное к подъему крестьянства, торговли и промышленности. Он горько жаловался, когда видел, что чиновничий Петербург показывает мало настоящего понимания русских хозяйственных нужд, что он, находясь будто бы «на высоте современного понимания хозяйственных задач и финансовой политики», идет бессознательно по тому пути, на который толкает его себялюбивая чужеземная спекуляция. Тяжело ему было видеть, что в последние годы Берлин неоднократно устанавливал курс русского рубля и русских кредитных бумаг вообще или что в Петербурге жгут бумажные рубли, выпущенные в Русско-турецкую войну, единственно для улучшения курса, о котором русский народ, верующий в свою мощь, весьма мало думает, заботясь лишь о том, чтобы было довольно денежных знаков.

Его любовь ко всему славянству была сознательная, живая, твердая. Его не смущала даже явная неблагодарность славянских племен к

России, которая так много для них сделала и с такими жертвами. У него любовь эта не ограничивалась, как у некоторых других знаменитых славянофилов, одним православным славянством: где только страдало или страждет славянство от несправедливости и себялюбия других народов, оно всегда находило в нем сочувственный отклик. Между русскими он со всею горячностью будил славянское чувство... боролся за славянство против чужеплеменников не из зависти, а из любви к правде, боролся сознательно, с тою мужественною решимостью, которую дают человеку глубокая убеждения и – любовь.

За то любила его и чтила вся Россия, за то горюют об нем все русские – от Царя до крестьянина, горюет об нем славянство, и телеграф разнес по всему свету известие, что об Аксакове горюет вся Россия, которой ныне на новый год он так горячо пожелал «бодрости духа» и «бодрствований, ибо близятся великие испытания».

Замолк голос славянской любви, не бьется уже благородное сердце великого патриота – патриота с непоколебимым характером, неустрашимого, неподкупного, храброго борца за славянское преуспеяние. История воздаст ему должное и скажет об нем: он много любил, много страдал за свои убеждения и заслужил себе славную память!

Д-р Ц.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ

(Из № 2 словацкаго журнала «Slovénske Pohl'ady»)

Умер великий муж славянский, искренний друг нашего словенского (словацкого) народа, хотя главное его старание было обращено на восточных братьев наших.

Великий патриот русский и великий носитель славянской мысли сошел в преждевременную могилу. До последней минуты он трудился над великим делом, огорченный превратностями текущей политики,

но сильный верою и ни на шаг не отступив от единственного прямого пути, которого должен держаться всякий истинный славянин.

Да будет ему вечная память, да будет легка ему земля священной лавры Троицкой!

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ

(Из № 7–8 славянской газеты «Parlamentärr», издаваемой в Вене на немецком языке)

8 февраля (27 января) умер в Москве на 63-м году жизни, от разрыва сердца, издатель и редактор еженедельника «Русь» Иван Сергеевич Аксаков – один из выдающихся провозвестников славянской мысли в русском племени. Все славянство оплакивает кончину этого доблестного мужа, положившего все свои силы на осуществление исторической славянской идеи в русском племени. Пламенная любовь Аксакова к славянству и отдельным его племенам в полной мере сказалась в руководящей статье «Руси» (№ 30 от 25 января), написанной им за два дня до кончины. Аксаков приветствует в этой статье князя Черногорского, пребывающего ныне в Петербурге, указывает на задачу могучего и независимого русского племени по отношению к малым и слабым, большею частью не свободным, родственным ему славянским племенам, критикует русскую политику на Балканском полуострове и в конце обсуждает речь Бисмарка против поляков. «Из нее видно, – говорит он, – какую опасность усматривает для себя Германия в присутствии не только польского, но вообще славянского элемента как в своих восточных провинциях, так даже и в австрийской Богемии. Русские получают внушение вступиться за славянство. Русские ни в каком «случае не должны отказываться от славянства; сделай они это, Россия перестанет быть не только русским, но и славянским государством и сойдет с своего всемирно-исторического пути... Могу-

чий борец за славянскую идею в русском племени, Иван Сергеевич Аксаков умер, но славянская идея, но мысль о братстве и взаимности славянских племен, о создании единого славянского культурного народа живет и действует ныне между русскими со стихийною силой. Не реальными интересами, но славянским чувством должен руководиться русский народ во всех своих народных действиях – доказывал в последнее время очень часто Аксаков. Ивану Сергеевичу Аксакову, личное знакомство с коим мы вменяем себе в высокую честь, подобает истинное славянское прощание: «Вечная память»!

Д-р К. Живный.

Вильгельм Генкель

ИВАН АКСАКОВ

(Из № 90 мюнхенской «Allgemeine Zeitung» от 31 марта, Beilage)

К выдающимся людям России, которые были похищены смертью в последнее время, принадлежит, бесспорно, Иван Сергеевич Аксаков, скончавшийся 8 февраля сего года в Москве, на 63-м году жизни, от разрыва сердца, и похороненный в знаменитой Троице-Сергиевой лавре, в 66 верстах от Москвы. Иван Аксаков происходит из дворянской семьи, весьма известной в истории русской литературы. Отец его, Сергей, и брат, Константин, принадлежали тоже к самым уважаемым писателям их Отечества. Иван учился в Петербурге, в Императорском училище правоведения, где воспитываются преимущественно дети русской высшей аристократии. Свое литературное поприще он начал стихотворными опытами, которые, однако, не произвели особенного впечатления. В 1853 г. он исполнил поручение Императорского Географического общества исследовать условия торговли на украинских

ярмарках. Эта работа доставила ему большую Константиновскую медаль Географического общества и половинную Демидовскую награду Академии наук. Еще прежде, в 1848 г., по поручению Министерства внутренних дел, он занимался исследованием сектантства в Бессарабии и исполнил некоторые другие поручения того же министерства. В 1855 г., в Крымскую войну, он поступил в ополчение, но, когда заключен был мир, находился еще только в Одессе и потому в военных действиях не участвовал. Позднее он принадлежал к комиссии, на которую было возложено расследовать злоупотребления по продовольствию войск, но вышел из этой комиссии до окончания ее работ.

Публицистическая деятельность Аксакова начинается в исходе пятидесятых годов. Тогда стал появляться в Москве славянофильский журнал «Русская беседа», где Аксаков поместил ряд статей о западных и южных (балканских) славянах. В 1858–1859 гг. Аксаков был не официальным, но фактическим редактором этого журнала. В 1859 г. он попытался издавать еженедельную газету «Парус», но по цензурным условиям принужден был оставить эту попытку после второго номера. Затем литературная деятельность Аксакова на некоторое время прекратилась; только к концу 1861 г. он выступил опять с новою еженедельною газетою «День». С изданием этой газеты открылась наконец плодотворнейшая эпоха деятельности Аксакова. Условия времени были благоприятны: на очереди стоял вопрос об освобождении крестьян и подготовлялась судебная реформа. Вскоре потом выдвинулся еще на первый план вопрос польский, притом не в той острой форме, которую этот вопрос принял позднее. Сверх того, герцеговинское восстание подвинуло дела балканских славян. Во всех этих вопросах газета «День» принимала самое ревностное участие. Даже некоторые поляки, между прочим, Грабовский, пытались тогда в газете Аксакова разъяснять противоположности между поляками и русскими. Эта русско-польская полемика представляла много интересного. Равным образом и другие славяне поднимали свой голос в газете Аксакова. Словом, «День» стал возбуждать столь живой интерес, что число его

подписчиков в самом начале издания дошло до 4000. Однако уже в 1862 г. его поразил первый удар: он был приостановлен за критику положения дел в Балтийском крае.

Польское восстание 1863 г. произвело некоторую перемену в воззрениях Аксакова: его суждение о поляках стало резче, насчет сотрудничества их в аксаковской газете не могло уже быть речи. Значительная часть русских тоже отвернулась от Аксакова, когда он стал высказывать сочувствие Муравьевской системе. Тогда главное внимание он обратил на подъем русского народного чувства в западных областях империи. Газета «День» выходила до конца 1865 г., причем неоднократно принуждена была появляться перед читателями с пустыми столбцами вместо передовых статей. В начале 1867 г. Аксаков стал издавать ежедневную газету «Москва», которая держалась того же направления, что и «День», и сверх того была энергическою защитницей покровительственной таможенной политики. Вскоре, однако, новая газета была приостановлена за статью о голоде на севере России. Правительство отрицало существование этого голода. Вообще по отношению к Аксакову цензура держалась странной точки зрения. Его смелые, откровенные речи без утайки фактов, которые не хотелось разоблачать, толковались как «колебание государственных основ». Впоследствии убедились, что тут опять сыграло шутку пресловутое «недоразумение» и что взгляды Аксакова весьма удобно можно было примирить с консерватизмом, даже довольно притязательным. «Потрясение государственных основ» смешали с задеванием слишком чувствительного бюрократического самолюбия. «Москву» многократно приостанавливали, и тогда издатель заменял ее обыкновенно другою газетой, «Москвичом», который имел то же направление и основан был, собственно, для замены им «Москвы», когда в этом окажется надобность. Однако в 1868 г. «Москва» и «Москвич» были окончательно запрещены.

Публичная деятельность Ивана Аксакова была посвящена прежде всего своему народу и затем славянскому миру. Он принимал живейшее участие во всем, что волновало русские общественные

круги, и принадлежал к числу людей, занимавших в этих движениях выдающееся положение. Все реформы царствования Александра II, все вопросы, занимавшие Русскую империю в последние десятилетия, в особенности же польский, о нерусских славянах и их освобождении, сопровождал Аксаков своими советами и предостережениями, причем как его голос, так и его организаторская деятельность имели весьма важное значение.

Политическую точку зрения Аксакова невозможно подогнать в рамки общеизвестных определений; вполне и совершенно его нельзя причислить ни к консерваторам, ни к либералам, ни к радикалам или иным каким-либо политическим группам. Обыкновенно его называли славянофилом, но и это определение, строго говоря, к нему не подходит, потому что его убеждения отнюдь не всегда совпадали с убеждениями прочих вождей славянофильской партии. У Аксакова было свое особенное, совершенно самостоятельное миросозерцание; основную черту его натуры составляло чувство национальности, вера в русскую народную душу (Volksseele), оригинальность и высокое достоинство которой он всегда противопоставлял иначе сложившимся особенностям других народностей. С этим чувством и с этою верой были также в согласии его религиозность и его приверженность к русскому Православию, которое он считал неотделимым от русской народности. Его симпатии к славянству проистекали из сознания единства всех славянских племен; эти симпатии он перенес также и на допетровскую эпоху России, усматривая в преобразованиях Петра Великого и его преемников вредное преобладание чужих, нерусских влияний. Не всегда его можно признать свободным от односторонности и нетерпимости по отношении ко взглядам, несогласным с его собственными; эти свойства составляли основные черты его глубоких и искреннейших убеждений. Но со своими противниками он боролся всегда средствами благородными и чистыми, почему даже его непримиримейшие враги не смели коснуться чистоты и честности его характера. Его страстная природа могла увлекать его иногда до непо-

следовательностей и даже пристрастия, особенно в вопросах, касавшихся русской и славянской народности. Хотя права чужих народностей он большею частью уважал, однако же его страстность, когда возгорались споры национальные, увлекала его иногда за пределы справедливости и равноправия национальностей, что имело место и тогда, когда пришлось определить границу между сферой русских и польских интересов. Аксаков вовсе не был приверженцем системы насильственного полицейского подавления польской народности. Он не считал задачей России порабощать польский элемент, но желал подъема и оживления русского народного чувства, дабы этим путем доставить победу русскому элементу. Вот причина, почему он выступал преимущественно за освобождение польского крестьянина, желая снять с него путы польского дворянства. Антирусским течениям он хотел противопоставить русскую организаторскую деятельность, которая должна была привлечь симпатии польского народа. В славянском вопросе Аксаков не был вовсе приверженцем теории внешнего единства славян, которое достигалось бы путем принудительного давления на отдельные племена; теоретически он признавал за каждою народностью право на самостоятельность и стремился главным образом ко взаимному нравственному сближению и солидарности, хотя по временам, в отдельных случаях, и отступался от этой точки зрения. Его политическим идеалом было: восполнить существующую правительственную форму через введение совещательного элемента, через организацию публичной деятельности, через свободу совести и печати, свободу веры и сомнения и он верил в осуществимость подобного соединения.

Большую часть своей деятельности посвятил Аксаков Славянскому благотворительному комитету, основанному 25 лет тому назад. Можно смело сказать, что он был душою этого комитета, особенно в 1876 г., во время восстания в Герцеговине и Сербии. Он стоял тогда во главе агитации за сербов, болгар и герцеговинцев. По окончании Турецкой войны Аксаков самым беспощадным образом осудил уступ-

чивость русской дипломатии на Берлинском конгрессе. Он произнес тогда в Славянском обществе столь резкую речь, что общество было распущено, а сам Аксаков выслан в деревню.

Аксаков занимал также место в Московском купеческом обществе взаимного кредита; ему нужно было это место из-за соединенного с ним жалованья, так как другие его доходы были недостаточны для обеспечения ему средств к жизни.

К концу 1880 г. Аксаков возобновил свою журнальную деятельность и стал издавать газету «Русь», которая выходила до самой его смерти. «Русь» отличалась от его прежних газет в нескольких существенных пунктах. Круг его сотрудников был меньше, физиономия газеты несколько иная; чаще попадались непоследовательности, нетерпимость и односторонность. Так как Аксаков был по преимуществу человек чувства, то при этом играло, быть может, и влияние старости. Однако и в «Руси» бывали превосходные статьи, из коих мы укажем здесь две: против врагов судебной реформы и об излишествах (Ausschreitungen) классицизма в средних школах.

Искренность и прямота были преобладающими свойствами Аксакова, и эти свойства извиняли многое, что не нравилось в нем нам и другим, не сочувствовавшим направлению его деятельности. Аксаков был благомыслящий, одушевленный, честный и неутомимый трибун; даже тогда, когда речь его звучала немного фразисто, когда утомляли частые повторения, нельзя было не признать бьющего в ней живого чувства, хоть оно и не всегда с достаточной ясностью открывалось.

Вдова Аксакова на следующий день по смерти своего супруга получила от Их Императорских Величеств телеграмму с выражением душевного соболезнования. Московское городское управление решило поставить портрет Аксакова в зале Думы и учредить на память об нем стипендии в Московском университете. В торжественной панихиде в Казанском соборе в Петербурге участвовали министры, генерал-адъютанты Императора, профессора и т. д. Богослужение совершал Сербский митрополит Михаил.

ЛАТЫШСКИЕ ГАЗЕТЫ О КОНЧИНЕ И. С. АКСАКОВА

I.

Латышская газета «Rota» («Краса») поместила в своем № 10 от 11 марта изображение Ивана Сергеевича и посвятила его памяти статью. <…>

В этой статье после короткого жизнеописания покойного и перечня его литературных произведений газета говорит: «Смерть славного писателя была сильным ударом для всей России. Как в столицах, так и во всех других местах обширного русского отечества были по покойном отслужены панихиды. Отовсюду вдова Ивана Сергеевича получила соболезнующие телеграммы. Мало того: даже наш Государь Император удостоил ее телеграммой в знак уважения к памяти великого патриота…

Во внимание к великому значению деятельности И. С. Аксакова вообще и к его теплому заступничеству за латышей в особенности представители латышской печати послали глубоко огорченной вдове покойного телеграмму следующего содержания: (следует телеграмма, напечатанная в «Руси», № 32)…

31 января был день похорон Ивана Сергеевича. Похороны представляли небывалое зрелище: людей, принимающих сердечное участие в этом скорбном торжестве, было столько, сколько собралось разве только на похороны славного генерала Скобелева.

«Если б покойный знал, что он пользуется таким почетом, то у него явились бы новые силы», – сказала, как утверждают, вдова покойного.

И. С. Аксаков написал много. Самые лучшие произведения, помещенные в его периодических изданиях, писаны им самим. Он работал неутомимо, видя в патриотическом труде свой долг, задачу своей жизни. Обращалось ли его слово к друзьям или к противникам – всегда и во

всем оно являло неподкупную честность и глубокий патриотизм. Вот почему его слову внимали с глубоким уважением. Он был писатель, который строго держался своих убеждений и который умел согревать сердца и убеждать умы. Основой его мыслей и стремлений были: правдивость, любовь, вера и непреклонное искание добра».

Статья названной латышской газеты заканчивается выдержкою из речи профессора Бестужева-Рюмина, к которой «Rota» от себя прибавляет следующие слова: «Не забудем этих слов. И. С. Аксаков был горячим защитником и наших интересов. Мир праху его!»

II.

Тотчас по получении телеграфного известия о кончине Ивана Сергеевича латышская газета «Baltijas Westnesis», от 29 января, напечатала следующее: «Русский народ понес весьма чувствительную потерю: один из его самых славных патриотов и политических писателей, редактор «Руси», Иван Сергеевич Аксаков, скончался от разрыва сердца. Уже в прошлом году было сообщено о его болезни, которая заставила его предпринять путешествие в Крым, так что газета «Русь» приостановилась на некоторое время. Несколько времени спустя нас обрадовала весть, что он будто выздоровел. Он воротился в Москву и продолжал издавать свою газету. Но видно, что полного исцеления не было достигнуто: старый недуг сломил знаменитого писателя. Иван Сергеевич Аксаков принадлежал к так называемым славянофилам, которые стремятся освободить русский народ от иноплеменного и чужеземного умственного и духовного ига и руководства; он принадлежал к славянофилам, которые держатся того мнения, что всестороннее развитие русского народа должно быть самостоятельным, должно быть народным и что не следует искажать свою природу из слабохарактерной страсти к подражанию чужим. Иван Сергеевич твердо стоял за подъем простого русского человека и за самоуправление в разных областях России. Поэтому ему часто при-

ходилось писать против бюрократии, против лиц, высоко стоящих, и этим <получить> себе немало врагов. Но он не дал себя своротить со своего пути. Во внешних делах он постоянно отстаивал национальную политику и был решительным противником союза России с Германией и Австрией. К тому же он неуклонно защищал интересы разных небольших славянских племен, а также и интересы латышского народа. Смерть И. С. Аксакова произведет в русской политической литературе большой, невосполнимый пробел. Замечательная газета «Русь» по всей вероятности прекратится вместе со своим творцом – редактором-издателем».

А. И. Кирпичников

ДВА СЛОВА ОБ И. С. АКСАКОВЕ

(Из № 35 «Одесского вестника», 1886 г.)

Нижеподписавшийся менее многих из своих земляков и товарищей может иметь претензии сказать что-нибудь новое о недавней великой потере: он почти не знал И. С. лично; непосредственного отношения к науке, помимо специальных интересов славяноведения, покойный не имел; а посредственно, через брата Константина, он принадлежал к тому учено-литературному кружку, который временами заметно расходился с университетской исторической школой. Но над незасыпанной могилой никто не ждет спокойного и всестороннего обсуждения деятельности человека; потеря полезного и честного деятеля родной земли – один из тех моментов, когда лучше сказать что-нибудь, чем молчать, навлекая на себя упрек в тупом равнодушии.

И. С. Аксаков, говорим мы, не человек науки; он поэт и публицист; если б он был только поэтом, он и тогда не был бы забыт в истории русской мысли и словесности, но его заслуги на поприще публицисти-

ки совершенно заслонили начало его литературной деятельности; мы будем говорить о нем только как о публицисте.

Мы считаем себя вправе иметь об этой деятельности свое мнение не только потому, что оценка деятельности публициста доступна всем и каждому, но и по той специальной причине, что основная идея, смысл лучших статей Аксакова стоит в непосредственной связи с наиболее плодотворной и живой идеей современной исторической науки.

Русская публицистика, как известно всем, еще очень юна; не одни дряхлые старики помнят, как она зародилась на свет Божий. В предпрошлое царствование вышла она, как известно, из литературной критики; сразу показала себя честной и умной, не вполне откровенной, но не по своей вине; в лице Белинского она явила себя не только талантливой, но проникнутой высшими идеями гуманности, любви к человечеству и к истине, идеями, которые были часто чужды ее старшим, более эгоистическим сестрам. В этой доброй стороне зарождающейся русской публицистики была и своя доля зла, признаться, довольно значительная: ее мечтательный идеализм, ее отдаленность от жизни столько же обусловливались цензурными стеснениями, сколько и печальным общеизвестным фактом русской истории: беспочвенностью нашей интеллигенции. Не личная воля Петра, а целый ряд неодолимых фактов оторвал наши правящие классы от народа; при Петре и его наследниках они оделись культурным слоем, и ко времени Белинского из них выделился кружок безусловно честных, широкообразованных, глубоко преданных идее людей, более европейцев, нежели сами жители Западной Европы. С неустанной энергией боролись они с окружающим мраком, эгоизмом и невежеством, боролись до смерти. Мы им обязаны многим, обязаны, пожалуй, всем хорошим, что сделано в предшествовавшее царствование; но благодарность не должна мешать нам видеть их невольные ошибки; они были европейцами в лучшем смысла этого слова, но русскими были только по имени и, пожалуй, по любви к России; не только народ их не знал, но и они не знали народа; они любили его, но любовью идейной, головной, при всей

пылкой ненависти к его утеснителям, при всей гуманности своей они смотрели на него как на стадо баранов, как на бесформенную массу и, как лекари у постели больного ребенка, толковали вкривь и вкось о его будущей судьбе, не справляясь с его желаниями и только в общих чертах зная его натуру.

Пришла другая пора; наступило новое царствование, все заволновалось и задвигалось, и публицистике был предоставлен широкий простор, очень широкий, сравнительно с прежним явились партии, горячо ненавидящие друг друга, явились таланты и талантики; публицистика стала средством наживать не только славу, но и деньги; замутилась до тех пор чистая вода русской мысли, зато разлилась она широкой волной... Мы воображали, что стали совсем-таки европейцами; только бы нам побольше свободы, и мы все обсудили бы, все устроили, нашли бы лекарство от всех наших бедствий. Ни в талантах, ни в образовании, ни в добрых стремлениях недостатка не было; но был недостаток в знании почвы, в органической связи между народом и людьми, которые формально исполняли роль его представителей. Если хотите, были и есть действительные представители и у нас, но вопрос в том, кого они представляют? Один представляет интересы и высказывает взгляды (им же созданные) нескольких сот ландлордов и крупных чиновников; другой подлаживается к вкусу и инстинктам (не всегда лучшим) нескольких десятков тысяч грамотных лавочников и так называемых разночинцев; третий, наконец, пытается руководить взглядами миллионов грамотных и неграмотных крестьян, а на самом деле занимает досуг тысячи волостных писарей и урядников. Но разве Россия и русская газетная публика одно и то же? Если это так, то все географии врут и народонаселения у нас в 20, в 40 раз меньше, чем в Саксонии. Или эти 99 с половиною миллионов – бесформенная масса, руководимая сливками из урядников, ландлордов и просвещенных лавочников? Не они ли по своему легкомыслию, ветрености и понятной робости перед окружающей силою руководятся в серьезных случаях жизни инстинктами этой массы?

Да, они ей подчиняются, как это доказал и 12-й год, и 1861 г., и последняя война, и множество неудачных попыток влиять на народ или даже предугадывать его движения; как это доказывает вся история и всякая история, и древняя, и средняя, и новейшая. Но кто же у нас представляет интересы и идеалы этой страшной силы, которая мир перевернуть может? Кто у нас был или есть публицист русского народа, посильно выражающий его мысли и воззрения?

Еще две недели назад был такой; самый непрактичный, самый бессребренный, самый смелый, почти одинаково уважаемый друзьями и врагами, самый чистый умом и сердцем из русских журналистов – И. С. Аксаков. Теперь нет его, и он в землю зарыт близ древней русской святыни, у Сергия Троицы. Когда отдавали ему этот последний долг, над ним сказал слово, вслед за другими, и крестьянин; это на моей памяти первый случай, когда над могилою журналиста говорит через своего представителя серый народ.

Откуда же такое исключительное положение Аксакова? Ведь он сын дворянина и писателя, стало быть, родился в среде культурной по преимуществу, воспитывался в аристократическом привилегированном заведении, жил в верхнем слое сливок русского общества… Откуда же у него одного эта близкая связь с народом и чуткое понимание его высших интересов и идеалов, почти эпический дар выражать общие мысли, оставаясь индивидуально свободным? Со временем обстоятельно разберут этот важный вопрос и укажут, конечно, какую роль в этом играла нравственная чистота человека, никогда не думавшего о личной пользе или о торжестве своего самолюбия, но больше займутся общими сторонами вопроса, выяснят фактами, что, например, идея славянского единения бессознательно или полусознательно проникает всю русскую историю с самого XVI в., выяснят генезис идеалов славянофильского кружка и причины их совпадения с коренными началами русской жизни и т. д. Но кое-что, по моему мнению, можно понять и теперь.

Каким образом из аристократической семьи вышел такой народный деятель, как Иван Аксаков, всего лучше объясняет нам «Семейная

хроника», одно из лучших, самых характерных и здоровых произведений русской литературы. Из нее легко усмотреть, какая громадная разница была между помещичьей деревенской семьей и проникнутым западною культурою дворянством городским. Знаменитый дед автора, изображенный под именем Багрова, гордился своим старым дворянством, но по своим воззрениям, по хорошим и дурным чертам характера, даже по образу жизни он стоял гораздо ближе к крестьянству, нежели к отцам Фамусовых и Репетиловых; он был прям и честен, как Илья Муромец, благодушен, как он; но в минуты гнева он также таскал за косы свою жену и колотил своих дочерей, как любой из его подданных или подгородных мещан. Его сын Тимофей был лишен его выдающихся достоинств, но зато свободен и от резких недостатков его полудикой натуры, между прочим, он совсем не понимал дворянской гордости, и у этого кроткого, малообразованного, но от природы неглупого человека нашлось бы несравненно больше общих интересов и предметов разговора с любым мужичком или дворовым, нежели с героями петербургских салонов. Внук полудикого оренбургского колонизатора, воспитанный умной и образованной матерью, прошел гимназию и университет, свободно говорил и читал по-французски, но все же оставался крепко и прочно связанным с деревнею – от первой насильственной разлуки с нею он едва не умер, – и для меня нет сомнения в том, что эта связь впоследствии была одной из причин, обусловивших его литературное и политическое направление, до известной степени обусловивших и образование славянофильской партии.

Если предполагать, что термины «славянофильство» и «западничество» имеют жизненный смысл и до сих пор – конечно, не такой, как 40 лет назад – пишущий эти строки должен отнести себя скорей ко второй группе, но это не мешает ему признавать важность заслуги вожаков другой партии, не может препятствовать ему и никому другому признать связь между основным их принципом и самым здравым и влиятельным принципом современной исторической науки, эта-то связь, по моему мнению, придавала жизненную силу славянофильству даже в том

периоде, когда увлечение доводило славянофилов до странных крайностей, до стремления повернуть назад, непризнания смысла Петровской реформы, неразумного презрения к западной цивилизации. Этот принцип – уважение к народу и его преданиям, признание разумности, высокой гуманности и непобедимой силы в этой темной массе. Этот великий принцип проникает собою не только всю науку, но и все художественное творчество нашего столетия от Диккенса и Виктора Гюго до Льва Толстого и Достоевского включительно. Признание силы этого принципа сближало славянофилов с лучшими представителями исторической науки и в начале 50-х гг. и соединяло их в одну семью с умными западниками, когда им приходилось совместно действовать против сознательных или бессознательных врагов его. Энергичное и высокоталантливое проведение этого принципа, органически проникавшего весь дух Ив. Аксакова, сделало его народным русским публицистом.

Силу его слова возвышала необыкновенная нравственная чистота его характера. Кто из его врагов – а у него, как у смелого и резкого публициста, были их тысячи – когда-нибудь, хоть в мыслях своих, решался обвинить его в неблаговидном поступке, в сделке с совестью? А между тем он жил и действовал в такое бурное и смутное время, когда сотни репутаций высокодаровитых русских людей моментально сбрасывались в самую глубь нравственной грязи и иногда выныривали из нее на свет Божий, а чаще оставались в ней до самой смерти. Но гражданская честность и мужество Ив. Аксакова всегда оставались выше всякого подозрения; все единогласно признавали его рыцарем без страха и упрека <…> Уже из-за одного этого им может гордиться наше бурное время и наша многострадальная родина.

В некоторых отношениях иностранцы, в последнее время обратившие весьма серьезное внимание на изучение России, понимают нас лучше нас самих по той же причине, по которой человек имеет о себе менее верное общее представление, нежели имеют о нем его ближние. Но есть факты в нашем прошлом и настоящем, которых не поймут они, по крайней мере не поймут теперь, при шаблонных формах, которые

они на нас накладывают. Так, исходя из убеждения, что Московское царство в век Ивана Грозного есть восточная форма деспотизма и рабства, не понимают они высокого героизма тех обличителей безумного самовластья, которые, умирая на плахе, оставались преданными идее единодержавия; хотя Ив. Аксаков жил и действовал на глазах всей Западной Европы, не поймет она, по крайней мере теперь, нравственной чистоты и гуманности его будто бы завоевательных панславистских стремлений, не оценит она всей высоты его чисто русских идеалов. Тем дороже его память для нас!

А. Никольский

ИВАН СЕРГЕВИЧ АКСАКОВ. НЕКРОЛОГ

(Из № 2 «Исторического вестника»)

Января 27-го, в 7 часов вечера, скончался в Москве И. С. Аксаков, один из замечательнейших русских людей настоящего столетия. Смерть подкралась к нему почти незаметно и застигла его на том же боевом посту, на котором создалось его громкое имя и завидная слава.

Сам И. С. не собирался так скоро покончить земные счеты, хотя и не забывал о бремени лет, над ним тяготевших и подтачивавших его крепкое здоровье. Но не в его правилах было слагать оружие, пока оставались силы для работы, то есть для борьбы, потому что работа была для него борьбой – неустанной, кипучей, полной одушевления и отваги, а эта борьба – работой, призванием жизни, нравственным долгом перед родиной. Подкрепившись кратковременным отдыхом в Крыму, в течение весны и лета прошлого года, И. С. по возвращении в Москву с обычною бодростью принялся за свое дело. Всем еще памятны его блестящие статьи о событиях в славянском мире, его филиппики против наших дипломатов, его исполненное достоинства объяснение с цензур-

ным ведомством... Все это было недавно, и все это было живым свидетельством, что И. С. остается тот же, каким был до болезни – со своим неувядающим талантом, со своею пламенною речью, со своим даром страстно увлекаться и увлекать.

Есть известие, что с весны нынешнего года И. С. намеревался поставить свое издание иначе, чтобы обеспечить себе больший досуг для приведения в порядок своего обширного семейного архива (почти за 75 лет) и для изложения своих воспоминаний. В письме к одному из старых друзей, харьковскому профессору Бессонову, незадолго до смерти, И. С., сообщая об этих планах своих, прибавил: «…если не будет войны» – до такой степени была ему чужда мысль, что вот он может преспокойно снять с себя боевые доспехи и отдаться делу, хотя и не чисто личному, даже очень нужному, но в стороне от текущих злоб дня. Судьба решила иначе. Не прошло и полугода после крымского отдыха, как недуги Аксакова возобновились. Надломленное здоровье настоятельно требовало устранения от срочной утомительной работы, требовало душевного покоя, а тут как раз подоспели события, глубоко взволновавшие весь славянский мир. И. С. не мог в такую минуту оставаться спокойным зрителем, тем более не мог оставить дела, которое лежало на нем одном. И этот яркий светоч русской мысли догорел и погас почти внезапно, к великой скорби всех мыслящих патритов русской и других славянских земель...

И. С. Аксаков, второй сын известного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, родился в селе Надеждино, Куроедове то ж, Белебеевского уезда, Уфимской губ., 26 сентября 1823 г. Через три года после того семья Аксаковых перебралась в Москву, где Сергей Тимофеевич некоторое время служил сперва в должности цензора, а потом – инспектора межевого училища, преобразованного при его ближайшем содействии в Константиновский межевой институт. Как в эти, так и в последующие годы семья Аксаковых жила по преимуществу интересами литературы и искусства. Переводчик Мольера, знаток и любитель театра, отец Ивана Сергеевича был в тесной дружбе с корифеями тогдашней московской

сцены, начиная Щепкиным. В то же время сотрудничество в тогдашних московских изданиях («Московский вестник» Погодина, «Атеней» Павлова, «Галатея» Раича, «Молва» Надеждина и «Труды Общества любителей Российской словесности») сблизило его со многими выдающимися писателями. Гоголь питал к семье Аксаковых, можно сказать, родственные чувства и был не редким гостем Сергея Тимофеевича. При чисто русском благодушии и хлебосольстве просвещенного хозяина, дом Аксаковых стал в Москве оживленным центром образованности, ума, даровитости и изящного вкуса.

Таковы были особенности этой русской семьи, в атмосфере которой слагались первые мысли и первые сознательные стремления детей Сергея Тимофеевича Аксакова. С другой стороны, в семье Аксаковых крепко держались патриотические предания суворовского времени (мать И. С., Ольга Семеновна, была дочь суворовского генерала Заплатина) и воспоминания двенадцатого года. Эти счастливые условия первоначального воспитания, без сомнения, играли важную роль в последующем направлении деятельности Ивана Сергеевича, как и его старшего брата Константина. Богато одаренный природою, от младых лет вращаясь среди писателей, артистов и художников, с молоком матери всосавший возвышенные патриотические чувства, И. С. очень рано угадал свое призвание. Уже на 21-м году своей жизни, он, как бы провидя будущее, в энергических строфах высказал (стихотворение «Колумб», 1 ноября 1844 г.):

Пойду вперед к своим стремленьям,
Исторгну помысл из глуши,
С неколебимым убежденьем,
Залогом искренним души!
И верю я: наступит время,—
Хоть гром греми и ветер вей,—
Но долетит святое семя
До почвы избранной своей!..
Я не страшусь суда людского,

Я двину смело мысль вперед,
И далеко отгрянет слово
И слух внимательный найдет!
Крик близорукого участья
Меня не тронет, не смутит...
Я равнодушно жду несчастья,
Мне тайный голос говорит:
Терпи, Колумб, терпи и ведай;
Назло сомненью и врагам,
Ты увенчаешься победой...
Но быть грозе, греметь бедам!

Образование Иван Сергеевич получил в училище правоведения, которое тогда только что было учреждено. Первоначальные цели этого училища и идеи, смутно бродившие в его преподавателях и воспитателях, – идеи суда справедливого, неподкупного, о чем тогда можно было только мечтать, – тоже не остались без влияния на впечатлительную душу И. С. По окончания курса в училище он поступил на службу (в 1842 г.) в один из московских департаментов Сената. Эта судебная служба была своего рода чистилищем для будущего писателя: здесь он впервые лицом к лицу встретился с неказистою действительностью тогдашней Руси и уже никогда не мог излечиться от первых впечатлений дореформенного суда. В последний год своей жизни, как и при начале писательской карьеры, И. С. не мог без содрогания вспоминать виденное на судебной службе и не мог без негодования слушать или читать хвалебные дифирамбы судебным порядкам по образу и подобию суда дореформенного, предлагаемым в отмену и замену суда нового.

Из Сената, в сентябре 1848 г., И. С. перешел в Министерство внутренних дел и был командирован в Бессарабию по некоторым раскольничьим делам, причем имел случай основательно ознакомиться как с положением раскольников, со складом их отношений между собой и ко внешнему миру, так и с общим смыслом раскола в русской жизни. Вскоре затем И. С. был командирован в Ярославскую губер-

нию для ревизии городского управления, для обсуждения на месте вопроса об единоверии, введению которого противился Ярославский архиепископ, а также для изучения, в составе особой комиссии, секты «бегунов» или «странников». Эта командировка дала Аксакову случай близко ознакомиться с условиями народной жизни в Великороссии. Едва ли не впервые И. С. с поразительною ясностью увидал тогда жизненную антитезу, раскрытие которой составляло потом одну из главнейших забот и вместе важнейшую заслугу его публицистической деятельности. Эта антитеза: самобытное и самородное, или земское, в русской жизни и казенное, или «казенщина», как он выражался. Вот любопытный факт, с которым встретился И. С. при ревизии городских управлений Ярославской губернии и который он любил вспоминать как в своих статьях, так и в устных беседах: по получении в городе Мологе, Ярославской губернии, Екатерининской жалованной грамоты городам и по торжественном, как следует, открытии городской думы с городским головой и гласными жители постановили секретный общественный приговор такого содержания: так как вновь учреждаемая дума имеет распоряжаться лишь доходами, указанными в законе, расходовать на предметы, также указанные, вообще действовать на точном основании закона, под контролем начальства, то рядом и одновременно с нею иметь негласно прежнее общественное управление под заведованием того же городского головы и тех же гласных, и в распоряжение этого негласного управления предоставить небольшой капитал, нарочно для сего и составленный по общей раскладке. Таким образом, с 1786 по 1847 г., в течение 61 года, существовало два городских самоуправления: одно официальное, казенное, с 4 тыс. руб. дохода; другое тайное, но, в сущности, настоящее, достигшее 20 тыс. руб. дохода; по одному велись сметы, отчеты представлялись губернскому правлению и казенной палате, по другому велись особые книги, в которых отчет отдавался самому обществу. Город процветал, к удивлению всех губернаторов, пока, наконец, начальство не узнало случайно причины процветания. Узнав, оно предало голову суду, пре-

кратило неказенное самоуправление и отдало капиталы казенному. «Город пришел в упадок, и довольно скоро», – прибавлял обыкновенно И. С. вместо всяких выводов...

Изучение секты «бегунов» дало материал для солидного труда «О бегунах». В печати появилась только заключительная глава этого сочинения, замечательного в особенности характеристикой причин, вследствие которых возникла секта.

В 1852 г. И. С. вышел в отставку и возвратился в Москву, к отцу и брату, которые около того времени усердно занимались литературой[1]. Литературная деятельность И. С. началась, как упомянуто, значительно раньше, а именно его первое напечатанное стихотворение («Колумб») появилось в № 1 «Москвитянина» за 1845 г. Кроме других стихотворений, к этому же времени относится и поэма «Бродяга», по поводу которой автору ранее появления ее в печати, именно в 1849 г., пришлось держать ответ перед III отделением Собственной Его Величества Канцелярии на письменно предложенный вопрос: «Почему он, Аксаков, беспаспортного человека выбрал себе в герои...» Эти неприятности в связи с литературными занятиями (например, в 1848 г. И. С. неизвестно за что был арестован на некоторое время), вероятно, ускорили решимость его оставить службу, так как выбора между службой и литературой для него не представлялось по существу его стремлений и убеждений.

В самом начале пятидесятых годов, именно около времени возвращения И. С. к отцу, в Москве сплотился литературный кружок так называемой славянофильской окраски. Кружок имел в виду пропагандировать свои идеи путем печатного слова. Первым опытом изданий кружка был «Московский сборник», предпринятый в 1852 г. И. С. был редактором I тома, где, между прочим, появилась в отрывках и упомянутая поэма «Бродяга», но на том и остановилось предприятие кружка, впрочем, для «Сборника», а не для И. С. Аксакова: последнему, по выходе I тома «Московского сборника», дальнейшее продолжение этого издания было запрещено, с лишением права быть и впредь редактором какого бы то ни было издания.

После этого в литературной деятельности И. С. последовал значительный перерыв, которым он воспользовался для ознакомления с народным бытом в различных его формах и проявлениях. Так, в 1853 г. И. С. принял предложение Русского географического общества – описать торговлю на украинских ярмарках. В конце 1853 г. И. С. отправился в Малороссию и провел в разъездах по ней весь следующий год. Результатом этой поездки явилось обширное «Исследование о торговле на украинских ярмарках», изданное впоследствии Географическим обществом (в 1859 г.). Автору Географическое общество присудило за его исследование большую Константиновскую медаль. Академия наук за то же исследование удостоила И. С. половиной Демидовской премии. Исследование это основывалось на фактах, собранных, большею частью, самим автором, так как статистические материалы, имевшиеся в то время, были ниже всякой критики. По свойству задачи И. С. не мог ограничиться одними малороссийскими ярмарками, но должен был обнять почти все торговое и промышленное движение в тогдашних главных центрах его, так как малороссийские ярмарки имели важное значение не только для юга, но и для севера России. Исследование это познакомило И. С. с нашим торговым сословием, с характером и нуждами русской торговли. Установленное им различие великоросса и малоросса, поскольку тот и другой со своими особенностями проявляются в торговле, и в частности на ярмарках, до сих пор не утратило своего интереса и значения.

Из Малороссии И. С. вернулся в Москву в самый разгар Восточной войны и вызванного ею патриотического одушевления. Он добровольно поступил в ополчение, именно в Серпуховскую дружину, бывшую под начальством князя Гагарина. Пылкая, прямая натура И. С. и здесь сказалась во всей силе. Начальник дружины очень не рад был иметь под своим начальством такого человека. Серпуховская дружина дальше Бессарабии не пошла и в делах против неприятеля участия не принимала. При первых известиях о мире, в марте 1856 г., И. С. вернулся в Москву; но в мае того же года он снова отправился на юг, именно в

Крым, приглашенный князем Васильчиковым участвовать в следственной коммиссии по делу о злоупотреблениях интендантства во время войны. Впрочем, конца следствия И. С. не дождался. В декабре 1856 г. он возвратился в Москву.

Известно, какое тогда наступало время, какие вопросы были выдвинуты на очередь. И. С. всецело посвятил этим вопросам свои недюжинные силы и свой блестящий талант.

В 1858 г. он принял на себя (неофициально) редакцию журнала «Русская беседа», официальным редактором которого считался А. И. Кошелев. Вокруг этого органа сплотились все лучшие силы так называемого славянофильского кружка. И. С. выпустил III и IV тома «Русской беседы» за 1858 г. и шесть книжек за 1859 г. В то же время сняли с него запрещение быть редактором, и И. С. Аксаков предпринял с 1859 г. издание еженедельной газеты «Парус». По замыслу издателя, «Парус» должен был служить центральным органом славянской мысли. Но этому изданию не посчастливилось: по выходе двух первых оно было прекращено за нарушение цензурных правил. Цензуре не понравилось обозрение событий предшествовавшего года и некоторые из стихотворений, в том числе и принадлежавшие самому И. С.

Весь 1860 г., отчасти вследствие болезни брата Константина Сергеевича, которого врачи послали умирать на остров Занте, И. С. провел в заграничном путешествии, главным образом по славянским землям, чтобы лично ознакомиться с выдающимися политическими и литературными деятелями западного и южного славянства. Между прочим, это путешествие И. С. ознаменовалось известным эпизодом в Белграде, куда он привез «Послание к сербам», подписанное многими, частью людьми его кружка, частью сочувствовавшими лишь некоторым из его взглядов. Незадолго перед тем закончившаяся Итальянская война, неудача Австрии и торжество идеи национального объединения итальянцев – все это отразилось сильным брожением в славянских землях. Среди сербов и хорватов усилились освободительные стремления относительно Боснии, Герцеговины и старой Сербии. И. С. был

встречен здесь с распростертыми объятиями, хотя «Послание к сербам» в Белграде не понравилось.

Возвратившись в Москву, И. С. выхлопотал разрешение издавать под своей редакцией еженедельную газету «День». Газета была разрешена ему без политического отдела и с тем, чтобы цензура имела особое наблюдение за этим изданием. «День» стал выходить в конце 1861 г., при участии того же славянофильского кружка, и сразу занял выдающееся положение. «День», конечно, отводил видное место славянскому миру и славянским делам; тогда и внешний был повод, потому что в Герцеговине вспыхнуло восстание. Но едва ли не больше славянских вопросов занимался «День» жгучими задачами начавшегося преобразования России, так как сразу на очередь стали вопросы о крупнейших реформах, как то: крестьянской, судебной, земской. Наконец, около того же времени зашевелилась Польша, и польский вопрос занял немаловажное место в ряду живых интересов русского общества, хотя на первых порах лишь в академической постановке. Все это давало «Дню» множество случаев выказать во всем блеске одушевлявшие его высокие стремления и надежды, пылкий энтузиазм его руководителя и вместе с тем непоколебимую веру в Россию, в ее особое призвание. Голос Аксакова, мужественный, бодрый, увлекательный и всегда несколько дерзновенный, не мог оставаться гласом вопиющего в пустыне. Это был один из самых оживленных периодов деятельности И. С.; за ним окончательно упрочилась слава талантливого, честного, смелого вождя славянофильской партии. Имя Аксакова стало известно всей образованной России и Европе и, как ныне выражаются, сделалось политическим знаменем. Личный, рыцарски безупречный, характер Ивана Сергеевича стяжал ему не только горячие симпатии друзей, но и общее уважение противников.

Издание «Дня» шло довольно благополучно, если не считать сравнительно маленьких цензурных неприятностей, например запрещения отдельных статей, вследствие чего газета нередко выходила без передовой статьи с пометкой лишь даты: «Москва, N. N. числа». В 1862 г.

последовала, впрочем, более крупная неприятность, именно временное отстранение Аксакова от редакторства. Случилось это, по объяснению самого И. С., единственно вследствие того, что он не счел для себя нравственно возможным объявить, как от него требовалось, имя автора одной корреспонденции. Ввиду положительного закона И. С. предпочел принять на себя и понести за автора ответственность, но это предложение не было принято, и И. С. на время был отстранен от редакторства, с разрешением передать звание редактора Ю. Ф. Самарину, хотя фактически оставался редактором сам же И. С. Это было в июне 1862 г., а в октябре того же года И. С-чу вновь последовало разрешение издавать «День» под собственной редакцией. «День» просуществовал до конца 1865 г., когда личные обстоятельства заставили И. С. добровольно прекратить это издание. Его последняя передовая статья в «Дне» – прощальная – заканчивалась словами:

«Прощай, читатель, и да спасет тебя русская правда от всякой иноземной лжи, которою долго еще не перестанут – наши аристократы и демократы, доктринеры-чиновники и нигилисты и все это старое общество – мутить поверхность нашего могучего, величавого, глубокого народного моря».

Одновременно с изданием «Дня» И. С. принимал деятельное участие в делах учрежденного в 1858 г. московского Славянского комитета – при жизни Погодина в качестве ближайшего его сотрудника, а после смерти Погодина – в качестве его преемника, по званию председателя комитета. Этого рода деятельность И. С. была очень разнообразна и порой хлопотлива, не говоря уже о постоянных материальных пожертвованиях, с которыми она связывалась для самого И. С-а. Тем не менее до конца дней своих И. С. не покидал ее, несмотря на все последующие перемены как в собственных его делах, так и в судьбе Славянского комитета.

Перерыв издательской деятельности на поприще журналистики продолжался для И. С. один год. Его пылкая натура была как нельзя более на месте в политической газете, и в 1867 г. он вновь предпринял издание газеты – «Москва». Это была одна из самых замечатель-

ных газет, когда-либо возникавших в России. Она просуществовала с 1 января 1867 г. по 21 октября 1868 г., то есть менее двух лет, и в течение этого короткого времени подверглась девяти предостережениям и трем приостановкам – на три, на четыре и, наконец, на шесть месяцев. Другими словами, просуществовав неполных два года, «Москва» более года (13 месяцев) была в приостановке. Частью во время этих приостановок ее заменял «Москвич», отличавшийся от «Москвы» только заголовком, хотя выходивший под редакцией (номинальной, конечно) другого лица. Главным поводом административных гонений на «Москву» были статьи ее против генерала Потапова, удивительно управлявшего Северо-Западным краем, и против тогдашних порядков в Прибалтийском крае, где немецкое меньшинство проводило политику онемечения большинства, не стесняясь для того самыми крутыми средствами против населения. Раздраженный этими гонениями и придирками, И. С., конечно, не всегда соблюдал в своих статьях академический стиль, а нередко чувствительно затрагивал самолюбие самого министерства, к чему немало представлялось поводов, особенно в неискренней политике бюрократов относительно земских учреждений и печати. Но в общем «Москва» была газетой строго выдержанной в том самом направлении, которое всегда отличало так называемый славянофильский кружок и которое если чем прегрешало против взглядов правительственной среды, то единственно разве допущением критики о действиях самих правительственных лиц, в предположении, что и они могут ошибаться. Но этого-то и не прощали «Москве» вместе с ее независимым отношением к различным текущим вопросам политики. Незадолго до своей смерти, по случаю нового столкновения с цензурой, И. С. припоминал в «Руси», без сомнения, с чувством нравственного удовлетворения, что в вопросах, за которые больше всего пострадала «Москва», правительство в настоящее время само стоит на точке зрения, которую тогда защищала «Москва» и за которую это издание в конце концов было запрещено.

Запрещению «Москвы» предшествовал беспримерный в летописях нашей печати процесс, который И. С. вел в Сенате против тогдашнего

министра внутренних дел, генерал-адъютанта Тимашева. Последний, приостановивший «Москву» на 6 месяцев, согласно ныне отмененной статье законов 1865 г. о печати, вошел в Сенат с рапортом о необходимости, по его мнению, вовсе прекратить издание «Москвы». Узнав об этом, И. С. Аксаков подал в Сенат прошение с просьбой допустить его к представлению, в свою защиту, объяснений против министерского рапорта, и прошение это было Сенатом уважено. Тогда И. С. по каждой статье обширного обвинительного рапорта представил объяснения и справки в тех видах, чтобы опровергнуть основную мысль обвинения, будто «Москва» – издание вредного направления, и в отношении этого главного пункта обвинения И. С. выиграл процесс: из департамента за разногласием дело было перенесено в общее собрание первых трех департаментов и департамента герольдий. Но и в общем собрании на стороне генерал-адъютанта Тимашева не получилось потребных двух третей голосов. Разногласие не устранилось и после согласительного предложения министра юстиции, вследствие чего дело перешло на рассмотрение Государственного совета, но и там единогласия не получилось, так что потребовалось перенести дело в общее собрание Государственного совета. Здесь большинство согласилось с мнением министра внутренних дел, но при окончательной редакции мнения большинства сделана была оговорка в том смысле, что хотя газета и запрещается, однако же направление ее по существу нельзя признать вредным.

С закрытием «Москвы» И. С. в отношении издательской деятельности на поприще журналистики оставался под запрещением целых 12 лет. Все хлопоты его и друзей его снять это запрещение не имели успеха до самого 1880 г., когда во главе общего управления поставлен был граф М. Т. Лорис-Меликов. Но этот продолжительный перерыв в издательских трудах не был для И. С. периодом успокоения от патриотической и общественной деятельности, или периодом отрешения от политических и вообще высших интересов своего времени; такого успокоения и отрешения не могло быть ни по свойствам натуры И. С., ни по особенностям его общественного положения. Вот именно здесь

мы и встречаемся с тем, совершенно исключительным у нас явлением, что человек частный, стоящий вдали от влиятельной официальной среды, вдобавок пользующийся прямо неблагосклонностью этой среды, – человек, не имеющий ни высоких чинов, ни каких-либо особых отличий в условном смысла, – наконец, человек, насильственно лишенный права голоса на той единственной арене, которая отрыта у нас частным людям, в печати, – И. С. Аксаков, несмотря на все это, сделался не только видным, но и, несомненно, влиятельным политическим центром, вокруг которого естественно совершался обмен симпатий и надежд между Востоком и Западом славянского мира... И случилось это как-то само собою, без всяких усилий со стороны И. С. Будучи членом, а потом и председателем Славянского комитета, И. С. делал то, что требовало от него принятое на себя звание, но он делал это с душой и по убежденно, он находил опору для этой деятельности в себе самом, в своих славянских чувствах, верованиях, идеалах; увлекаясь сам, он увлекал за собой и других.

Когда на славянском юго-востоке в первой половине семидесятых годов появилось движение, перешедшее сперва в герцеговинское восстание (1875 г.), а потом в сербско-турецкую (1876 г.) и Русско-турецкую, или вторую Восточную, войну (1877–1878), И. С. Аксаков выступил естественным руководителем русских общественных симпатий. Московский Славянский комитет, им председательствуемый, превратился в самое оживленное комиссионерское бюро, куда со всех концов России стекались пожертвования на славянское дело, распределявшиеся комитетом… Наконец, потекли в славянские земли уже не рубли только, а и люди русские для помощи славянам личным трудом и, если нужно, личным пожертвованием на поле брани... Об этом времени И. С. вспоминал в последней статье, вышедшей из-под его пера: «Пишущему эти строки привелось в 1876 и 1877 годах быть не только свидетелем, но отчасти и практическим посредником высокого народного одушевления, охватившего Русскую землю; непосредственно из народных рук (он) принимал народные лепты, не святее коих была лепта

евангельской вдовицы; (перед ним) живы до сих пор образы мужиков заволжских, новохоперских и иных отдаленных местностей России, на коленях упрашивавших, как о «Божеской милости», дарования им способов «помереть», мученический венец приять за освобождение братий христиан, сербов, черногорцев, болгар от бусурманского ига или нашествия». Нельзя не прибавить к этим строкам, что тогдашние речи Ивана Сергеевича в Славянском комитете передавались из уст в уста, облетали всю Россию, электризуя русских людей своим энтузиазмом, зажигая одушевление высокой идеей «мученического венда» за освобождение братьев по вере и племени...

Ответом народному движению в той же Москве явились приснопамятные слова покойного императора в Кремле к представителям дворянства и купечества – слова, говорят, неожиданные для наших дипломатов и не входившие в их планы, но которые решили дальнейшую судьбу славяно-турецкой распри. Впрочем, и после того Славянскому комитету еще не была дана отставка. Преобразованный правительством в начале 1876 г. в московское Славянское общество, он оставался у дел, и дела эти были посерьезней обычного благотворения. Между прочим, Славянское общество, то есть опять-таки главным образом И. С. Аксаков, заготовило в Германии оружие для болгарских дружин, которые первоначально предполагалось сформировать на сербской территории, – что-то около 20 тыс. ружей, с соответственным количеством патронов, и 12 крупповских орудий с необходимыми к ним снарядами... Все эти запасы оружия действительно пошли на вооружение болгарских дружин, хотя и не тем путем, какой предполагался вначале. И доныне подарок московского Славянского общества не потерял цены для освобожденной Болгарии...

Берлинский трактат после богатырских подвигов русского солдата и в награду за великие жертвы, понесенные Россией, был для русского чувства нечто невместимое, невозможное, и русское чувство прорвалось громовою речью И. С. Аксакова в том же Славянском обществе... Эта речь сделалась целым политическим событием... И она действи-

тельно была именно событием: она показала Европе, что за русскими дипломатами, умеющими так очаровательно улыбаться, стоят русские люди, у которых в груди – не полированная фраза, а настоящее сердце, горячее, дерзновенное, живо чувствующее обиду и позор... и хотя Славянское общество был тотчас закрыто, даже без соблюдения установленных на такие случаи формальностей (капиталами, например, распорядились даже без ведома жертвователей и т. п., словом, «с отменным упрощением форм», как выразился И. С. незадолго до своей смерти), а сам И. С. был выслан из Москвы в деревню, но Берлинский трактат был принят Россией не в той оценке, какую делали ему наши дипломаты, а в той, какую дало ему патриотическое проклятие Аксакова на собрании Славянского общества…

В 1880 г. благодаря графу М. Т. Лорис-Меликову И. С. Аксаков получил наконец разрешение издавать в Москве еженедельную газету «Русь», которой и посвятил остаток своей жизни, казалось, еще крепкой, бодрой не одними надеждами, но и силами. Пишущий эти строки имел случай познакомиться с И. С. как раз перед выпуском первых номеров «Руси». Нужно было видеть, с какой свежестью чувства трактовал И. С. задачи своего нового издания; как верил он в силу твердого, искреннего слова, с какой отвагой смотрел вперед. Он не ошибался насчет того, что «Русь» встретят в печати недружелюбно, он не особенно рассчитывал и на сочувствие к ней со стороны тогдашней правящей среды. Но он все-таки надеялся иметь вес в решении самоважнейших вопросов русской жизни, которые были тогда поставлены на очередь. И. С. хорошо знал, что ему придется идти против течения, но это не обескураживало его – напротив...

Когда через три с половиной месяца по выходе «Руси» случилось позорное злодеяние 1 марта, И. С., потрясенный вместе со всеми русскими людьми, почувствовал тесноту в газете и выступил с торжественным исповеданием «гражданских и нравственных задач и идеалов русского народа», в собрании с.-петербургского Славянского благотворительного общества, 22 марта. Его блестящая речь произ-

вела огромное впечатление; то был страстный протест против увлечения чужеземщиной и грозное предостережение, выраженное с необычайною силою. «Не обольщайтесь тем, – говорил И. С., – что великий народ наш безмолвствует. Он недоумевает. А понимаете ли, что значит недоумение многомиллионного народа? Точно океан вздымается теперь его грудь, удрученная мрачным раздумьем... Заныла вся душа его, изъязвлена совесть».

«Это и скорбь, и горесть, и стыд, и ужас, какой-то торжественный, вещий ужас. Это суд Божий творится над нами»

Очертив затем вожделения, которыми жила значительная часть нашей интеллигенции, Аксаков с полною прямотою и откровенностью заявил: «Нет, этому не бывать! от духа лестча, враждебен вашему народу и преуспеянию его в доброй христианской нравственности тот либерализм, который сулит нам политические и социальные блага, проповедуя в то же время презрение к политическому и духовному исповеданию Русской земли!»

Эта пламенная речь заканчивалась «исповеданием» положительной программы в следующих словах: «Нужно, необходимо, до крайности нужно припасть к стопам Богом данного нам Царя и молить его, молить неотступно... да обновится вновь в животворной силе и действии старый союз Царя с народом, на началах любви, доверия, единения духа и взаимного искреннего общения...»

Мы с подробностью остановились на этой замечательной речи не только потому, что она обнимает сущность всего, что проповедовал Аксаков в своей долголетней публицистической деятельности, но и потому еще, что эта речь была первым всенародным исповеданием начал, долгое время бывших, так сказать, под опалой у «общественного мнения». Аксаков лицом к лицу предстал перед обществом и имел мужество резко высказать ему в глаза то самое, за что общество будто бы отвернулось от людей аксаковского направления... И что же? – петербургское избранное общество проводило Аксакова, после его речи, с настоящим триумфом!..

«Русь» начала выходить 15 ноября 1880 г. и продолжала выходить по день смерти И. С., с полугодовым перерывом в 1885 г., по случаю болезни редактора. В 1883 году «Русь» была преобразована в двухнедельное издание, и два года выходила в этом преобразованном виде. Но в 1885 г. И. С. вернулся к первоначальной форме еженедельника. Газета эта, как и объяснял И. С., была его личным органом, и значение ей давали главным образом статьи самого редактора, имевшие, несомненно, «громкий резонанс», по любимому его выражению, хотя материального успеха в тесном смысле «Русь» не имела, да Иван Сергеевич и не искал так называемой популярности. У него был совершенно особый взгляд на задачи журналиста, к сожалению, очень редкий в наше время. Вследствие этого взгляда он, например, печатал некоторые статьи заведомо «для немногих читателей», но для таких, которые сами имеют около себя значительную аудиторию или которые могут оказать, где нужно, давление в желаемом направлении. К печатному слову И. С. относился как к делу самому серьезному, которое, несомненно, дает человеку в руки могучее орудие воздействовать на общество и даже на ход событий, но с которым связаны не одни права, а еще больше обязанностей. Иногда, под живым впечатлением действительности, И. С. бросал слово сомнения о пользе этого особого служения родине путем печатного слова, но то были скоропреходящие минуты дурного настроения, ибо служение Аксакова тем основным началам, органом которых была его газета, столько же вытекало из глубокого проникновения этими началами с молодых лет, сколько из светлого взгляда на даровитость русского племени, из непоколебимой веры в его высокое призвание на мировой арене.

В дополнение этого беглого очерка общественной деятельности Аксакова, нелишне упомянуть, что среди своих главных занятий он находил досуг и силы служить обществу и иными путями. Так, он был в течение нескольких лет товарищем председателя в Российском миссионерском обществе, председателем в московском Обществе любителей Российской словесности и гласным Московской думы.

Значение И. С. Аксакова во всем объеме определилось лишь по случаю его кончины, и определилось не какой-либо меткой формулой, обнимающей его заслуги перед Россией и славянством, а самым фактом общественных заявлений, вызванных этою кончиною и сразу показавших, что смерть Аксакова не что-нибудь заурядное в жизни стомиллионного народа русского, а целое событие – столько же горестное, сколько важное в политическом и общественном смысле. Не только в России, но и за границей именно так понята и оценена утрата, понесенная нами в лице И. С. Аксакова.

Государь Император соизволил почтить память покойного телеграммой, на имя его вдовы Анны Федоровны, и с трогательною сердечностью выразил общую русскую скорбь перед этой тяжкой утратой в следующих выражениях:

«Императрица и Я с душевным прискорбием узнали о внезапной смерти вашего мужа, которого уважали, как честного человека и преданного русским интересам. Дай Бог вам сил перенести эту тяжелую сердечную потерю.

АЛЕКСАНДР».

Выражением соболезнования почтили память И. С. Аксакова: князь Николай Черногорский, великая княгиня Александра Петровна, сербский митрополит Михаил, болгарские митрополиты Климент и Герасим со всем болгарским духовенством, общественные учреждения многих болгарских городов, выдающееся политические кружки Болгарии, сербский посланник Груич, белградское ученое общество, славянская учащаяся молодежь Венского университета, хорваты, галичане, галицко-русская печать – вот кто откликнулся на русско-славянскую утрату из заграничных славян. Что же касается России, то кончина Аксакова оплакивается всюду, где есть просвещенные патриоты, способные ценить истинные заслуги перед отечеством. Достаточно сказать, что одних телеграмм с выражением соболезнования по случаю этой кончины доставлено на имя вдовы покойного свыше 130, из того чис-

ла едва ли не большая часть коллективные – от правительственных и общественных учреждений, от сословий, городов, ученых корпораций, учащейся молодежи, органов печати и т. д., и т. д. Здесь, в Петербурге, высшие чины государства – военные и гражданские – присутствовали на торжественных панихидах по скончавшемся русском гражданине; Петербургская городская дума особым постановлением выразила уважение к памяти И. С.; Московская дума решила поставить в своей зале портрет И. С., учредить стипендию его имени в университете и присутствовать в полном составе на его похоронах. Почти все органы печати столичной и провинциальной, независимо от направлений, посвятили памяти И. С. статьи, проникнутые сознанием, что смерть его – огромная потеря для России. Московские и некоторые петербургские издания, различные общества и учреждения возложили на гроб И. С. венки. Редакции петербургских изданий послали на похороны И. С. особую депутацию с хоругвью, нарочно изготовленною для этого печального торжества. Было много других депутаций на похоронах от общественных учреждений и кружков. Похоронная процессия сама собой превратилась в величавую общественную манифестацию; за гробом Аксакова шла вся Москва, в лице представителей всех классов московского населения, а самый гроб от университетской церкви до Ярославского вокзала несла на руках университетская молодежь.

Тело И. С. Аксакова погребено в Троице-Сергиевой лавре.

Можно бы составить целую книгу из отзывов об Аксакове, появившихся как в русской, так и заграничной печати по случаю его кончины. Для полноты нашего очерка приводим лишь некоторые из этих отзывов:

«Московские ведомости» высказали: «Скоропостижная кончина И. С. Аксакова – вот событие, которое отзовется далеко. Его помянут повсюду».

«Новое время»: «Не русский талантливый писатель только скончался, скончался общественный трибун, обладавший даром зажигать сердца, скончался искренний человек, человек высокой честности и правды, никогда, ни единым словом не изменявший своему призва-

нию. Он нес свое знамя в течение многих лет твердою и непоколебимою рукою, ни разу не опуская его, нес, как мужественный воин, с верою в то дело, которому служил и которого не оставил и тогда, когда смерть явно подкрадывалась к нему».

«Journ. de St.-Petersbourg»: «Скончался великий патриот, человек безусловной честности».

«С.-Петербургские ведомости» видят особенную тяжесть утраты в том, что Аксаков был русский человек и журналист. «Аксаков, – сказали они, – не только знал и любил Россию, – ее многие знают и любят, – но он был горд Россиею, он носил в своей крови и в мозгу сознание ее величия и силы, и когда громко в его пламенной и образной речи звучало это сознание, русские люди чувствовали себя бодрее, лучше, способнее для большого национального дела».

«Современные известия»: «Потеря невознаградимая! И. С. Аксаков был не только литератор, публицист, общественный деятель: он был знамя, он был общественная сила».

«Русские ведомости», называя смерть Аксакова «важной общественной утратой», заметили при этом: «Русское общество лишилось одного из наиболее видных своих деятелей, честного и независимого публициста, воплощавшего в своем лице целое самобытное направление, которое при нем и чрез него не только приняло наиболее определенный формы, но и успело заявить себя рядом важных фактических результатов».

«Неделя» сказала об Аксакове: «Это был «общественный деятель», в полном смысле слова. Чуждый всего казенного, он в течение всей жизни своей был силен только своим чисто общественным значением. Основною чертою его природы было глубокое чувство «народности», вера в русское народное начало, в своеобразность и достоинство этого начала».

В том же смысле высказалось большинство остальных русских газет. Русские политические органы, выходящие на окраинах («Варшавский дневник», «Киевлянин»; «Рижский вестник» и нек. др.), указали заслуги Аксакова и в нелегкой борьбе русского государственного начала с инородческой «опричниной»...

Наконец, и заграничная печать, в особенности славянская, английская и немецкая, отозвалась на русское горе если не вся с сочувствием, то в большинстве своем во всяком случае с уважением к личности покойного главы «славянофилов» и «панславистов», как они разумели Аксакова. Некоторые из этих отзывов заслуживают того, чтобы сохранить их на память об Иване Сергеевиче. Так, «Народные листы», выражая беспредельное горе о новом жестоком ударе, постигшем сердце великой славянской семьи, между прочим, высказали: «Не только матушка-Москва, но и весь славянский мир глубоко опечален кончиною Аксакова. Но голова его, ныне холодная и мертвая, недаром трудилась, думала, стремилась к своему идеалу. Идеи, волновавшие эту голову и переданные ею человечеству, не окоченеют и не истлеют».

Английская газета «Standard» называет смерть Аксакова «национальной потерей» для России.

Враждебный России и, конечно, Аксакову, «Pesther Lloyd» сказал о нем, что «это был один из могущественнейших деятелей своего времени: он приводил в движение монархов, народы и идеи».

Немецкая печать худо скрыла злорадство по поводу кончины Аксакова и тем расписалась в своем недоброжелательстве к России, как это было и по поводу смерти Скобелева. В Аксакове видели врага, и хотя объясняли это будто бы «враждебным его отношением к немецкому элементу», но на самом деле Аксаков, очевидно, потому считался врагом, что он был чутким стражем русских интересов и, по его выражению, высоко держал русское национальное знамя, не допуская и мысли, чтобы Россия принижалась перед немецким могуществом. Его последняя политическая статья оканчивается предупреждением против каких бы то ни было сделок с германским миром для решения русско-славянского вопроса: «Не от щедрот Германии принимать нам дары русско-славянской жизни. Мы добудем их сами»... Вот предсмертный завет Аксакова русским людям, и вот откуда эта вражда к нему немцев: даже и в могиле он кажется им опасен...

Русская печать в Галиции также обозначила себя в оценке Аксакова: между тем как «Слово» и «Пролом» присоединились к согласному хору русских газет, украинофильское «Дело» вместе с польскими и немецкими газетами (любопытный союз!) обнажило – правда, безвредное для покойного – жало клеветы и двусмысленных укоризн.

Упомянутые выше телеграммы из разных мест России и из юго- и западно-славянских земель в большинстве выражают не одно соболезнование, но и оценку И. С. и его деятельности, а также надежду, что семя, им посеянное, «не умрет» и даст желанные плоды – на благо России и всего славянского мира. Особенно знаменательны некоторые телеграммы, полученные из славянских земель. Так, «хорватские, словенские и болгарские студенты» Венского университета в своей телеграмме высказали:

«Весть об утрате, понесенной русским народом и всеми славянами со смертью незабвенного Ивана Сергеевича, поразила нас, которым он всегда и в самые роковые часы был неустрашимым защитником. Утрата русского народа – утрата наша. Вместе с сильным братским народом русским мы плачем у одра бессмертного покойника, но надеясь, что русский народ даст нам преемника его идей и стремлений».

Эти подробности точнее всяких соображений обозначают размеры события, которое повергло в скорбь всю мыслящую Россию. В могильной тишине замер вещий голос, будивший наше национальное самосознание. Померкла блестящая звезда на славянском горизонте, во мраке светившая путь братским России народам. Не стало человека, который смелою и твердою рукой нес перед нами знамя самобытного политического и гражданского развития – знамя, на котором кровью сердца написан был столь еще необычный у нас девиз: уважение к святым заветам нашей истории, доверие к доблестному и даровитому народу русскому и вера в живые творческие силы земли, создавшей могущественное государство... Нет, недаром эта общая скорбь русских людей перед свежей могилой: другого Аксакова не осталось с нами!

ПРИМЕЧАНИЯ

I. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И. С. АКСАКОВА ПО ВОСПОМИНАНИЯМ СОВРЕМЕННИКОВ

А. Маркевич
И. С. Аксаков и его значение
(Речь, читанная в заседании Славянского благотворительного общества. 1886)

Публикуется по: «Одесский вестник». 1886. № 46. Из отдельного оттиска. Тип. «Одесского вестника».

Вероятно, данный текст написал Арсений Иванович Маркевич (1855–1942) – один из основателей Таврической ученой архивной комиссии, крымский историк. Автор трудов о русских писателях и славянском движении.

[1] Ламентация – (*лат*. Lamentatio – плач, рыдание) – прием ораторского искусства, представляющий собой сочетание патетических слов с демонстрированием эмоций.

[2] Имеется в виду училище правоведения, существовавшее в 1835–1917 гг., престижное закрытое учебное заведение, приравненное к Царскосельскому лицею, готовившее гражданских специалистов для правительственного аппарата России.

[3] Кружок этот связан был и узами родства, сам И. С. Аксаков был женат на дочери поэта-славянофила Тютчева.

[4] О значении его сочинений см. известную речь Костомарова.

[5] Петко Каравелов (1843–1903), брат Любена Каравелова, в отличие от него был русофилом. Болгарский политический деятель.

П. С. Усов
Дружеская группа

Публикуется по: Исторический вестник. Т. 23. 1886. № 3. С. 634–639.

Об авторе сведений не имеется.

[1] См. Труды ярославского статистического комитета. 1886. № 1.

[2] Шалнер – приспособление разного устройства для скрепления двух предметов, которые подвижны оба или же приводится в движение один из них; простейший вид шалнера представляет дверная петля. В настоящее время термин не употребляется, будучи замененным на «шарнир».

[3] См. Труды ярославского статистического комитета. 1866.

[4] См. его официальный доклад министру внутренних дел «О современном положении раскола» в 1854 г.

[5] Рисунок не приводится. *(Прим. сост.)*

[6] По словам одного лица, ныне сенатора, состоявшего по особым поручениям при губернаторе Бутурлине и прожившего в Ярославле с 1850 г. (т. е. с последнего периода занятий комиссии) до 1856 г., оно не слыхало о уничтожении этого литографического камня по распоряжению губернатора. По мнению этого лица, так как группа была сделана для приятелей, а не для продажи, то ее отпечатали в малом числе экземпляров, а затем стерли с самого камня рисунок.

М. И. Сухомлинов
И. С. Аксаков в сороковых годах

Публикуется по: Исторический вестник. 1888. № 2. С. 324–348.

СУХОМЛИНОВ Михаил Иванович (29.02[12.03].1828–8[21].06.1901), филолог, академик (1872), с 1899 г. – председатель 2-го отделения Петербургской академии наук и учрежденного при ней (усилиями самого Сухомлинова) разряда изящной словесности. Еще в 1860-е гг. Сухомлинов опубликовал очерки о М. В. Ломоносо-

ве, Н. И. Новикове, А. С. Пушкине, Н. В. Гоголе, славянофилах. 8-томный труд Сухомлинова «История Российской академии» (1874–1888) прослеживает развитие филологических знаний в XVIII в. и первых десятилетиях XIX в. в связи с развитием русской литературы и общества. Издал также «Материалы для истории императорской Академии наук» – систематическое собрание более 8000 архивных документов. С 1887 г. предпринял академическое издание сочинений Ломоносова. Труды Сухомлинова, представителя академического литературоведения, тяготевшего к сравнительно-историческому методу, отличаются богатством фактических данных, широким охватом документов и первоисточников, критицизмом и осторожностью в выводах. Все это хорошо видно в его биографическом очерке о молодости Ивана Сергеевича Аксакова.

[1] Московский вестник. 1830. Часть I. С. 118–121.

[2] Московские ведомости. 1846. № 49. С. 344–346.

[3] Появление русского платья на московских маскарадах подало повод к толкам и журнальным заметкам. Отсутствие русского платья на том или другом маскараде объяснялось на разные лады. По случаю маскарада, бывшего у графа А. Н. Панина и подробно описанного в «Московских ведомостях», появилась в той же газете такая заметка: «Не было ни одного русского платья на маскараде. Общество, надевая для маскарада костюмы чужеземных народов, не захотело клеймить народного русского платья маскарадным характером. Тут было темное прекрасное чувство, которое не допустило наше общество поступить иначе, и если оно наденет русскую одежду, то уж, верно, не для маскарада» (Московские ведомости. 1846. № 4. С. 25).

[4] Письмо 15 февраля.

[5] Письмо 9 февраля.

[6] Поэма, сочиненная И. С. Аксаковыми.

[7] Письмо 8 марта 1849 г. «Истор. вестн.». Февр., 1888. Т. XXXI.

[8] См. сноску 4 на с. 504.

[9] Письмо 24 февраля 1849 г. из Петербурга в Москву.

[10] Письмо 1 марта 1849 г.

[11] Письмо 1 сентября 1853 г.

[12] Вопрос чести (*фр.*).

[13] Письмо из Москвы в Петербург, поданное на почту 3 января 1855 г.

[14] Письмо Аксакова по своему содержанию и тону служит отголоском настроения, вызванного событиями Крымской войны (*Прим. сост.*).

Н. Х. Бунге
Исследование о торговле на украинских ярмарках И. Аксакова, действительного члена Императорского Русского географического общества. СПб. 1858

Публикуется по: *Н. Х. Бунге.* Исследование о торговле на украинских ярмарках И. Аксакова, действительного члена Императорского Русского географического общества. – СПб., 1858.

Напечатано по распоряжению Императорской Академии наук. Сентябрь 1859 г.

[1] Нельзильберг (правильнее, нельзильбер, *по-нем.* буквально: новое серебро) – сплав меди с никелем и цинком. Применяется до сих пор в ювелирных изделиях, в русской финифти. (*Прим. сост.*)

А. Н. Молчанов
Воспоминания об И. С. Аксакове

Публикуется по: *Молчанов А. Н.* Воспоминания об И. С. Аксакове. Исторический вестник. 1886. Т. 25. № 8. С. 368–379.

[1] Фразы и слова в кавычках взяты из письма И. С. от 19 сентября 1880 г.

О. Ф. Миллер
Внутренняя жизнь и ход развития И. С. Аксакова по его письмам

Публикуется по: Внутренняя жизнь и ход развития И. С. Аксакова по его письмам. – СПб., 1889. Отдельные оттиски из № 10 и 11 журнала «Славянские известия» (СПб.: тип. В. В. Комарова, 1889).

[1] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. – М., 1888. Т. I и II.

[2] Так и озаглавлены статьи о письмах Аксакова в «Русском деле», еще не законченные.

[3] В том же духе писал он в 1845 г. из Калуги: «18 гр. мороза. Я каждый день топлю у себя все три печи, но уже от одной мысли, что на дворе так холодно, что стольким другим так холодно, невольно зябнешь» (с. 307).

[4] В 1845 г. еще писал из Калуги: «К чему закон, когда соблюдение его есть высшее нравственное беззаконие» (с. 259).

[5] В январе 1847 г. он писал из Калуги: «Познакомился с Нарышкиным, бывшим 12 лет на каторге. Человек этот... так проникнут верою и любовью, что он хоть меня и не убедил (мы рассуждали о вере), но мне отрадно было на него смотреть. Не имея сам много веры, я люблю смотреть на людей, верующих, но верующих без ханжества» (с. 414).

[6] То, что говорится И. С. о тщеславии, довольно напоминает характеристику этой изворотливой страсти у одного из наших духовных писателей XV–XVI ст., преп. Нила Сорского, с которым Аксаков едва ли был тогда знаком. Это только любопытное в психологическом смысле совпадение.

[7] В октябре 1849 г. он писал из Калуги: «Я люблю крестьянина столько же, сколько и Константин, но терпеть не могу древнего боярина и боярского быта».

[8] Удивительно, с другой стороны, что на этот факт жизни Аксакова, упоминаемый в начале 2-го тома издания его писем, не обращено внимания в сочувственной ему вообще статье К. К. Арсеньева. (Вестн. Европы. 1888, дек.)

[9] Лев Алексеевич Перовский (1792–1856) – граф, министр внутренних дел и министр уделов, член Государственного совета. (*Прим. сост.*)

[10] 4 февраля 1850 г. Аксаков писал из Ярославля: «Ношу в душе такое глубокое презрение к жизни и к счастью человеческому, что даже почти никогда и не говорю о том» (II. С. 293)

[11] Надеждин Николай Иванович (1804–1856) – литературный критик, профессор словесности Московского университета, издатель. Редактируемый им журнал «Телескоп» поместил у себя «Философическое письмо» П. Чаадаева, в результате чего журнал был закрыт, а Надеждин сослан на север. В дальнейшем, вернувшись из ссылки, редактировал официальный «Журнал Министерства внутренних дел».

[12] То есть в записке Аксакова о расколе.

[13] Кутóрга Михаил Семенович (1809–1886) – русский ученый-антиковед.

[14] Закревский Арсений Андреевич (1783–1865) – граф, министр внутренних дел (1828–1831), затем, в 1848–1859 гг., московский генерал-губернатор.

[15] То есть балом в русских костюмах.

[16] Императора Николая Павловича.

[17] Крутой поворот, резкая перемена (*фр.*)

[18] Вестник Европы. 1988. Т. XII. С. 767.

[19] 2 Кор 3 : 17.

[20] Перовский Лев Алексеевич (1792–1856) – граф, министр внутренних дел в 1841–1852 гг., затем был министром государственных имуществ.

[21] 1847 г. Калуга.

И. Балаклеев

Памяти И. С. Аксакова.

(По поводу 10-летия его смерти 27 января 1896 г.)

Публикуется по: Памяти Аксакова. По поводу 10-летия его смерти 27 января 1896 г. – СПб., 1896; И. С. Аксаков. Опыт характеристики. – Харьков, 1910.

БАЛАКЛЕЕВ Иван Иванович (1866 – после 1917), депутат III Государственной Думы, деятель монархического движения. В молодости был близок И. С. Аксакову, о котором впоследствии написал несколько работ. Принял активное участие в монархическом движении в период революции 1905–1907 гг.

[1] См. Пыпин. Биография Белинского. Т. 2. С. 262.

[2] См. Сборник статей в память Аксакова. С. 70.

[3] Курсив наш.

[4] Елачич Йосип (1801–1859) – австрийский военный и политический деятель, хорват по происхождению. В 1848–1849 гг., в период революции в Австрийской монархии, был банном (губернатором) Хорватии. Когда революционное венгерское правительство отказалось предоставить Хорватии, которая юридически считалась частью Венгрии, даже скромную автономию, Елачич возглавил народное хорватское войско, сражавшееся с венграми и вместе с русской армией подавившее венгерскую революцию.

[5] См. статью академика Сухомлинова в «Историческом вестнике». (1888. II. С. 347)

[6] См. сочинение И. С. Аксакова. Т. I. С. 308.

Вл. Соловьев
Из воспоминаний. Аксаковы

Публикуется по: *Соловьев В.С.* Литературная критика. – М.: Современник, 1990. С. 364–372.

Впервые напечатана в январской книжке «Недели», 1901 г. В 1889 г. В. С. Соловьев принял предложение С. А. Венгерова написать для «Словаря русских писателей» статью об А. Ф. Аксаковой. Начав работу, он вскоре от нее отказался: «...трудность и в непривычной мне форме личных воспоминаний». (Письма, 2, 318). Воспоминания остались неоконченными.

СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич (16[28].01.1853 – 31.07[13.08].1900) – философ, поэт, мыслитель, публицист. Родился в семье историка С. М. Соловьева. Был создателем т. н. метафизики всеединства, далеко отошедшей от Православия, что привело закономерно Соловьева к духовному краху. Однако в молодые годы Соловьев был близок к славянофилам, и уже в силу этого многие его воспоминания, при всей тенденциозности, представляют большой интерес для читателя.

[1] Скандальный успех (*фр.*).
[2] Дух (*нем.*).
[3] Дух плоти (*фр.*).
[4] Бессмыслица (*фр.*).
[5] Небрежение (*фр.*).
[6] Нравственная серьезность (*нем.*).
[7] Склонность к борьбе (*фр.*).
[8] Неточная цитата из поэмы И. С. Аксакова «Бродяга» (глава «Шоссе»), 1847–1850 гг.

Вл. Соловьев
Любовь к народу и русский народный идеал
(Открытое письмо к И. С. Аксакову)

Публикуется по: Любовь к народу и русский народный идеал (Открытое письмо к И. С. Аксакову). Отдельный оттиск из «Православного обозрения». – М., 1884.

[1] В этом смысле я и защищал (в «Новом времени») соглашение нашего правительства с римским престолом и восстановление католической иерархии в польских и литовских землях. Нескольким миллионам русских подданных возвращена благодать святительства, восстановлена у них правильная церковная жизнь: можно ли это класть на одни весы с какими-то польскими интригами.

[2] Если нельзя обойтись без полемики, то она должна быть одинаково свободной с обеих сторон. Допущение это зависит, конечно, от правительства; но показываем ли мы с своей стороны достаточно желания и способности к такой свободе?

[3] Иоанна д'Арк одинаково пострадала и от английского национализма, и от пустой бездарности французского вольнодумства (la pucelle Вольтера). Одинаково далеко и от того, и от другого истинно поэтическое ее изображение («Орлеанская Дева» Шиллера). Сама личность Иоанны выражала в себе лучшие сверхнародные черты французского духа: пламенную мистическую религиозность, беззаветную преданность Церкви и королевской власти, сострадание к общественным бедствиям, а патриотический подвиг ее – защита родины от бессмысленного и грубого насилия чужеземцев – был вполне законным, хотя и не высшим проявлением истинного народного чувства.

[4] «Слава русского имени» – иногда встречается в газетах, но это перевод с французского.

II. МНЕНИЯ ОБ И. С. АКСАКОВЕ ЕГО МЛАДШИХ СОВРЕМЕННИКОВ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

В. Д. Смирнов
Из книги «Аксаковы. Их жизнь и литературная деятельность»

Публикуется по: Аксаковы. Их жизнь и литературная деятельность. – СПб.: тип. Высочайше утвержденного товарищества «Общественная польза», 1895.

Л. Тихомиров
Публицистическое сознание. И. С. Аксаков

Публикуется по: *Тихомиров Л. А.* Монархическая государственность. Раздел IV. Гл. XIX. – М.: ГУП «Облиздат», 1998. С. 302–305.

ТИХОМИРОВ Лев Александрович (19.01.1852 – 16.10.1923) – русский мыслитель, публицист, мемуарист. В молодости участвовал в революционном движении, четыре года провел в Петропавловской крепости. Был одним из руководителей «Народной Воли». Однако в дальнейшем разочаровался в революционном движении. Тесное общение с кругами революционеров привело его к убеждению, что не революция, а опирающееся на народ самодержавие способно стать основной движущей силой русского развития. Получив прощение от императора Александра III, вернулся в Россию из эмиграции и стал одним из основных мыслителей национально-монархического направления. В 1895 г. Тихомирова избирают членом Общества любителей духовного просвещения, а в следующем – действительным членом Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. В 1905 г. издал книгу «Монархическая государственность», ставшую главным теоретическим трудом, посвященным русской монархии, отрывки из которой приводятся.

К. Н. Леонтьев
Письмо к И. И. Фуделю
(Между 1889 и 1891 гг).

Публикуется по: Пророки византизма. Переписка К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова (1875–1891). – СПб.: Пушкинский дом, 2012. С. 304–305.

[1] А. Д. Пазухин – один из идеологов контрреформ. Леонтьев его, как и Каткова, считал «славянофилом жизни», а не «теории». Статья Пазухина впервые опубл. в «Русском вестнике» в 1885 г. Каткову ее рекомендовал Любимов.

А. Н. Штиглиц
Памяти Ивана Сергеевича Аксакова
(Речь, произнесенная А. Н. Штиглицем в торжественном общем собрании гг. членов санкт-петербургского Славянского благотворительного общества, состоявшемся 18 февраля 1896 г.)

Публикуется по: СПб.: тип. В. В. Комарова, Невский пр., 136.

Дозволено цензурою 20 мая 1896 г. 1-е изд; 2-е изд: – СПб.: тип. «Надежда».

ШТИГЛИЦ Александр Николаевич – ученый-юрист, магистр права, видный специалист в области международного права в начале XX в.

[1] Из газеты «День» от 10 марта 1862 г. См. Полн. собр. соч. И. С. Аксакова. Т. 2. С. 33–39.

[2] Франциск Духинский (1816–1893) – пытался доказать в своей книге, что «русские (великороссы) являются азиатским финско-монгольским народом, в то время как малороссы (украинцы) являются частью поляков. Таким образом, борьба Польши с Россией является расовой войной европейской цивилизации с азиатской деспотией.

[3] Натиск на Запад (*нем.).*

[4] Из передовой статьи в газете «Русь», 15 ноября 1883 г.

[5] От имени суверенного народа (*фр*.).

[6] Ничего не оставили.

[7] Там же, с. 813–819.

[8] Исповедание веры (*фр*.).

[9] В 1861 г. во Львове выходила газета «Русское слово». Она печаталась на языке, очень близком к русскому, и держалась направления народного. Два номера этой газеты попались в руки Чернышевскому, который в польской книжке «Современника» напечатал статью «Национальная бестактность» и в ней прочел строгую нотацию издателям «Русского слова» за то, что они не издают своей газеты на малороссийском языке, а также и за то, что они желали во главе своей деятельности поставить галицкого митрополита. Чернышевского привело в негодование то обстоятельство, что на поляков газета «Русское слово» смотрела как на исконных и самых опасных врагов малорусского народа. «Поляки вовсе не опасны, – писал Чернышевский, и далее: – благоприятны для русского дела, здраво понятого. Нечего вспоминать старые обиды и подводить старые счеты. Надо руководиться интересами минуты и помириться с поляками. Издатели «Русского слова» крайне бестактны и могут лишь повредить своим соотечественникам». См. Русский архив. 1906. Кн. 12, переписка И. С. Аксакова с Б. И. Костомаровым о Малороссии. 1861. С. 537.

[10] См. Русский архив. 1906. Кн. 12. С. 538–543.

[11] Павлом Риттером, или Витезовичем (около 1660–1713). Стихотворение, посвященное Петру Великому, издано в 1710 г. в Загребе. Хорватский текст его напечатан двумя азбуками – латинской и кирилловской. В этом стихотворении автор советует Петру овладеть Царьградом и освободить турецких христиан.

[12] См. Полн. собр. Соч. И. С. Аксакова. Т. I. Славянский вопрос. С. 554–568.

К биографии И.С. Аксакова
(Без автора)

Публикуется по: Исторический вестник. 1886. Т. 25. № 9. С. 569–575.

А. Георгиевский
Иван Сергеевич Аксаков
и современная действительность

Публикуется по: Отдельный оттиск // Вестник образования и воспитания. 1915. № 5–6.

Опубликовано: Казань, 1915.

ГЕОРГИЕВСКИЙ Александр Иванович (31.07.1830 – 15.04.1911) – государственный деятель, публицист, педагог, один из главных организаторов среднего образования в России второй половины XIX в. А. И. Георгиевский активно участвовал в разработке университетского устава 1864 г., принимал активное участие в разработке и осуществлении уставов и положений о гимназиях (1871), о реальных училищах (1872), начальных народных училищах (1874), университетской реформы 1884 г. и др. В 1862–1866 гг. под руководством знаменитого публициста М. Н. Каткова работал в «Московских ведомостях», где заведовал отделом внешней политики. В 1866–1870 гг. занимал должность главного редактора «Журнала Министерства народного просвещения» в Санкт-Петербурге. С 1871 г. член Совета министра народного просвещения. В 1873–1901 гг. председатель Ученого комитета Министерства народного просвещения. Награжден многими российскими и иностранными орденами. С 1896 г. имел чин действительного тайного советника.

[1] Слово о полку Игореве. Русск. класс. библ. Изд. А. Н. Чудинова. Вып 1. – СПб., 1898. С. 23.

[2] *Ю. Крижанич.* Русск. государство в пол. XVII в. Ч. II. С. 305; Ср[авните] 6-е изд. П. Бессонова. – М., 1859.

[3] И. С. Аксаков в его письмах. Т. I, предисл., [с.] 3. – М., 1888.

[4] Там же. Т. II. С. 409.

[5] Там же. Т. I. С. 338.

[6] Там же. Т. I. С. 61.
[7] Там же. Т. III. С. 229.
[8] Там же. Т. III. С.212.
[9] Там же. Т. II. С. 107.
[10] Сборн[ик] стих[отворений] И. С. Аксакова. С. 39–40. – М., 1886.
[11] И. С. Аксаков в его письмах. Т. I. С. 80 и 82.
[12] Там же. Т. I, примеч. 66, «Сон».
[13] *И. С. Аксаков.* Сб. стих. С. 9. «На новый 1859 год».
[14] И. С. Аксаков в его письмах. Т. IV. С. 182.
[15] И. С. Аксаков в его письмах. Т. IV. С. 173.
[16] Там же. Т. IV. С. 170.
[17] И. С. Аксаков в его письмах. Т. IV. С. 127.
[18] Сочинения И. С. Аксакова: Славянский вопрос. – М., 1886. С. 307.
[19] Сочинения И. С. Аксакова: Государство и земский вопрос. Т. IV. С. 34.
[20] Сочинения И. С. Аксакова: Славянский вопрос. – М., 1886. С. 595.
[21] Там же. С. 607–608.
[22] Там же. С. 50
[23] Там же. С. 142
[24] Там же. С. 6.
[25] Там же. С. 153.
[26] Там же. С. 367.
[27] И. С. Аксаков в его письмах. Т. IV. С 58.
[28] Там же. Т. IV. С. 60.
[29] Там же. Т. I, прим. 77.
[30] Государство и земский вопрос. Т. IV. С. 163–164.
[31] Там же. Т. IV. С. 49.
[32] Там же. Т. IV. С. 25.
[33] Соч. И. С. Аксакова: Слав. и западн. Т. II. С. 272.
[34] Государство и земский вопрос. С. 23.
[35] Слав. и западн. С. 223, 570–571.
[36] Государство и земский вопрос. С. 55.
[37] Слав. и западн. С. 229.
[38] И. Киреевский.
[39] Слав. и западн. С. 435–437.
[40] Там же. С. 442.
[41] Там же. С. 440.

[42] Соч. И. С. Аксакова. Т. VI: Прибалтийский вопрос. – М., 1887. С. 284–285.
[43] Слав. и западн. С. 570.
[44] Там же. С. 271–272.
[45] Славянский вопрос. С. 311.
[46] Слав. и западн. С. 764.
[47] Там же. С. 465.
[48] Славянский вопрос. С. 247.
[49] Слав. и западн. С. 260.
[50] Там же. С. 775.
[51] Славянский вопрос. С. 278.
[52] И. С. Аксаков в письмах. Т. I, прим. 28. «Из зимней ночи».
[53] Слав. и западн. С. 10–11.
[54] Славянский вопрос. С. 248.
[55] Там же. С. 397.
[56] И. С. Аксаков в письмах. Т. I, прил. 28. «Зимн. дор.».
[57] Славянский вопрос. С. 557.
[58] Там же. С. 59.
[59] Там же. С. 86.
[60] Там же. С. 53.
[61] Там же. С. 61.
[62] Там же. С. 55.
[63] Там же. С. 782.
[64] И. С. Аксаков в письмах. Т. III. С. 441.
[65] Славянский вопрос. С. 329.
[66] Там же. С. 326.
[67] Там же. С. 212.
[68] Там же. С. 326.
[69] Там же. С. 653.
[70] Там же. С. 535.
[71] Там же. С. 655.
[72] Там же. С. 240.
[73] И. С. Аксаков в письмах. Ч. II. Т. IV. С. 35.
[74] Там же. С. 511.
[75] Там же. С. 357.
[76] Там же. С. 325.
[77] И. С. Аксаков в письмах. Т. III. 456–466.

[78] Славянский вопрос. 470.
[79] Там же. С. 236.
[80] И. С. Аксаков в письмах. Т. III. 453–458.
[81] Славянский вопрос. С. 313.
[82] Там же. 309.
[83] Там же. 346.
[84] Там же. С. 347.
[85] Там же. С. 351.
[86] Там же. С. 464.
[87] Там же. С. 351.
[88] Там же. С. 558.
[89] Там же. С. 467.
[90] Там же. С. 467.
[91] Там же. С. 221.
[92] Там же. С. 215.
[93] Слав. и западн. С. 491.
[94] Славянский вопрос. С. 470
[95] Там же. С. 4–6.
[96] Там же. С. 339.
[97] Там же. С. 428.
[98] Там же. С. 412.
[99] Там же. С. 473.
[100] Там же. С. 29.
[101] Там же. С. 196–200.
[102] Там же. С. 393.
[103] Там же. С. 606.
[104] Там же. С. 386–426.
[105] Там же. С. 192.
[106] Там же. С. 606.
[107] Там же. С. 426–427.
[108] Там же. С. 415. Прибалтийский вопрос.
[109] Там же. С. 397.
[110] Там же. С. 415–416.
[111] Там же. 416.
[112] Государство и земский вопрос. С. 537–538.
[113] Прибалтийский вопрос. С. 7–8.

[114] Там же. С. 539.
[115] Там же. С. 33–34.
[116] Там же. С. 45–47.
[117] Там же. С. 310–311.
[118] Славянский вопрос. С. 353.
[119] Там же. С. 328.
[120] Там же. С.703.
[121] Там же. С.208.
[122] Там же. С. 204–205.
[123] Слав. и западн. С. 801–802.
[124] Там же. С. 634.
[125] Там же. С. 339.
[126] Там же. С. 194.
[127] Там же. С. 569.
[128] Там же. С.462.
[129] Там же. С. 340.
[130] Там же. С. 178.
[131] Славянский вопрос. 266–268.
[132] Там же. С. 279–280.
[133] А. С. Хомяков. Стихотворения.
[134] Сборник стихотворений И. С. Аксакова. – М., 1886. С. 6–7
[135] Там же. С. 9–10.
[136] Там же. С. 39–40.
[137] Там же. С. 139–142.

С. Ф. Шарапов

Русские исторические начала и их современное приложение

(Речь 30 ноября 1907 г. при открытии Аксаковского политического и литературного общества)

Публикуется по: Речь, произнесенная С. Ф. Шараповым 30 ноября 1907 г. при открытии Аксаковского политического и литературного общества. М., 1908.

ШАРАПОВ Сергей Федорович (1855 – 26.04.1911) – мыслитель, писатель, ученый-экономист и общественный деятель, яркий представитель позднего сла-

вянофильства. В 1875 г. добровольцем сражался в рядах сербских повстанцев против турок. В дальнейшем занимался управлением в своем имении. Автор выдающихся трудов по экономике.

Журналистскую деятельность начал в «Руси» И. С. Аксакова. В дальнейшем издавал газеты национального направления. Шарапов был активным деятелем славянского движения, основателем и одним из вице-председателей Аксаковского литературного и политического общества в Москве.

Речь И. П. Филевича, читанная в торжественном собрании с.-петербургского Славянского благотворительного общества 14 февраля 1887 г.

Публикуется по: Отдельный оттиск из «Известий санкт-петербургского Славянского благотворительного общества». № 3. Март. 1887.

ФИЛЕВИЧ Иван Порфирьевич (1856–1913) – родился в семье сельского священника. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. В 1890 г. защитил магистерскую диссертацию «Борьба Польши и Литвы-Руси за галицко-владимирское наследие» и был направлен в Варшавский университет экстраординарным профессором на кафедру русской истории. Дважды ездил в командировку в Австро-Венгрию, где ознакомился со свидетельствами о русском населении в Венгрии и Трансильвании. Изучал историю Карпатской Руси. В 1902 г. он начал издавать «Обзор новейшего периода галицко-русской жизни. 1772–1900». Филевич придерживался монархических убеждений, состоял в старейшей монархической партии России – Русском Собрании, участвовал в монархических съездах, в частности в съездах «правых профессоров». Кроме того, состоял в Варшавском отделе «Союза 17 октября». Филевич выступал против революционных и сепаратистских идей, в частности против «украинского движения». Считал, что главную опасность сепаратистского движения составляет не столько распространение идей сепаратизма среди народа, сколько его демонстративное значение для внешних врагов России. В 1912 г., в своем докладе на заседании петербургского Западнорусского общества на тему «Украинофильство как фактор разложения России», Филевич предположил, что украинское движение может быть использовано Австрией в будущей войне против России.

О. Щенков
Вещее слово.
Стихотворение в прозе. Памяти И. С. Аксакова

Публикуется по: *Щенков О.* Вещее слово. Стихотворение в прозе. Памяти И. С. Аксакова. – М.: тип. В. В. Чичерина, 24 мая 1886 г.

III. РЕЛИГИОЗНЫЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НАУЧНЫЕ ДЕЯТЕЛИ О КОНЧИНЕ И. С. АКСАКОВА

Речь, сказанная в Рижском кафедральном соборе преосвященным Донатом, епископом Рижским и Митавским пред панихидою по почившем Иване Сергеевиче Аксакове

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886, Ч. 1. Слова и речи. С. 1–3.

Опубликовано: Рижский вестник. 1886. № 25.

Слово, сказанное в Виленском Свято-Духовом монастыре настоятелем Пречистенского собора, протоиереем И. А. Котовичем

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. 1. Слова и речи. С. 8–13.

Опубликовано в «Литовских епархиальных ведомостях». 1886. № 5.

[1] Так сказано в тексте. (*Прим. ред. источника.)*

[2] Датель – устаревшее значение слова «благотворитель», «щедрый жертвователь».

Анастасий
Речь при поминовении Ивана Сергеевича Аксакова, сказанная пред панихидою, в гродненском Софийском соборе

Публикуется по: *Анастасий.* Речь при поминовении Ивана Сергеевича Аксакова, сказанная пред панихидою, в Гродненском Софийском соборе, 30 января 1886 г. Вильна: тип. Губернского правления, 1886.

Речь, сказанная пред совершением панихиды по новопреставленном болярине Иване Сергеевиче Аксакове протоиереем Г. Тарнопольским

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. 1. Слова и речи. С. 1–4.

[1] Немного их, впрочем, и осталось теперь здесь: одни преждевременно сошли в могилу, другие принуждены были, по сложившимся обстоятельствам, уйти отсюда, а третьи, оставшиеся здесь, еле влачат теперь, с надломленными силами, свое существование.

[2] Нам живо помнится воззвание покойного Ивана Сергеевича к белорусскому духовенству в 1863 г. В среде духовенства оно произвело тогда глубокое впечатление: на одних оно подействовало подавляюще... а на других подкрепляюще и воодушевляюще. Это воззвание, впрочем, мы надеемся перепечатать, со своими примечаниями, в следующих номерах «Минских епархиальных ведомостей».

В. О. Ключевский
Аксаков

Публикуется по: *Ключевский В.О.* Неопубликованные произведения. – М.: Наука, 1983. С. 317–319.

К. П. Победоносцев
Аксаковы

Публикуется по: *Победоносцев К. П.* Аксаковы. Отдельный оттиск. – СПб.: тип. Товарищества «Общественная польза», 11 февраля 1886 г.

Также было опубликовано: Гражданин. 1886. № 14; Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. 1. Слова и речи.

Н. П. Гиляров-Платонов
Передовая статья № 28 «Современных известий»
(Москва, 28 января 1886 г.)

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. 1. Слова и речи. С. 7–9.

ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ Никита Петрович (23.05.1824 – 13.10.1887) – мыслитель, писатель и публицист. Родился в Коломне в семье священника. В 1848–1855 гг. преподавал в Духовной академии. Служил в Министерстве народного просвещения, занимал должность цензора книг научного и религиозного содержания. С 1867 г. издавал газету «Современные известия». Помимо этого Гиляров-Платонов сотрудничал практически во всех славянофильских изданиях, особенно в журналах и газетах И. С. Аксакова. Его перу принадлежали многие передовицы, приписываемые самому И. С. Аксакову. Правда, Гиляров-Платонов «чистым» славянофилом не был, определяя свои взгляды как «близкие, но не тождественные» славянофильству.

IV. ОТКЛИКИ НА КОНЧИНУ И. С. АКСАКОВА В РОССИЙСКОЙ, СЛАВЯНСКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ПРЕССЕ

Передовая статья № 29 «С.-Петербургских ведомостей»
(С.-Петербург, 29 января 1886 г.)

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М.: тип. Л. Ф. Снегирева, 1886. Ч. 2. Характеристики, мнения, отзывы. С. 12–17.

[1] Речь идет о генерале Михаиле Дмитриевиче Скобелеве (1843–1882), прозванном так за свой белый мундир – талантливом полководце и видном общественном деятеле, славянофиле по политическим взглядам. Его призывы к объединению славян для грядущей неизбежной борьбы с германизмом сделали его одним из наиболее известных русских политических деятелей. Его смерть при неясных обстоятельствах в 39-летнем возрасте остается одной из неразгаданных тайн русской истории.

[2] Печально известный господин Аксаков (*нем.*).

[3] Следовательно (*лат.*).

[4] Ригер Ладислав (1818–1903) – чешский политический деятель, активный участник чешского национального движения. Во время революции 1848–1849 гг. в Чехии – один из лидеров чешской либеральной буржуазии. Вместе с Палацким предпринял издание первой чешской энциклопедии «Slovnik naucny» (1858–1874). Возглавлял Чешскую национальную партию. Сторонник союза чешской буржуазии с дворянством под лозунгом автономии Чехии в составе империи Габсбургов. После раскола Чешской национальной партии (1874) – один из лидеров старочехов.

[5] Палацкий Франтишек (1798–1876) – чешский историк, философ, деятель культуры и чешского национального движения, инициатор реорганизации Чешского национального музея (ставшего важным центром научной и культурной жизни страны) и создания (1831) Матицы чешской, основатель (1827) и первый редактор (до 1838) первого чешского научного журнала «Časopis společnosti vlasten-skeho museum v Čechach». С 60-х гг. – один из идейных вождей консервативного крыла чешской буржуазии (партии старочехов).

[6] Штросмайер Йосип (1815–1905) – хорватский религиозный и политический деятель, сторонник объединения всех южных славян в единое государство. Считается отцом Югославии. Приведенное суждение о Штросмайере как о антирусском и антиславянском деятеле несправедливо, поскольку Штросмайер всегда был убежденным русофилом и панславистом.

[7] Старчевич Анте (1823–1896) – хорватский деятель, лидер Хорватской партии права, занимавшей антисербские и, объективно, антиславянские позиции.

[8] Имеются в виду Илья Гарашанин (1812–1874) и Любен Каравелов (1834–1879) – сербский и болгарский политические деятели, либералы, придя к власти в своих странах занимали объективно антирусские позиции. Были видимыми русофилами, но проводили политику ориентации на западные страны.

Статья № 29 «Московских ведомостей»

Публикуется по: Московские ведомости, 1886. № 29.

Также опубликовано: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. 1. Слова и речи. С. 16–17.

Ответ «Новостям»

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. 2. Характеристики, мнения, отзывы. С. 30–47.

[1] Нотович Осип Константинович (1849–1914) – издатель либерально-бульварной газеты «Новости». Модестов, Михневич – сотрудники «Новостей».

Михневич Владимир Осипович (1841–1899) с 1860-х гг. сотрудничал в разных петербургских изданиях; затем был воскресным фельетонистом «Сына Отечества»; в 1876 г. писал фельетоны в «Голосе», а с 1877 г. состоял одним из главных сотрудников «Новостей», где ему создали популярность воскресные фельетоны, театральные рецензии, небольшие рассказы и другие статьи.

[2] Болград – город в Южной Бессарабии, ныне в Одесской области. Был центром болгарских поселений в России.

Богородск – ныне Ногинск в Московской области.

Ирбит – село, ярмарочный центр в Западной Сибири.

[3] Так назывался тогда болгарский город Пловдив.

[4] Рущук – турецкое название города Руссе в Болгарии.

[5] В трагедии Шекспира «Макбет» тень Банко, убитого по приказу Макбета, неуклонно следует за Макбетом.

Передовые статьи № 1769, 1771 и 1773 «Южного края»

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. II. Характеристики, мнения, отзывы. С. 37–47.

[1] Вольнодумец (*фр.*).

[2] Ригер Франтишек Ладислав (1818–1903) – чешский политический и общественный деятель, доктор права. Ближайший сотрудник (и зять) Ф. Палацкого. Участник чешского национального движения 30–40-х гг. XIX в. См. также сноску 4 на с. 518.

[3] Позитивны ли мы? (*фр.*)

Иван Сергеевич Аксаков
(Журнал «Русская мысль».
27 января 1886 г.)

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. 2. Слова и речи. С. 72.

О. Ф. Миллер
Иван Сергеевич Аксаков
(Из № 3 «Русской старины»)

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. 2. Характеристики, мнения, отзывы. С. 73–91.

МИЛЛЕР Орест Федорович (23.07.1833 – 20.05.1889), ученый-фольклорист, литературовед, славянофил. Родился в г. Гапсале (ныне Хаапсалу) в Эстляндии в семье остзейских немцев, лютеранин по вероисповеданию. При рождении получил имя Оскар. Однако в 15 лет, уже в сознательном возрасте, Миллер перешел в Православие, взяв имя Орест. Миллер стал одним из самых первых исследователей древнерусской литературы и русского народного фольклора. Миллер был также одним из виднейших деятелей Славянских комитетов, заняв должность товарища (заместителя) председателя петербургского Славянского комитета. Миллер внес огромный вклад в русификацию сознания российского общества. Его немецкое происхождение не мешало ему глубоко понимать русскую душу, как и другим русским немцам (В. И. Далю, А. Ф. Гильфердингу, Е. Классену и др.).

Миллер стал одним из виднейших славянофилов, был личным другом многих русских деятелей национального направления, в том числе и Ивана Аксакова. После смерти Аксакова Миллер стал издателем его писем и статей.

[1] Настоящий очерк читан проф. О. Ф. Миллером в торжественном собрании Славянского общества, в С.-Петербурге, 14 февраля 1886 г.

[2] Между нами (*фр.*).

[3] Тут же, однако, Аксаков также и оговаривается: «Если телесное наказание исключается из уголовного кодекса... то, стало быть, оно уничтожено вовсе? – заметил бы, вероятно, какой-нибудь иностранный юрист. Такое ошибочное замечание совершенно понятно со стороны иностранца, незнакомого с особенностями нашей русской жизни...»

И. С. Аксаков
Некролог
(Из № 2 «Журнала Министерства народного просвещения»)

Публикуется по: Журнал Министерства народного просвещения. 1886. № 2.

Гиляров-Платонов
Похороны Аксакова. Москва, 31 января 1886 г.
(Из № 28 «Современных известий»)

Публикуется по: Современные известия. 1886. 1 февр. № 31. С. 1–2

Н. Н. Страхов
Поминки по И. С. Аксакову
(Из № 3599 «Нового времени»)

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. 2. Характеристики, мнения, отзывы. С. 91–101.

СТРАХОВ Николай Николаевич (16.10.1828 – 24.01.1896) – философ, публицист, литературный критик, один из основателей почвенничества, направления

в русской национальной мысли. Родился в Белгороде в семье священнослужителя. Преподавал естественные науки в гимназиях. Познакомившись с А. Григорьевым и братьями Достоевскими, стал одним из основных авторов в почвенническом журнале «Время» и «Эпоха». В дальнейшем редактировал ряд журналов, был сотрудником Публичной библиотеки в Петербурге (ныне – Российская национальная библиотека, РНБ). Н. Н. Страхов был дружен со многими деятелями культуры и политики своего времени, в том числе и с Аксаковым.

Слово, сказанное на панихиде по И. С. Аксакове архимандритом Никифором Дучичем в Белградской соборной церкви, 8 марта 1886 г.

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. VI. С. 1–6.

[1] Из № 29 белградской газеты «Уставност». *Пер. с сербского.*

Панихида по И. С. Аксакову
(Из № 29 газеты «Уставност»)

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. VI. С. 6–7.

Иван Сергеевич Аксаков
(Из № 13 газеты «Уставност»)

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. VI. С. 7–8.

Иван Аксаков
(Из № 5 газеты «Српски Лист», выходившей в Задре)

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. VI. С. 8–10.

[1] Рая (райя) – букв.: скот. Так называлось в Османской империи угнетенное христианское население.

[2] Филиппополь – ныне Пловдив, центр Восточной Румелии (самоуправляемой болгарской области, находившейся в составе Османской империи. В 1885 г. в результате восстания болгар воссоединилась с независимой Болгарией. (*Прим. сост.)*

Аксаков

(Из № 16 сербской газеты «Застава», выходившей в Новом Саде, на Дунае, в Южной Венгрии)

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. VI. С. 11–12.

[1] Дьюнис (Джунис) – место сражения сербской армии под командованием М. Г. Черняева, закончившееся поражением сербов. Ультиматум Александра II вынудил турок заключить перемирие сразу же после сражения. (*Прим. сост*.)

Иван Сергеевич Аксаков

(Из № 12 сербской газеты «Браник», издаемой в Новом Саде (Neusatz), передовая статья в извлечении)

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. VI. С. 12–14.

Аксаков

(Из № 57 сербского листка «Драшков Рабош», выходившего в Сплите – Спалато)

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. VI. С. 14.

Иван Сергеевич Аксаков
(Из № 41 чешской газеты «Narodni Listy»)

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. VI. С. 15–19.

[1] Шумавы – горы в Чехии. (*Прим. сост.*)

Иван Сергеевич Аксаков
(Из № 3 словенской газеты «Ljubljanski Zvon»)

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. VI. С. 19–24.

Иван Сергеевич Аксаков
(Из № 7–8 славянской газеты «Parlamentärr», издаваемой в Вене на немецком языке)

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. VI. С. 25–26.

Иван Сергеевич Аксаков
(Из № 2 словацкаго журнала «Slovénske Pohl'ady»)

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. VI. С. 24–25.

Вильгельм Генкель
Иван Аксаков
(Из № 90 мюнхенской «Allgemeine Zeitung» от 31 марта, Beilage)

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. VI. С. 26–31.

Латышские газеты о кончине И. С. Аксакова

Публикуется по: Сборник статей, напечатанных в разных изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. – М., 1886. Ч. 2. Характеристики, мнения, отзывы. С. 138–140.

А. И. Кирпичников
Два слова об И. С. Аксакове
(Из № 35 «Одесского вестника», 1886 г.)

Публикуется по: Одесский вестник. 1886. № 35. Отдельный оттиск.

КИРПИЧНИКОВ Александр Иванович (1845–1903) – историк литературы, окончил Московский университет в 1865 г., в 1874 г. – магистр истории всеобщей литературы, диссертация на тему «Опыт сравнительного изучения западного и русского эпоса: Поэмы ломбардского цикла», степень доктора за работу «Святой Георгий и Егорий храбрый», 1879 г., профессор Новороссийского университета. В 1894 г. Кирпичников избран членом-корреспондентом Академии наук. В 1898 г. перешел в Московский университет, в котором читал курсы по русской литературе, по истории всеобщей литературы и занял должность декана факультета, а затем должность помощника ректора, участвовал в работах археологических съездов. В Румянцевском музее занимал должность хранителя древностей (1898–1902), библиотекаря (с 1902). Археографическая комиссия при Московском археологическом обществе и Русское библиографическое общество при университете считали Кирпичникова своим председателем.

А. Никольский
Иван Сергеевич Аксаков. Некролог
(Из № 2 «Исторического вестника»)

Публикуется по: Исторический вестник. 1886. № 2. С. I–XX.

[1] С. Т. Аксаков издавал (1847) «Записки об ужении рыбы», а Константин Сергеевич печатал диссертацию свою о Ломоносове (тоже 1847).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аксаков И. С. (И. С.) *15, 20, 28–29, 48, 148–149, 201, 221, 234, 242, 244, 256, 261, 278–279, 293, 296–297, 300–304, 337, 351, 377, 384–385, 422, 426, 442, 444, 456, 469, 471, 477–478, 482–483, 485, 488, 491, 494–495, 499–506, 509–517, 519–522, 525–526*
Аксаков К. С. *13, 29–32, 269, 425.*
Аксаков С. Т. *13, 19–20, 22, 39, 525*
Аксакова А.Ф. *505*
Аксакова О. С. (Заплатина) *479*
Александр II *329, 447*
Анастасий *360, 516*
Арсеньев К. *141, 151, 169, 173–174, 503*
Архипов *130–131*

Балаклеев И. *148, 504*
Безобразов В. *387*
Бейст Ф. *453*
Белинский В. Г. *22, 28, 30–31, 38, 149, 279, 394, 472, 504*
Берже А. П. *16*
Бестужев-Рюмин К. Н. *30, 41, 470*
Блудов Д. Н. *54–56*
Боскович Р. И. *389*
Бунге Н. Х. *77, 502*
Бутлеров А. М. *387*

Валуев Д. А. *28–29, 458*
Васильевич М. *389*
Вильель *42*
Вяземский П. А. *53, 170*

Гагарин П. П., кн. *57, 60, 127, 153, 243–244, 483*
Галаган Г. П. *387*
Гарашанин И. *382, 518*
Генкель В. *463, 524*
Георгиевский А. *277, 509*
Герасим, болг. Митрополит *388, 494*

Герцен А. И. *22, 24–25, 28, 30, 263, 373, 394*
Гиляров-Платонов Н. П. *124, 227, 377, 423, 517, 521*
Градовский Григ. *395*
Грановский Т. Н. *22, 30–31, 145*
Грегр *382*
Греч Н.И. *43*
Груич С. *389, 494*

Дандевиль В. Д. *387*
Данилевский Н. Я. *7, 16, 29, 206*
Делянов И. Д. *386*
Державин Г. Р. *20*
Дизраэли Б. *42*
Донат, епископом Рижский и Митавский *353, 515*
Достоевский Ф. М. *11, 23, 157, 273, 324, 333, 413, 476, 522*
Дубельт Л. В. *169, 175*
Духинский Ф. *248, 508*
Дучич Никифором, архимандрит в Белградской соборной церкви *389, 437, 442–443, 522*

Евреинов *122*
Екатерина Великая *346*
Елачич Й. *54, 58, 70, 170, 504*

Забелин И. Е. *30*
Загоскин Л. А. *53*
Закревский А. А. *53, 55, 69–70, 139, 171*

Иованович В. *389*
Игнатьев *108, 386*
Икономов Т. *388*

Кавелин К. Д. *15–16, 32, 194*
Калачов Н. В. *15*
Канкрин Е. Ф. *307*
Каравелов Л. *382, 500*
Каравелов П. *40, 382, 500*
Карамзин Н. М. *12, 394*
Катков М. Н. *30–31, 38, 42, 194, 233, 234, 237–242, 507, 509*
Кесяков *388*
Киреевский И. В. *28, 244, 321, 410, 425, 458, 510*
Киреевский П. В. *28, 244, 321, 410, 425, 458*
Кирпичников А. И. *471*
Климент, болг. Митрополит *387–388, 494*
Ключевский В. О. *368, 516*
Костомаров Н. И. *15–16, 23–24, 26, 50, 261, 499, 508*
Котович И. А., настоятель Пречистенского собора, протоиерей *355*
Кохановский 30
Кошелев А. И. *28, 30, 32–33. 279, 484*

Кутóрга М. С. *503*

Ламанский В. И. *24, 30, 41, 138*
Леонтьев К. Н. *239, 507*
Лорис-Меликов М. Т. *118, 120–121, 488, 491*
Любимов Н. А. *178, 241, 507*

Майков А. Н. *28*
Маркевич А. И. *15, 499*
Мельников (Печерский) П. И. *39, 45, 47*
Миллер О. Ф. *30, 41, 125, 271, 403, 502, 520–521*
Милютин Н. А. *32*
Михаил, серб. Митрополит *121, 297, 389–390, 468, 494*
Михневич Н. П. *386, 519*
Мицкевич А. *59, 72*
Модестов В. И. *386, 393–401, 519*
Молчанов А. Н. *107, 502*
Муравьев М. Н. *37, 187, 346, 465*

Наполеон III *296*
Надеждин Н. И. *137, 503*
Некрасов Н. А. *28–29*
Немирович-Данченко В. И. *124*
Никитин *28*
Николай I *50, 59, 136, 284, 372, 423, 504*
Никольский А. *477, 525*
Нил Сорский *503*
Нотович О. К. *386–387, 395, 519*

Огарев Н. П. *28*
Орлов А. Ф. *43, 59, 74, 76, 141, 175, 284*
Островский А. Н. *22, 38–39*

Павлов М. Г. *447*
Павлович Пеко *447*
Пазухин А. Д. *241, 507*
Паскевич А. Ф. *372*
Первольф О. О. *23*
Перовский Л. А. *43–44, 136, 146, 177, 243, 281, 503–504*
Петр Великий *8–9, 24, 26, 51, 64, 118–119, 124, 135, 204, 292, 370, 386, 394, 396, 400, 419, 439, 457, 460, 466, 472, , 476, 508*
Писарев Д. И. *30*
Победоносцев К. П. *371, 386, 517*
Погодин М. П. *26, 28, 53, 228, 245, 383*
Полонский Я. П. *28*
Пушкин А. С. *119, 131, 266–267, 273, 281, 393, 501*
Пыпин А. Н. *458, 504*

Радокиркович *388*
Раевский М. *387*
Раич *479*
Ригер Л. *381, 397–398, 453, 455, 518, 520*

Риттер П. 508
Россоловский В. С. *108*
Ружичич Н. *442*

Сабуров *13, 387*
Самарин Ю. Ф. *28–30, 58, 139, 146, 169, 175, 178, 221, 245, 269, 279, 284, 321, 342, 353, 371, 395, 425–426, 458, 486*
Скобелев М. Д. *124, 380, 393, 446, 448, 455, 469, 497, 518*
Смирнов В. Д. *221, 506*
Смирнова А. О. (Россетт) *76, 131–133, 136, 158, 161–163, 179*
Сологуб Ф. Л. *53, 135*
Сологуб М. Ф. (урожд. Самарина) *193*
Станкевич Н. В. *22, 280*
Старчевич А. *382, 518*
Стенбок Ю. С. *43–48, 178*
Страхов Н. Н. *426, 521–522*
Строгонов А. *56, 227*
Сухомлинов М. И. *48, 500–501, 504*
Соловьев В. С. *37, 193, 201, 203, 220, 505*
Стояновский *387*
Суботич *444*
Суворин А. С. *116, 118*

Танеев С.А. *387*
Тарнопольский Г., протоиерей *516*
Тихомиров Л. А. *234, 334, 506–507*
Толстой Д. А. *168, 324*
Толстой Л. Н. *31, 476*
Тютчев Ф. И. *28, 30, 188, 194, 197, 423, 441, 499*

Усов П. С. *42, 500*
Успенский Г. И. *128, 273–274*

Филевич И. П., *337, 514*
Фудель И. И. *239, 507*

Хлудова В. А. *286*
Хомяков А. С. *6, 13, 28–30, 32, 52, 54, 129–130, 146, 171, 180, 192, 197, 212, 222, 225, 244, 268, 279–280, 286, 321, 334, 339, 353, 371, 395, 401, 410, 424–426, 452–453, 458, 513*

Цанков Д. *388*

Чарторыжский Ад. *341*
Черкасский В. А. *28, 30, 244*
Чернышевский Н. Г. *508*
Черняев М. Г. *122–123, 523*
Чижов Ф. В. *30, 371, 425*
Чичерин Б. Н. *387, 515*

Шарапов С. Ф. *321, 338, 513–514*
Шафарик П. *49*

Шаховской *387*
Шевченко Т. Г. *24, 26, 38*
Шевырев С. П. *53*
Шишков А. С. *49*
Шталь Г. Э. *42*
Штиглиц А. Н. *242, 507–508*
Штроссмайер Й. *381*

Щедрин М. Е. *29, 38*

Языков Н. М. *28, 30, 52, 171*
Ящерин *130–131*

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5

I. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И. С. АКСАКОВА ПО ВОСПОМИНАНИЯМ СОВРЕМЕННИКОВ

А. Маркевич. И. С. Аксаков и его значение *(Речь, читанная в заседании Славянского благотворительного общества)* 15

Павел С. Усов. Дружеская группа 42

М. И. Сухомлинов И. С. Аксаков в сороковых годах 48

Н. Х. Бунге. Исследование о торговле на украинских ярмарках И. Аксакова, действительного члена Императорского Русского географического общества 77

А. Н. Молчанов. Воспоминания об И. С. Аксакове 107

О. Ф. Миллер. Внутренняя жизнь и ход развития И. С. Аксакова по его письмам 125

И. Балаклеев. Памяти И. С. Аксакова *(По поводу 10-летия его смерти 27 января 1896 г.)* 148

Владимир Соловьев. Из воспоминаний. Аксаковы 193

Вл. Соловьев. Любовь к народу и русский народный идеал *(Открытое письмо к И. С. Аксакову 20 апреля 1884 г.)* 201

II. МНЕНИЯ ОБ И. С. АКСАКОВЕ ЕГО МЛАДШИХ СОВРЕМЕННИКОВ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

В. Д. Смирнов. Из книги «Аксаковы. Их жизнь и литературная деятельность» 221

Л. Тихомиров. Публицистическое сознание. И. С. Аксаков 234

К. Н. Леонтьев. Письмо к И. И. Фуделю *(между 1889 и 1891 гг.)* 239

А. Н. Штиглиц. Памяти Ивана Сергеевича Аксакова 242

К биографии И. С. Аксакова *(без автора)* 269

А. Георгиевский. Иван Сергеевич Аксаков и современная действительность 277
I. Два слова из прошлого 277
II. Биография И. С. Аксакова 278
III. Идеалы славянофильства 288
IV. Славяне 294
V. Враги славянства 301
VI. Современный момент 312
Несколько стихотворений и отрывков из политических произведений И. С. Аксакова 313

С. Ф. Шарапов. Русские исторические начала и их современное приложение *(Речь, произнесенная 30 ноября 1907 года при открытии Аксаковского политического и литературного общества)* 321

Речь И. П. Филевича, читанная в торжественном собрании С.-Петербургского Славянского благотворительного общества 14 февраля 1887 г. 337

О. Щенков. Вещее слово. Стихотворение в прозе. Памяти И. С. Аксакова 351

III. РЕЛИГИОЗНЫЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НАУЧНЫЕ ДЕЯТЕЛИ О КОНЧИНЕ И. С. АКСАКОВА

Речь, сказанная в Рижском кафедральном соборе преосвященным Донатом, епископом Рижским и Митавским, пред панихидою по почившем Иване Сергеевиче Аксакове 353

Слово, сказанное в Виленском Свято-Духовом монастыре настоятелем Пречистенского собора, протоиереем И. А. Котовичем 355

Анастасий. Речь при поминовении Ивана Сергеевича Аксакова, сказанная пред панихидою, в Гродненском Софийском соборе, 30 января 1886 г. 360

Речь, сказанная пред совершением панихиды по новопреставленном Болярине Иване Сергеевиче Аксакове протоиереем Г. Тарнопольским 365

В. О. Ключевский. Аксаков 368

К. П. Победоносцев. Аксаковы 371

Н. П. Гиляров-Платонов. Передовая статья № 28 «Современных известий» *(Москва, 28 января 1886 г.)* 377

IV. ОТКЛИКИ НА КОНЧИНУ И. С. АКСАКОВА В РОССИЙСКОЙ, СЛАВЯНСКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ПРЕССЕ

Передовая статья № 29 «С.-Петербургских ведомостей» *(С.-Петербург, 29 января 1886 г.)* 380

Статья № 29 «Московских ведомостей» 385

Ответ «Новостям» 385
I-й из № 3581 «Нового времени» 385
II-й из № 3584 «Нового времени» 390

Передовые статьи № 1769, 1771 и 1773 «Южного края» 392

Иван Сергеевич Аксаков *(Журнал «Русская мысль». 27 января 1886 г.)* 402

О. Ф. Миллер. Иван Сергеевич Аксаков *(Из № 3 «Русской старины»)* 403

И. С. Аксаков. Некролог *(Из № 2 журнала Министерства народного просвещения)* 422

Н. П. Гиляров-Платонов. Похороны Аксакова. Москва, 31 января 1886 г. *(Из № 28 «Современных известий)* 423

Н. Н. Страхов. Поминки по И. С. Аксакову *(Из № 3599 «Нового времени»)* 426

Слово, сказанное на панихиде по И. С. Аксакове архимандритом Никифором Дучичем в Белградской соборной церкви, 8 марта 1886 г. 437

Панихида по И. С. Аксакову *(Из № 29 газеты «Уставност»)* 442

Иван Сергеевич Аксаков *(Из № 13 газеты «Уставност»)* 443

Иван Аксаков *(Из № 5 газеты «Српски Лист», выходящей в Задре)* 444

Аксаков *(Из № 16 сербской газеты «Застава», выходящей в Новом Саде, на Дунае, в Южной Венгрии)* 447

Иван Сергеевич Аксаков *(Из № 12 сербской газеты «Браник», издаваемой в Новом Саде (Neusatz), передовая статья в извлечении)* 448

Аксаков *(Из № 57 сербского листка «Драшков Рабош», выходящего в Сплите – Спалато)* 450

Иван Сергеевич Аксаков *(Из № 41 чешской газеты «Narodni Listy»)* 451

Иван Сергеевич Аксаков *(Из № 3 словенской газеты «Ljubljanski Zvon»)* 456

Иван Сергеевич Аксаков *(Из № 2 словацкаго журнала «Slovénske Pohl'ady»)* 461

Иван Сергеевич Аксаков *(Из № 7–8 славянской газеты «Parlamentärr», издаваемой в Вене на немецком языке)* 462

Вильгельм Генкель. Иван Аксаков *(Из № 90 мюнхенской «Allgemeine Zeitung» от 31 марта, Beilage)* 463

Латышские газеты о кончине И. С. Аксакова 469

А. И. Кирпичников. Два слова об И. С. Аксакове *(Из № 35 «Одесского вестника», 1886 г.)* 471

А. Никольский. Иван Сергевич Аксаков. Некролог. *(Из № 2 «Исторического вестника»)* 477

Примечания 499

Именной указатель 526

Институт русской цивилизации создан для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 14 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 160 томов).

Редактор Л. К. Молотилова
Корректор Е. К. Гришина
Компьютерная верстка Е. Е. Поляков
Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 20.03.2014 г. Формат 70 x 90 $^{1}/_{16}$.
Гарнитура «Times». Объем 24,7 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Тверской полиграфический комбинат».

ISBN 978-5-426-10086-2

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация *(вышел)*
Русское Православие в трех томах *(вышли)*
Русское государство *(вышел)*
Русский патриотизм *(вышел)*
Русское мировоззрение *(вышел)*
Русский образ жизни *(вышел)*
Русская география
Русское хозяйство *(вышел)*
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература *(вышел)*
Русская икона и религиозная живопись в двух томах *(вышли)*
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.

Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.

Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.

Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.

РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих потомков. В 3-х томах, т.1. – 1120 с.; т.2. – 1120 с.; т.3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.

Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.

Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.

Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.

Платонов О. История цареубийства, 768 с.

Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.

Башилов Б. История русского масонства, 640 с.

Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.

Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.

Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.

Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.

Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.

Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

ПЛАТОНОВ О. А. СОБРАНИЕ ТРУДОВ В 6 ТОМАХ

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.

Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.

Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.

Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.

Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве МОФ «Родная страна» (тел. 8(495)-788-55-74, mofrs@yandex.ru, www.mofrs.ru), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)